

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ МИР

11



1971

1971

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XLVII

№ 11

Ноябрь, 1971 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Мой Дагестан, книга вторая. Перевел с аварского Владимир Солоухин	3
ЕВГЕНИЙ ЕВТУШЕНКО — Из книги стихов «Поющая дамба»	38
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Версты любви, роман. Окончание	47
ВАСИЛИЙ КАЗИН — Удивление, К тебе, Волшебство, В лесу, Вдохновение, Синичка, стихи	85
ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ — Мои позывные — РАЕМ. Окончание	89

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

В. ГАНИЧЕВ — Письмо в редакцию	144
АНАТОЛИЙ ПРИСТАВКИН — День с Алексеем Болдыревым	145

ПУБЛИЦИСТИКА

Проф. Б. НИКИФОРОВ — Преступность в США: о смысле цифр и об анонимической ереси	165
---	-----

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ДАНИИЛ ГРАНИН — Священный дар	181
-------------------------------	-----

НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО — Снова на Рейне	211
--------------------------------------	-----

ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

«Ветка сакуры» в Японии	238
-------------------------	-----

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Ю. КАРЯКИН — Перечитывая Достоевского...	239
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Ю. Друнина. Только раз присягают солдаты.— К. Щербаков. Ожидания и свершения.	261
<i>Политика и наука</i>	
Б. Бочков. Социализм и соревнование.— О. Смирнов. Перед Большой войной...	269
КОРОТКО О КНИГАХ — Д м. Ш э л е с т о в — Р. Ковнатор. Ольга Ульянова. ♦ Н. Кузин.— А. Платонов. Размышления читателя. ♦ Д м. Б р у д н ы й.— Русский водевиль. ♦ А. М я к и н — Эрнест Хемингуэй. Библиографический указатель. ♦ М. А н ц ы ф е р о в.— М. Гнн. От факта к образу и сюжету. ♦ Р. П л я т т.— А. Таланов. Братья Дуровы. ♦ В. К а р д и н.— Григорий Горин. Хочу харчо! ♦ В. Л а в р о в.— Марк Эткинд. Мир как большая симфония.	281
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

МОЙ ДАГЕСТАН

*Книга вторая**

«Малым народам нужны большие кинжалы».
Так сказал Шамиль в 1841 году.

«Малым народам нужны большие друзья».
Так сказал Абуталиб в 1941 году.

Маленьким ключом можно открыть большой сундук — так говорил иногда мой отец. А мать рассказывала разные сказки: «Море большое? Большое. А откуда оно взялось? Маленькая птичка постучала о землю еще более маленьким клювиком — и пробился родник. Из родника натекло огромное море».

А еще моя мать говорила мне, когда заиграешься, бывало, раскраснеешься, набегаешься: «Нужна передышка хотя бы на то время, пока упадет брошенная вверх папаха. Посиди отдохни».

И народ тоже знает, что если вспахал одно поле, как бы мало оно ни было, и собираешься пахать другое поле, нужно присесть на меже и посидеть.

Промежуток между двумя книгами — не такая ли межа? Я и прилег на ней, и все ходили мимо, смотрели на меня и говорили: наработался пахарь, уснул.

Межа моя была похожа на долину между двумя аулами или на аул, стоящий на холме между двух долин.

Межа моя была границей между Дагестаном и всем остальным миром. Лежал я на своей меже, но не спал.

Я лежал, как лежит старый лис с седой остью, когда неподалеку пачется выводок куропаток. Один мой глаз был наполовину прикрыт, а другой наполовину приоткрыт. Одно мое ухо лежало на лапе, а на другое я положил лапу. Эту лапу я временами незаметно приподымал и прислушивался. Дошла ли моя первая книга до людей? Прочитали они ее? Говорят они о ней? Что говорят?

Аульский глашатай, что выкрикивает с высокой крыши разные объявления, не прокричит нового объявления, пока не убедится, что предыдущее было услышано людьми.

Если горец, идя по улице, увидит, что из какого-нибудь дома гость вышел хмурый, сердитый, злой, разве он пойдет в этот дом?

Лежал я на меже между книгами и слышал, что первую книгу люди приняли по-разному.

* Книга первая была напечатана в журнале «Новый мир» в 1967 году, № № 9, 10, 11.

Да оно и понятно: один любит яблоки, другой любит орехи. С яблока во время еды срезают кожу, а орех приходится расколоть. Из арбуза и дыни надо вычистить семечки. Так и к разным книгам нужен разный подход. Нельзя подступаться со столовым ножом к ореху, для которого требуется колотушка. И нельзя подступаться с колотушкой к нежному, душистому яблоку.

Каждый, читая книгу, находит в ней свои недостатки. Что ж, недостатков не лишена, говорят, даже дочь муллы, а уж про мою книгу и говорить нечего.

Тем не менее кончилась моя передышка, начинаю писать вторую книгу. Для скольких читателей я ее пишу, я не знаю. Тираж ни о чем ведь не говорит. Есть книги, выпущенные тиражом в сто тысяч, а никто их не читает, и они лежат на полках в магазинах и библиотеках. В другом случае один экземпляр книги переходит из рук в руки и прочитывается многими людьми. Не надо мне ни того, ни другого. Пусть мою книгу прочтает хотя бы один человек, и я буду рад. Я хочу рассказать этому человеку о моей маленькой, простой и гордой стране. Где она находится, на каком языке говорят ее жители, о чем они говорят, какие песни они поют.

Всего я не смогу рассказать. Старики нас учили: «Обо всем могут рассказать только все. А ты расскажи о своем, тогда и получится все. Каждый построил только свой дом, а в результате получился аул. Каждый вспахал только свое поле, а в результате вспаханной оказалась вся земля».

И вот я встал рано утром. Сегодня день моей первой борозды. Новой борозды нового поля. В такой день, по древнему обычаю, должно находиться на столе семь предметов, начинающихся с одной и той же буквы. Я оглядываю свой стол и нахожу эти семь предметов. Вот они:

1. Кагъат — бумага (чистая).
2. Карандаш (остро заточенный).
3. Карточка (моей матери).
4. Карта (моей страны).
5. Кофе (черный, крепкий).
6. Коньяк (дагестанский, пять звездочек).
7. «Казбек» (папиросы).

Если теперь не напишу книгу, то когда же я ее напишу?

Очаг разгорелся. Котел, подвешенный над огнем, закипает. На улице сквозь мелкий, редкий дождичек засветилось солнце. Говорят, в такой день все звери в горах танцуют на семицветной радуге, словно канатоходцы. Когда выпадали такие дни, мать говорила, что небо шито из дождевых ниток, а иголками были солнечные лучи.

Сегодня в горах весна, первый день весны. Она, как и я, начинает первую борозду.

— Скажи, дагестанская весна, какие семь подарков есть у тебя, чтобы все они начинались с одной буквы?

— Есть у меня такие подарки, — отвечает весна, — преподнес их мне Дагестан. Я буду называть, а ты считай, загибая пальцы.

1. Ца — огонь. Для жизни. Для любви и ненависти.
2. Цар — имя. Для чести. Для отваги. Для того, чтобы позвать человека.
3. Цам — соль. Для вкуса жизни, для меры жизни.
4. Цва — звезда. Для высоких стремлений и надежд. Для светлых целей и прямого пути.
5. Цум — орел. Для примера, для образца.
6. Цумур — звонок, колокол. Чтобы собрать всех в одно место.
7. Цалкю — сито, решето. Чтобы отделить и отсеять полновесные зерна от никчемной и легкой шелухи.

Дагестан! Эти семь вещей — семь ветвей на твоём коренастом дереве. Раздай все своим сыновьям, подари и мне. Хочу быть огнем и солью, орлом и звездой, колоколом и ситом. Хочу иметь честное имя.

Смотрю вверх и вижу небо, сотканное из солнца и дождя, из огня и воды. Мать всегда рассказывала, что из огня и воды был сотворен во время сна сам Дагестан.

Отец и мать. Огонь и вода

— С огнем не шути! — говорил мой отец.
— В воду камни не бросай, — просила мама.

Разные люди по-разному вспоминают своих матерей. Я ее помню утром, днем и вечером.

Утром она с кувшином, полным воды, возвращается с родника. Несет она воду как что-то самое драгоценное. Поднялась по каменным ступенькам, опустила кувшин на землю, начинает разжигать огонь в очаге. Разжигает она его как что-то самое драгоценное. Глядит на него не то с опаской, не то с восхищением. Пока огонь разгорается как следует, мать качает люльку. Качает она ее как что-то самое драгоценное. Днем мать берет пустой кувшин и идет к роднику за водой. Потом разжигает огонь, потом качает люльку. Вечером мать приносит воду в кувшине, качает люльку, разжигает огонь.

Так делала она каждый день весной, летом, осенью и зимой. Делала неторопливо, важно как что-то самое нужное, драгоценное. Идет за водой, качает люльку, разжигает огонь. Разжигает огонь, идет за водой, качает люльку. Качает люльку, разжигает огонь, идет за водой. Так я вспоминаю свою маму. Идя за водой, она всегда говорила мне: «Посмотри за огнем». Хлопоча с огнем, наказывала: «Не опрокинь, не пролей воду». А еще говорила, убаюкивая меня: «Отец у Дагестана — огонь, а мать — вода».

Наши горы и правда похожи на окаменевший огонь. И так. поговорим об огне.

() камень камнем ударь — вспыхнет искра огня.
Скалу со скалой столкни — вспыхнет искра огня.
Ладонь о ладонь ударь — вспыхнет искра огня.
Слово со словом столкни — вспыхнет искра огня.
!Пальцем о струны зурны ударь — вспыхнут искры огня.
В глаза зурнача и певца погляди — увидишь искры огня¹.

Даже папаха горца, сшитая из шкурки ягненочка, отливает искрами огня, особенно если ее погладишь.

Когда горец в такой папaxe выходит на свою крышу, на соседней горе начинают таять снега.

И сам снег искрится огнем. И рога тура, остановившегося на расветном гребне горы, отвечивают огнем. И закатные скалы плавятся в красном огне.

Огонь и в словах горской пословицы, и в слезе горянки. На конце винтовочного ствола и на лезвии кинжала, выхватываемого из ножен. Но самый добрый и самый теплый огонь — в сердце матери и в очаге каждой сакли.

Когда горец хочет сказать о себе хорошее или попросту похвалиться, он говорит: «Ни к кому еще не приходилось мне ходить за огнем».

¹ Стихи, переводчик которых не указан, переведены с аварского Вл. Солоухиным. (Прим. ред.)

Когда горец хочет сказать о каком-нибудь нехорошем, неприятном человеке, он говорит: «Дым, выходящий из его трубы, не больше крысиного хвоста».

Когда ссорятся две пожилые горянки, одна кричит: «Да не загорится огонь в твоём очаге». «Да потухнет у тебя в очаге и тот огонь, который уже горит»,— отвечает другая.

Желая сказать о храбреце, говорят: «Это не человек, а огонь!»

Выслушав холодные и скучные стихи одного молодого человека, мой отец сказал: «Все в стихах как будто бы есть. Может же так быть, что есть сакля, есть очаг, есть дрова, есть котел, есть даже мясо в котле. Но огня нет. В сакле холодно, в котле не кипит, мясо невкусно. Нет огня — нет и жизни! Итак, твоим стихам нужен огонь!»

У Шамиля однажды спросили: «Скажи, имам, как могло случиться, что маленький полуголодный Дагестан веками мог сопротивляться могущественным государствам и устоял против них? Как мог он целых тридцать лет бороться с всемогущим белым царем?»

Шамиль ответил: «Дагестан никогда бы не выдержал такой борьбы, если бы в груди его не горело пламя любви и ненависти. Этот огонь и творил чудеса и совершал подвиги. Этот огонь и есть душа Дагестана, то есть сам Дагестан.

Я сам кто такой,— продолжал Шамиль.— Сын садовника из далекого аула Гимры. Я не выше ростом и не шире в плечах, чем другие люди. В детстве я и вовсе был хилым и слабым мальчиком. Глядя на меня, взрослые качали головами и говорили, что долго не протяну. Сначала я носил имя Али. Но когда я хворал, это имя заменили Шамилем, надеясь, что вместе со старым именем уйдет и моя болезнь. Я не видел большого мира. Я не воспитывался в больших городах. Я не был обладателем большого добра и богатства. Учился я в медресе в своем ауле. Родители, навьючив осла, послали меня на темир-хан-шуринский базар продать гимринские персики. Долго я ходил вместе с ослом по каменистым горным тропинкам. И вот что однажды произошло. Давно это было, но я не забываю, да и не хочу забывать. Потому что в эту минуту проснулся мой дух — мой огонь. В эту минуту я и стал Шамилем.

Неподалеку от Темир-Хан-Шуры, на краю одного аула, меня встретили юноши-озорники, которым вздумалось посмеяться надо мной. Один схватил папаху с моей головы и отбежал с ней. Другие, пока я догонял обидчика, начали развешивать моего осла, снимать с него корзинки с фруктами. Все они хохотали и развлекались моим беспомощным и растерянным видом. Не понравились мне их шутки, и незнакомый доселе огонь вспыхнул во мне. Я выхватил из ножен мой кинжал с белой костяной рукояткой. Того, кто убежал с моей папхой, я догнал у ворот аула. Свалив его в грязную канаву, я приставил острие кинжала к его горлу, и он запросил пощалы.

— А ты не шути с огнем.

Оставив шутника в грязной канаве, я оглянулся. Те, что рассыпали мои персики, разбежались в разные стороны. Тогда я поднялся на ближнюю крышу и крикнул:

— Эй, вы! Если не хотите обжечь свои животы об огонь моего кинжала, сделайте все как было.

Шутники не заставили меня дважды повторять мои слова.

В тот же день на базаре я слышал, как старики говорили: «Об этом юноше мы еще услышим».

А я надвинул на брови свою папаху и, понукая моего доброго ослика, отправился дальше. Разве я хотел шума и драки? Они сами вывели меня из терпения, высекли из сердца огонь.

Потом прошли годы. Однажды утром я работал в саду. Засучив рукава, таскал снизу на скалу чернозем и рассыпал его вокруг каждого

деревца. Таскал землю я старой папахой. К этому времени уже несколько ран было на моем теле. Я их получил в разных схватках. И вот приходят ко мне люди, наши горцы из других аулов, даже очень дальних, и говорят, чтобы я седлал коня и надевал оружие. Мне не хотелось вооружаться, я отказывался, потому что садоводство любил больше, чем войну.

Тогда посланцы аулов мне сказали:

— Шамиль! Чужие кони пьют из наших родников, чужие люди задувают наши светильники. Сам сядешь на коня или мы поможем тебе?

И загорелся в моей груди огонь, как в тот раз, когда меня обидели юноши, сорвав папаху с моей головы и рассыпав персики. Подобный тому и даже жарче. Я забыл про свой сад, я забыл про все. Ни дождь, ни ветер, ни стужа не могут погасить огонь, который вот уже двадцать пять лет носит меня по горам. Пылают аулы, дымятся леса, огонь сверкает сквозь дым во время сражений, пылает весь Кавказ. Вот что такое огонь!»

Рассказывают, что в давние времена, если враги пересекали границу Дагестана, то на самой высокой горе разжигали огонь высотой с башню. Увидев его, все аулы разжигали свои костры. Это и был тот стремительный клич, который заставлял горцев садиться на боевых коней. Из каждого дома выезжали всадники, из каждого аула выезжал готовый отряд... Конные и пешие выходили на зов огня. Пока пылали костры на горах, старики, женщины и дети, оставшиеся в аулах, знали, что враг все еще находится в пределах Дагестана. Костры затухали — тогда, значит, миновала опасность и мирные дни снова приходили на землю отцов. За долгую историю много раз приходилось горцам разжигать сигнальные огни на вершинах гор.

Эти огни были и боевыми знаменами и приказами... Они заменяли горцам современную технику: радио, телеграф, телефон. На склонах гор и сейчас видны безлесые места, словно там лежат гигантские буйволы.

Горцы говорят, что самое надежное место для кинжала — ножны, для огня — очаг, для мужчины — дом. Но если огонь вырвется из очага и запыхает на вершине горы, то кинжал, покоящийся в ножнах, — не кинжал и мужчина, сидящий у домашнего очага, — не мужчина.

У дагестанских чабанов обязанности распределены очень строго. Одни пасут овец днем, другие занимают их место ночью и берегут отару от волков. Но есть среди них человек, который не занимается ни овцами, ни волками. Он обязан хранить и поддерживать огонь, он — хранитель огня. Еще его называют огнехранителем, огнедержателем. Нельзя сказать, что это специальность, что один человек только и делает что бережет огонь. Но перед наступлением ночи чабаны обязательно выбирали такого человека и поручали и доверяли ему огонь.

Нужное и трудное дело! От огня зависит и приготовление пищи, и тепло, и сухая одежда, и свет, и беседа, и курение, столь необходимое при степенной мужской беседе.

В чабанских шалашах нет очагов. Огонь живет на улице и требует особенных хлопот и забот. Ладонями, папахой, полой бурки приходится загоразивать огонь от непогоды: от дождя, от снега, а то и от снежной бури.

Но разве нельзя назвать хранителями огня и хабрецов, поэтов, песельников, сказителей, ганцоров и музыкантов? Их много у нас, кто носит в своем сердце, бережет и передает другим извечный огонь, огонь поэзии, огонь преданий, огонь любви к Отчизне.

Чувствую и в своем сердце искру этого вечного огня. Вижу и свой долг в том, чтобы не дать потухнуть этой искре. Разжечь ее, заставить

светить и греть, и чтобы идущий вслед за мной принял ее от меня и понес дальше.

Огонь в своей груди надо беречь так же, как самого себя бережешь от внешнего, обыкновенного буквального огня.

Во время праздника в ауле после песни всегда идет шутка, после музыки и танца — разговор. После возвышенных слов об огне рассказом о том, как искали у нас в Дагестане снежного человека.

Я сам свидетель той огромной потехи, которую доставили горцам некие научные работники, приехавшие искать каптара, то есть снежного человека.

Аварцы им сказали: «Поезжайте к даргинцам, может быть, у даргинцев живет тот, кого вы ищете».

Даргинцы, в свою очередь, послали их к лакцам, лакцы — к лезгинам, лезгины — к кумыкам, кумыки — к ногайцам, в степь, ногайцы — к табасаранцам, закружились ученые по всему Дагестану. Измученные. Остановились они в ауле Кикунни, где живет, между прочим, паш великан Осман Абдурахманов. Возможно, некоторые из читающих эти строки видели Османа в фильме «Остров сокровищ». Там он хватает сразу трех человек и швыряет их с палубы в океан.

Случилось, что автомобиль с учеными застрял в маленькой речке близ аула Кикунни. Ученые толкали машину назад и вперед, но ничего не получалось.

Осман в это время сидел на крыше своей сакли. Увидел он, как беспомощны люди, копошащиеся около машины, спустился на землю и медленной великаньей походкой подошел к ним. Он взял машину, поднял ее, как таракана, не умеющего выбраться из глиняной миски, обмазанной скользким салом, и перенес на сухое место.

Ученые зашептались, зашущукались между собой, как видно, начали сомневаться: не снежный ли человек пришел к ним на выручку? Но Осман понял их разговор и сказал:

— Напрасно вы ищете. Мы, горцы, сделаны не из снега, а из огня. Если бы не огонь был во мне, как бы я вытащил из грязи вашу машину?

После этого он спокойно скрутил папиросу, неторопливо достал огниво, разжег трут, прикурил и выпустил изо рта целое облако дыма. Только тогда вместе с дымом вылетел из широкой груди Османа громоподобный смех. Так грохочет обвал в горах, так гремит вода, ворочая камни, так сотрясает горы землетрясение.

Абуталиб, услышав эту историю, добавил: «Не могут не застрять в грязи машины людей, занимающихся таким пустым делом».

В Индии я побывал на празднике огня. Как хорошо, что бывают у людей такие праздники! Мне подарили там зажженный светильник, и я увез его в Дагестан как привет далекой страны моему каменистому краю. Мы ведь часто говорим: пламенный привет! Передайте им пламенный привет! Может быть, были времена, когда люди вместо привета, выраженного в слове, посылали огонь, пламя. Мирное пламя. Не пламя пожара и войны, но пламя очага, пламя тепла и света.

У нас есть обычай: вечером первого зимнего дня (а иногда также вечером первого весеннего дня) горные аулы разжигают на скалах приветственные костры. По одному костру на аул. Костры далеко видны. Через ущелья, через пропасти и скалы аулы поздравляют друг друга с наступлением зимы или весны. Огненные приветы, огненные пожелания! Я сам много раз разжигал такой костер на утесе Хамирхо, что склонился над аулом Цада.

Не случайно первый завод в Дагестане назвали «Дагестанские огни». Теперь к кострам прибавилось много нового света. Птицы сидят на столбах, несущих электричество, так же просто, как на деревьях. Голуби не боятся электрических лампочек, горящих над скалами.

Однажды я видел, как горело Каспийское море. Целую неделю волны не могли потушить его. Это было недалеко от города Избербаша. Когда же огонь начал затухать и постепенно потух, это напоминало картину тонущего корабля.

Море может погаснуть, но огонь, горящий в груди Дагестана,— никогда. Разве огонь, горящий в груди человека, боится воды? Он даже ищет воды, он даже просит воды. Иссохшие, истрескавшиеся, опаленные, сожженные внутренним огнем губы разве не шепчут: «Воды, воды!»?

Значит, вода и огонь сопутствуют друг другу.

Моя мама любила говорить: очаг — это сердце дома, а родник — сердце аула.

Горы просят огня, а долины просят воды. Дагестан — это и горы и долины, он просит и огня и воды.

Если человек, выходя в путь или возвращаясь домой, глядится, словно в зеркало, в родник на краю аула, значит, этот человек в сердце носит любовь, огонь. Так говорит поверье.

Но весь Дагестан не глядится ли в светлое зеркало Каспийского моря? Не похож ли он на статного горячего юношу, только что вышедшего из воды?

Склонился мой Дагестан над Каспием, будто горец над родником, и поправляет свой наряд, подкручивает усы.

Горское проклятье гласит: «Пусть подохнет конь у того человека, который опоганил родник». И еще: «Пусть высохнут все родники вокруг твоего дома». А вот похвала горцев: «Должно быть, хороший народ в этом ауле: родник и кладбище держат в порядке, в чистоте».

Много родников и колодцев вырыто у нас в честь павших людей, они даже носят их имена: родник Али, родник Омара, колодец Хаджи-Мурата, родник Махмуда.

Когда утром и вечером с кувшинами на плечах девушки идут к родникам, юноши тоже приходят сюда, чтобы выглядеть и выбрать себе невесту. Сколько любовных чувств загорелось около родников, сколько будущих семейных уз завязалось здесь!

Ты не знаешь, о ком песня моя сложена?
Подойди к роднику, сам увидишь, о ком она.

Так написал наш поэт Махмуд.

Однажды по дороге в горы я остановился у Гоцатлинского родника. Вижу, путник наклонился и горстями пьет светлую воду, приговаривая:

— Ах, благодать!

— Возьмите кружку,— предложил я ему.

— Я в перчатках не ем,— ответил путник.

Отец любил говорить: нет музыки слаще шума дождя и шума реки. Никогда не устанешь слушать и глядеть на текущую воду.

Весной, когда в горах начинают таять снега, моя мать могла часами глядеть на мчащиеся в долину ручьи. Еще зимой начинала готовить она кадушки, чтобы летом ставить их под желоба и собирать дождь.

И у меня самым любимым занятием было шлепать босиком по дождевым лужам. Не боясь дождя, мы делали запруды, преграждая ручьям дорогу и заставляя их собираться в прудики.

Представляю, какое наслаждение испытывают птицы, когда пьют дождевую воду из каменных чаш.

Шамиль говорил своим бойцам: «Пусть враг взял уже весь аул, захватил все наши поля. Но родник еще у нас, мы победим».

Суровый имам при нападении вражеского отряда приказывал прежде всего защищать аульский родник. Нападая на противника, он приказывал захватить в первую очередь родник.

Раньше, если кровник обнаружит своего кровника купающимся в реке, он не тронет его до тех пор, пока тот не выйдет из воды, не денет оружия.

Но чаще я вспоминаю другой, совсем мирный обычай, связанный тоже с водой. Называется этот обычай «дождевой ослик».

«В полдневный жар в долине Дагестана» — это написано не зря. Жесток и иссушающ бывает у нас полдневный жар. Трескается земля, от скал пышет, как от раскаленных печей. Никнут деревья, засыхают поля. Все тоскуют по небесной воде, по дождю: растения, птицы, овцы и, конечно, люди. Тогда берут аульского мальчика и наряжают его, словно какого-нибудь индейца, в одежду из разных поблекших на солнце трав. Это и есть «дождевой ослик». На веревке водят его по аулу такие же дети, как и он сам, распевая песню-молитву:

Господи, господа, дождик нам пошли,
Пусть вода польется от неба до земли!
Заурчит, забулькает в наших желобах,
Дождика, дождика нам пошли, аллах!
Выходите в небо, тучи, облака,
Лейся, лейся с неба, дождик, как река!
Выймется чисто добрая земля,
Вновь зазеленеют добрые поля!

Взрослые жители аула высыпают на улицу, подбегают к «дождевому ослику», обливают его водой — кто из кувшина, кто из таза и, вторя детской песенке, говорят: «Аминь, аминь!»

Один раз и я был «дождевым осликом». На меня вылили столько воды, что, право, хватило бы на половину дождя.

Но небеса редко внимали нашим песенкам. Солнце продолжало палить. Оно утетило наш Дагестан, словно горячим утюгом. Солнце порождало печаль. Мы так и звали его — печальное солнце. И лежала земля под печальным солнцем сотни, тысячи лет. Если взять Европу, то больше всего солнечных дней падает на дагестанский аул Гуниб. И мой аул Цада тоже не уступает ему. Да и другие аулы. Не зря их называют «жаждущими воды».

Вспоминаю усталое лицо матери, когда она возвращалась с кувшином воды на спине и с кувшинчиком воды в руке. В трех километрах от аула была вода.

Вспоминаю радостное лицо матери, когда шел дождь, когда земля становилась мокрой, а по желобам урчала вода и кадки, стоящие под желобами, были полны — вода из них переливалась через край.

Вспоминаю старую, согбенную аульчанку Хабибат. Каждое утро с киркой на плече уходила она за пределы аула и то тут, то там начинала ковырять землю. У нее была мания найти воду, и она постоянно искала ее.

Все знали, что она старается напрасно, но никто ничего ей не говорил, только я, несмышленный мальчишка, однажды сказал:

— Напрасно ты стараешься, тетушка Хабибат, напрасно работаешь, здесь нет никакой воды.

Мой отец сильно на меня рассердился.

— Но там и правда нет никакой воды.

— Бывает, что у людей нет хлеба. Но разве можно над этим смеяться? Запомни, сын мой: нельзя смеяться над бедностью и над теми, кто ищет воду.

— Но ты и сам написал веселые стихи о том, как инквачулинцы пытались увеличить мост, чтобы к ним больше притекало воды.

— Это смех сквозь слезы. Молодым этого не понять. Ты еще не знаешь, что такое для Дагестана вода. Какой должна быть мечта у

тетушки Хабибат, чтобы искать воду там, где ее нет. Но лучше помолчи — идет дождь.

В это время действительно шел мелкий, шуршащий дождь.

- Птицы, что молчите вы с рассвета?
- Дождь идет, мы слушаем его!
- Почему молчите вы, поэты?
- Дождь идет, мы слушаем его!

(Перевел Н. Гребнев)

Отец всегда говорил, что самым радостным днем в его жизни был день, когда в аул пришла вода по трубам с далекой горы. До этого каждый день вместе со всеми отец работал киркой, строя водопровод. Я хорошо помню этот день воды. Когда вода потекла, отец запретил бросать в нее даже цветы.

Аульцы выбрали столетнюю женщину для того, чтобы она наполнила первый кувшин. Старая горянка набрала воды и первую кружку из своего кувшина поднесла моему отцу.

Награжденный орденами и премиями, отец сказал, что такой драгоценной награды он не получал никогда. В тот же день он написал стихи о воде. Он обращался к птицам, чтобы они больше не хвалились, что и мы, горцы, теперь пьем воду не хуже их. Он говорил, что на всех свадьбах и праздниках не слышал мелодии чище и слаще, чем журчанье воды. Он уверял, что ни один иноходец, ни одна молодая кобылица не обладают такой плавной походкой, как женщина, идущая теперь за водой. Он благодарил кирку и лопату, водопроводные трубы и революцию. Он вспоминал время, когда зимой около очагов растапливали снег, чтобы сделать запас воды; тогда от постоянных тяжелых кувшинов преждевременно горбились наши горянки. Да, это был для отца великий день!

Вспоминаю также июльскую жару в Махачкале. Отец тяжело болен, окружен докторами и лекарствами. Он говорит: «Тяжело мне. Десятки щипцов и клещей тянут мое тело в разные стороны».

Лекарства он уже не пил, считая, что пить их и поздно и бесполезно. Даже подушку не давал нам поправить, не видя в этом никакой пользы. Когда же ему стало совсем плохо, он подозвал меня и сказал:

— Есть одно лекарство... От него мне станет лучше.

— Какое?

— В ущелье Буцраб маленький колодец... Родник... Я сам открыл... Оттуда глоток воды...

На другой день горянка в кувшине привезла воду из этого родника. Отец отпил, закрыв глаза.

— Спасибо тебе, мой доктор.

Мы не стали переспрашивать, кого он имел в виду: воду, горянку, родник в далеком ущелье или всю родную землю, породившую этот родник.

Мама говорила мне: каждый должен иметь свой заветный родник. Она говорила также, что жница никогда не устанет, если вблизи поля журчит холодный родник.

Живет в преданиях молва, что еще в молодости Шамиль и его учитель Кази-Магомед были окружены врагами в Гимринском ущелье, в боевой башне. Шамиль прыгнул вниз на вражеские штыки и кинжалом расчистил себе дорогу. Девятнадцать ран получил он тогда, но все-таки ушел, убежал в горы. Горцы считали, что он погиб. И когда он появился в ауле, его мать, успевшая уже одеться в траур, спросила с удивлением и радостью:

— Шамиль, сын мой, как же ты выжил?

— Набрел в горах на родник,— ответил Шамиль.

А когда горцы услышали, что их имам, их старый Шамиль, умер в Аравийской пустыне, упав с верблюда, то они говорили, сидя в аулах на своих порогах:

— Не оказалось поблизости дагестанского родника.

В Нухе я был на могиле Хаджи-Мурата, видел надгробный камень и надпись на нем «Здесь похоронен лев Дагестана». Видел я и отсеченную голову этого льва.

— Как же ты, голова, лишилась тела?

— Запуталась, заплуталась на дороге к Дагестану, к родине, роднику.

Мой аул расположился у подножия горы. Пред ним ровное плато, на котором вдаль виднеется крепость Хунзах. Со всех сторон на почти-тельном расстоянии окружают крепость аулы. Во все стороны ощерилась она амбразами и бойницами: угрожает, сдерживает, глядит. Из амбразур частенько вылетали пули в беспокойных и непокорных горцев. Не раз вспархивали и тревожно кружились от ее выстрелов голуби в моем ауле Цада. «У кого самый опасный взгляд и самый громкий голос? — спрашивали горцы.— У Хунзахской крепости».

Но к моим временам грозность Хунзаха осталась только в легендах да пересказах. Через ее амбразуры мы, школьники, кидали друг в друга яблочными огрызками либо снежками. А то еще трубили в пионерские трубы (горны), заставляя, впрочем, тоже вспархивать голубей в окрестных скалах. Да в Хунзахе помещалась школа, в которой я учился семь лет.

Куда бы я ни ездил теперь, где бы ни находился, сквозь гремящие симфонии, сквозь танцевальные ритмы я слышу серебристую музыку моего детства, веселый звон школьного колокольчика, особенно веселый, когда он оповещал окончание урока. Он и сейчас слышится мне и зовет уже не в коридор, не на улицу, не вон из школы, а, напротив, в школу, в класс, в общежитие.

В нашем классе нас было тридцать. Один раз в месяц каждый из нас освобождался от уроков и становился водоносом. За провинность могли поставить на эту работу и на два дня. Впрочем, я и без провинности всегда таскал воду два дня подряд, потому что мой друг и сменщик Абдулгапур Юсупов всегда заболел, как только подходила его очередь. Помнится, мои дни падали на 7—8 число каждого месяца.

Родник находился за пределами крепости. Туда идти было легко: во-первых, пустое ведро, во-вторых, по тропе, круто сбегаящей вниз. Нетрудно догадаться, что на обратном пути все резко менялось. К тому же орава школьников ждала меня в узком закоулке, вооруженная алюминиевыми кружками. Им хотелось пить. Они бросались к моему ведру, половину вычерпывали, половину расплескивали: легко ли было от них отбиться. А я обязан был донести воду до школы.

Много легенд существует об этом роднике. Вот одна из них, как мне рассказал ее мой отец.

Стены крепости испещрены пулями. На ее башнях много раз смеяли друг друга то зеленые, то красные знамена. В дни гражданской войны крепость то и дело переходила из рук в руки: то белые захватят, то красные отобьют, то в ней засядет Гоцинский, то партизаны Муслима Атаева. Партизаны шесть месяцев защищали крепость от врагов. Но каждый день на два часа прекращалась стрельба. В эти часы жены защитников крепости уходили за ее стены по воду. Однажды полковник Алиханов сказал полковнику Джафарову:

— Давай не пустим женщин к роднику. Пусть отряд Атаева подохнет от жажды.

Полковник Джафаров ответил:

— Если мы будем стрелять в женщин, идущих за водой, то весь Дагестан отвернется от нас.

Так, пока женщины не возвращались с родника, обе стороны соблюдали негласное перемирие...

Когда моей, больной тогда, матери сказали, что ее сыну присудили Ленинскую премию, она вздохнула и ответила: «Хорошая весть. Но я бы обрадовалась больше, если бы услышала, что сын помог бедному человеку или сироте. Пусть отдаст эти деньги для проведения воды в какой-нибудь жаждущий аул. И люди похвалят. Его отец, когда получил премию, отдал все деньги на то, чтобы искали новые родники. Где родник, там и тропинка, где тропинка, там и дорога. А дорога нужна всем и каждому. Без дороги человек не найдет свой дом, скатится в пропасть».

Мой отец всегда повторял, что я родился в тот год, когда в Дагестане прорыли первый канал. Его прорыли от Сулака до Махачкалы. «Без воды нет жизни» — этот лозунг, написанный на фанерном листе, несли с собой строители канала.

Вода! Вот сочатся скалы, словно их выжимает чья-то могучая рука. Вот потоки стремительно мчатся с гор, прыгают через камни, бросаются со скал, режут в теснинах, словно раненные звери, режутся на зеленых долинах, словно ягнята.

Четырьмя серебряными поясами опоясан мой Дагестан — четырьмя Койсу. Как родных сестер встречают их Сулак и Самур. А потом все они — дагестанские реки — обнимают море.

Огонь и вода — судьба народов, огонь и вода — отец и мать Дагестана, огонь и вода — хурджин², в котором лежит все наше добро.

К престарелым и одиноким людям у нас в Дагестане приходят юноши и девушки, чтобы помочь, сделать что-нибудь по дому, по хозяйству. Что же они делают в первую очередь? Рубят дрова для огня и приносят в кувшинах воду. Черные вороны каким-то чутьем знают, в которой сакле потух очаг, они тотчас слетаются и начинают каркать.

Огонь и вода — вот две подписи, два символа, которые стоят под соглашением о сотворении Дагестана.

Половина дагестанских сказок — о смелом юноше, который убил дракона и принес огонь, чтобы в ауле было тепло и светло.

Вторая половина дагестанских сказок — о мудрой девушке, которая хитростью усыпила дракона и принесла воду, чтобы в ауле напились люди и чтобы оросились поля.

Драконы, умерщвленные смелым юношей и мудрой девушкой, превратились в горы, в коричневые каменные горные хребты.

Даг — означает гора, стан — означает страна. Дагестан — страна гор, страна-гора, горная страна, гордая страна — Дагестан.

Как ребенок, что учится читать по складам,
Лепетать, повторять, говорить не устану:
Даг-е-стан, Даг-е-стан,
Кто и что? Дагестан.
А о ком? Все о нем.
А кому? Дагестану.

Немало драконов пришлось победить маленькому народу, чтобы всегда иметь огонь и воду. Реки теперь дают свет, вода превращается в огонь. Два изначальных символа сливаются в один.

² Хурджин — двойная сумка, мешок, перевязанный посредине, чтобы удобнее было класть на коня, подобие переметной сумы.

Очаг и родник — самые дорогие для горца слова. О смелом человеке скажут: «Не человек, а огонь». О бездарном, никчемном человеке скажут: «Потухшая лампа». О плохом человеке скажут: «Он из тех, кто способен плюнуть в родник».

Поднимая чашу с вином, скажем и мы:

Слава тем, кто воспеть по достоинству смог
И очаг и родник — два великих начала.
Трижды слава, кто сам хоть лучинку зажег,
У кого под лопатой вода зажурчала.

Старый горец спрашивал молодого:

- Видел ли ты в своей жизни огонь, прошел ли через него?
- Я бросался в него как в воду.
- Да приходилось ли тебе знать, что такое ледяная вода, приходилось ли бросаться в нее?
- Как в огонь.
- Ну тогда ты уже взрослый горец. Седлай коня, беру тебя в горы.

Поссорившись, один горец говорил другому:

- Разве дым над моей крышей тоньше, чем над твоей? Разве я ходил к кому-нибудь занимать воду? Если ты так считаешь, пойдем вон за ту скалу, там поговорим с глазу на глаз.

А на дверях я видел надпись: «Огонь в очаге горит, входите в гости». Как жалко, что нет у Дагестана таких ворот, на которых можно было бы написать эти слова: «Огонь в очаге горит, входите в гости».

Огонь и правда горит. Не ради шутки, не ради красного словца приглашаем вас: не стесняйтесь, входите, горит огонь в очаге и светла вода в родниках, милости просим!

Дом

Аварское слово «ригь» имеет два разных значения: «возраст» и «дом». Эти два значения для меня сливаются в одно. Возраст — дом. Достиг возраста, должен иметь свой дом. Если произнести эту пословицу по-аварски (а у нас есть такая пословица), получается непереводаемая игра слов: «ригь — ригь», возраст — дом.

Ну что ж, Дагестан давно уж, надо полагать, достиг зрелого возраста, поэтому у него есть законное и твердое место под солнцем.

Я часто спрашивал у матери:

- Где Дагестан?
- У тебя в колыбели, — отвечала мудрая мать.
- Где твой Дагестан? — спросили у одного андийца.

Андиец растерянно оглянулся вокруг.

Этот холм — Дагестан, эта трава — Дагестан, эта река — Дагестан, этот снег на горе — Дагестан, это облако над головой, разве оно не Дагестан? Тогда и солнце над головой разве не Дагестан?

— Мой Дагестан — везде! — ответил андиец.

В 1921 году, после гражданской войны, аулы наши были разорены, люди голодали и не знали, что будет дальше. Тогда-то делегация горцев и отправилась к Ленину. В кабинете у Ленина посланники Дагестана, ничего не говоря, начали разворачивать большую карту мира.

— Зачем вы принесли эту карту? — удивился Ленин.

— У вас много забот о разных народах, вы не можете запомнить кто где живет, а мы хотим показать, где находится Дагестан.

Но сколько ни искали горцы, не могли найти родной край, заплутались на большой карте, потеряли маленький уголок земли. Тогда Ленин сразу, не задумываясь, показал горцам на карте то, что они искали.

— Вот это и есть ваш Дагестан.— И весело рассмеялся.

«Да, голова»,— подумали горцы и рассказали Владимиру Ильичу, как до этого они были у наркома и тот все допытывался у них: где же находится Дагестан? Сотрудники наркома строили разные предположения. Один говорил, что это где-то в Грузии, другой — в Туркестане. Один даже утверждал, что именно в Дагестане воевал с басмачами.

Ленин рассмеялся еще больше:

— Где, где, в Туркестане? Поразительно. Бесподобно.

Тотчас он снял трубку и разъяснил этому наркому, где находится Туркестан, а где Дагестан, где басмачи, а где мюриды.

В комнате Ленина, в Кремле, и до сих пор висит большая карта Кавказа.

Теперь Дагестан — республика. Мал он или велик, не имеет значения. Такой как нужно. У нас-то в стране теперь, пожалуй, никто не скажет, что Дагестан находится в Туркестане, но в какой-нибудь далекой стране приходилось мне вести разъяснительные разговоры вроде этого:

— Откуда вы к нам приехали?

— Из Дагестана.

— Дагестан... Дагестан... Это где же такое?

— На Кавказе.

— На востоке или на западе?

— На берегу Каспийского моря.

— А, Баку!

— Да нет, не Баку. Немного северней.

— Кто же ваши соседи?

— Россия, Грузия, Азербайджан...

— Но разве не черкесы живут в этом месте? Мы думали, что черкесы.

— Черкесы живут в Черкесии, а дагестанцы живут в Дагестане. Толстой... Хаджи-Мурат... Толстого читали? Бестужев-Марлинский... Лермонтов, наконец: «В полдневный жар в долине Дагестана...»

— Это где Эльбрус?

— Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Казбек — в Грузии, а у нас... у нас аул Гуниб... Ну и Цада.

Так порой приходится говорить мне в какой-нибудь далекой стране. Но ведь известно: для того чтобы поняла невестка, ругают кошку. Может найтись и у нас какой-нибудь верхогляд, который до сих пор думает, что в Дагестане живут черкесы, или, вернее, совсем ничего не думает.

Приходилось мне уезжать далеко, участвовать в разных конференциях, конгрессах, симпозиумах.

Собираются люди с разных континентов: из Азии, из Европы, из Африки, из Америки, из Австралии. Там, где все меряется на континенты, я все равно говорю, что я из Дагестана.

— Вы представитель Азии или Европы, уточните, пожалуйста,— просят меня.— На каком континенте расположен ваш Дагестан?

— Одна моя нога стоит в Азии, а другая в Европе. Бывает, что на шею коня положат руки сразу двое мужчин — с одной стороны и с другой стороны. Точно так на хребет дагестанских гор положили с двух сторон руки два континента. Руки их соединились на моей земле, и я рад.

Птицы и реки, туры и лисы, все прочие звери принадлежат одновременно и Европе и Азии. Мне кажется, они создали комитет единства Европы и Азии. Я со своими стихами охотно сделался бы членом такого комитета.

Однако иные люди как бы назло мне говорят: «Что с тобой делаешь, ты — азиат». Или, напротив, где-нибудь в глубине Азии скажут: «Что с тебя спрашивать, ты — европеец». Я не опровергаю ни тех, ни других. Все правы.

Другой раз начнешь объясняться в любви, а женщина покачает головой и скажет:

— Ах, этот лукавый, коварный Восток!

А другой раз придут дагестанские гости, заметят что-нибудь в твоём поведении, покачают головами:

— Ах, эти европейские штучки!

Ну что ж, Дагестан любит Восток, но и Запад не чужд ему. Он как дерево, которое пустило корни в землю двух континентов.

На Кубе я подарил Фиделю Кастро нашу бурку.

— Почему нет пуговиц? — спросил удивленно Фидель.

— Чтобы в случае нужды быстрее сбросить с плеч и схватиться за саблю.

— Настоящая партизанская одежда, — согласился партизан Фидель Кастро.

Нет смысла сравнивать Дагестан с другими странами. Ему хорошо на своем месте. Крыша не течет, стены не покривились, двери не скрипят, в окна не дует. В горах тесно, зато в сердце широко.

— Ты говоришь, что моя земля маленькая, а твоя большая? — спрашивал андиец у одного человека. — Тогда давай поспорим: чью землю скорее обойдем пешком. я твою или ты мою? Погляжу я, как ты будешь взбираться на наши вершины, как будешь карабкаться на наши скалы, как будешь ползать по нашим ущельям, как будешь кувиркаться в наши пропасти!

Я поднялся на самую высокую вершину Дагестана и смотрю во все стороны. Разбегаюся вдаль дороги, мерцают вдали огни, где-то еще дальше звонят колокола, земля скрывается в синей дымке. Хорошо мне смотреть на мир, чувствуя под ногами родную землю.

Когда человек рождается, он не выбирает себе родину — какая достанется. У меня тоже никто не спрашивал, хочу ли я быть дагестанцем. Может статься, если бы родился в другом месте земного шара, от других матери и отца, не было бы мне земли дороже той земли, где я мог бы родиться. У меня не спрашивали. Но если спросят теперь, что я должен ответить?

Слышу, вдали играет пандур. Знакомая мелодия, знакомы мне и слова.

Ручьи всегда тоскуют по морям,
Но и моря тоскуют по ручьям.

В ладонях сердце можно уместить,
Но в сердце целый мир не уместить.

Другие страны очень хороши,
Но Дагестан дороже для души.

Не пандурист, а сам Дагестан гласит его устами.

Кто увидел и недоволен мной,
Пускай к себе воротится домой.

Старинный обычай: в долгие зимние ночи собираются молодые люди в чьей-нибудь сакле, какая попросторнее, и заводят разные игры. Посадят, например, на стул парня. Вокруг него ходит девушка и поет.

А он должен ей отвечать. Потом девушку посадят на стул, а парень ходит и поет. Эти песни не совсем похожи на частушки, но есть что-то общее. Получается своеобразный диалог между поющими. На острое словцо надо ответить еще более острым словцом, меткий вопрос требует меткого ответа. Кто выигрывает в состязании, тому дают полный рог вина.

Такие игры происходили и в нашем доме, в нижнем этаже. Я был маленький и не участвовал в играх, только слушал. Помню, что около очага стояло пенистое вино и лежала жареная домашняя колбаса. Посредине комнаты ставили стул на трех ножках. Девушки и юноши сменяли друг друга. Разные велись между ними песенные разговоры. Но под конец диалог посвящался Дагестану. На эти вопросы отвечали хором все, кто был в комнате.

- Ты где, Дагестан?
- На высокой скале, у реки Койсу.
- Что ты делаешь, Дагестан?
- Закручиваю усы.
- Ты где, Дагестан?
- В долине ищи меня.
- Что ты делаешь, Дагестан?
- Стою снопом ячменя.
- Ты кто, Дагестан?
- Я — мясо, поддетое на кинжал.
- Ты кто, Дагестан?
- Кинжал, что мясо собой пронзал.
- Ты кто, Дагестан?
- Олень, что пьет речную струю.
- Ты кто, Дагестан?
- Я река, я оленя пою.
- Ты какой, Дагестан?
- Я маленький, весь умещусь в горсти.
- Ты куда отправился, Дагестан?
- Что-нибудь больше хочу найти.

Так распевали молодые люди, отвечая друг другу. Иногда мне кажется, что во всех моих книгах такие же вопросы-ответы. Только нет девушки на стуле, вокруг которой я бы ходил. Сам себя спрашиваю, сам себе отвечаю. Никто не поднесет и рога с вином, если получается удачный ответ.

- Ты где, Дагестан?
- Я там, где все мои горцы.
- Где же находятся твои горцы?
- А! Где их теперь только нет!
- Мир — большое блюдо, а ты лишь маленькая ложка. Не слишком ли она мала для такого блюда?

Говорила же моя мать, что и маленький рот может сказать большое слово.

Говорил же мой отец, что и маленькое деревце украшает большой сад.

Говорил же Шамиль, что маленькая пуля пробивает большой корабль. Да ты и сам говорил в стихах о том, что маленькое сердце вмещает огромный мир и большую любовь.

- Почему всегда, поднимая бокал, ты говоришь: «За добро!»?
- Потому что сам ищу добро.
- Зачем ты строишь дома на камнях и скалах?
- Жалко мягкую землю. Там я выращиваю немного хлеба. Даже на плоских крышах я выращиваю свой хлеб. Таскаю землю на скалы и там выращиваю свой хлеб. Такой уж у меня хлеб.

Три сокровища Дагестана

Горцы — вечные путники. Одни отправляются в путь за богатством, другие — за славой, третьи — за правдой.

И вот те, что вышли за богатством, вернулись, добыв его, и теперь наслаждаются результатами своего похода.

И вот те, что вышли за славой, добыли ее и теперь живут, поняв, что она ничего не стоит и что напрасно были употреблены такие усилия.

Но у тех, кто вышел за правдой, оказалась самая длинная, бесконечная дорога. Кто вышел на поиски правды, тот обрек себя на вечное пребывание в пути.

Когда горец отправляется куда-нибудь, он, конечно, берет с собой и осла. На спине этого доброго животного всегда видишь привязанными три вещи: наполненный чем-то большой мешок, тут же, рядом, небольшой бурдючок и тут же, рядом, еще кувшинчик.

Сотни лет находится горец в пути, переходит из аула в аул, из округа в округ. Перед ним шагает его неизменный осел, а на спине у осла мешок, бурдючок и кувшинчик.

В одном богатом краю, когда горец отошел от осла, сытые бездельники начали мучить бедное животное. Кололи его острой палкой, колючками, заставляли взбрыкивать. Негодяям казалось, что осел пляшет от их уколов.

Горец увидел, что над его верным другом издеваются, и обнажил кинжал.

— Лучше бы вы раздразили медведя, чем горца, — сказал он.

Но молодые лоботрясы испугались, попросили прощения и кое-как разными добрыми словами добились того, что горец спрятал свой кинжал. Когда начался мирный разговор, молодые люди спросили:

— Что это навьючено на твоём осле? Продай нам.

— У вас не хватит ни золота, ни серебра, чтобы купить это.

— Назначь свою цену, а там посмотрим.

— Этому не может быть цены.

— Что же такое в твоих мешках, чему нет никакой цены?

— Моя родина, мой Дагестан.

— Родина навьючена на осла! — расхохотались молодые люди. — Ну-ка, ну-ка, покажи свою родину!

Горец развязал мешок, и люди увидели в нем обыкновенную землю.

Впрочем, земля была не обыкновенная. На три четверти она состояла из камней.

— И это все?! Это и есть твоё сокровище?

— Да, это земля моих гор. Первая молитва моего отца, первая слеза моей матери, первая моя клятва, последнее, что оставил мой дед, последнее, что я оставляю своему внуку.

— А это еще что?

— Сперва завяжу мешок.

Завязав и уладив мешок на спине осла, горец открыл кувшин, и все увидели, что там простая вода. Впрочем, вода оказалась солоноватой на вкус.

— Ты возишь воду, которую нельзя даже пить!

— Это вода из Каспия. Как в зеркало смотрится Дагестан в это море.

— Ну, а что в бурдючке?

— Дагестан состоит из трех частей: первая — земля, вторая — море, а третья — все остальное.

— Значит, в бурдючке у тебя все остальное?

— Да, это так.

— Ну и зачем ты возишь с собой этот груз?

— Чтобы родина всегда была со мной. Если умру в пути, могилу посыплют землей, надгробный камень омоют морской водой.

Горец взял щепотку родной земли, растер ее в пальцах и потом сполоснул пальцы водой из кувшина.

— Зачем ты так делаешь?

— Руки, которые прикасались к рукам бездельников, нужно мыть только так.

Горец отправился дальше. Он и сейчас в пути.

Итак, три сокровища Дагестана: горы, море и все остальное. И три песни у горца. И три молитвы у молящегося. И три цели у путника: богатство, слава и правда.

Мама внушала в детстве: Дагестан — это птица и три драгоценных пера у нее в крыле.

Отец говорил: из трех драгоценностей три мастера сшили наш Дагестан.

Конечно, на самом деле вещей и предметов, из которых состоит Дагестан, гораздо больше. Я убедился в этом на горьком опыте.

Лет двадцать пять тому назад мне поручили написать киносценарий о Дагестане, и я его написал. Началось обсуждение сценария. Много речей было произнесено тогда.

Одни говорили — не хватает цветов, другие говорили — не хватает пчел, третьи говорили — не хватает деревьев. Каждому чего-нибудь не хватало. То мало показано прошлое, то слабо показано настоящее. В конце концов выяснилось, что нет в сценарии ослицы с осликом ахальчина, а без этого какой же Дагестан!

Если бы показать все, о чем тогда говорилось, фильм снимался бы до сих пор.

И все-таки Дагестан состоит из трех частей: горы (земля), море (Каспий) и все остальное.

Да, земля — это горы, ущелья, горные тропинки, скалы. И все же это родная земля, орошенная потом и кровью предков. Неизвестно, чего больше, пота или крови, пролилось здесь. Длинные войны, короткис стычки, кровная месть... Кинжалы у горцев висели на протяжении столетий не только ради красоты.

В народной песне поется:

Там, где высеешь сах³ зерна,
Десяти джигитов кровь пролита.
А где высеешь кали⁴ зерна,
Тех джигитов считай до ста.

Мой отец писал о нашей земле:

Много мертвых тут похоронено,
Но убитых больше, чем умерших.

В учебнике географии дана короткая справка о том, что треть нашей земли занята неплодородными скалами.

Я тоже написал об этом:

Там уже поблекшие долины,
Там деревья голы, как рога,
Там высоких гор верблюжьи спины
И потоков горных берега.
Там, как волки, вгрызшиеся в стадо,
Злятся волны бешеной реки,
Там со львиной гривой водопады,

³ Са х — мера веса, около трех килограммов.

⁴ Ка ли — мера веса, около пятнадцати килограммов.

С птичьими глазами родники.
Там дорога между скал отвесных
Словно вытекает из камней.
Там из-за бугра выходит песня,
На версту опередив людей.

Утром радио сообщает, что в Хунзахе снегопад, в Ахтах идет дождь, в Дербенте цветут абрикосовые деревья, в Кумухе стоит жара.

Одновременно зима, осень, весна и лето в маленьком Дагестане. Отделяя эти «времена года» друг от друга, стоят горы, кремнистые, тихие, громыхающие, орлиные.

Аварское слово «меэр» имеет два значения: меэр — гора и меэр — нос.

Отец каламбурил: горы принимают к миру, к каждому событию, к каждой перемене погоды.

Равнины вздыбились, чтобы видеть, кто к ним идет. Так возникли горы. Это говорил Хаджи-Мурат.

Мать шептала над колыбелью: расти большой, как гора.

Горной речки глупая вода,
Здесь без влаги трескаются скалы,
Почему же ты спешишь туда,
Где и без тебя воды немало?
Сердце, сердце, мне с тобой беда,
Что ты любящих любить не хочешь,
Почему ж ты тянешься туда,
Где с тобою мы нужны не очень?

(Перевел Н. Гребнев)

А еще моя мама всегда говорила, когда видела балхарцев, продающих кувшины, горшки и плошки: «Как им не жалко было истратить столько земли? Глаза бы не глядели на тех, кто продает землю!»

Конечно, балхарцы — искусные мастера, но в горах, где так мало земли, всегда считали, что сама земля дороже, чем их кувшины.

В давние времена гонец ворвался в аул. Мужчины все находились в это время в мечети, совершали намаз. Всадник, как был в чарыках (он был чабан), вбежал в мечеть.

— Эй, глупец, вероступник, — закричал мулла, — ты что, не знаешь, что, прежде чем войти в мечеть, надо разуться?

— На моих чарыках земля, пыль родного ущелья. Она дороже этих ковров, потому что на нее напал враг.

Горцы выбежали из мечети и повскакали на коней.

«Дальний гость дороже», — любит говорить Абуталиб. Издалека гостя приводит большая радость, большая любовь или большое горе. Равнодушный человек издалека не приедет.

Есть и обычай: если гостю понравилось что-нибудь в твоём доме и он похвалит — плачь, а дари. Говорят же, что один юноша подарил своему кунаку даже невесту, которому та приглянулась у аульского родника. Но тот юноша был горцем, должно быть, на двести процентов, он был сверхгорцем.

Нахальный гость всегда может воспользоваться нашим древним обычаем. Но и горцы стали умнее: красивые вещи убирают подальше от глаз гостей.

Так вот, давно еще приехал в аул гость из Кумуха и стал хвалить все подряд. Ему подарили все, на что позарились его глаза. Но все же, прежде чем проводить, заставили очистить сапоги от земли.

«Землю не дарят, — сказали горцы при этом, — земли нам самим не хватает. Разнесут всю землю на сапогах, на чем будем сеять хлеб?»

Один чужестранец назвал нашу землю каменным мешком.

Да, в ней маловато нежности. Не часто попадаются деревья в горах. Горы похожи на бритые головы мюридов, на покатые, гладкие плечи слонов. Мало земли для пашни, скуден и урожай, вырастающий на ней.

Говорили раньше: «Урожая у этого бедняка не хватит, чтобы набить поздри соседа».

Правда, и носы у горцев выдающиеся, грандиозные носы. Неприятель издалека по храпу узнавал, что горцы спят, и по этому признаку иногда нападал врасплох.

Абуталиб сказал, увидев изъеденное оспой лицо: все зерна с поля моего отца вьелись в лицо бедняка, чтобы оставить на нем свои следы.

Бедна и мала земля горцев. Об этом есть и рассказ, может быть уже слышанный не однажды, потому что давно он гуляет по свету с одного языка на другой язык, с одной плоской крыши на другую плоскую крышу. Но не могу не рассказать его и я. Пусть ругают меня, кто слышал.

Горец решил вспахать свое поле. Оно было далековато от аула, и он отправился туда с вечера, чтобы рано на рассвете взяться за работу. Пришел горец на место, расстелил бурку и лег спать. Утром встает, надо бы пахать, а поля нет. Туда-сюда, а поля нет как нет. Аллах ли его отнял, чтобы наказать горца за грехи, сатана ли спрятал, чтобы поглумиться над честным человеком.

Делать нечего. Погоревал горец и решил идти домой. Поднял бурку с земли, и — господи! — да вот же оно, его поле, под буркой!

Расскажу и еще один случай, только уж не притчу, а быль.

Как и везде в стране, в горах стали организовывать колхозы. Много было тогда колебаний, сомнений, раздумий и разговоров. Много перерезали скота, рассуждая: лучше сами съедим, нежели отдавать непонятному колхозу. Особенно упрямылись и спорили горцы в далеких горах. «Твое — тебе, а мое — мне, что же еще вы от нас хотите: чтобы и мое было тебе?» В одном маленьком ауле побывали двести уполномоченных — и все без толку. Одни попрыгали и не показывались на глаза, другие вступали в рассуждения. «Разве мало на свете общего, — говорили они. — Небо — общее, солнце — общее, дождь, снег, весна, река, дорога, кладбище. Хватит общего. Остальное пусть будет у каждого свое».

Когда горцам говорили, что колхозу дадут машины, они и тут качали головами, вспоминая притчу о лисе.

Бежит лиса по ущелью и видит, что на дороге валяется жирный курдюк. Подбежать бы и съесть. «Нет, — решает лиса. — Ни с того ни с сего курдюк на дороге валяться не будет. Что-то за этим кроется».

Говорили горцам и о том, что будут предоставлены колхозу обширные пастбища внизу, на равнине. Тут нашелся один старик, встал и заговорил, опираясь на палку:

— За все равнины мира мы не отдадим наши горные гнезда, наши жалкие клочки полей, наши кривые тропинки. Земля здесь — наша. Сотни лет мы выхаживали ее, как больного ребенка. Мы таскали ее на скалы и разравнивали там ровным слоем. Потом мы таскали воду, чтобы полить ее. Хлеб наш скуден, но каждое зернышко — бесценно. Вот почему в наших краях человек клянется на куске хлеба...

И все же колхоз в том упрямом ауле организовали. Каким же образом удалось убедить темных горцев?

В конце концов они узнали, что не вся земля отойдет в колхоз. Что часть земли останется в личном пользовании в виде приусадебных участков.

— Много ли? — поинтересовались упрямые горцы.

— По двадцать пять соток, согласно уставу сельхозартели.

— Что такое сотка, объясни нам.

И когда уполномоченный объяснил, все дружно заговорили:

— Э, пиши нас в колхоз, о чем разговор!

Оказалось, что поле каждого горца гораздо меньше принятой нормы приусадебного участка!

Бесценна для горцев их высокогорная каменная земля, хоть и трудна на ней жизнь. Путники удивляются, глядя на эти террасы полей, прилепившиеся на склонах гор, а то и на скалах, на сады, выращенные среди камней, на овец, растянувшихся по тропинке над пропастью и преодолевающих отвесные обрывы со сноровкой канатоходцев.

Все это необыкновенно красиво для глаз, создано, чтобы было воспето в стихах, но трудно поддается обработке и обживанию.

Однако предложите горцу переселиться на равнину, или, как теперь говорят, на плоскость, и он воспримет ваше предложение как оскорбление. Рассказывают, сын приехал из города и стал уговаривать старого отца уехать.

«Лучше бы ты живот пропорол мне кинжалом, чем терзать меня такими словами» — вот как ответил старый отец.

Проблема эта существует, и она очень сложна. Уже много лет брошен в аулы красивый лозунг: «Вылезем из каменных мешков и поселимся на цветочных коврах».

Этот лозунг дошел и до того упрямого аула, в который приезжали в свое время двести уполномоченных, чтобы организовать колхоз. При организации колхоза не было такого шума, как теперь, когда слышали лозунг о переселении. Каждый аулец произнес на этот счет свою фразу. Вот некоторые из них. «Если даже цепями потащите, не пойдем на плоскость!» «Мы как гвозди вколочены в эти скалы. Никто не имеет права вытаскивать нас из наших гнезд». «Разверзнутся могилы наших отцов, если мы покинем их и уйдем жить в другое место». «Нигде голове моей так не хорошо, как на своей подушке». «На родных камнях сон слаще, чем на чужих перинах». «А где я найду там камень, чтобы бросить в собаку?» «Лучше в горах у дымного очага, чем внизу у хорошей печи». «Кто заботится о животе, пусть идет туда, кто заботится о сердце — останется здесь». «Мы никого не убили, ничьих домов не сожгли, за что же обрекать нас на изгнание». «Машины могут работать и здесь». «Фонари на столбах могут висеть и здесь». «Телеграмма и отсюда дойдет». «Мы родились не для того, чтобы кормить комаров и мух». «Лучше дым кизняка, чем гарь бензина». «Горные цветы ярче». «Родниковая вода слаще водопроводной». «Никуда мы отсюда не пойдем!»

Так каждый горец ответил по-своему на лозунг «Вылезем из каменных мешков и поселимся на цветочных коврах».

Еще к моему отцу приходили горцы за советом: переселяться или оставаться? Отец побоялся дать определенный совет.

«Посоветуешь им остаться, потом узнают, что внизу жить хорошо, будут меня ругать. Посоветуешь им переселиться, жизнь окажется никудышной, опять меня будут ругать».

— Думайте сами,— сказал им тогда Гамзат Цадаса.

Времена меняются и жизнь тоже. Изменились не только головные уборы (фуражки вместо папахи), но и мысли под шапками у молодых людей. Смешиваются разные крови, разные племена и народы. Могилы наших сыновей все дальше и дальше от отцовских аулов... Камни, плиты, огромные камни, мелкие камни, округлые камни, острые камни. Чтобы вырастить на этих камнях что-нибудь, землю таскают снизу корзинами. Осенью и зимой травянистые склоны поджигали, чтобы лучше уродилась трава. Помню эти многочисленные огни в горах. Помню и праздник первой борозды. Весна. Старики кидают друг в друга комья земли.

О деятельном человеке у нас говорят: «Немало преодолел он гор и хребтов». О бездейственном утверждают: «Он ни разу не ударил киркой о камень».

«Чтобы тесно было колосьям на вашем поле» — самое дорогое пожелание горцев.

«Да иссохнет, омертвеет твоя земля» — самое большое проклятие.

«Клянусь этой землей» — самая крепкая клятва.

Осла, зашедшего на чужое поле, можно было безнаказанно убить. Один горец кричал: «Если даже осел Хаджи-Мурата ступит на мою землю — все равно берегись!»

В каждом ауле были свои законы. Но всюду самым большим штрафом каралась потрава поля, потрава земли.

Да и за потраву самого Дагестана история наших гор сурово наказывала в конце концов.

Помню, мать рассказала мне:

«Когда в горах Дагестана был разгромлен шах Ирана Надир, то, чтобы согласовать условия перемирия, для переговоров с шахом горцы послали самого уродливого, бедного и хромого старца, посадив его на такого же дряхлого мула.

— Неужели аварцы не нашли познатнее и поприсяжнее тебя, чтобы послать ко мне?

— Знатнее и важнее меня тысячи, — ответил старый горец, — но важные люди заняты более важными делами. Они решили, что к такому человеку, как ты, достаточно будет послать меня.

— Какого же возраста твой мул? — попытался пошутить шах.

— У шахов и мулов трудно определить возраст, — ответил горец.

— Кто ваш полководец? — спросил пришелец.

— Вот наши полководцы, — ответил спокойно старик и широким жестом указал на возвышающиеся вокруг скалы и горы, на поля и кладбища. — Это они ведут нас вперед.

— Ваши условия?

— Условие одно: землю горцев оставь горцам, а сам покажи нам свою спину, которая больше нам нравится, чем твое лицо.

Шах вынужден был повернуться и уйти в свой Иран.

Его предупредили: оставляем тебя и войско твое в живых только для того, чтобы рассказали о нашей победе. Оставляем тебя для вести — так принято у нас говорить. В другой раз перережем всех до единого».

В августе 1859 года на горе Гуниб имам Шамиль сошел с боевого коня и предстал перед князем Барятинским как великий пленник. Выставив левую ногу немного вперед и поставив ее на камень, а правую руку положив на рукоять сабли, бросив затуманенный взор на окрестные горы, Шамиль сказал:

— Сардар!⁵ Двадцать пять лет я воевал, отстаивая честь этих гор и этих горцев. Мои девятнадцать ран болят и не заживут никогда. Теперь я сдаюсь в плен и отдаю свою землю в ваши руки.

— Полно жалеть. Хороша твоя земля: одни скалы да камни!

— Скажи, сардар, кто же из нас был более прав в этой войне: мы ли, кто умирал за землю, считая ее прекрасной, вы ли, кто тоже умирал за нее, считая ее плохой?

Пленного Шамиля целый месяц везли в Петербург.

В Петербурге император его спросил:

— Как показалась тебе дорога?

— Большая страна. Очень большая страна.

— Скажи, имам, когда б ты знал, что Россия так велика и могуча, воевал бы ты против нее так долго или благоразумно и вовремя сложил бы оружие?

⁵ Сардар — заместитель.

— Вы же воевали с нами так долго, зная, что у нас маленькая и слабая страна!

У моего отца хранилось одно письмо Шамиля, вернее, его прощание. Вот оно:

«Мои горцы! Любите свои голые, дикие скалы. Мало добра они принесли вам, но без этих скал ваша земля не будет похожа на вашу землю, а без земли нет свободы бедным горцам. Бейтесь за них, берегите их. Пусть звон ваших сабель усладит мой могильный сон».

Шамиль не раз слышал звон и стук горских сабель, хотя дрались горцы уже за другое дело. Шире стала теперь родина дагестанцев. Могилы их разбросаны в далеких полях Украины, Белоруссии, Подмосковья, Венгрии, Польши, Чехословакии, на Карпатах и на Балканах, а также и под Берлином.

- Из-за чего дрались раньше люди одного аула?
- Из-за пяди земли между полями двух горцев, из-за маленького откоса, из-за камня.
- Из-за чего дрались раньше люди двух соседних аулов?
- Из-за пяди земли между полями аулов.
- Из-за чего воевал Дагестан с другими народами?
- Из-за пяди земли на границах самого Дагестана.
- Из-за чего потом воевал Дагестан?
- Из-за пяди земли на границах великой Страны Советов.
- За что теперь борется Дагестан?
- За мир во всем мире.

Вместе с Шамилем были пленены и два его сына. Судьбы их сложились по-разному. Младший сын, Магомед-Шафы, сделался царским генералом. Старший же, Гази-Магомед, оказался в Турции.

Однажды ко мне пришла пожилая женщина, одетая в турецкий наряд. Грузинка, она еще в молодости вышла замуж за турка и сорок лет прожила в Стамбуле. Потом муж умер, а женщина, оставшись одинокой, вернулась в Грузию. И вот она пришла ко мне. Причина ее прихода была следующая: живя в Стамбуле, она, оказывается, дружила с потомками Шамиля по линии его самого младшего сына.

— Как они живут? — спросил я.

— Плохо.

— Отчего?

— Оттого что у них нет Дагестана. Если бы вы знали, как они там скучают! Иногда их обижают чиновники, грозясь отобрать ту землю, которой они владеют. «Отбирайте,— говорят потомки имама.— Дагестана у нас все равно нет, а другая земля нам недорога». Узнав, что возвращаюсь на родину,— продолжала грузинка,— они просили меня навестить Дагестан, побывать в родном ауле Шамиля, в горах, где он воевал, а также найти вас. Они дали мне этот платок, чтобы вы завернули в него немного дагестанской земли и послали им.

Я развернул платок. На нем арабской вязью было вышито — «Шамиль».

Рассказ грузинки меня растрогал. Я пообещал послать землю. Об этом я советовался со многими стариками.

— Стоит ли посылать людям, живущим на чужбине, нашу землю?

— Другим бы не надо было посылать, но потомкам Шамиля пошли,— ответили старики.

Один старик принес мне горсть земли из аула Шамиля, и мы завернули ее в именной платок. Старик сказал:

— Пошли им нашу землю, но скажи, что каждая крупинка ее бесценна. Напиши им также, что жизнь на этой земле теперь изменилась, настали новые времена. Обо всем напиши, пусть знают.

Но писать мне не пришлось. Вскоре я сам поехал в Турцию. Захватил с собой и драгоценный подарок.

Я разыскал потомков Шамиля, но повидать их мне не удалось. Правнук имама, сказали мне, уехал куда-то, чуть ли не в Мекку. Правнучки Нажават и Нажият тоже не вышли ко мне. У одной, сказали, болит голова, у другой, сказали, сердечный приступ. Кому же отдавать мою землю? Были там еще аварцы, но они покинули Дагестан добровольно.

Тогда я понял, что их Шамиль и мой Шамиль — разные Шамили.

Вот в далекой Турции я держу горсть земли родного Дагестана. В этой шепоти земли я вижу наши аулы: Гуниб, Чиркей, Ахты, Кумух, Хунзах, Цада, Цунта, Чарада... Это моя земля. О ней я много писал и напишу. Ее теперь не накроешь буркой, как случилось с тем незадачливым горцем из старого смешного рассказа.

Второе сокровище Дагестана — море.

Происходят такие телефонные разговоры между Москвой и Гунибом.

— Алло, алло, Гуниб? Омар, это ты? Ты меня слышишь? Как день, как настроение?

— Слышу. У нас хорошо. Сегодня с утра видим море!..

Или:

— Алло, Гуниб? Это ты, Фатима? Как дела, как настроение?

— Так себе. Туман. Моря не видно.

— Не вижу моря, отец,— сказал и Джамалутдин, сын Шамиля.

Он был заложником у царя; воспитывался в Кадетском корпусе и по возвращении на родину считал борьбу отца и горцев против белого царя напрасной.

— Увидишь, сын мой,— ответил Шамиль,— только смотри моими глазами.

От горы Гуниб до моря сто пятьдесят километров. Каким ясным должен быть день, каким лазурным и ярким должно быть море, какими зоркими должны быть глаза, какой высокой должна быть гора, чтобы можно было просто сказать: «Вижу море».

Даже в тех аулах, откуда море никак нельзя увидеть, когда спрашивают о настроении, иногда отвечают: прекрасное настроение, будто море перед глазами.

Кто кого украшает: Каспийское море Дагестан или Дагестан Каспийское море? Кто кем гордится: горцы морем или море горцами?

Когда вижу море, вижу весь мир. Когда оно волнуется, кажется, и всюду в мире неспокойная, бурная погода. Когда оно молчит, кажется, и везде царит тишина.

Я пришел к нему еще мальчиком, спустившись по крутым и витиеватым горным тропинкам. С тех пор окна моего дома всегда открыты в сторону моря. Но и окна самого Дагестана глядят туда же.

Когда не слышу морского шума, засыпаю с трудом.

— А ты, Дагестан, почему не спишь?

— Море не шумит, нету сна.

Про яркий цвет говорим — как море. Про сильный шум говорим — как море. Про широкие поля ржи говорим — как море.

Про глубину мудрости и души говорим — как море.

Даже про чистое небо и то говорим — как море.

Когда наша корова давала много молока, мама называла ее — «море мое».

Вспоминаю мать на балконе, кувшин со сметаной у нее в руках. Она сбивает масло, чтобы накормить нас, детей, играющих вокруг нее. Глиняная шейка того кувшина была украшена ожерельем из морских ракушек.

— Чтобы масла получилось больше,— объясняла нам мать. А еще она говорила, что ракушки защищают от дурного глаза.

Каменная грудь Дагестана тоже украшена ожерельями из ракушек, ожерельем из прибрежных камней, ожерельем прибора.

Привык Дагестан к шуму каспийских волн, плохо ему спится в тишине, совсем бы не смог он спать, когда бы лишился моря.

Белоснежные волны морские, скажите,
На каком языке вы со мной говорите?

Вы шумите, бурля, у подножия скал,
Словно в горном ауле воскресный базар,

Где кричащих на всех сорока языках
Наших горцев не может понять и аллах.

День пройдет, грохотания нет и в помине,
Шелестите легко, как трава на равнине.

А еще вы начнете плескаться, бывает,
Словно мать по погибшему сыну рыдает.

Словно старый отец по наследнику стонет,
Словно конь оплошавший, что в паводке тонет.

То журча и ласкаясь, то яростно споря,
На своем языке говоришь ты, о море.

Но сродни мое сердце твоей глубине,
Все твои превращения понятны и мне.

Разве сердце мое не кипит временами,
Разбиваясь о камни тупые волнами?

Но потом, расстилаясь все тише и ниже,
Разве берег отлогий в бессильи не лижет?

Разве тайн никаких не хранит глубина?
И печаль у нас, море, и радость — одна.

Но скажу про свою, про отдельную боль:
Жажду морем напиться. Немыслимо. Соль.

Поезд, идущий из Москвы, прибывает в Махачкалу на рассвете. Ночь перед этим — для меня самая бесконечная ночь. Встаю среди ночи, вглядываюсь в темное окно. За окном еще степь. Гремит поезд, шумит ветер за стенкой вагона. Второй раз встаю и вглядываюсь в окно — степь. Наконец встаю в третий раз — вижу море. Значит, это уже мой Дагестан.

Спасибо тебе, синее море, водный простор! Первым ты сообщал мне, что я уже приехал домой.

Отец любил говорить: «У кого есть море, у того всегда будет много гостей».

Абуталиб вторил ему: «У кого есть море, тот живет красиво, богато. Красивее моря могут быть горы, но и они у нас есть».

Эти два старика — мой отец и Абуталиб — часто, не сговариваясь, как только встретятся, уходили к морю. Они поднимались на холм, с ко-

торого видны все корабли, пришедшие в порт. Оттуда доносился до стариков запах рыбы и соли. Целыми часами они сидели молча, предоставляя возможность говорить только морю.

Пусть море говорит, а ты молчи,
 Не изливай ни радости, ни горя.
 Великий Данте замолкал в ночи,
 Когда у ног его плескалось море.
 Людьями заполнен берег или пуст,
 Дай морю петь, волнам его не вторя,
 И Пушкин — величайший златоуст —
 Молчал всегда, покамест пело море.

(Перевел Н. Гребнев)

Мой отец говорил: слушая море, научись понимать, о чем оно говорит. Оно много видело, много знает.

— Скажи, о море, почему ты солоно?
 — Людской слезы в моих волнах немало!
 — Скажи, о море, чем ты разрисовано?
 — В моих глубинах кроются кораллы!
 — Скажи, о море, что ты так взволновано?
 — В пучине много храбрых погибало:
 Один мечтал, чтоб не было я солоно.
 Другой нырял, чтоб отыскать кораллы!

Два седовласых горца, два поэта, сидят на холме, как два старых орла. Сидят неподвижно, молчат, слушают море. А оно шумит, заставляет думать о жизни, которая похожа на него и которую нужно переплыть от берега до берега, какая бы погода ни захватила на открытом и опасном ее просторе. В отличие от моря в жизни нет тихих гаваней, нет причалов. Хочешь не хочешь — плыви. Будет только одна, последняя гавань, только один, последний причал.

Шумит Каспий, шумит Хвалынское море. Текут в него реки: с одной стороны Волга, Урал, с другой — Кура, Терек, Сулак. Все они смешались, и теперь их не отличить одну от другой. Для них море тоже своего рода последний причал. Хотя не исчезнет, не умрет, не утихнет их вода, будет ходить, подыматься синими волнами. Будут ходить по этим волнам большие корабли в разные концы света.

Горцы, дети Дагестана, разве ваша судьба не похожа на судьбу этих рек? Вы тоже соединились и слились в едином море нашего великого братства.

Шумит Каспий. Молча стоят два седых человека, два поэта, и с ними я, еще подросток. Потом, когда пошли мы домой, Абуталиб сказал моему отцу:

— Взрослым становится твой сын. Сегодня познал он большое чувство.

— Никому нельзя быть маленьким на том месте, где мы стояли, — отвечает Абуталибу отец.

Теперь, когда прихожу на берег моря, все время кажется, что стою рядом с отцом.

Говорят, Каспий с каждым годом мелеет. Уже стоят городские дома там, где некогда плескалась вода. Наверное, так оно и есть. Но я не верю, что море перестанет быть морем. Оно, может быть, мелеет, да не мельчает.

Я и людям всегда говорю: не будьте мелкими, если даже вы малочисленны.

Ученый муж качает головой,
 Поэт грустит, писатель сожалеет,
 Что Каспий от черты береговой
 С годами отступает и мелеет.

Мне кажется порой, что это чушь,
 Что старый Каспий обмелеть не может,
 Процесс мельчания некоторых душ
 Меня гораздо более тревожит.

(Перевел Н. Гребнев)

Махач тоже говорил про море. Он был первым ревкомом Дагестана, и его именем называется теперь столица нашей республики. Раньше город назывался Порт-Петровск. Во время гражданской войны Махач превратил его в неприступную крепость.

Так вот, о море Махач сказал: «Сколько бы ни было врагов, всех покидаем в море. Море глубокое, на дне места хватит».

Когда соберутся горцы около мечети или под старым деревом, чтобы потолковать о жите-бытье, называется это у нас годеканом. На годекане спросили однажды у горцев: какой звук приятнее всего душе? Горцы, подумав, начали отвечать:

- Звон серебра.
- Ржанье коня.
- Голос любимой девушки.
- Цокот подков по камням ущелья.
- Смех ребенка.
- Колыбельная песня матери.
- Журчанье воды.

А один горец сказал:

— Голос моря. Потому что у моря есть все звуки, которые вы перечислили.

А в другой раз на годекане спросили у горцев: какой цвет наиболее приятен душе? Горцы, подумав, начали отвечать:

- Ясное небо.
- Белоснежная вершина горы.
- Глаза матери.
- Волосы сына.
- Цветущий персик.
- Осенние ивы.
- Вода родника.

А один горец сказал:

— Цвет моря. Потому что в нем есть все цвета, которые вы перечислили.

Когда спрашивали на годекане о запахах, напитках или о чем-нибудь еще, всегда дело кончалось морем.

Морем навеяны народу прекрасные сказки о юноше и морской царевне, о лазурной птице, которая, где ни ударит клювом, там и забьет родник.

Конечно, на годеканах каждый хвалит своего скакуна. Не делаю ли и я то же самое, хваля свое Каспийское море? Иногда мне говорят: подумаешь, Каспий. Это даже и не море, а большое озеро. Настоящее море — Черное.

Верно, что Каспий не так бархатист и нежен, как Черное, Адриатическое или какое-нибудь там Ионическое море. Но ведь туда люди едут преимущественно отдыхать и купаться, а на Каспий — преимущественно работать. Море — рыбак, море — нефтяник, море — труженик. Ну, и характер у него поэтому более суровый. Что поделаешь, у каждого быка свой нрав, у каждого мужчины свой характер, у каждого моря свое лицо, своя повадка... А разве горы Дагестана не отличаются характером от гор Грузии, Абхазии и от других гор?

Но мне, по правде говоря, все моря кажутся похожими друг на друга. Когда плыву по Черному, вспоминаю Каспий, а плывя по Каспию,

могу вспомнить даже океан. И ничем наше море не хуже других. Так же в него бросают монеты на память и чтобы — по примете — вернуться снова.

Отец говорил: если море человеку кажется некрасивым, это значит — сам человек некрасив.

Кто-то сказал однажды Абуталибу:

— Море сегодня противно шумит.

— А ты послушай моими ушами.

Итак, на Каспийское море смотрите глазами Дагестана, и оно покажется вам прекрасным.

Подвиг славного подводника капитана 2-го ранга Магомеда Гаджиева из дагестанского аула Мегеб известен всему военно-морскому флоту. Он воевал и в Балтийском, и в Северном, и в Баренцевом морях. Не один фашистский корабль нашел себе могилу в холодных водах от торпед Магомеда Гаджиева. Его лодка первой в истории Отечественной войны приняла открытый бой с фашистской эскадрой. У него было правило: он не брил усов до тех пор, пока не потопит вражеский корабль.

Один раз я видел Магомеда Гаджиева. Я учился тогда в Буйнакском педучилище имени Абашилова. Магомед Гаджиев был в отпуске, и мы пригласили его в наше училище. Мы спросили:

— Как получилось, что выросший среди скал стал моряком?

— В детстве с вершины одной горы я увидел Каспийское море и не поверил своим глазам. Оно позвало меня к себе, вот я и пошел. Не мог устоять перед зовом моря.

Горец Магомед Гаджиев, Герой Советского Союза, погиб в Баренцевом море. Памятник, воздвигнутый ему в Махачкале перед заводом, носящим его имя, глядит на просторы Каспия. В городе Североморске есть школа его имени.

В море уходят смелые, но не все возвращаются. Поэтому горцы бросают в море первые весенние цветы: всем погибшим. Мои цветы тоже не раз плавали среди волн.

В Баренцевом море, в квадрате, где погиб Гаджиев и его товарищи, корабли останавливаются, чтобы почтить его память.

На Каспии существует такой же порядок. Остановка и три минуты молчания, чтобы вспомнить о тех, кто погиб.

Наш город Махачкала стоит как корабль у причала. Из прибрежного парка смотрит на море Пушкин, неподалеку от него стоит Сулейман Стальский, с бульвара смотрит на Каспий мой отец.

Говорят, что на месте моря некогда была унылая голая пустыня. Потом она увидела горы и от радости расплеснулась у их подножия своей синевою.

Говорят, что горы были некогда дерущимися драконами. Потом они увидели море и замерли от удивления, окаменели.

Мать пела над моей колыбелью:

Вырастай, сыночек,
С гору высотой,
Вырастай, сыночек,
С море шириной.

Девушка пела молодому джигпту:

На высокой горе
Ты, как видно, родился,
Лихо сдвинул папаху,
Не глядишь, загордился.

Молодой джигит пел красивой горянке:

Не со дна ли морского
Ты пришла к нам сюда?
Я такой красоты
Не видал никогда.

(Перевел Н. Гребнев)

На одном собрании я услышал такой разговор:

— Что это мы все море да горы, горы да море? У нас есть другие горы и моря, о которых надо говорить. У нас есть море лезгинских садов, море скота, горы шерсти.

Но правильно говорится: «Не пой сам все три песни, одну оставь нам. Не делай сам все три намаза, один оставь нам».

Я рассказал о двух главных частях, из которых состоит Дагестан. А третья часть — все остальное. Разве мало можно сказать о дорогах и реках, о деревьях и травах! Целой жизни не хватит, чтобы рассказать обо всем.

Так и с песнями. В мире есть только три песни: первая — песня матери, вторая — песня матери, а третья песня — все остальные песни.

Горцы приглашают к себе в гости, говоря: «Приезжайте к нам. Наши горы, наше море и наши сердца принадлежат вам. У нас земля — земля, дом — дом, конь — конь, человек — человек. И ничего третьего нет между ними».

Человек

Человек и свобода на аварском языке называются одним и тем же словом. «Узден» — человек, «узденлъи» — свобода, поэтому когда имеется в виду человек — «узден», имеется в виду, что он свободный — «узденлъи».

Надпись на могильной плите:

Он мудрецом не слыл
И храбрецом не слыл,
Но поклонись ему:
Он человеком был.

(Перевел Н. Гребнев)

Надпись на кинжале:

Ну кто бы там ни встретился в пути,
Идя с враждой навстречу иль с приветом,
Он человек такой же, как и ты,
Нося кинжал, не забывай об этом.

Когда горец после долгого отсутствия вернулся на родину, его спросили:

— Ну как там, что за земля, какие порядки?

— Там живут люди, — ответил горец ⁶.

Когда Хаджи-Мурат был в ссоре с Шамилем, некоторые люди стали, желая угодить наибу, хулить Шамиля. Остановив их суровым жестом, Хаджи-Мурат сказал:

— Не смейте так говорить. Он — человек, а нашу распря мы сумеем уладить сами.

⁶ Горец ответил, конечно: «Там живут человеки» — узденлъи, вложив в это слово высокий смысл. К сожалению, слово «человек» в современном русском языке не имеет множественного числа. «Человеки» звучит не литературно, а люди... ну что же, люди бывают всякие (Прим. перев.)

Хотя Хаджи-Мурат и ушел от него, но во время последней битвы на горе Гуниб, вспоминая отвагу и храбрость своего наиба, Шамиль сказал: — Таких людей больше нет. Он был человеком.

Много веков прожили горцы в горах, и всегда они испытывали нужду в человеке. Нужен человек. Без человека никак нельзя.

Горец клянется: человеком родился — человеком умру!

Правило горцев: продай поле и дом, потеряй все имущество, но не продавай и не теряй в себе человека.

Проклятие горцев: пусть не будет в вашем роду ни человека, ни коня.

Когда начинают рассказывать о недостойном, мелком, подлом, горцы обрывают рассказ:

— Не тратьте на него слов. Он же не человек.

Когда начинают рассказывать о каком-нибудь промахе, проступке, недостатке, горцы обрывают рассказ:

— Он человек, и этот проступок ему можно простить.

Об ауле, в котором нет порядка, об ауле тесном, неряшливом, склочном, непутевом, говорят:

— Человека там нет.

Об ауле, в котором порядок и мир, говорят:

— Там есть человек.

Человек — первая необходимость, драгоценность и великое чудо. Откуда появился человек в Дагестане, как возник, где начало, где корень своеобразного племени горцев? Много об этом существует рассказов, сказок, легенд. Одну из них я слышал в детстве.

На земле уже водились разные звери и птицы, и были на земле их следы, но не было следа человека, слышались разные голоса, но не слышно было человеческого голоса. Земля без человека походила на рот без языка, на грудь без сердца.

В небе над этой землей летали орлы, сильные и отважные птицы. В тот день, о котором идет речь, шел такой снег, словно ощипали всех птиц на свете и перья их пустили по ветру. Небо закрыло тучами, землю закрыло снегом, все смешалось, и нельзя было понять, где земля, а где небо. В это время возвращался к своему гнезду орел, у которого крылья были подобны саблям, а клюв подобен кинжалу.

Он ли забыл о высоте, высота ли забыла о нем, но только со всего лета он врзался в твердую скалу. Аварцы говорят, что это произошло на горе Гуннб, лакцы — что это было на горе Турчидаг, лезгины уверяют, что все случилось на Шахдаге. Но где бы то ни случилось, скала есть скала, а орел есть орел. Недаром же говорят: «Швырни камень в птицу — птица умрет, швырни птицу в камень — птица умрет».

Не первый орел упал, наверное, на скалу и разбился. Но этот, у которого крылья были подобны саблям, а клюв подобен кинжалу, разбился не до смерти. Крылья переломались, но сердце билось, уцелел острый клюв, уцелели железные когти.

Пришлось ему бороться за свою жизнь. Трудно без крыльев добывать пищу, трудно без крыльев отбиваться от врагов. С каждым днем с камня на камень, со скалы на скалу забирался он все выше и выше, на скалу, на которой любил, бывало, сидеть, оглядывая окрестные горы.

Трудно было без крыльев добывать пищу, обороняться, подниматься на высоту, строить гнездо. Во время всех этих трудных дел мышцы орла изменились, стал меняться и внешний облик. И когда гнездо было построено, оно оказалось саклей, сам бескрылый орел оказался горцем.

И встал он на ноги, и вместо сломанных крыльев у него выросли руки. одна половина клюва превратилась в обыкновенный. большой,

правда, нос, а вторая половина в кинжал, висящий у горца на поясе. Только сердце не изменилось, оно осталось прежним, орлиным сердцем.

— Видишь, сынок,— добавляла мать, заканчивая рассказ,— как трудно пришлось орлу, пока он не превратился в горца. Ты это должен ценить.

Не знаю, так ли все это было, но неоспоримо одно: среди пернатых горцам дороже всех орел. Хорошего, храброго человека зовут орлом. Родился сын — отец возглашает: у меня родился орел. Дочь возвратится откуда-нибудь домой быстро и проворно, мать говорит: прилетела моя орлица.

Во время Отечественной войны о героях Дагестана была написана книга, называлась она «Горные орлы».

На дверях старинных домов, на колыбелях, на кинжалах часто встречается чеканка и строгий облик орла.

Правда, есть и другие легенды.

Когда думают о превратностях судьбы в этом мире, когда отцы вспоминают погибших вдалеке от родины сыновей или когда сыновья вспоминают погибших отцов, считают, что не горец произошел от орла, но орлы от горцев.

— Парящие над реками и скатами,

Откуда вы, орлы? Каких кровей?

— Погибло много ваших сыновей,

А мы — сердца их, ставшие крылатыми!

— Мерцающие между зодиаками,

Кто вы, светила в небесах ночных?

— Немало горцев пало молодых.

Мы — очи тех, кем павшие оплаканы.

(Перевел Н. Гребнев)

Вот почему дагестанцы всегда смотрят в небо с любовью, с надеждой. Так же смотрят они на пролетающих и улетающих птиц. Любят горцы синее небо!

Вспоминаю 1942 год. Войска фельдмаршала Клейста захватили некоторые высоты Кавказа. Авиация бомбила нефтяные промыслы Грозного. Дым пожаров был виден с наших дагестанских высот.

В те дни в Грозном собрались представители молодежи всех кавказских народов. В составе дагестанской делегации был и я. На митинге выступал лезгин, известный летчик, Герой Советского Союза Валентин Эмиров. Не забуду ни его речи с трибуны, ни его короткой беседы, которая у нас с ним была после митинга. Уходя, он сказал, показывая глазами на небо:

— Тороплюсь туда. Там я нужнее, чем на земле.

Через две недели пришло известие о его гибели. Погиб, сгорел славный сын Дагестана. Но каждый раз, когда я вижу орла, пролетающего с клетотом над моей головой, я верю, что в нем кипучее сердце Валентина.

1945 год. Москва. Каждый день мы, студенты, ходили в Дагестанское постпредство, чтобы узнать новости с гор, из Махачкалы. Республика в то время готовилась праздновать свое двадцатипятилетие. Однажды я встретил там Наби Аминтаева. В Дагестане вряд ли нашелся бы тогда человек, который не знал бы этого лакца. Джигит неба, этот скромный парень много раз спускался с парашютом на вражескую территорию и всякий раз возвращался невредимым.

— Теперь нет войны, возвращайся в Дагестан,— говорю я ему.

— Небо-то осталось.

Через несколько дней газета «Правда» опубликовала его фотографию. Внизу подпись: «Наби Аминтаев — рекордсмен мира по прыжкам с парашютом. Свой рекорд Аминтаев посвятил Дагестану».

Через несколько дней снова встречаю Наби.

— Едем в Дагестан.

— Небо ждет. Без неба я не могу.

Но жизнь коротка. Однажды подвел парашют, наш Наби упал и погиб, словно орел со сломанными крыльями. С тех пор прошло много лет, но каждый раз, когда слышу в небе клекот орла, я думаю, что в нем кипучее сердце Наби.

Вспоминаю еще красивую Резеду. С дагестанского неба она прыгнула на гору Гуниб. Сколько пандуров застонало тогда под ее окном! Не было ни одного молодого поэта, который не посвятил бы ей стихотворения. Маленький кирпичный домик в городе Буйнакске, сколько глаз смотрело на твои окна! В Хунзахе, в Гунибе, в Кумухе седлали коней, чтобы похитить красавицу с длинными косами. Но приехал один ленинградец, посадил нашу Резеду в самолет и увез. С воздуха помахала она всем влюбленным, оставшимся на земле. Разинув рты смотрели наши поэты ей вслед, а потом начали писать стихи о голубке, которую похитил орел...

В Ленинграде Резеду застала война. Она писала: «В этом городе теперь нет не только белых ночей, но и дни стали черными. Ленинград в огне. В огне и я. Сквозь дым и огонь я смотрю в небо. Но и в небе война. Мой муж Сеид много раз уходил во вражеский тыл. Теперь я получила уже три извещения о том, что его нет в живых. Он был врач-десантник. Ко мне приходят те, кого он спас от смерти».

Резеда вернулась в Дагестан. И когда в родном небе ей слышится клекот орла, она думает, что в нем кипучее сердце Сеида.

Мой брат Ахильчи... Ты учился в самом земном, сельскохозяйственном институте. Но на войне ты выбрал небо, стал летчиком. Ты погиб над Черным морем. Тебе было двадцать два года. Ты никогда не вернешься в родную саклю, я это знаю. Но каждый раз, когда надо мной клекочет орел, я верю, что это сердце Ахильчи подает мне братскую весть.

Парят в дагестанском небе орлы. Их много. Но ведь немало и храбрецов, сложивших голову за Отчизну. В каждом орлином крике весть о подвиге, об отваге. Каждый крик — это песня битвы.

Я знаю, что это красивая сказка, вымысел. Людям хочется, чтобы так было. Но я знаю, что одному человеку, который вознесся слишком высоко, андиец сказал:

— Даже орлы, чтобы стать людьми, спускаются на землю. Спускайся и ты со своих высот. Все люди родились здесь, на земле. Горец потому и называется горцем, что он человек гор, человек земли. А в песнях и легендах пусть люди летают. У нас любят это слово — «летать». Всадник скачет — летит. Песня летит. Большинство наших песен об орлах.

Меня много раз критиковали за то, что в стихах я часто упоминаю орлов. Но что же делать, если мне эти птицы нравятся больше других. Они летают далеко и высоко, в то время как другие птицы вечно суетятся и чирикают возле проса. И голос у них громкий, ясный. Другие птицы, как только повеет холодом, изменяют Дагестану и улетают в чужие края. Орлы же, какая бы ни случилась погода, сколько бы выстрелов ни пугало их, не покидают родных высот. У них нет курортов. Другие птицы все время жмутся к земле, порхают с крыши на крышу, с дымоходной трубы на трубу, с поля на поле. Какое-нибудь маленькое ущелье у нас называют птичьим ущельем. Какой-нибудь большой утес у нас называют орлиным утесом.

Каждый человек, который родился, еще не человек. Каждая птица, которая летает, еще не орел.

ГОРНЫЕ ОРЛЫ

...Полон край мой силы и величья,
Полон птиц, чьи песни веселы.
И парят над ним, как боги птичьи,
Много раз воспетые орлы.

Для того, чтоб в небе их видали
На посту и в грозовые дни,
Скалы неприступные избрали
Грозным местожительством они.

То один поднимется и гордо
Рассекает крыльями туман,
То, как по тревоге, вся когорта
В голубой взмывает океан.

Над землей плывут они высоко,
Будто стражи зоркие ее,
И услышав их гортанный клекот,
Прочь летит в испуге воронье.

И готов, как в детстве, я часами
Там, где выси гор всегда белы,
Наблюдать влюбленными глазами,
Как парят могучие орлы.

То стоят в дозоре над горами,
То в степные двинутся края...
Самых смелых горными орлами
Называет родина моя.

(Перевел Я. Козловский)

Для японцев самые дорогие птицы — журавли. Японцы считают, что если больной человек вырежет из бумаги тысячу журавлей, то он выздоровеет. С летящими журавлями, особенно если журавли летят над Фудзиямой, японцы связывают радость и горе, разлуку и встречу, мечты и дорогие воспоминания.

Мне тоже нравятся журавли. Однако когда японцы спросили меня о любимой птице, я назвал орла, и это им не понравилось.

Правда, вскоре наш борец Али Алиев на соревнованиях в Токио стал чемпионом мира, и тогда один японский друг мне сказал:

— А ваши орлы ничего, неплохие птицы.

Нашим горцам я рассказал о битве, которая произошла в небе над Турцией между орлами и аистами. Когда я сказал, что битву проиграли орлы, горцы пришли в недоумение и даже обиделись. Они не хотели верить моим словам. Но что было, то было.

— Ты неправильно говоришь, Расул,— сказал наконец один горец.— Орлы, наверно, не проиграли битву, а все погибли. Но это же другое дело.

Был у меня один знаменитый друг, дважды Герой Советского Союза Ахмедхан Султан. Отец у него дагестанец, а мать татарка. Жил он в Москве. Дагестанцы считают его своим героем, татары — своим.

— Чей же ты?—спросил я его однажды.

— Я герой не татарский и не лакский,— ответил Ахмедхан.— Я — Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их отделить друг от друга? Я — человек.

Шамиль спросил **однажды** у своего секретаря Магомеда Тагира аль-Карахи:

— Сколько человек живет в Дагестане?

Магомед Тагир взял книгу с переписью населения и ответил.

- Я спрашиваю о настоящих людях,— рассердился Шамиль.
- Но таких данных у меня не имеется.
- В ближайшем бою не забудь их пересчитать,— приказал имам.

Горцы говорят: «Чтобы узнать настоящую цену человеку, надо спросить у семерых.

1. У беды.
2. У радости.
3. У женщины.
4. У сабли.
5. У серебра.
6. У бутылки.
7. У него самого».

Да, человек и свобода, человек и честь, человек и отвага сливаются в одно понятие. Горцы не представляют, что орел может быть двуликим. Двуликих они называют воронами. Человек — это не просто название, но званье, притом званье высокое, и добиться его не просто.

Недавно в Ботлихе я слышал, как женщина пела песню о недостойном мужчине:

Что-то есть в тебе от лошади,
 Что-то есть и от овцы.
 Что-то есть в тебе от коршуна,
 Что-то есть и от лисы.
 И от рыбы что-то есть.
 Но где же мужество?
 Где честь?

Слышал я и другую песню женщины — о мужчине, который оказался лгуном:

Я думала, ты человек.
 И доверила тайну свою.
 Пустым оказался орех.
 Одна на дороге стою.
 Как поздно тебя разглядела,
 Сама виновата, увы,
 Ты черкеска, в которой нет тела,
 Папаха, где нет головы.

Девушка, которая выбирала себе жениха, пожаловалась:

— Если бы я искала носящего папаху, давно бы нашла. Если бы я искала носящего усы, давно бы нашла. Человека ищут.

Когда в горах покупают овцу, смотрят на курдюк, на шерсть, на упитанность. Когда покупают коня, смотрят на морду, на ноги, на весь экстерьер. Но как оценить человека? На что же надо смотреть? На его имя и на его дела... Между прочим, на аварском языке слово «имя» несет в себе два значения. Во-первых, имя как таковое, во-вторых, дело, заслуги, подвиг человека. Когда рождается сын, говорят: «ЦӀар бугеб, цар батаги». Это значит: «А имя ему пусть принесет слава». Имя без дела — пустой звук.

Мать учила меня: «Нет награды больше, чем имя, нет сокровища дороже жизни. Береги это».

Надпись на роге:

Произойти от обезьяны
 Был человеку путь не мал.
 В обратный путь пустился пьяный,
 За час омять животным стал.

Когда Шамиль укрепился на горе Гуниб, взять его не было никакой возможности. Но нашелся изменник, который показал неприятелю тайную тропу. Фельдмаршал князь Барятинский одарил этого горца золотом.

Позже, когда Шамиль находился уже в Калуге, изменник пришел в отчий дом. Но отец его сказал:

— Ты изменник, а не горец, не человек. Ты не мой сын.

С этими словами он убил его, отрезал голову и вместе с золотом бросил со скалы в реку. Сам отец тоже не мог больше жить в родном ауле и показываться людям на глаза. Ему было стыдно за сына. Он ушел куда-то, и с тех пор о нем больше не слышали.

До сих пор горцы, когда идут мимо того места, куда брошена была голова изменника, кидают туда камни. Говорят, что даже птицы, пролетая над этой скалой, кричат: «Изменник, изменник!»

Однажды Махач Дахадаев приехал в аул, чтобы вербовать бойцов в свой отряд. На годекане он увидел двух горцев, игравших в карты.

— Ассалам алейкум. Где ваши мужчины, ну-ка, соберите мне их.

— Кроме нас, в ауле нет больше мужчин.

— Вах! Что за аул без мужчин. Где же они?

— Воюют.

— А! Оказывается, в вашем ауле все мужчины, кроме вас двоих.

Был случай с Абуталибом. Принес он часовщику исправить часы. Мастер в это время был занят починкой часов сидящего тут же молодого человека.

— Садись,— сказал часовщик Абуталибу.

— Да у тебя, я вижу, люди. Зайду в другой раз.

— Где ты увидел людей? — удивился часовщик.

— А этот молодой человек?

— Если бы он был человеком, он сразу встал бы, как только ты вошел, и уступил бы тебе место... Дагестану нет никакого дела, будут ли отставать часы у этого лоботряса, а твои часы должны идти правильно.

Абуталиб потом говорил, что, когда ему присвоили звание народного поэта Дагестана, он не был так обрадован, как тогда в мастерской часовщика.

В Дагестане живет тридцать народностей, но некоторые мудрые люди утверждают, что живут в Дагестане всего два человека.

— Как так?

— А так. Один хороший человек, а другой плохой.

— Если так считать,— поправляют другие,— то в Дагестане живет один человек, потому что плохие люди — не люди.

Кушинские мастера шьют папахи. Но одни их носят на голове, другие держат на вешалках.

Амгузинские кузнецы куют кинжалы. Но одни прицепляют их к поясу, другие вешают на гвоздь.

Андейские мастера делают бурки. Но одни их носят в непогоду, другие прячут в сундук.

Так и люди. Одни всегда в деле, в работе, на солнце, на ветру, а другие подобны бурке в сундуке, папахе на вешалке, кинжалу на гвоздике.

Будто бы за Дагестаном наблюдают три мудрых старца. Они прожили долгие века, все видели и все знают. Один из них, вникая в древнюю историю, оглядывая старинные кладбища, задумываясь о летящих по небу птицах, говорит: «Были люди в Дагестане». Второй, глядя на сегодняшний мир, показывая на зажженные в Дагестане огни, называя имена отважных, говорит: «Есть люди в Дагестане». Третий старец, мыс-

ленно обозревая грядущее, оценивая тот фундамент, который мы заложили для будущего сегодня, говорит: «Будут люди в Дагестане».

По-моему, правы все три старика.

Некоторое время назад гостем Дагестана был прославленный космонавт Андриян Николаев. Заходил он и в мой дом. Моя маленькая дочурка спросила:

— А в Дагестане нет своего космонавта?

— Нет,— ответил я.

— А будет?

— Будет!

Будет, потому что рождаются дети, потому что мы даем им имена, потому что они растут, шагают вместе со страной. С каждым шагом они ближе к своей заветной цели. И пусть в других местах скажут про Дагестан, как мы говорим про аул, в котором порядок и мир: там есть человек.

(Окончание следует)

Перевел с аварского Владимир Солоухин.



НЕ ВОЗГОРДИСЬ

Смири гордыню — то есть гордым будь.
Штандарт — он и в чехле не полиняет.
Не плачься, что тебя не понимают, —
поймет когда-нибудь хоть кто-нибудь.

У славы и опалы есть одна
опасность — самолюбие щекочут.
Ты ордена не восприми как почесть,
не восприми плевки как ордена.

Не ожидай подачек добрых дядь
и, вытравляя жадность, как заразу,
не рвись урвать. Кто хочет все и сразу,
тот беден тем, что не умеет ждать.

Пусть даже ни двора и ни кола, —
не возвышайся тем, что ты унижен.
Будь при деньгах свободен, словно нищий,
не будь без денег нищим никогда!

Завидовать? Что может быть пошлей!
Успех другого не сочти обидой.
Уму чужому втайне не завидуй,
чужую глупость втайне пожалей.

Не оскорбляйся мнением любым
в застолье, на суде неумолимом.
Не добивайся счастья быть любимым —
умей любить, когда ты нелюбим.

Не превращай талант в козырный туз.
Не козыри — ни честность, ни отвага.
Кто щедростью кичится — скрытый скряга.
Кто смелостью кичится — скрытый трус.

Не возгордись ни тем, что ты борец,
ни тем, что ты в борьбе посередине,
и даже тем, что ты смирил гордыню,
не возгордись —
тогда тебе конец.

* * *

Хочу того, чего сказать нельзя.
Дерзя, с огнем играю без ферзя.

Мой ферзь — рассудок, под ноги коню!
Какое счастье — проиграть огню!

Какой пожар в нечесаной ночи
от худенькой тебя, как от свечи!

Какого ты в понятие греха
лихого подпустила петуха!

Я корчусь, но блажен мой смертный крик.
Огнем уже оправдан еретик.

В огне Гульрипши, Токио, Мадрид,
но кто-то в нем, любимый мной, горит.

А если от костра еретика
огонь скакнет на крышу бедняка,
навек будет проклято навзрыд
все то, за что тот еретик горит.

Ведь истина, когда ты подожжешь
дом ближнего, не истина, а ложь.

НА СМЕРТЬ СОБАКИ

Чумою скрученный, без сил,
скуля прощально, виновато,
наш пес убить себя просил
глазами раненого брата.

Молил он, сжавшийся в комок,
о смерти, словно о защите:
«Я помогал вам жить как мог —
вы умереть мне помогите».

Подстилку в корчах распоров,
он навсегда прощался с нами
под стон подопытных коров
в ветеринарном грязном храме.

Во фразах не вигиеват,
сосредоточенно рассеян,
наполнил шприц ветеринар
его убийственным спасеньем.

Уткнулась Галя мне в плечо.
Невыносимо милосердые,
когда единственное, что
мы можем сделать, — помощь смертью.

В переселенье наших душ
не обмануть природу ложью:
кто трусом был — тот будет уж,
кто подлецом — тот будет вошью.

Но на руках тебя держа,
я по тебе недаром плачу —
ведь только добрая душа
переселяется в собачью.

И даже в небе тут как тут,
ушами прядая во мраке,
где вряд ли ангелы нас ждут,
нас ждут умершие собаки.

Ты будешь ждать меня, мой брат,
по всем законам постоянства
у райских врат, у входа в ад,
как на похмелье после пьянства.

Когда душою отлечу
на небеса, счастливый втайне,
мне дайте в руки не свечу —
кость для моей собаки дайте.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Она сказала: «Он уже уснул...» —
задернув полог над кроватью сына,
и верхний свет неловко погасила,
и, съездившись, халат упал на стул.

Мы с ней не говорили про любовь.
Она шептала что-то, чуть картавя,
звук «р», как виноградину, катая
за белой оградой зубов.

«А знаешь, я ведь плюнула давно
на жизнь свою. И вдруг — так огорошить!
Мужчина в юбке. Ломовая лошадь.
И вот — я снова женщина. Смешно!»

Быть благодарным — это мой был долг.
Ища защиты в беззащитном теле,
зарылся я, зафлаженный, как волк,
в доверчивый сугроб ее постели.

Но, как волчонок загнанный, одна,
она в слезах мне щеки обшептала,
и то, что благодарна мне она,
меня стыдом студенным обжигало.

Мне б окружить ее блокадой рифм,
теряться, то бледнея, то краснея,
но женщина! меня! благодарит!
за то, что я! мужчина! нежен с нею!

Как получиться в мире так могло?
Забыв про смысл ее первопричинный,
мы женщину сместили. Мы ее
унизили до равенства с мужчиной.

Какой занятный общества этап,
коварно подготовленный веками:
мужчины стали чем-то вроде баб,
а женщины — почти что мужиками.

О, господи, как сгиб ее плеча
мне вмялся в пальцы голодно и голо
и как глаза неведомого пола
преображались в женские, крича!

Потом их сумрак полузаволок.
Они мерцали тихими свечами...
Как мало надо женщине — мой бог! —
чтобы ее за женщину считали!

ПАРУСА

Памяти К. Чуковского.

Вот лежит перед морем девочка.
Рядом книга. На буквах песок.
А страничка под пальцем не держится —
трепыхается, как парусок.

Море сдержанно камни ворочает,
их до берега не докатив.
Я надеюсь, что книга хорошая —
не какой-нибудь там детектив.

Я не вижу той книги названия —
ее край сердоликом прижат,
но ведь автор — мой брат по призванию,
и, быть может, умерший мой брат.

И когда умирают писатели —
не торговцы словами с лотка,
как ты чашу утрат ни подсахари,
эта чаша не станет сладка.

Но испей эту чашу, готовую
быть решающей чашей весов
в том сраженьи за души, которые,
может, только и ждут парусов.

Не люблю я красивых надрывностей.
Причитать возле смерти не след.
Но из множества несправедливостей
наибольшая все-таки — смерть.

И платочка к глазам не прикладываю,
боль проглатываю свою,
если снова с повязкой проклятою
в карауле почетном стою.

С каждой смертью все меньше мы молоды.
Сколько горьких утрат наяву
канцелярской булавкой приколото
прямо к коже, а не к рукаву.

Наше дело, как парус, тоненько
бьется, дышит и дарит свет,
но ни Яшина, ни Паустовского,
ни Михал Аркадьича нет.

И — Чуковский... О, лучше бы издали
поклониться, но рядом я встал.
О, как вдруг на лице его выступило
то, что был он немислимо стар.

Но он юно, изящно и весело
фехтовал до конца своих дней,
Айболит нашей русской словесности,
с бармалействующими в ней.

Было легкое в нем, чуть богемное,
но достойнее быть озорным,
даже легким, но добрым гением,
чем заносчивым гением злым.

И у гроба Корнея Иваныча
я увидел — вверху над толпой
он с огромного фото невянуще
улыбался над мертвым собой.

Сдвинув кепочку, как ему хочется,
улыбался он миру всему,
и всему благородному обществу,
и немножко себе самому.

И садились в ракеты взметенные,
лезли в макро- и микромир
его внуки двухсотмиллионные,
чьей азбукой был «Мойдодыр».

Будет столько меняться и рушиться,
будут новые голоса,
но словесность великая русская
никогда не свернет паруса.

Даже смерть от тебя отступает,
если кто-то из добрых людей
в добрый путь отплывает под парусом
хоть какой-то странички твоей...

МОНОЛОГ РЕСТАВРАТОРА

Любовь моя — разрушенная церковь
над мутною рекой воспоминаний,
у кладбища с крестами жестяными
и звездами фанерными над прахом
безвременно скончавшихся надежд.
Я фрески реставрирую со страхом,
что слишком поздно занялся я ими,—
нас наше время делает гуманней,
и наше время выявляет ценность
разрушенного волею невежд.

Отсыревают ангелы в полете,
и крылья их валяются по свалкам.
Взамен рисуют жирные сердечки.
Неужто же как символ жизни нашей
поверх картины Страшного суда
останется: «Здесь были Миша с Машей»?

Неужто же картошка и сардельки,
здесь развалясь в самодовольстве жалком,
заменят людям бога навсегда?

Твержу я — бог, а думаю — искусство.
Ведь это же искусство поднимало
когда-то нас, косматых, с четверенек
и не дает нам вновь покрыться шерстью
и вновь на четвереньках скок-поскок.
И горько видеть мне, скажу по чести,
как в церкви мой косматый современник,
не омрачась косматостью нимало,
так намазюкал: «Нету бога. Скучно».
Эх, дурень, церковь есть, и в этом бог.
Она плывет красою безмятежной
из творага не то, не то из снега,
немстительная, как царевна-лебедь,
и сырной пасхой на столе народа
сияет, забывая о хамье.
Ну, а когда хорошая погода,
река, как будто тайный мой коллега,
снимает с церкви копию, и светят
две церкви, словно складень белоснежный,—
одна в воде, другая на холме.

Забвение не лучше оскорбления.
Распрыгались сегодня, словно блохи,
не богомазы, а богозамазы.
Сейчас нужней не пустобрех-оратор,
кричащий о защите старины,
а нежный и бесстрашный реставратор,
кто смоем брэнность надписей убогих
и кто, поняв, что в этом искупленье,
вернет стране сокровища страны.

Зиянье обращаю я в сиянье,
и возвращаю я Победоносцу
коня, копьё; чтоб дотоптал он змия.
Себе глаза замазывать не буду,
а очищаю господу глаза,
чтоб увидал предателя Иуду,
которого — простите, люди злые! —
подсовременил я,— и вот с доноском
уже бежит, узрев мои деянья,
кладбищенского сторожа коза.

Когда я пью, я становлюсь косматым,
но не судите, люди, слишком строго —
ведь в церкви сразу шерсть с меня спадает,
лишь часть моей косматости на кисти
дрожит, напоминая о грехах.
Отчистить вечность — как себя отчистить,
и мой раствор всю грязь с души смывает,
и кисть моя вам возвращает бога,
и мой пацан — не чей-то — благим матом
орет у богоматери в руках...

БАЛЛАДА О ГРЕНАДСКОЙ ЗЕМЛЕ

Без нимба и денег,
без выпренных слов
блуждал, словно дервиш,
тишайший Светлов.

И в шутках, как в розах,
легчайше тяжел,
невидимый посох
в руке его цвел.

С улыбкою мудрой
входил он в кафе,
ни разу под мухой —
всегда под шафе.

На каждую пакость,
на происки зла
«преступная мягкость»
ответом была.

Любая гримаса
судьбы не страшна,
когда есть Гренада,
Гренада, Грена...

Не плачась напрасно,
жалея людей,
он не был ни разу
в Гренаде своей.

И без укоризны,
угасший уже,
он умер с безвизной
Гренадой в душе.

И как там — не важно —
его ученик,
я безынструктажно
в Гренаду проник.

Я, думая горько
о том, что вдали,
взял теплую горстку
гренадской земли.

Со стеблями маков
повез ее я,
преступную мягкость
в душе затая.

Таможенник тупо
меня не честил.
Был мягок преступно —
ее пропустил.

Привез и к Светлову
на вечный постой
Гренадскую волость
в тряпице простой.

Лопатю ясной,
в работе толков,
находясь, как ястреб,
копал Смеляков.

И круто и крупно,
светя вдалеке,
скатилась преступно
слеза по щеке.

А мертвый, как в тайне,
лежал без стыда
в преступном контакте
с землей навсегда.

Земля была грустной
землею сырой,
испанской, и русской,
и просто землей.

Дышала негласно
земля, как могла,
преступно прекрасна,
преступно мягка...



АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ВЕРСТЫ ЛЮБВИ*

Роман

Час шестой

Произошло это почти десять лет спустя. Я был уже не тем девятнадцатилетним, только-только познающим жизнь молодым человеком, время научило разбираться и в событиях и в людях (ну, не скажу, чтобы безошибочно, это было бы неверно, но кое-что я все же стал понимать); за спиною лежали годы армейской жизни и годы студенчества, и я работал, а вернее, начинал тогда свою долгую и нравившуюся мне вначале службу в управлении. Я разъезжал по районам, по деревням, забираясь в самые отдаленные уголки нашей огромной пахотной России, не столько принося пользу людям, обществу, если хотите, сколько себе — как раз и познавая мир, людей, природу; я наслаждался теми инспекторскими, в сущности, поездками, забываясь, как бы отдаляясь, отходя на время от бесконечных городских, кабинетных забот; это ведь мы только говорим, беря в руки командировочное удостоверение, что отправляемся поближе к народу, к жизни, тогда как на самом деле, и я давно заметил это, мы движемся от целого к частному, от суеты сует к деревенской тишине и, конечно же, отдыхаем в таких поездках. Вы спросите: «А сейчас?..» Да, сейчас я тоже разъезжаю по районам, но уже не только для глаза, что ли; сейчас — десятки иных и действительно-таки неотложных дел заставляют подниматься из рабочего кресла, но — для чего же сравнивать, когда я просто рассказываю о том, что было со мною в те годы, какие одолевали мысли и какие чувства трогали душу. Я был тогда, и об этом странно вспоминать теперь, удивительно спокоен, ничто как будто не волновало и не тревожило меня, хотя, если посмотреть, вся страна в те осенние и зимние дни была как бы поставлена на колеса: все куда-то ехали — на стройки ли, в Сибирь, в Казахстан осваивать целинные и залежные земли; ехали по одному, семьями, целыми эшелонами по комсомольским путевкам, и на всех вокзалах, так, по крайней мере, когда, оглядываясь назад, смотрю на прошлое, представляется мне теперь, гремела музыка: одних провожали, других встречали, и на возбужденных лицах лежал отблеск исходивших парадными маршами медных труб. Да, я хорошо помню то недавнее время, когда все привычное и устоявшееся как бы ломалось и люди просыпались по утрам с настороженным чувством к совершавшимся переменам; делились райкомы и исполкомы на промышленные и сельскохозяйственные, и — никто еще не знал, чем это все закончится, где настоящее, где ошибочное и где, наконец, главная линия,

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 8, 9, 10 с. г.

которой надо держаться и которая может привести ко всеобщему благополучию и счастью. Со своим дорожным чемоданчиком, пристроившись где-нибудь в сторонке, прислонясь к зыбкой фанерной стене станционного ларька или к бетонному на перроне и оттого вечно холодному столбу с раскачивающейся от ветра электрической лампочкой на макушке, одинокий, отчужденный от всей провожающей и встречающей толпы, от перецвета флагов и транспарантов и от разливающейся над путями и вагонами торжественной музыки,— я наблюдал, ожидая своего поезда, за всей этой вокзальной толчеей, и мне казалось, что между моею жизнью и людской суматохою лежит разросшаяся, как между полями двух разных колхозов, и шумящая листвою лесная защитная полоса. Я не участвовал в тех грандиозных событиях, не осуждал и не одобрял их; там, у них — свои заботы, у меня же — свои; но я не то чтобы специально, что ли, избегал волнений, нет, не могу сказать о себе этого, хотя и не искал их, а жизнь как бы сама собою обходила меня стороной, и мне нравился тихий душевный покой; я не замечал, разумеется, происшедших в себе перемен, и, может быть, если бы не наша с вами встреча здесь, в Калининвичах, не заметил бы и теперь и наверняка не стал бы ни осуждать, ни докапываться до истины, отчего так иногда меняются люди; очевидно, после долгушинских потрясений, когда я, чего лукавить, вынужден был, в сущности, с позором бежать из деревни,— как естественное защитное средство от нового удара судьбы возникло желание тишины и покоя, и я был вполне убежден, что вот это и есть то необходимое для человека, без чего он не сможет уютно и счастливо прожить свой век. Думаю, что не я один и уж тем более не я первый примерял жизнь к этой, громко говоря, философии; даже обычные семейные заботы, как теперь, перебирая в памяти то свое прошлое, вижу, были мне в тягость, я старался освободиться от них, и каждый раз как бы сами собою находились причины тому, что я не хотел жить дома, с матерью, братом и сестренкой. Сначала, когда вернулся из армии, предлогом этим была отдаленность работы — я устроился на завод, который располагался почти за городом, надо было вставать в пять утра, чтобы поспеть к восьми на упаковочную площадку, и как только мне выделили койку в молодежном рабочем бараке, тут же собрал вещи и уехал из дому; потом, когда поступил в институт,— по той же причине (хотя теперь можно было и не ссылаться на отдаленность) перешел в студенческое общежитие, а когда после защиты дипломной согласился пойти разъездным агрономом в управление, мне выделили небольшую в коммунальной квартире комнатку, и я надолго поселился в ней. Я ведь так и не рассказал матери о долгушинской своей истории; и не потому, что заключалось в ней что-либо такое, о чем больно было бы слушать матери; я ни минуты не сомневался, что мать поймет и одобрит, скажет, что я поступил правильно, решив разоблачить Моштакова, что иначе и нельзя поступить, но оттого, что все было правильно, та суть, что я приехал и что так хорошо начавшаяся работа в Долгушине оборвалась, сломалась, разрушив все взлелеянные в семье надежды,— суть оставалась неизменной, и матери не было бы легче, если бы я все рассказал ей; ей не было легче и оттого, что я молчал, и все же — лучше было знать лишь то, что я решил учиться, что смотрю дальше в жизнь и приехал сам из деревни, чем то, что вынужден был бежать из нее. Может быть, именно потому, что я скрывал все от матери (да и не только от нее),— чем более отдаляло меня время от тех событий, тем реже вспоминал я о них и тем спокойнее и холоднее становилось на душе: лишь после встречи с Наташей, и то ненадолго, поднялись было пережитые чувства, я ходил мрачный, сосредоточенный и смотрел на все — деревья, дома, прохожих — с тем настроением, будто приемный

сын Лобихи вновь увозил меня по слякотной мартовской дороге из Долгушина в Чигирево, и вокруг лежала в черных на осевшем, подтаявшем снегу пролысинах земля... Я ведь не потому женился на Наташе, что она вдруг напомнила мне — не о плохом, разумеется, не о поленьях и Моштакове, а о лучших днях жизни в Долгушине, когда я вставал с зарею и ложился около полуночи, и Пелагея Карповна сушила, развесив над печью, промокший до нитки брезентовый, с капюшоном плащ; и уж совсем не потому, что когда-то показались мне удивительным Наташин детский мир доверчивости и простоты; все эти воспоминания (хочу заметить: чем дольше живу с Наташей, тем сильнее она нравится мне и тем чаще я говорю себе: «Я не ошибся, нет, что еще мне надо?» — и тем приятнее бывает думать, что все лучшее я разглядел в ней еще там, в Долгушине, и тогда же полюбил ее; правда, сама Наташа смеется и не верит, когда говорю ей об этом, но я действительно говорю искренне), да, вполне может быть, что все эти добрые воспоминания я уже потом начал как бы привязывать к Наташе, а в первое время, особенно после первой встречи, хотя Наташа и показалась мне стройною и привлекательною девушкой, и я обратил внимание и на ее глаза, смотревшие доброжелательно, приветливо, даже с надеждою, и на волосы, которые хотя и были пострижены коротко, по-городскому, но отнюдь не портили ее лица, а даже будто, напротив, оживляли и делали еще более женственным и красивым, и заметил, что хотя платье было на ней простенькое, но шито со вкусом, по-современному, как любят теперь выражаться у нас, и в этом тоже была своя привлекательная черта, и все же — после первой встречи не то чтобы жениться, вообще не хотел приходить к ней. Лишь спустя месяц совершенно, как мне кажется, случайно заглянул в общежитие педагогического института, где она жила, и, увидев ее в коридоре, заговорил с ней. Меня преследовала мысль, что Наташа, зная лишь видимую причину моего отъезда из Долгушина, осуждала меня, считала трусом, а мне не хотелось оправдываться перед ней; но я ошибался тогда; она не осуждала, и я понял это сразу же, едва только начал расспрашивать ее о родной деревне.

«Наташа,— сказал я, беря ее под руку и вместе с нею отходя в конец коридора, к окну,— я давно хотел спросить у вас, как поживает наше Долгушино?»

«А мы не в Долгушине сейчас, в Долинке»,— ответила она.

«Почему? Переехали?»

«Давно. К маминой двоюродной сестре».

Я продолжал вести Наташу под руку и думал, спросить ли у нее о Моштакове, о Федоре Федоровиче или нет?

Но пока я раздумывал, она снова заговорила:

«Мама работает техничкой в школе. Звонит в колокольчик.— При этих словах она улыбнулась той своею детскою доверчивою улыбкой, которую я, разумеется, хорошо помнил и которую было мне особенно приятно видеть на ее лице.— Звонит,— повторила она,— и получает зарплату. А устроила маму туда двоюродная ее сестра, Надя. Тетя Надя. Надежда Павловна,— опять улыбаясь тою же своею улыбкой, поправила себя Наташа.— Она любит, чтобы ее величали. У нее умер муж, осталась одна, вот и позвала нас. Мама не хотела».

«А вы, Наташа?» — спросил я.

«А что я? Мне все равно было, я же училась».

«Избу, наверное, продали».

«Я даже не знаю. По-моему, да. Там сейчас склад и контора сортоиспытательного участка, огород наш запущен, и вообще...»

«Вы когда были там?»

«Летом. К подружке ездила».

«Ну, а как Моштаковы?» — все же не выдержал и спросил я.

«Моштаковы? А что? Старик-то отсидел, да и опять лошадей лечит».

«Отсидел?!»

«Да. Подробностей я, Алексей, не знаю, а так, понаслышке, но мама знает, она и на суд ходила».

«Вон как! — почти воскликнул я. — Отсидел-таки, значит. А Кузьма Степаныч?»

«Тоже... мама хорошо знает, я не знаю».

«А Федор Федорович?»

«А что он?»

«Судили?»

«По-моему, нет. За что его?»

«Ну, а моштаковского зятя, Андрея Николаевича?» — продолжал расспрашивать я.

«Не знаю, Алексей, правда, не знаю. Мама все хорошо знает, если хотите, я напишу ей, спрошу».

«Нет, — ответил я, хотя, разумеется, мне было интересно узнать подробности. — Нет, нет, не надо, — повторил я, еще более чувствуя, что произношу не то, что нужно. — Зачем?»

Так детально мы уже больше не говорили о Долгушине; когда все же вспоминали, Наташа неизменно повторяла, что она ничего не знает, потому что не интересовалась («Мало ли какие дела у взрослых, — даже, по-моему, непривычно весело отвечала она. — У нас были свои заботы!»), но что мать, конечно же, знает все-все; и после того, как мы поженились, видя, что мне все же хочется узнать подробности, написала матери, прося рассказать ее, как и что было, кого судили и кого нет, но, к удивлению Наташи, мать не ответила на это письмо. Я же вообще ничего не знал о письме; да и не до него было. Каждый новый день начинался для меня с ощущения того счастья, какое испытывают или, во всяком случае, должны испытывать все молодые супруги в первые месяцы жизни; меня ничто не огорчало тогда: ни бедность, как мы с Наташей начинали жизнь, ни то, что даже не была сыграна свадьба. Мы поженились, когда она только-только закончила институт, а я еще и года не успел прожить в своей небольшой, выделенной управлением комнатке. У нас не хватило денег, чтобы пригласить к празднику Наташину мать, Пелагею Карповну (приглашение это было отложено на глубокую осень); мы просто посидели вечер в доме моей матери, нешумно, без песен и музыки, немного выпили, закусили тем, что смогла она приготовить, и ушли, оставив одну со своими думами в пустом и, наверное, казавшемся ей осиротевшим без детей доме. Брат служил в армии, сестренка поступила в медицинский институт и училась в Томске, и для матери, теперь я понимаю, было это, может быть, самым тяжелым временем, потому что, во-первых, после большой и шумной семьи она вдруг, в один год, оказалась одна в четырех стенах, и во-вторых — хотя детей как будто и не было дома, но никто еще из нас, по ее материнским понятиям, не встал на ноги (даже я; «Жениться — еще не все», — если не говорила, то, по крайней мере, думала так), мы по-прежнему оставались для нее детьми, за которыми нужен глаз да глаз, и она тревожилась за нас еще сильнее, когда мы не были у нее на виду; как, наверное, многие и многие на земле люди, к сожалению, я понимаю все это только теперь, запоздало, и лишь вот в такие часы раздумий над жизнью возникает иногда чувство вины и раскаяния; но тогда, в тот теплый сентябрьский вечер, — только на миг, как тень от блуждающего по небу облачка, коснулась сознания эта грустная мысль, а через минуту (мать еще стояла у калитки, и, оглянувшись, можно было увидеть при

тусклом свете лампочки, что горела над номером, ее чуть сутуловатую фигуру в белом шелковом с кистями шарфе), занятые собою, мы были как будто уже за тысячу верст от ее материнских забот и волнений. И это, очевидно, закономерно, потому что счастье личное всегда делает человека эгоистичным. Мы шли обнявшись по притихшим городским улицам; я не помню, о чем говорили и говорили ли вообще или шагали молча, но то душевное состояние, в каком я находился, то движение мыслей так ясно сохранилось во мне, что я и сейчас вот хотя всего лишь пересказываю, как было, но все вновь ощущаю, как и теплую руку Наташи, будто она рядом, ее плечо, теплое под ладонью и платьем упругое тело ее, и волосы, особенно черные и даже будто отдающие какую-то необыкновенную свежестью ночи, словно опять вот прикасаются к моему лицу. Из всех наших встреч, всех вечеров — сколько же раз и до свадьбы, и потом бродили мы по этим ночным пустынным улицам! — более всего помнится именно этот сентябрьский вечер, потому что он, как и Долгушинские взгорья, пробуждал новые, никогда прежде будто не испытанные чувства. А впрочем, новые ли? Пожалуй, мне только казалось, что новые, тогда как это было всего лишь знакомое желание добра себе, Наташе, всем людям, желание достатка, уверенности в завтрашнем дне, а точнее, то самое чувство хозяина, удачливого главы семьи и дома, каким представлялся мне Андрей Николаевич, когда я, только-только приехав в Красную Долинку, сидел у него в гостях и глядел то на щедро накрытый стол, то на Таисью Степановну, как она уходила на кухню и возвращалась в комнату и затем, наклоняясь, почти касаясь своею мягкою щекою моею, подкладывала на тарелку кушанья и подливала чай (чего греха таить, в те минуты я представлял свою будущую жену только такой, как Таисья Степановна, и дом свой, каким был дом у начальника райзо), — тогда я впервые увидел после трудных и голодных военных лет достаток, и достаток тот поразил мое юношеское воображение; но, разумеется, ни Таисьи Степановны, ни Андрея Николаевича, ни всего их с новыми воротами и ночью подводю хозяйства — ничего этого не существовало для меня, когда я теперь шел с Наташей, а жило лишь очищенное, что ли, желание доброты и достатка, так что я, наверное, готов был на все, чтобы только желание это осуществилось. Глупо, конечно, было желать только этого; это — недостаток — пришло с годами; да оно и не могло не прийти; но как бы я ни осуждал себя сейчас, как бы ни говорил, что нельзя жить только для этого, я не вижу, для чего надобно приукрашивать прошлые чувства и делать их необъятными, широкими? Стремление к семейному достатку не сузило моих представлений о жизни и уж никак не помешало, а, напротив, помогло жить и работать; нет, я не могу осуждать себя, и зря мы иногда не ценим это дисциплинирующее человека чувство в себе; ведь достаток не за счет воровства, но за счет труда, а труд — людям! Я помню, как мы с Наташей вошли в тот вечер в тихую и темную нашу комнату и, не включая света, стояли у раскрытого окна; ни крыш городских, ни улиц, ни фонарей не было видно; низкое барачное окно выходило во двор, на какой-то дощатый сарай, и мы смотрели на эту серую в ночи стену сарая; но виделась нам, разумеется, не стена, а счастливое и спокойное будущее. И хотя я думал о сыновьях, а родители потом девочку, хотя — я надеялся, что со временем перейду работать в какое-нибудь крупное и мощное зерновое хозяйство, но так и застрял надолго и к тому же на одной должности в управлении, и хотя — не все и в семейной жизни оказалось складным и привлекательным, как представлялось, и все же — я рад, что он был, тот вечер. В самом деле, не так уж часто нам выпадают в жизни минуты, когда и серая в ночи стена не может не только омрачить, но даже хоть на

мгновенье остановить поток волнующих чувств. Я и теперь, когда мне делается грустно, часто возвращаюсь — мысленно, конечно, потому что барак тот, как, впрочем, и отцовский из Старохолмова дом давно снесены, а раскинулись на их месте наши, как с похвалою говорят о них, Черемушки,— к тому низкому окну и стою, глядя в ночь, на сарай, на притягательно красивое и не всегда сбывающееся будущее.

Мы почти ни о чем не говорили, потому что и так все было понятно между нами; Наташа лишь спросила:

«Скажи, Леш, ты бы вернулся в Долгушино?»

«Работать? Жить?»

«Да».

«А что, вернулся бы. А ты?»

«Я — нет».

«Почему?»

«Ты опять начнешь искать лари у Моштакowych, а связываться с ними нельзя, они — страшные люди, мама говорила, они способны на все».

«Да на что же они способны? — с усмешкою проговорил я, потому что в эту минуту я действительно-таки никого и ничего не боялся, и время уже сгладило то впечатление, когда бросали в меня поленьями и они летели и скользили по гладкому льду.— Что они могут? Есть, Наташа, закон, и его не так-то просто переступить,— продолжил я, совсем не замечая, что лишь повторяю давнюю, в которую и сам уже не верил, истину.— Вот твоя мать говорит, да и многие в деревне, я тогда еще слышал, говорили, что Моштакow способен на все, а чем это подтвердить можно? Он что, убил кого-нибудь?»

«Нет, я не слыхала об этом».

«Покалечил кого? Или поджег чью-нибудь избу?»

«Нет».

«Так с чего же страх такой перед ним?»

«Не знаю, Леш, но я верю маме. И себе верю. Вот чувствую, и все».

«Но твоя мать говорила мне совсем другое, ты прости, я не хочу огорчить тебя, она говорила, что Моштакow якобы сделал много добра людям».

«Какого? Что давал муку? Так мама ему все огороды отполола за это».

«Я о другом — она все же говорила! Так вот, не злом, нет, а этим своим так называемым добром страшен Моштакow. Добром, а не злом, и все люди скованы перед ним, тогда как можно просто не принимать от него это добро, и он исчезнет, умрет».

«Не знаю, Леш, мне это не понятно, как тебе, но если бы даже все было так, как ты говоришь, все равно мы не поедем в Долгушино. Ты в управлении, я в школе, нам никакой деревни не нужно. Я не хочу, чтобы ты еще связывался с такими людьми, как Моштакow, для нас и в городе места хватит, так, Леш?»

«Ты думаешь,— возразил я,— в городе нет таких людей?»

«Ну уж не Моштакow, город есть город».

«Э-эх, Наташа, поверь мне, я-то уж знаю. Как-нибудь я порасскажу тебе...»

«Все равно, Леш, я не хочу в деревню».

Жизнь, к счастью, никогда не складывается из прошлых забот; каждый новый день приносит новые волнения и тревоги.

Осенью, как было намечено, мы не смогли пригласить Пелагею Карповну к себе, а весной, когда уже послали деньги на проезд, она сама вдруг отказалась, сославшись на то, что некому вскопать и посадить огород, да и ухаживать за ним («Надежда-то совсем плоха»,— писала она), а без огорода нельзя, не прожить, трудно, а ну как ни картошки,

ни капусты своей,— словом, не приехала Пелагея Карповна ни весной, ни летом, и мы только переписывались, и то не часто, вернее, писала Наташа, а я лишь читал корявые и с кляксами ответы ее матери. Но и мы тоже не могли поехать к ней; сначала — и меня и Наташу (она первый год тогда преподавала в школе и вся была увлечена своею учительской деятельностью) удерживали дела, потом — Наташа ждала ребенка, и мы совместно уже решили, что в таком состоянии, по крайней мере, она ехать не может; лишь спустя почти два года, когда родилась Валентина, Наташа вместе с маленькой дочерью собралась к матери в Красную Долинку. Я отвез их на вокзал в первых числах апреля, а под самый майский праздник, хотя никакой видимой нужды в этом не было (лишь осенью, после уборочной страды, я должен был поехать за ними), даже, по-моему, неожиданно для самого себя днем тридцатого взял билет, а ночью поезд уже мчал меня в Красную Долинку.

В четырёхместном купе, что случается весьма и весьма редко, я ехал один. Проснулся рано, когда сквозь зашторенное окно едва пробивались голубоватые, пока еще не взошло солнце, струи рассвета, и от этих ли ласкающих взгляд струй, от приглушенного ли постукивания колес и мерного покачивания вагона, или просто оттого, что хотя я как будто и протер глаза и уже сидел, свесив к полу босые ноги, но еще то дремотное состояние, в каком обычно просыпаются люди, продолжало как бы жить во мне, — я чувствовал то глубокое умиротворение жизнью, как если бы действительно все уже было постигнуто, познано и более не только ожидать, но и желать нечего. Пожалуй, вряд ли я смогу припомнить еще утро, когда было бы так мирно на душе и когда не только будущее, но и прошлое со всеми неурядицами и волнениями казалось бы естественным и необходимым, как ступень к этой минуте удовлетворения. Мне во всем виделась удача: и что женился именно на Наташе, и что на работе все пока ладилось («Вот, отпустили... на пять дней... вместе с праздничными, правда, ну так что же», — говорил я себе), и, наконец, что еду в места, которые более, чем ларями и поленьями («Очевидно, надо было пройти и через лари и поленья»), памятны добрыми чувствами. Состояние это, в сущности, началось еще вчера, как только я вошел в вагон и за окном потянулись, удаляясь, тусклые огни вечеряющего вокзала. Я почти не думал о прошлом; если что и волновало, так это Наташа и маленькая Валя. «Как они там?» — спрашивал я, переносясь мыслью в Красную Долинку и воображая Наташу и, главное, маленькую Валентину, как она, закутанная в белую простынку, видно только пухлое розовое личико, лежит на подушках, посасывая резиновую соску и моргая светлыми глазенками. Я никогда не предполагал прежде, что дети, эти крохотные и несмышленные существа, обладают такою притягательной силой, что становятся на какое-то время центром нашей жизни. Повторяю, с теплотою думал я о жене и дочери, укладываясь с вечера на вагонной полке, да и теперь, когда, проснувшись, оглядывал пустое купе — радость от предстоящей встречи с ними вновь, как и вчера, и даже будто еще сильнее охватывала меня; и умывался я с этим же добрым настроением, а потом в длинном и безлюдном пока вагонном коридоре стоял у окна и смотрел, как над уходившею полукружьем за горизонт землю, над деревеньками, березовыми колками, зелеными озимых, над машинами и запряженными в возки лошаденками возле опущенных полосатых шлагбаумов вставало ясное росистое утро. Оно не было необычным, и я, занятый своими думами, как будто не замечал ничего особенного, что привлекло бы внимание, — ну, розовеет небо перед той минутой, как выглянуть солнцу, и этот розовый отсвет ложится на поля, переламываясь и смешиваясь с густою зеленью хлебов, на крыши изб, на верхушки проносящихся мимо деревьев, заплетаясь в ветвях и стекая по стволам, уже совсем померкнув, к земле (но я десятки раз уже наблюдал такое

прежде!), — нет, ничего особенного как будто не было в разгоравшемся над полями утре, а вот не десятки других, а именно это помню со всеми его красками, с прошлогодними порыжевшими стожками, вдруг открывавшимися то вдаль, то прямо у насыпи, где будто и не должны были стоять они, со всеми подновленными к празднику, выбеленными и украшенными флажками крохотными вокзальчиками на разъездах и полустанках, мимо которых проносился поезд, и помню все это, наверное, потому, что, как ни казалось мне, что я не думал о прошлом, что все помыслы были лишь о Наташе и Валентине и о предстоящей с ними встрече, но вместе с тем именно то давнее прошлое, когда я впервые ехал по этой дороге, то радостное возбуждение, какое каждый, наверное, испытал в молодости, впервые вступая в самостоятельную жизнь, подымалось и жило во мне своею, может быть какою-то параллельною, что ли, жизнью. Но я еще не осознавал, что прошлое тревожит меня, и с безразличием будто смотрел на знакомые наплывавшие картины, лишь с удивлением отмечая, что время будто остановилось здесь («здесь» — разумелись либо красная с подьеденными боками станционная водокачка, либо покосившийся дощатый пакгауз с разгрузочною рядом площадкой, на которой, как и тогда, прежде, будто даже с тех самых лет, так и лежали не вывезенные колхозами в кулях и рассыпанные по земле удобрения); но, если вдаваться в тонкости, то никакого безразличия, конечно, не было, потому что — замечал же я, что время будто остановилось здесь; и в конце концов, от этого мелькания, от знакомых станционных строений, которые то возникали, то исчезали за окном, как от отправной точки, постепенно и все явственнее начала как бы прокручиваться передо мною вся долгущинская история с той минуты, когда я, выпрыгнув из кузова грузовика, стоял с чемоданом в руках на пыльной площади в Красной Долинке. даже, пожалуй, не с той, а раньше, когда я только еще уезжал из дому, прощаясь с матерью, братом и сестренкой, переполненный радостными надеждами, а вернее, еще раньше, с белых узлов и бородатых мужичков в морозных сенцах, отвешивавших муку, — словом, прокручивалась вся та жизнь, которая не могла не сделать главной мечту о хлебе, достатке. Шаг за шагом я как бы заново испытывал уже пережитые однажды и будто забытые чувства, и от утреннего умиротворения в душе вскоре не осталось и следа. Я не заметил, как постепенно коридор наполнили проснувшиеся и курившие теперь или просто стоявшие с мыльницами в руках и переброшенными через плечо дорожными вафельными полотенцами пассажиры; почти машинально уплатил проводнице за чай и взял из ее рук билет; и только когда кто-то настойчиво и несколько раз (может быть, пояснял кому-то) повторил название знакомой станции, я спохватился и, открыв окно и высунувшись в него, принялся смотреть на медленно приближавшийся неасфальтированный, лишь выложенный красным обожженным кирпичом, неровный, с выбоинами, как он выглядел и тогда, перрон.

Наташу, Пелагею Карповну и ее двоюродную сестру Надежду Павловну (я никогда не видел ее прежде, но потому, что она стояла рядом с Наташей и Пелагеей Карповной, понял, кто это) разглядел и узнал издали, и — так уж, видимо, устроен человек, что на какое-то мгновение он может как бы отключаться от всего, даже самого тяжелого, что занимает его, и жить новой, пусть, может быть, недолгой радостью или горестью, — я вдруг словно забыл обо всех своих думах; еще сильнее подавшись в окне, я закричал:

«Сюда, Наташа, сюда! Я здесь!»

И я уже ни на минуту не терял из виду Наташу: когда, схватив чемодан, двигался по коридору, то и дело оглядывался на окна и в каждом окне видел ее; когда очутился в тамбуре — из-за плечей двигавшихся впереди пассажиров опять видел счастливо улыбавшееся лицо Ната-

ши. Как только я ступил на вышербленный кирпичный перрон, Наташа передала матери Валентину в легком, с кружевной простынкою одеяльце и кинулась ко мне, обнимая, целуя и говоря:

«Как ты надумал! Какой ты молодец! Как ты решился!»

Я чувствовал, что вместе с этими словами, вместе с тем, что слышу ее голос, вижу глаза, полные, как мне казалось, жизни и радости, будто возвращалось нарушенное воспоминаниями состояние уверенности и покоя; но уловившая, что окружавшие ее люди чем-то возбуждены, Валентина вдруг начала плакать на руках Пелагеи Карповны, и плач ее, и слезы, которые обильно лились по щекам, поддерживали не прежнее, а новое, хотя и не совсем ясное, но оттого не менее глубокое беспокойство.

«Валентина плачет»,— сказал я Наташе, слегка отстраняя ее.

«Пусть поплачет, ничего ей не сделается»,— возразила Наташа, не желавшая прерывать своего счастья.

«Плачет же»,— настойчивее повторил я.

«Ничего, милый!»

«Да закатывается ребенок!»

Я подошел к Пелагее Карповне и взял у нее Валентину. Но она не успокоилась, а заплакала еще сильнее, явно просясь к матери, и тогда Наташа, тоже уже начавшая волноваться, сказала:

«Давай мне».

Отходя, прижимая к себе и укачивая Валентину, Наташа напевно говорила:

«И что же это мы расплакались так, маленькие мои, что же это мы не радуемся...»

Поезд еще стоял на путях, и пассажиры, прохаживавшиеся вдоль вагона,— кто бесцеремонно, прямо, во все, как говорится, глаза, кто украдкой, исподволь,— смотрели на нас, не скрывая своих иронических усмешек; из окон вагона какие-то мужчины и женщины тоже смотрели на нас, и, не замечавший всей этой глазевшей публики в первые минуты встречи, я все более начинал испытывать неловкость под их взглядами и чувствовал, как беспричинное, как принято считать в таких случаях, недовольство и раздражение подымаются во мне; стоял же я как раз напротив Пелагеи Карповны, и надо было начинать разговор с ней.

«Ну, здравствуйте»,— сказал я, замечая, как постарело ее лицо за эти годы, пока мы не виделись, но еще более замечая, что как-то уж очень холодно и отчужденно произношу я свои приветственные слова. Я невольно оглянулся на Наташу: не слышит ли она?

Но она, занятая Валентиной, ничего не слышала.

«Здравствуй,— таким же тоном, в котором звучали будто и недоверие и настороженность, ответила Пелагея Карповна и, шагнув ближе, холодными (может быть, все было не так или не совсем так, но я почему-то запомнил именно это, что губы у нее были холодными) губами прикоснулась к моему лбу и добавила: — Решился-таки?»

Не знаю до сих пор, к чему она сказала это: к тому ли, что я решился-таки приехать на праздники к жене в Красную Долинку или же что решился жениться на ее дочери? «Но разве что было, отчего я не мог?»— мгновенно подумал я. Вслух же лишь произнес, стараясь улыбнуться:

«Да вот решился, приехал».

«Это моя сестра»,— сказала Пелагея Карповна, теперь чуть отходя в сторону, чтобы я мог увидеть еще более старую, чем сама Пелагея Карповна, и морщинистую Надежду Павловну.

«Очень приятно»,— проговорил я и протянул пожилой женщине руку.

На привокзальную площадь мы выходили медленно. Я нес чемодан и свободной рукою несколько раз порывался взять Валентину у Наташи,

но Валентина тут же начинала плакать, и Наташа снова забирала ее к себе. Наташа не просто казалась счастливой, но состояние это было естественным в ней, я чувствовал это, и ее возбуждение и радость невольно передавались мне; я то и дело взглядывал на нее, и в минуты, когда видел отражавшие все ее теперешние переживания глаза, во мне самом мгновенно как бы возникали те же самые, что мы привычно называем любовью, чувства. Наташа не заметила отчужденности, с какой я только что разговаривал с Пелагеей Карповной и с какой Пелагея Карповна, у которой, очевидно, имелись какие-то свои основания для этого, отвечала мне; Наташе наверняка казалось, что все должны были испытывать то же, что испытывала она; ей и в голову не приходило, что кто-либо мог не интересоваться и не радоваться ее счастью; она видела себя в центре событий, и все, что было вокруг (и не только шагавшие рядом с нею родные): люди, дома, даже флаги, развешанные в честь майского праздника на небольшой и не очень шумной в эти утренние часы привокзальной площади,— все было будто пронизано лучами ее радости, и я говорю об этом так уверенно потому, что секундами, когда, повторяю, видел ее удивительно светившиеся жизнью глаза, сам испытывал это ее чувство. Именно потому, что мне не хотелось нарушать ее радости, я всеми силами старался не выказывать нараставшей с каждым шагом, пока подходили к автобусной станции (с вокзала в Красную Долинку к тому времени уже ходил маршрутный автобус), неприязни к Пелагее Карповне. Я и сейчас не могу понять, отчего возникла такая неприязнь? Беспричинно ничего не бывает в жизни. Я как будто что-то предчувствовал, ее предстоящий рассказ, что ли? Или просто вспомнил, как после неудачного разоблачения Моштакова она стала избегать встреч и разговоров со мной, и я все еще не мог простить ей этого? Держа под руку свою старенькую двоюродную сестру, она шагала сейчас позади меня и Наташи, я все время чувствовал на спине ее как будто ошупывающий взгляд, и это раздражало меня; было такое ощущение, что за спиною двигалось вдруг ожившее неприятное прошлое, и я не в силах был освободиться от него. Я еще что-то отвечал Наташе, когда она спрашивала, как жил и что подделывал, оставшись один, и каковы успехи на работе, и улыбался при этом, стараясь поддержать общее как будто веселое настроение, и спрашивал сам, как жила все эти дни она и как чувствовала себя здесь, у матери, но весь наш разговор — и я теперь с болью вижу это, потому что понимаю, как был несправедлив к Наташе тогда,— оставался лишь той любезностью, какую обычно обмениваются по утрам сослуживцы; прошлое не только шагало за спиною, но, хотя я будто и не смотрел по сторонам, оживало во всех тех ничуть, как мне казалось, не изменившихся зданиях, какие я видел в первый свой приезд и какие, хотел я или не хотел этого, отбрасывали меня в памятное послевоенное лето. Особенно я почувствовал это, когда уже в Красной Долинке вышли из автобуса и очутились на центральной площади села. Я сразу уловил, лишь бегло взглянув вокруг, что ничего будто не изменилось здесь (в те годы, знаете, еще не начиналось такое массовое строительство, к какому мы с вами привыкли теперь и какое развернулось, в общем-то, по всей стране); так же чуть обособленно, но только поосев, ниже припав к земле, стояло вытянутое и напоминавшее, как и прежде, жилой барак с крыльцом и центральным входом посередине здание райзо; и хотя оно было подремонтировано и выбелено к празднику, фундамент не казался подъеденным солонцом, да и плакаты, может быть по случаю того же праздника, были написаны на новых красных полотнищах (кстати, райземотделов тогда уже не было, в здании размещалась какая-то заготовительная контора, и я называл его «райзо» только по старой памяти), но почему-то оно еще более, чем в тот мартовский слякотный день, когда я, покидая Долгушино и Красную Долинку, в последний раз смотрел на

него,— оно еще более показалось мне сейчас убогим, и я с незаметною ни для кого душевною усмешкою проговорил про себя: «А ведь когда-то я с восторгом думал, что здесь, в этом доме, начнется моя судьба...» Я снова обвел взглядом и здания райкома, райисполкома, и все теснившиеся вокруг площади деревянные и саманные избы, которые тоже выглядели по-праздничному подновленными. Так же, будто возвышаясь над площадью, чернела обветшалыми кирпичными стенами, как умирающий потомок былых времен, без куполов и колокольной церкви; двери и окна ее были забиты потемневшими, под стать кирпичам, досками, и моледа крапива уже буйно пробивалась вдоль осыпающегося церковного фундамента, словно спешила прикрыть на нем оспинные разъеды времени. Я вспомнил, как уснул на траве в тени этих холодных церковных стен, вспомнил, главное, сон и пробуждение. В противоположную сторону от церкви тянулась знакомая мне Малая улица. по ней я шагал когда-то, отыскивая взглядом новые ворота; и все, что было со мною потом: от той минуты, как я остановился возле новых ворот и постучался в них, до праздничного застолья и ночной прогулки, когда, волнуясь и недоумевая, увидел подводу на ночном дворе и увидел впервые старого Моштакова,— все-все мгновенно и живо всплыло в памяти; в каком-то, может быть, отупении (хотя слово это, думаю, не может вполне отразить то состояние, какое охватывало меня) смотрел на эту знакомую улицу.

«Ну что ты стоишь? — вдруг услышал я не то чтобы удивленный, но с явною будто обидою голос Наташи.— Что ты там увидел? И вообще, что с тобой?»

Она уже не первый раз говорила мне это: «Что с тобой?» — не понимая, разумеется, ничего, даже, по-моему, не предполагая, что происходит у меня на душе: ей по-прежнему казалось странным и непостижимым (ведь любовь к кому-то или к чему-то одному — это тоже в какой-то мере эгоизм), чтобы я испытывал что-либо другое, чем она, и чтобы жил в эти, по крайней мере, минуты встречи иною жизнью, чем она; но я жил именно иною жизнью, чем Наташа, и поднимавшееся в памяти прошлое так цепко держало меня, что хотя я и смотрел на Наташу, хотя и чувствовал в голосе ее обиду, но не сразу, не вдруг мог отключиться от наплывавших картин.

«Да, да, пойдемте», — после секундного недоумения сказал я; но, сказав, еще раз взглянул на церковь и на знакомую, убегающую в глубь деревни улицу.

«Что с тобой, Алексей? — повторила Наташа, и теперь уже в глазах ее я прочитал беспокойство.— Ты какой-то будто чужой».

«Нет-нет, ничего,— торопливо заверил я.— Пойдемте».

Но хотя я и старался после этого как можно больше и веселее смотреть на Наташу и не оглядываться по сторонам,— всю дорогу, пока шли к избе Надежды Павловны, чувствовал, что Наташа уже не была такой радостной, какой я увидел ее на вокзале: беспокойство, что я будто чужой, раз зародившись, очевидно, уже не покидало ее, и она, чего я тоже не мог не заметить сразу же, бросала на меня будто невзначай внимательные взгляды; уже дома, во дворе, когда Пелагея Карповна вместе с сестрою, поднявшись на крыльцо, отпирала дверь, а мы с Наташею стояли внизу, возле ступенек,— Наташа, неожиданно наклонившись ко мне, почти шепотом спросила:

«Ты что такой мрачный? Ты не рад?»

«Ну что ты! О чем говоришь!» — возразил я.

«Пожалуйста, прошу», — сказала Пелагея Карповна, приглашая поклоном, как еще принято в деревнях, войти в избу, в то время как Надежда Павловна, распахнув дверь, придерживала ее рукой.

«Проходи. Алексей», — поддержала Наташа, чувствуя себя хозяйкой и уступая мне дорогу, и я, подчиняясь ей и посторонившимся от дверей

пожилым женщинам, вошел в прохладные и еще не просохшие и не отогревшиеся с зимы, так мне показалось, сенцы.

Изба Надежды Павловны стояла почти на самом краю Красной Долинки, развернувшись огородом к реке Лизухе, так что жердевая ограда спускалась к пологому в этом месте и густо заросшему весенней травой берегу. Берег этот тоже был знаком мне. Когда-то, проходя по нему, именно здесь, напротив этой жердевой ограды, я увидел сидевших с удочками маленьких веснушчатых рыболовов и затем встретил старика с прутиком, замыкавшего цепочку важно шествовавших к воде гусей («Не муж ли это был Надежды Павловны?» — подумал я, еще когда с Наташей стоял во дворе и, оглянувшись, узнал знакомый берег Лизухи); этот поросший травой пологий берег был хорошо виден мне теперь из окна, и видна была вся открывавшаяся за спокойной речной гладью и кудрями тальника даль полей, где густо-зеленые, давно раскутившиеся озимые перемежались с бледными клыньями всходов овсов и гречихи и клыньями чистых черных паров, и я время от времени украдкой — пока Пелагея Карповна, Надежда Павловна, да и Наташа, уложившая уснувшую Валентину на кровать, хлопотали возле стола, празднично накрывая его и расставляя давно уже и с избытком наготовленные угощения, — посматривал на эту когда-то поразившую мое воображение картину ухоженной крестьянскими руками земли. Мне и приятно и грустно было видеть ее. Стараясь уйти, отключиться от воспоминаний, я тоже принялся было помогать женщинам, но как только все было готово и я, сев за стол, опять очутился напротив окна, из которого открывались те же хлебные поля, луг у реки и лес, что синел будто далеко-далеко за черной полосой паров, — во мне снова все разделилось на две существовавшие самостоятельно жизни: одна — та, что была в прошлом и теперь лишь повторялась, другая — эта, что окружала здесь, в избе, которую я видел перед собою и которой, как ни трудно было, приходилось, прерываясь от дум, уделять внимание. Мне хотелось быть здесь, вместе с Наташей и всеми, угощавшими и смотревшими на меня, но еще более хотелось быть в прошлом, там, потому что прошлое имело свою притягательную силу, и, борясь с этими своими желаниями, я лишь замыкался и мрачнел, и чтобы хоть как-то оправдать угрюмое настроение, принялся объяснять Наташе, но так, чтобы слышали все, что я просто от усталости такой неразговорчивый сегодня, что перед самым отъездом было много работы в упавлении, да и дорога — какой уж в вагоне отды! Я говорил это и краснел, чувствуя, что не только Наташа, но и Пелагея Карповна, и даже близорукая (потому-то она и вглядывалась так пристально) сестра ее понимали, что я скрываю что-то от них, и только из вежливости не хотели нарушать общее согласие.

«Господи, не ездила я никуда, да и не собираюсь», — говорила Надежда Павловна.

«Ничего, Алексей, посиди с нами немного, а потом пойдешь и поспишь», — продолжала Пелагея Карповна свое, едва только смолкала сестра. — Ты уж дай нам, старухам, посмотреть на тебя, не чужой ведь теперь».

«Конечно, да я и не засну сейчас», — ответил я. — Какой сон! Давайте лучше выпьем за ваше здоровье. — Я не назвал Пелагею Карповну ни мамой, ни по имени и отчеству, хотя чувствовал, что надо было непременно сказать ей: «Мама». Я понимал, что поступаю нехорошо, что это может обидеть Наташу, но не мог пересилить себя и вымолвить это слово. — И за ваше», — добавил я, обращаясь к Надежде Павловне и принимаясь подливать в маленькие граненые стаканчики водку.

Как ни старалась Пелагея Карповна и как ни старался я сам (мне ведь тоже хотелось вдохнуть хоть какое-то тепло в нашу встречу), — разговора не получалось; я видел, как встревоженно смотрела на меня На-

таша, но — что я мог поделывать? Я лишь предлагал тосты: за майский праздник, за здоровье всех в этом доме, что особенно нравилось Пелагее Карповне, наконец, за Наташу и маленькую несмышленную Валентину, но каждый раз, как только граненые стаканчики опускались на стол, наступала неестественная, конечно же, для такой встречи и вызывавшая у всех неловкость тишина.

«Ну что же мы молчим?» — возмущалась Наташа.

«Вот именно», — поддерживал я.

«Ты хоть бы рассказал что-нибудь о себе, — просила Пелагея Карповна. — Как дома?»

«А что дома? Запер квартиру на замок — и вот, здесь. У нас ведь в городе все налегке: ни кур, ни поросят, ни коровы».

«Это понятно. Я говорю, как мать?..»

«А что мать? Она на пенсии. Наташа разве не сказала вам? Она в Томске, у дочери».

Мы еще говорили о чем-то незначительном — меня спрашивали, я отвечал, и внешне все как будто оставалось пристойным, приличествующим минуте, но вместе с тем между мною и Пелагеей Карповной (как, впрочем, между мною и Надеждой Павловной, на что действительно-таки не было никаких причин) все время как бы возникала невидимая душевная преграда, через которую ни я, ни они не могли перейти; нужен был какой-то сильный и неожиданный толчок, что ли, чтобы преодолеть эту преграду, и толчком таким, по-моему, явилась негромко, словно бы между прочим произнесенная Наташею просьба.

«Мама, — сказала она, — за что судили старика Моштакова, а то Алексей все спрашивал у меня, ему интересно, а я ничего не знаю».

«Да что ты, господь с тобой, когда это было! — почти воскликнула Пелагея Карповна, будто даже — или мне только показалось так? — испугавшись просьбы дочери. — Я уж и забыла все».

«Но ты же ходила на суд?»

«О боже, когда это было!»

«Нет, отчего же, интересно, расскажите», — теперь уже вмешался я, и, может быть, потому, что в голосе моем прозвучала искренняя заинтересованность, Пелагея Карповна согласилась:

«Ладно, слушай. Только если я что запаматовала, ты уж извини. А судили его не за то, — она не произнесла слова «зерно» и «лари» и не добавила при этом: «Которые, помнишь, искал ты в тайной моштаковской кладовой», но посмотрела на меня так, что я сразу понял, что означает «не за то», — а за другое, Алексей».

«За что же?»

«Игната Старцова помнишь?»

«Игната Исаича? Участкового?»

«Так вот, это он подкараулил старика, летом, во время уборки, когда тебя уже не было в Долгушине. По ночам забирался в моштаковский двор и, как уж там было, я не знаю, сидел, пританвшись. Ночь, вторую — так прямо на суде и рассказывал, — а на третью, глядь, на самой петушиной зорьке, как полоске по небу родиться, въезжает пароконная бестарка во двор, а на ней Кузьма, бригадир, да и сам старик, Степан-то, тут как тут, на крыльце, и баба за ним с мешками. Степан-то с бабою насыпают пшеницу в мешки, а Кузьма туда их, через конюшню и в кладовую. Но с первого разу брать их Игнат не стал, а уже на шестую ли или на восьмую ночь, теперь уж вот из головы вылетело, как раз опять на петушиной зорьке и накрыл их. Да и Подъяченков был с ним. Парторг, помнишь?»

«Ну еще бы, конечно, помню».

«Вот и взяли они Моштаковых — и в суд. Ночью же и людей побудили, и акт, и... ну, что еще? Старика, Степану-то, как видно по старости, чепыре дали, а Кузьме — шесть».

«А зятя их, Андрея Николаевича,— спросил я,— судили?»

«Этого-то? Вот уж не помню,— чуть подумав, сказала Пелагея Карповна.— По-моему, нет, его не судили. На суд вызывали, а не судили. Он сразу же и уехал куда-то».

«Отвертелся-таки,— с усмешкою проговорил я,— а уж его-то в первую очередь надо было».

Я сказал так не потому, что действительно знал все гнусные дела Андрея Николаевича; просто мне казалось, что бывший начальник райзо хотя и не увозил сам с тока зерно, но, во всяком случае, знал и покрывал; на Пелагею Карповну же фраза моя произвела, однако, неожиданное и странное, что я сразу заметил, впечатление. Она даже слегка побледнела, несколько секунд молча всматривалась в меня, словно решалась, говорить ей, что она знала, или не говорить, и оглянулась на Наташу и затем на свою двоюродную сестру, у которой, может быть впервые за все то время, пока сидели за столом, появилось на лице оживление, но так как никто не мог предположить, что волновало Пелагею Карповну, чего она опасалась и на что решалась,— все тоже молча и ожидающе смотрели на нее.

«Виновата я перед тобой, Алексей, вот что я скажу тебе,— наконец проговорила она.— Не хотела, думала, умолчу, но вот — не могу. Может, и лучше, что расскажу, и на душе посветлеет. Ты уж прости, Алексей. Да разве ж я знала, что ты зятем ко мне приедешь?»

«В чем, мама?» — спросила Наташа, продолжая уже с тревогою смотреть на мать.

«Виновата, Алексей,— между тем снова проговорила Пелагея Карповна, не обращая внимания на вопрос дочери и не отвечая ей,— да и не только перед тобой. Спрашивали меня на суде о тех ларях, помнишь, которые вы искали и не нашли, и я ничего не сказала. А ведь они были, Алексей, и я знала, куда Моштаковы их увезли».

«Куда?» — перебил я Пелагею Карповну, даже чуть подавшись вперед, будто так яснее можно было услышать ответ.

«Куда?.. Не спеши, дело тут непростое. Если бы на суде я начала говорить правду, многих бы еще упекли, а уж Андрея Николаевича первым. Но не могла я ничего сказать. Теперь бы вот, наверное, сказала, а тогда — нет. Как раз накануне суда, когда повестка уже пришла — как свидетельницу меня вызывали,— является под вечер вдруг в избу Ефимка одноногий».

«Это конюх? Понурин?»

«Да. Является и говорит: «Ты, Пелагея, на суде помолчи, а то и тебя упекем, и останется твоя девка сиротою». «Я ничего не видела и ничего не знаю», — говорю. А он: «Вот так и держись, а ежели язык распустишь, то все одно — жизни тебе не будет. Поняла? Вот то-то». Сказал и ушел, а я как во сне хожу, из рук все валится».

«А вас за что?» — опять перебил я.

«Да оно вроде и было за что, да и не было, а страх, он всегда впереди человека бежит. Особенно у нас, женщин. Ну, куда я одна? Кабы Николай (она редко вспоминала о своем погибшем на войне муже, но когда все же вспоминала, говорила всегда с добрым чувством), он бы все решил и рассудил по-мужски, а я что? Подойду к Наташе, спит девка и ничего не знает, а у меня сердце обливается. Так, захолонув, и стояла на суде, словно во рту не язык, а железный колун,— отяжелел, ни шевельнуть им, ни слова сказать не могу. Привезли меня домой ни живую ни мертвую. Не в Долгушино, а сюда, к Наде. Два дня пластом лежала,

думала, конец, и уже за тобой,— Пелагея Карповна взглянула на Наташу,— хотела посылать, да обошлось. Вот Надя не даст соврать,— продолжала она, в то время как Надежда Павловна принялась согласно трясти головою.— А началось-то с чего? Помнишь, Алексей, когда ты у нас жил? Прибежал ты однажды утром,— в Чигирево еще собирался, за подводой ходил,— гляжу, а на тебе лица нет. Ты-то спрашиваешь: «Имеется ли в Долгушине колхозный амбар?» Я говорю: «Нет», а сама думаю: «Господи, и с чего бы так вдруг? Не к Степану ли Моштакovu ходил?» Знать я еще ничего тогда не знала, а догадка-то сразу обожгла, да и смотрю, подался ты пешком в Чигирево. Для чего? Не иначе как узнал что или увидел у Моштакoвых. Но я, Алексей, не ходила никуда и никому ничего не говорила про свою догадку, и Наташу в избу загнала, чтобы ничего никому. «Не мое дело, думаю, сами разберутся». Думаю и не сплю. Чуть звук какой, вскакиваю: «Едет!» Тебя ждала. Да и другой день все на взгорья смотрела: появишься или нет? Но приехал прежде не ты, а Андрей Николаевич. Никому, конечно, невдомек было, для чего он прикатил; он и раньше приезжал погостить к тестю, может, и теперь так? Люди-то наши к этому привыкли, но я чувствую,— не то что-то, и кур, как обычно, не рубят, и пельмени не несут на мороз, да и труба будто не дымит, притихла, а тишина спроста не бывает. Дело к вечеру, а тебя все нет. А как совсем стемнело, стучится ко мне Моштакчиха. «Пелагеюшка,— кричит с улицы, с мороза,— зайди на минуту к нам, разговор есть». «Сейчас»,— говорю. Одеюсь, иду; опять, чую, что-то неладно, а все же иду. В избе Андрей Николаевич сидит. Я поклонилась, здороваюсь, как никак, а почти всю войну председательствовал у нас, а он: «Помнишь?»— «Как же, говорю, ежели бы не вы да не Степан Филимонович, дай бог вам здоровья, где бы уж мне Наташу вытянуть, зачахла бы».— «Ну уж не совсем так,— говорит, а сам сидит, ноги вперед вытянул, и по лицу что-то вроде как бегаёт, то ли бледность, то ли испуг; борется с собою, а говорит без дрожи: — Это мы в память о Николае, хороший у тебя был мужик, работающий колхозник. Но скажи, а за добро платить добром ты умеешь?» — «Да уж Степан Филимоныч не пожалеется, вот он, говорю, отчего не умею?» — «А язык за зубами держать?» — спрашивает, а сам щурится. «С детства, отвечаю, не была болтливой».— «Тогда,— говорит,— ступай домой, а как нужно будет, разбудим и позовем». Ушла я, прилегла дома на кровать, а заснуть опять не могу. Около полуночи является Моштакчиха и только тук-тук в окно и манит пальцем: дескать, собирайся, пойдем. Куда мне деваться? Иду. А там у них во дворе уже сани, запряженные парюю коней, стоят и возле них прохаживается Ефимка одноногий, хрустит по снегу костылем. Кузьма, вижу, мешки с зерном таскает из конюшни и складывает в сани. Ну, я сразу поняла: «Хлеб увозят, прячут». Но назад мне уже хода нет. «Да и что,— про себя говорю,— мне за дело до них, пригласили помочь, вот и пришла, а остальное меня не касается. Что добр старик Моштакoв был ко мне, то добр: кому мерку, две, а мне завсегда насыпал не меряя, не жалел, так чего ж я...» Вошла в конюшню, потом в кладовую и вместе с Моштакчихой стала помогать Кузьме и его отцу насыпать зерно в мешки. Сами-то не успевали, вот и пригласили меня. Старик все больше керосиновый фонарь держал, светил да ворчал, чтобы аккуратней, не сорили на пол, а Андрея Николаевича и вовсе не было. Вот так почти до рассвета и ворочали: мы насыпали, Кузьма носил в сани, а Ефимка одноногий к себе увозил. Потом и лари разобрали и тоже увезли, а пол вымели, забросали старой трухлявой соломой и заложили сеном. Тут уж и Андрей Николаевич вышел и взял вилы, потому что не успевали до свету, а на другой день к обеду и вы с Подъяченковым и Старцовым подъехали, да только уже поздно было. Потому-то я и пряталась и не могла смотреть тебе в глаза, знала все, да и жалко было: позорят, а за что? Но сказать ничего не могла».

«Как же вы?! Не понимали разве?» — Я готов был закричать на нее, но сдержал в себе это желание.

«Я ведь и сама себя казню, Алексей, как же не понимала, но и не могла я иначе. Я же и про поленья знала».

«Какие поленья?» — торопливо спросила Наташа.

«Кто швырял?» — уже не в силах сдержать себя, крикнул я.

«Ты и сам мог бы догадаться: у кого березовые дрова на деревне были? Только у бригадира Кузьмы да еще у старого Моштакова. Они каждый год доставали бумагу на сухостой, а мы, сколько я помню, всегда хворост заготавливали, хворостом и топились».

«Кузьма?» — Меня интересовало свое.

«Нет».

«Старик?»

«Нет, Алексей, не они, а сам Андрей Николаевич. После, когда они меня пригласили да посоветовали сжить тебя с дому, так Моштачиха говорила, что швырял Андрей Николаевич. Я говорю: «Убить могли». А она: «Да вот и мой говорил то же, но Андруша не послушал. Надо, говорит, пойти попужать».

«Так они в тебя поленьями? — возмущенно воскликнула Наташа. — Хорошенькое дело: попужать!»

«И это еще не все, — опять не обращая внимания на дочь, продолжала Пелагея Карповна. — Старик-то потом велел оговорить тебя: мол, специально подослан в деревню, чтобы разоблачать всех».

«Кого это все х?»

«В том-то и дело, что оно будто и некого было, но в то же время, если взглядеться, у каждого хвост в репьях. Ведь так трудно в войну жили, Алексей, и каждый — кто сенца ночью на лугу накосит да и свежет себе во двор, потому что надо же коровенку кормить, кто ботвы или соломы привезет, а кто и кочаны, — всякое бывало, так что оговор на почву лег».

«Значит, это вы?!»

«Было, Алексей. Суди, казни, а было. Но я только раз бабам возле сельмага сказала, а в основном Ефимка одноногий крутил».

«Но вы-то, вы!.. — У меня не хватало слов, чтобы высказать все то, что я чувствовал в эту минуту к Пелагее Карповне. Я уже не сидел за столом, а стоял, и впервые тогда начала у меня подергиваться левая бровь (с тех пор, впрочем, так и пошло: чуть поволнуюсь, и потом унять не могу, дергается, и все тут). — Вы хоть чуточку сознаете, что вы натворили, — запинаясь, все же произнес я, хотя надо было говорить не это; ведь потому она и рассказала, что сознала свою вину. — Вы понимаете, — продолжал я, опять чувствуя, что нет нужных и резких слов, которые следовало бы сейчас бросить и без того сникшей, сгорбившейся (но эта старческая беспомощность не вызывала жалости, а лишь более раздражала меня) Пелагее Карповне. — Вы!.. Вы!..»

Не знаю, что подтолкнуло меня, — может быть, все же понимал, что ссориться ни к чему, что это обидит, оскорбит Наташу и что, главное, прошлое все равно уже не вернешь, — я двинулся к двери, чувствуя лишь одно: что не могу больше оставаться здесь, рядом с Пелагеей Карповной; я видел, как испуганно смотрела на меня Наташа, видел неприятно округлые, как у всех близоруких и слепнувших людей, выцветшие старушечьи глаза Надежды Павловны («Что он? Ведь не его же судили?» — думала она так или примерно так, потому что именно это уловил я в ее взгляде) и видел, выходя из комнаты и захлопывая за собою дверь, все так же неподвижно и виновато-сутуло сидевшую Пелагею Карповну (теперь, знаете, мне временами становится больно за нее; в конце концов, ну что она могла, женщина, когда над всеми нами висела война!), но никто из них ни словом, ни жестом не остановил меня.

Во дворе я еще постоял немного, прислушиваясь, не бежит ли за мною Наташа. Я даже не знаю, хотелось ли мне, чтобы выбежала Наташа, или нет; наверное, все же было бы легче, если бы она вышла, хотя — неприязнь к матери невольно переносилась и на старую, и уже, по-моему, ничего не смыслившую Надежду Павловну, и на Наташу, на всю эту невысокую и чужую мне деревенскую избу, со двора которой видны были огород, пологий берег Лизухи и дальше пшеничные поля за рекою, лес и синее за белыми, весенними облаками небо; глядя на открывавшуюся до горизонта хлебную даль и, в сущности, не видя и не воспринимая эту прежде удивительно притягательную и умиротворяющую картину, и все еще не соображая, куда и зачем иду, я зашагал по тропинке через огород к реке. Лишь бы подальше от дома, от Пелагеи Карповны, от всего того, что я узнал от нее. На том же, как мне кажется, месте, где когда-то сидели веснушчатые рыболовы, я присел на траву у самой воды. Я понимал, что надо успокоиться, и потому говорил себе: «Ну что я вспылел? И для чего она все рассказала? И... что же сломленного в моей жизни, когда я закончил институт и работаю вот в управлении? Не зря же говорят, что худа без добра не бывает. Я еще не знаю, лучше или хуже было бы, если бы я остался в Долгушине. Вечный сорт... — про себя ухмыляясь, продолжал я, — вот и все. Да возможен ли вообще этот вечный сорт?» Я как будто рассуждал правильно, и вид пахотной земли за рекою, и тихие всплески воды у ног будто успокаивали, и я уже не был таким злым, как вышел из дому; но на смену первой вспышке негодования явилась та невидимая душевная боль, которую ничто уже — ни годы более или менее счастливой совместной жизни с Наташей, ни успехи по работе или просто удовлетворение от каких-либо удачных командировок, — ничто не могло заглушить во мне. Лишь на время все будто затихало, но — вот сейчас, видите, снова все, как открывшаяся рана, сочит и ноет в душе. Как бы хорошо ни складывалась моя жизнь, я все равно не могу забыть Долгушино; а ведь в тот майский день, когда сидел один на берегу Лизухи, все было еще более свежо в памяти, чем теперь. Я смотрел на воду, на поля за рекою и думал о Долгушине; временами как бы вырастал перед глазами старый Моштаков с зажженным фонарем «летучая мышь» в руке, и я будто ясно слышал и усталое дыхание вспотевших женщин — Пелагеи Карповны и Моштачихи, — и шорох сыпавшегося в мешки зерна, или вдруг представлялась сцена, как Андрей Николаевич, перекидывая с руки на руку сучковатое березовое полено (то самое, которое я затем принес с замерзшей реки домой и поставил у крыльца), словно примеряя, достаточно ли тяжело оно, или выбрать другое, потяжелее, с привычным для него спокойствием и медлительностью произносил: «Надо, непременно надо попужать, чего там», но все эти зримые и, казалось бы, должны захватить внимание картины являлись лишь одной малой составной частью того злого моштаковского мира, который был еще более, чем когда-либо, понятен и ненавистен мне теперь; и мир Пелагеи Карповны (однако я не уверен, что был вполне справедлив тогда к ней), и душевный мир Андрея Николаевича, и мир всех тех мужичков — «мучное брюшко», которые опять как бы топтались с безменами в руках в своих промерзших, с земляными полами сенцах, — все сливалось в одно страшное, как паучьи нити, стянутые в узел, людское зло. «Ну что вот ей, Пелагее Карповне? — думал я. — Моштаков — ладно, но она-то, она!..» Может быть, час, а может, только около получаса просидел я один на берегу Лизухи; почувствовав, что кто-то подошел ко мне и остановился за спиной, я оглянулся и увидел Наташу. Я не знал, разумеется, какой разговор произошел у нее с матерью после того, как я оставил их, — о чем-то, конечно, они говорили, и, наверное, резко, потому что бледное лицо Наташи еще словно жило тем — вовсе

не мирно закончившимся — разговором; я заметил это, но ни о чем не стал спрашивать, да и потом не спрашивал, не желая ворошить прошлое, но теперь мне всегда почему-то кажется, что я знал и знаю, о чем они говорили.

«Я бы никогда не вышла за тебя, если бы знала», — негромко проговорила Наташа, присаживаясь рядом.

«Но ты-то при чем?»

«Я ничего не знала, Алексей».

«Верю», — сказал я и притронулся ладонью к ее настывающему от речного сырого воздуха плечу.

«Завтра же мы уедем отсюда», — опять заговорила Наташа.

«И ты с Валюшей?»

«Да, все вместе. Я не хочу оставаться здесь».

«Но...»

«И больше никогда сюда не приедем».

«Но, Наташа...»

«Нет, нет, не возражай. Я же все вижу!»

Еще несколько минут

Наташа настояла на своем, и на другой день поздно вечером мы покидали Красную Долинку. Пелагея Карповна и Надежда Павловна пошли на вокзал проводить нас. Но — что это были за проводы? Мы почти не разговаривали; на Пелагею Карповну было больно смотреть. Наташа унесла маленькую Валентину в вагон и больше уже не появилась на перроне; но я, впрочем, почему-то не испытывал той неприязни к Наташиной матери, как день назад, в минуты встречи, и был холоден с ней потому, что опять лишь подчинился общему настроению, которое создавала теперь Наташа. Я пожал руку старым женщинам, потом Пелагея Карповна поцеловала меня в лоб, пробормотав какие-то благословляющие слова; она не плакала, глаза ее были сухи, в них как будто остановилось что-то, знаете, как иногда бывает это у потрясенных людей, для которых все прошлое и все будущее вдруг сосредоточивается в одной точке, от которой они уже не могут отвести взгляда, — было что-то именно это, остановившееся и оттого пугающе-странное, тревожное, так что и сейчас, когда я вспоминаю тот ее взгляд, становится как-то неуютно и ознобно на душе. Наташа не выглянула в окно и не помахала матери рукой; я же, приподняв ладонь на уровень глаз, чуть заметно зашевелил пальцами, когда поезд тронулся, и две одиноко стоящие старческие фигуры на освещенном электрическими лампочками перроне начали как бы уплывать за окном.

С тех пор я уже никогда больше не приезжал в Красную Долинку и не видел ни Пелагеи Карповны, ни Надежды Павловны; постепенно они вообще как бы перестали существовать для меня. Я никогда не читал от Наташиной матери писем, и не потому, что не хотел; просто, занятый работой в управлении (как уже говорил, я много времени проводил в разъездах), даже не знал, что Наташа хотя и редко, а все же переписывалась с матерью. Этих писем, разумеется, она не показывала мне, потому что не хотела, чтобы я волновался и вспоминал прошлое. Я не осуждаю ее за это. Она по-своему была права. Даже когда умерла Пелагея Карповна, Наташа уговорила меня не ездить в Красную Долинку, потому что зачем же я буду отрыватьсь от свих служебных дел, когда вот-вот развернется посевная (было это в последние дни марта, снег уже сходил с полей), и поехала одна; когда же вернулась, рассказывала скупно, будто неохотно, хотя, я чувствовал и видел это, тяжело переживала смерть матери. Была, несомненно, какая-то несправедливость в том, как мы обошлись с Пелагеей Карповной, — я и, глав-

ное, Наташа (из-за меня, конечно, и мне от этого лишь больнее на душе), ради которой, собственно, и старалась мать, приспособляясь к той жизни, какая выпала ей на долю. Можно было, естественно, поставить вопрос так: «А зачем приспособляться? А как другие, кто не приспособлялся? Жили и живут, и никакие думы не мешают им спать по ночам», — и все-таки жалко было Пелагею Карповну. Вместе с нею в один и тот же день, лишь несколькими часами позже, умерла и старенькая Надежда Павловна. Наташа рассказывала, как стояли гробы их рядом на столе посередине избы, и только несколько старушек, очевидно соседок, пришли проводить их в последний путь. Их похоронили на деревенском кладбище. «Помнишь, на въезде, слева, как островок над рекой», — говорила Наташа, чтобы я зримее мог представить кладбище, и я отвечал: «А-а, да-да, слева, помню, роща такая», — хотя менее всего изо всей своей долгушинской и краснодолинской жизни помнил кладбище. Впрочем, я и сам старался не говорить и не думать о прошлом. Потому что так легче и спокойнее было жить. Я ведь всего один раз побывал в Долгушине (да и для чего вот так, как делаете это вы, Евгений Иванович, приезжать каждый год и растревлять душу? Прошлое не вернешь и не изменишь!), и то не в самой деревне, а лишь постоял на взгорьях, глядя как бы сверху на знакомую мне речку и приткнувшиеся к ней подковою низкие крестьянские избы. Было тогда даже что-то новое в облике этой маленькой, словно затерявшейся среди хлебов деревеньки: клуб, о котором когда еще говорила Наташа, школа, ремонтные мастерские, потому что МТС уже не существовало, и, может быть, еще что-то, чего я и вовсе не мог уловить и не помню теперь, да и поля вокруг на взгорьях были разбиты по-другому, правда, не так, как в свое время, работая над картой севооборота, намечал я; и чувствовалась во всем будто добрая и хозяйская рука, и видеть это было приятно, хотя и с грустью я думал, что мог бы все это сделать сам: и севооборот ввести, и ток соорудить крытый... Нет, я не радовался, оглядывая Долгушино и взгорья и замечая перемены; радость, по моему, и особенно мгновенная, бурная, всегда лишь оглуляет нас, тогда как в тихой грусти человек способен на раздумья, на неторопливые и обстоятельные выводы и оценки; в грусти человек умнее, и потому, мне кажется, грусть — более естественное состояние, чем радость; но я опять заговорил не о том; я не радовался потому, что мысли мои были обращены более в прошлое, и далеко еще не отболело болью обида и горечь подымались во мне. Как когда-то прежде — я будто не искал взглядом моштаковское подворье, но оно само выросло перед глазами, все такое же, каким было тогда, с длинной бревенчатой конюшнею (я же про себя называл ее то тайной кладовой, то просто хлебными ларями), примкнутой к избе, и даже видел, как маленький и сгорбленный старичок — это был, несомненно, сам Моштаков — то ли с вилами, то ли с граблями ходил по двору; я отыскал взглядом и избу конюха Ефима Понурина, дочь которого я когда-то провозжал с гулянья домой (печально и смешно было вспоминать и это), и, конечно же, отыскал избу Пелагеи Карповны, вернее, уже не ее избу, а контору и склад Долгушинского отделения сортоиспытательного участка, где жил и работал, как в свое время я, кто-то другой, может быть, равнодушный, спокойный, а может, такой же непоседливый («Да-а,— со вздохом говорил я,— жизнь течет», — как будто до меня никто не произносил этой фразы). Разумеется, я думал и об Андрее Николаевиче и Федоре Федоровиче, о судьбе которых еще накануне, когда мы с Наташей вернулись с Лизухи, Пелагея Карповна рассказала нам. Андрея Николаевича не судили, так как не было прямых улик, но все же сняли с работы и исключили из партии. «За прошлое,— пояснила Пелагея Карповна,— когда еще в войну председательствовал в Чигиреве». Да и открылось будто,

что он вовсе не болел туберкулезом, что справка была у него фиктивная, купленная, но это, впрочем, не удивило меня. «Я знал,— сказал я Пелагее Карповне.— Какой же он туберкулезник, когда он — кровь с молоком! И все, по-моему, знали или догадывались, но ведь мы не верим себе, своим чувствам, сила исписанной бумаги для нас превыше всего!» В общем, вся жизнь Андрея Николаевича, человека ловкого, хитрого и, что бесспорно, страшного для людей, была ясна мне, тогда как Федор Федорович со своим житейским правилом «не трогай никого — и тебя никто не тронет», которого не судили и даже не вызывали на суд как свидетеля и который, по крайней мере, в тот год, когда я был в Красной Долинке и Долгушине, все еще заведовал Чигиревским сорто-испытательным участком, может быть, уже отказавшись, а может, продолжая еще работу над своим вечным сортом пшеницы,— Федор Федорович так и остался для меня загадкой. «Там, у Моштакова и Андрея Николаевича, ясно — нажива, но у этого-то какая корысть?» Я задавал тогда и задаю сейчас себе этот вопрос. Но, в конце концов, не в нем, не в Федоре Федоровиче, дело. Зло живет в людях, и оно страшно тем, что зачастую добро оказывается бессильным перед ним. Вы скажете, что все это не так, что наказаны же и Моштаковы, и Андрей Николаевич. Верно, наказаны, но прежде был ими наказан я, и, знаете, иногда отрубают голову, а иногда, и это невидимо для других, отрубают душу, и ты уже опустошен на всю жизнь.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Утром, когда я проснулся, Евгения Ивановича уже не было в номере. Он уехал не простившись, и я не знал, почему он сделал это. «Если не хотел будить,— подумал я,— то мог бы с вечера сказать, что есть билет, и мы бы хоть пожали друг другу руки». Мне было искренне жаль, что я никогда, как мне казалось, больше не увижу его; с грустным настроением я отправился в поездку по колхозам, а когда вернулся в Калининичи, может быть, потому, что выдался свободный воскресный день (домой я уезжал только в понедельник вечерним московским, так как надо было еще встретиться и уточнить кое-какие цифры с заготовителями),— я решил побывать в Гольцах. Мне было любопытно взглянуть на ту белорусскую деревушку, которую так же, как и Калининичи, каждый год навещал Евгений Иванович, главное же, увидеть место — дорогу, кустарник, болото и бревенчатый настил по нему (со слов Евгения Ивановича, впрочем, я знал, что настила там давно нет, что дорога уложена бетонными плитами, но все же — я представлял в воображении именно бревенчатый настил), где стояло когда-то орудие Евгения Ивановича и откуда он стрелял по немецким самоходкам, увидев щель, обмелевшую и заросшую травой — по словам Евгения Ивановича,— но все еще сохранившуюся как след войны у обочины шоссе, с минуту постоять в том лесу, где грохотали разрывы, и хоть на мгновение ощутить всю атмосферу боя (какую, казалось, я ощущал уже, слушая Евгения Ивановича); я уже говорил, что сам не был на фронте, но на войне погиб мой отец, и потому меня всегда волновало и волнует все, что связано с войной.

Оставив вещи в гостинице, я вышел на Мозырьское шоссе и точно так же, как делал это Евгений Иванович, остановил первую же попутную машину, забрался в кузов и к полудню — запыленный, обветренный — стоял на обочине той самой рассекавшей кустарник, лес и болото дороги, где, по всем предположениям моим, как раз и должен был происходить столь памятный Евгению Ивановичу поединок с немецкими

самоходками. Разумеется, я видел все впервые и потому не мог с точностью определить, здесь ли, где я теперь стоял, выше ли по шоссе или ниже следовало искать щель («Только не поперек ройте, а повдоль, повдоль», — вспомнил я слова Евгения Ивановича); мне показалось, что я проехал то главное место (так, однако, оно и было на самом деле), откуда, укрывшись за дымившимися танками, вели огонь наши артиллеристы, и я зашагал вниз, к поросшему кустарником болоту. Я шел не по дороге, а лесом, рядом с дорогой, и удивительная, помню, тишина стояла над лесом; тишина, в которой бывают слышны лишь особенные, лесные звуки: то застучит дятел, то вспорхнет птица с ветвей, то хрустнет под ногою полусгнивший, почерневший валежник, и хочется непременно остановиться и посмотреть, что под ногою, и я останавливался, смотрел и снова шагал, поглядывая по сторонам и прислушиваясь, как пошевеливались над головою залитые солнцем макушки деревьев. Нет, знаете, не так просто вообразить то, чего никогда не видел, чтобы оно ожило вокруг и чтобы ты сам почувствовал себя вдруг в центре этих оживших событий. Я служил в армии, знал тяжесть автомата и шинели и старался представить себя снова солдатом; я присматривался к белым стволам берез, когда-то иссеченным осколками и пулями, и чем дальше продвигался по лесу, тем яснее будто видел эти уродливо зарубцевавшиеся на стволах отметины войны; я прислонился щекой к холодной и шершавой коре, как это когда-то, оглушенный рвавшимся над лесом фугасками, делал Евгений Иванович, но в лесу по-прежнему было тихо, лишь шелестели листья и солнце мирно и весело цедило сквозь них на чахлую лесную траву. Еще и еще раз я прислонялся щекой к березам, пытаюсь как бы вызвать, что ли, в себе то чувство, какое испытал здесь когда-то Евгений Иванович (мне казалось, что вот так же и мой отец, пусть не здесь, а за Новгород-Северским, у деревни Бычки, принимал бой, но только ему выпала участь зенитчиков, и потому я старался почувствовать не только то, что испытывал Евгений Иванович, но в еще большей степени, что испытывали зенитчики, засеченные немецкими самоходками); время от времени, остановившись, я поворачивался и смотрел назад, потому что там должны были санитары уносить на плащ-палатках убитых и раненых зенитчиков, но я лишь говорил себе: «Да, да, вот тут, наверное, их проносили» — и лишь прочерчивал взглядом огненные трассы, которые в тот далекий зимний день стелились здесь над дорогой, но бой не оживал и не разворачивался, как он оживал и разворачивался перед глазами Евгения Ивановича, лес молчал, оставаясь для меня лишь красивым, тихим и будто даже грибным местом. Я повернул к дороге и совсем случайно, так думаю теперь, вышел к той самой заросшей травой щели — центру событий, как я уяснил это еще по рассказу Евгения Ивановича, — которая действительно была вырыта не поперек, а повдоль дороги; бока ее пообвалились, она уже более напоминала старый и мелкий окол, на дне которого валялись консервные банки и загнанные, может быть ветром, скрюченные и пожелтевшие обрывки газет; да и трава как ни густо, казалось, росла вокруг и по стенам, но сквозь острые листочки пырея проглядывала как бы запекшаяся, а вернее, запудренная слоем дорожной пыли красная глина. «Вот она», — сам себе сказал я, с тоскою оглядывая эту когда-то спасавшую Евгения Ивановича от смерти и служившую убежищем для солдат-артиллеристов его взвода, бывшую щель, силясь представить, как все здесь происходило, как Евгений Иванович, нажав на холодную, даже заиндеветшую, как говорил он, гашетку, скатывался в щель, обхватив голову руками, и над дорогой, над все еще горевшими и дымившими танками и над выбеленным известью для маскировки орудийным щитом — «раз-раз, раз-раз» — проносились снаряды, выпущенные самоходками, и с треском

укладывались воронки далеко позади, где еще чернели на снегу (тогда ведь была зима!) подбитые зенитные установки; да, именно силился представить это, и даже как будто кое-что ожидало в сознании, пока смотрел на дорогу и, обернувшись, смотрел затем туда, где должны были виднеться стволы изуродованных зениток, но едва только переводил взгляд на то, что лежало у ног (я уже с трудом называл ее шелью; особенно неприятно было видеть поржавевшие на дне консервные банки и клочки газет), ощущение боя мгновенно исчезало, и снова — только серая дорога через лес, белые стволы прихитших берез и кустарник справа по болоту («Но болото ли это? — спрашивал я себя. — Может, болота давно нет, а так, сырое низкое место, и все!»), и я уже смотрел вокруг с усмешкою, не скрывая, потому что никого рядом не было. Я присел на граву возле щели, где когда-то сидел Евгений Иванович, но проходившие мимо грузовики вовсе не воспринимались мчащимися вперед нашими танками, а просто обдавали густой и оседавшей затем на обочину пылью, и я заслонял ладонями глаза и лицо от этой пыли. «Зря, конечно, я приехал сюда, — решил я. — Ну посмотрел... Ну и что?.. Для него (я имел в виду Евгения Ивановича) эти места, а для меня — Долгушинские взгорья...» Я еще продолжал сидеть на траве возле щели, но уже все менее занимало меня прошлое Евгения Ивановича и его поединок с немецкими самоходками, из-за чего, собственно, я и очутился здесь, а все заслоняли собою Долгушинские взгорья; они, те пахотные взгорья, были роднее, ближе мне, и хотя горше было вспоминать о них, но — так уж, видно, положено на веку людям, что каждому дорогá именно своя, как бы ни складывалась она, прожитая молодость. «А не съездить ли мне в Долгушино, вот что, — тогда впервые подумал я. — И Наташа будет рада. А впрочем, пора назад, в Калининичи», — добавил уже вслух и, поднявшись и отряхнув землю и сухие травинки с брюк, вышел на дорогу.

Но в Калининичи уехал не сразу.

В то время, как собрался было остановить попутную машину, услышал звонкие за спиною детские голоса. Оглянулся и увидел, как шестеро мальчиков в коротких, закатанных до колен штанишках, в рубахах с расстегнутыми воротами пытались выгачить на дорогу неуклюжий и тяжелый для их неокрепших ручонок передок от какой-то старой телеги.

— Вперед! Вперед! — выкрикивал светловолосый и старший из всех, и сам, хватаясь за спицы, налегал корпусом на колесо, как, знаете, рисуют солдат, выкатывающих орудие на огневую.

— Возьми! Н-ну, еще, возьми! — выдерживая паузы, командовал он, не первый раз, очевидно, руководя такую работой. — Заводи станину! Станину, говорю, заводи! — обернувшись по-взрослому сердито бросал он державшимся за оглобли парнишкам и те, краснея и напрягаясь, старательно заводили, куда приказывал им светловолосый командир, оглобли.

Может быть, я не сразу бы догадался, для чего ребята выкатывали передок на дорогу, если бы не эти характерные выкрики: «Вперед!» и «Заводи станину!», и если бы, приглядевшись, не увидел, что прикрепленная на передке старая березовая жердь напоминает орудийный ствол, и если бы тут же не обратил внимание на сучковатые палки, которые, как автоматы, висели на шеях ребят. «Они воюют, — все более всматриваясь в то, что они делали, догадался я. — Ну да, они разыгрывают тот самый бой», — уже удивленно повторил я, вида, как они, выкатив-таки гяжелый передок на край дороги и развернув оглобли, как разворачивают орудийные станины при стрельбе, готовились открыть огонь по воображаемому, разумеется, немецким самоходкам. Светловолосый командир, присев на корточки, принялся, ворочая жердь, це-

литься в те самые видимые только ему самоходки, а остальные, скатившись в кювет, лежали на животах, выставив вперед палки-автоматы, и смотрели на своего командира. Командир же, найдя наконец цель и посчитав, что наступило именно нужное мгновение и пора нажимать на гашетку, звонко крикнул: «Па-ах!» — и, перепрыгнув через оглоблю, бросился в кювет к настороженно следившим за каждым его движением товарищам. Чуть выждав, он снова почти ползком подобрался к березовой жердине на передке, и все повторилось: громкий выкрик: «Па-ах!», прыжок в кювет и напряженное выжидание, когда ударят в ответ воображаемые немецкие самоходки. Увлеченные игрой, они, казалось, не замечали меня; я же смотрел на них с тем нарастающим волнением, какого как раз и не хватало мне, пока шагал по лесу и затем сидел здесь, возле щели; вместе с ребятами, едва только их командир, крикнув очередной раз «па-ах», скатывался в кювет, я теперь поворачивал голову и смотрел вверх по дороге, словно действительно должны были сейчас же разрываться там, около подбитых уже зениток, ответные вражеские снаряды.

Я не подходил к ребятам и не нарушал их игры. Только когда, высыпав гурьбой на дорогу, они начали радостно прыгать возле своего передка-орудия и кричать «ура», я приблизился к ним и, обращаясь сразу ко всем, сказал:

— Ну что, подбили?

— Так точно, подбили, — ответил светловолосый командир, улыбаясь и изумленно глядя на меня. — А вы откуда знаете? — затем спросил он.

— Да вот знаю.

— Вы воевали здесь?

— Н-ну, в некотором роде...

— А кем вы воевали?

— Кем? — переспросил я, оглядывая уставившиеся на меня любопытные мальчишеские лица. — Нет, ребята, я не воевал здесь. И вообще на фронте не был.

— А-а, — разочарованно протянул светловолосый командир, которого, как я узнал потом, звали Павликом.

— Но лейтенанта Федосова, который и в самом деле подбил здесь немецкие самоходки, я знал.

— Мы тоже знаем его, — ответил Павлик.

— Мы всех знаем, — с нескрываемым чувством превосходства и радости и с той непосредственностью, как это умеют только дети, вставил высунувшийся из-за спины Павлика мальчик, на щеках которого виднелись следы недавних и уже высохших слез.

— Всех, кто воевал здесь?

— Всех, — подтвердил Павлик.

— И погибших зенитчиков?

— Да.

— И танкистов?

— Да.

— Откуда же вы их знаете?

— А у нас следопыты, музей, — пояснил Павлик. — Там и фотографии, и все-все, прямо в избе возле школы. Там тетя Нюра, она все знает, а мы в лейтенанта Федосова играем, — закончил он и затем, оглядев товарищей и приняв, как должно, командирскую осанку, негромко, но повелительно проговорил: — Ну, чего стали, кати орудие назад!

Уже не обращая внимания на меня, ребята взялись было за оглобли, но в это время кто-то из них, заметив появившуюся на дороге машину, сказал светловолосому командиру:

— Паш, гляди!

Машина приближалась, и Павлик, лишь мельком, как мне показалось, посмотрев на нее, сейчас же крикнул:

— Тикай, братцы! Тика-а-ай!

Ребята кинулись в лес, бросив передок на дороге; Павлик, как бы прикрывая это неожиданное и вынужденное отступление, бежал последним, то и дело оглядываясь и заливая «автоматным огнем» шоссе. Я не знал, что напугало их, и тоже смотрел на приближавшийся «газик».

Когда машина остановилась, из нее выпрыгнул довольно молодой еще, но с гладко выбритой (может быть, для того, чтобы скрыть рано обозначившуюся лысину) головою мужчина и сразу же, издали, лишь подходя к оставленному ребятами передку, громко обращаясь к тому, кто только еще вылезал из машины, тяжело, грузно опускаясь больные, очевидно, ноги на землю, заговорил:

— Вот черти! Вот — закатали куда! Ты посмотри, Виталий Захарыч! — все так же, не оборачиваясь и полагая, что Виталий Захарович уже стоит за его спиной, продолжал он: — Акимыч передок ищет, с ног сбился, а они — от кузни, через болото, по кочкам!

— Я говорил Акимычу: бери лошадь и поезжай сюда, — спокойно, будто не случилось ничего необычного, ответил подошедший Виталий Захарович.

— От самой кузни, ты подумай!

— Ну и что?

— Самсонихин Пашка, не иначе.

— Больше и некому, его тут белая голова маячила.

— Вот шарлатан растет!

— А может, новый Жуков или Рокоссовский, а?

— Эк хватил, заступник.

— А что?

— Ладно, поехали. А к Самсонихе вечером сходи: сегодня передок от телеги, завтра — машину...

Искося поглядывая на меня, они не спеша направились к ожидавшему их на обочине «газику». Виталий Захарович (опять было заметно, что он с трудом поднимал ноги) влез первым; этот же, с бритой головою, держась за поручни, медлил и еще и еще раз косился на меня; затем вдруг, захлопнув дверцу, быстро подошел ко мне.

— Константин Макарович, — протянув руку, проговорил он. — Председатель колхоза. Чем могу быть полезен?

— Собственно, ничем, — ответил я, тоже, однако, представившись, и протянул руку.

— Вы воевали здесь?

— Нет. А почему вы об этом спрашиваете?

— Мне показалось, что вы фронтовик, — сказал он. — Многие бывшие фронтовики приезжают к нам сюда. Именно сюда, вот на это место.

— Нет, я не воевал здесь, — снова, как и ребятам, ответил я Константину Макаровичу. — Но я хорошо знаю, что здесь происходило.

— Вы были в нашем колхозном музее?

— Нет, в музее я не был. Мне рассказал обо всем один человек, его зовут Евгений Иванович...

— Евгений Иванович! — воскликнул председатель, не дав договорить мне. — Вы когда его видели?

— Недели три назад.

— Как он?

— Что «как»? — переспросил я, не понимая, что хотел узнать о нем Константин Макарович.

— Как выглядел?

— Ничего

— Ну, слава богу. Вы в какую сторону?

— В Калининчи.

— Могу подбросить, если хотите. Я как раз в город собираюсь. Только сначала завернем пообедать,—добавил он.— Прошу!

Не могу сказать точно, чем — бритую ли голову (он все время держал фуражку в руках, а когда сел в машину, положил ее на колени перед собою), манерою ли говорить отрывисто, сухо (манера эта, конечно же, выдавала в нем не совсем приятную для общения прямолинейность характера), или еще чем-то, чего я не мог понять, но что было таким же непривлекательным, отталкивающим,— Константин Макарович не понравился мне в эти первые минуты знакомства, и я с неохотою, как, знаете, бывает, когда делают вам ненужное одолжение и вы непременно обязаны принять его, влез в машину и устроился рядом с грузным Виталием Захаровичем на заднем сиденье.

— Наш партийный вожак,— когда машина тронулась, сказал Константин Макарович, повернувшись к нам и указывая на Виталия Захаровича.

— Очень приятно,— ответил я и, называя себя, как обычно, как принято (как только что сделал, знакомясь со мною, Константин Макарович), протянул руку.

— Между прочим, друг Евгения Ивановича.— Председатель кивнул в мою сторону.

— А-а,— понимающе проговорил парторг.

Машина бежала по шоссе, как раз по тому месту, где когда-то был бревенчатый настил и стояли немецкие самоходки, но я не думал ни о бревенчатом настиле, ни о самоходках; я смотрел на бритый затылок неподвижно сидевшего Константина Макаровича и никак не мог связать в одно целое то, что знал о нем из рассказа Евгения Ивановича и каким представлял себе, с тем, каким видел теперь. «Да его ли это тогда автоматчик накрыл своею ватною телогрейкой, спасая от холода!» — восклицал я. Тот худенький мальчик, затем студент, школьный учитель, директор, парторг и наконец председатель, в моем воображении был иным, представлялся худощавым и с робкою улыбкой на лице.

«Газик», уже проскочив кустарник, вырвался на простор, и впереди показались избы деревни; и сейчас же, полуобернувшись к нам и глядя больше на меня, чем на парторга, Константин Макарович сказал:

— Нашей пехоты здесь много полегло. Ты не знаешь, Виталий Захарыч, тебя тогда в деревне не было, а я-то хорошо помню: вон за теми кустами, вон, видишь, справа холмик виднеется.— И я, и Виталий Захарович, который слушал обо всем этом не в первый, очевидно, раз, посмотрели, куда пригласил нас взглянуть председатель.— На второй или третий день, как войска наши прошли, а было это зимой, прибыла сюда к нам санитарная команда, и начали солдаты выносить трупы автоматчиков из болота. Обледенелые, запорошенные снегом, трупы складывали рядом прямо на том холмике, а мы всей деревней вышли смотреть. Не хочу рассказывать, страшная картина. Вижу их вот как сейчас и, наверное, до конца жизни не забуду.

— Почему же так много?

— Ну как «почему»? Пока топтались танки за лесом, по болоту-то они не могли пройти, а зенитики и наш общий друг Евгений Иванович со своим орудием расчищали дорогу от самоходок, немцы подтянули минометы вон к тем крайним избам и вжарили оттуда по болоту. А на болоте ведь как, ни окопа, ни ровика, трясина и зимой не замерзает.

— Но Евгений Иванович...

— Не рассказывал, хотите сказать? Да он и сам не знал, взяли деревню и вперед, на Калининчи, а это уж теперь мы всю картину боя восстановили. Но если бы не Евгений Иванович со своим орудием,

если бы он не поджег немецкие самоходки, неизвестно, как бы еще повернулся бой. Евгений Иванович — настоящий герой. Да, — словно вдруг спохватившись, проговорил Константин Макарович. — Вы где видели его? Вы тоже из Читы?

— Нет, — ответил я. — Я встретился с ним в Калининчиках.

— Не понравился он мне в этот свой приезд, — заметил Константин Макарович. — Очень не понравился. Что-то с ним происходит, что-то гнетет его, а понять не могу. Да и раньше бывало... А ты, Виталий Захарыч, не заметил? Как по-твоему?

— Ну как же, заметил.

— Значит, верно я говорю?

— Да что гнетет, — вмешиваясь в разговор, начал я, — мечется между Читой и Калининчиками, и ни там ему, ни здесь покоя. Тяжелой и редкой судьбы человек.

— Какой, какой? — переспросил Константин Макарович.

— Редкой.

— А что в Калининчики-то мечется, как вы сказали?

— Вы разве не знаете?

— Я знаю, что в Чите у него жена, сын, тесть с ними, правда без ног, ну так — война! Тут ничего не поделаешь.

— А про Ксеню, Василия Александровича и Марию Семеновну не слышали?

При этих моих словах, я заметил, председатель колхоза и парторг недоуменно переглянулись; затем Константин Макарович спросил:

— Вторая жена? Но это на него не похоже, вы что-то, наверное, путаете.

— Ну почему обязательно вторая жена, я этого не сказал вам. У него все гораздо сложнее, и он на самом деле мечется: то в Читу, то в Калининчики.

— Вот, видимо, где зарыта собака, — заключил Константин Макарович, приподымая ладонь и грозя кому-то пальцем. Машина в это время подкатила к воротам его дома, и он, пригласив меня пообедать, тут же добавил: — С удовольствием послушаю про Евгения Ивановича, мне интересно знать все об этом человеке. А ты, Виталий Захарыч, на ферму? — спросил оставшегося в машине парторга. — «Газик» отпусти сразу, пусть заправится и сюда, ко мне, а вечером, прошу, сходи, пожалуйста, к Самсонихе: Пашку приструнить надо! Тоже мне Рокоссовский — передки от телег угонять...

Деревня Гольцы, как рассказывал о ней Евгений Иванович, представлялась мне небольшой, всего десятка полтора-два низких, с огородами и палисадниками домиков с одною и неровною между ними улицей, зимой заматавшеюся снегом, летом зараставшею травой; шоссе Мозырь — Калининчики проходило рядом, как бы обтекая деревню (может быть, это только теперь сделали так, чтобы рейсовые грузовики не заезжали в село, где надо сбавлять скорость и тем самым терять драгоценное в пути время?), и эта шумная, заполненная тогда немецкими машинами магистраль придавливала, приглушала и без того замедленную, будто даже остановившуюся на десятки лет жизнь покосившихся, по самые подоконники обложенных завалинками для тепла и крепости, осиротевших крестьянских изб. Да, такими представлялись мне Гольцы по рассказу Евгения Ивановича. Может, и в самом деле именно так выглядела зимой сорок третьего на сорок четвертый эта белорусская деревушка, наполовину сожженная и разграбленная немцами, где на месте домов, на пепелищах, торчали лишь почерневшие трубы да валялись обгорелые и скрючившиеся на огне остовы железных кроватей. или — даже и это было запорошено снегом. и от всего вяло

запустением и безлюдьем. Но еще несколько часов назад, когда проезжал мимо Гольцов к лесу, заметил, что деревня большая и что вовсе не похожа на ту, военных времен, как обрисовал ее Евгений Иванович. Я оглянулся, когда мы шагали через двор к распахнутым дверям (в дверях улыбалась молодая, с уложенными короной косами женщина, жена Константина Макаровича, как я узнал потом, и мальчишка возле нее, председательский сын, похожий лицом на мать), и снова отметил про себя, что клуб, школа, правление, вон с новым, как подъезд, парадным крыльцом, ремонтные мастерские (тех бревенчатых конюшен, что привычно стояли при колхозных дворах, давно уже нигде нет, а вместо них — именно ремонтные мастерские) и эти вот вмятины гусениц на дороге — все, как в десятках других деревень, в которых я побывал перед приездом сюда, в Гольцы. Я ведь в силу укоренившейся уже профессиональной привычки не просто смотрю на деревню, а всегда стараюсь по самому виду изб понять, как живут в них люди, в достатке ли, чистоте или в небрежении, потому что от того, как они живут, почти безошибочно можно предугадать, как идут колхозные дела, хозяйственный ли, умный, бережливый председатель или только с виду красив, крепок на голос, но даже в своей семье подчас порядка навести не может; я и на Гольцы смотрел так же, и сколь ни скептически был настроен к Константину Макаровичу, но все вокруг — и председательский двор, и изба, и соседские, что за жердевой оградой, — все приятно радовало глаз чистотой, было ухоженным, и я невольно (я стоял позади Константина Макаровича, который, подхватив ладонями кинувшегося к нему сынишку, держал его теперь над собой) проникался уважением к широкоплечему, бритоголовому и показавшемуся мне вначале навязчивым в разговоре председателю. Он поставил на ноги сына и, забыв, видимо, на минуту, что пришел не один, принялся расспрашивать жену:

— Мать дома?

— Нету.

— Где? Опять у этой чернохвостки?

— Да чего уж ты на нее...

— А Варька?

— Еще не приходила.

— Федор-то Селиванов, мне сказали, сватов грозитя на днях прислать.

— А Варька знает?

— Чего же не знать, все жерди на воротах вон вместе с ним пообтерла. Тридцать лет, а ума нет.

— Костя!..

— Ну хорошо, я не один.— И только тут он повернулся и взглянул на меня.— Покорми нас. Это знакомый Евгения Ивановича, вместе в Калининичи едем. Ну, проходи,— сказал он, обращаясь вдруг на «ты», будто мы век были знакомы с ним, и сказал так просто и естественно, что нельзя было ни обидеться на него, ни заподозрить в неуважении.— Чего застеснялся, проходи, жена у меня добрая, Галина Яковлевна,— наконец представил он ее.— Прошу!

Он посторонился и пропустил меня в комнату. Как во всех деревенских избах, здесь было так же пестро и тесно, на подоконниках цвела герань, над комодом висели фотографии в рамках, обрамленные белым расшитым полотенцем, и я, признаться, немало удивился, что в доме Константина Макаровича, человека вполне современного, как сложилось у меня мнение о нем со слов Евгения Ивановича, оказалась столь живучей эта крестьянская традиция — украшать полотенцами фотографии; рядом с комодом стояла этажерка с книгами и транзисторным приемником, и над нею, прямо на вбитых в стену гвоздях, покоились двустволка и широкий охотничий патронташ с сумкой.

— На что ходите? — спросил я. — Большая охота?

— На зайца, зимой. Да какая у нас тут охота!

Пока хозяйка накрывала на стол, мы вышли в сенцы и над железным умывальником помыли руки. Галина Яковлевна подала чистое полотенце, и я заметил, как Константин Макарович одобрительно кивнул ей головой. Когда же сели за стол, первую тарелку с борщом она поставила перед мужем, но Константин Макарович, говоря: «Гостю», подвинул ее мне. Он не улыбался; в голосе его чувствовалось прежнее, как при встрече на шоссе, хозяйское превосходство, но я уже не обращал внимания на эту незаметную, конечно же, для него самого, но очевидную для других манеру держаться с людьми; вид и запах борща были настолько аппетитны, что и я, и Константин Макарович, едва только перед ним появилась наполненная тарелка, — молча и торопливо принялись за еду. Галина Яковлевна сидела в стороне, на лавке, и наблюдала за нами; она давно уже пообедала, и когда Константин Макарович спросил ее: «А ты, Галь, почему не с нами?» — с улыбкою ответила: «Да помнит ли он, чтобы хоть раз вовремя приехал к обеду?» Сын же подошел к столу, и Константин Макарович, обняв и усадив его на колени, продолжал, однако, так же молча есть, беря свободной рукой попеременно то хлеб, то ложку.

Когда тарелки почти опустели, он откачнулся от стола и, посмотрев на жену, произнес:

— Ты что это, Галь, для аппетита нам ничего не дала, а? Ради гостя?

Галина Яковлевна принесла зеленый графин с водкой и низкие толстые граненые стаканчики. Константин Макарович, ссадив сынишку с колена и сказав: «Беги играй», наполнил эти стаканчики, мы выпили сначала за знакомство, а потом, когда хозяйка подала картошку, жареную на свином сале и теперь подогретую, выпили еще «по глотку», как предложил Константин Макарович, и уже как-то сам собою, незаметно, я даже не могу точно вспомнить, с чего именно: с вопроса ли Константина Макаровича (он же хотел послушать об Евгении Ивановиче и вполне мог задать вопрос), или оттого, что нельзя же было без конца сидеть молча, возник разговор об Евгении Ивановиче, и я неохотно (вот это помню ясно, потому что и теперь мне кажется, что нехорошо и, пожалуй, вообще не следовало раскрывать чужую тайну), но с каждым словом все более оживляясь, принялся рассказывать, как встретился с Евгением Ивановичем в городской Калинковичской гостинице, какое произвел он на меня впечатление и что я узнал о его судьбе. Говорил я, разумеется, коротко, да и не только потому, что не было времени; Константин Макарович, слушая, тоже, казалось, забыл, что ему надо спешить в город; откинувшись спиной к стене, он внимательно смотрел на меня, не перебивая, не удивляясь как будто ничему (по крайней мере, внешне не было заметно, чтобы он хоть чему-нибудь удивился), и лишь минутами, когда я останавливался, чтобы припомнить подробности, он произносил: «Да-а» — и оглядывался на жену. Она тоже, забыв поставить на плитку чайник, сидела и молча слушала мой рассказ.

— Ну, уехал он вот сейчас в Читю, — заключил я, когда все уже было сказано, — но на душе-то все равно беспокойно. Выйдет Василий Александрович из больницы, месяц-другой подержится и опять запьет. Ведь запьет, вот в чем весь вопрос, а несчастная старушонка, эта Мария Семеновна, снова понесет продукты прятать к соседке в холодильник.

— Но он никогда не говорил нам об этом, — покачав головой, произнес Константин Макарович. — А разве не помогли бы? И Ксене, и Василию Александровичу...

— Странный он человек, твой Евгений Иванович, — встала вдруг Галина Яковлевна, явно продолжая не этот, а давний и неизвестный мне разговор с мужем. — И мама говорит, да и...

— Кто это «и»? — сдерживая раздражение, возразил Константин Макарович. — Кто «и»? — повторил он. — Михаил Кузьмич? — Я не интересовался тогда сразу, кто такой Михаил Кузьмич и почему жена председателя колхоза была под влиянием этого Михаила Кузьмича. — Он коня от коровы отличить не может, ваш Михаил Кузьмич, а берется судить о людях. И вообще, настоящих, понимающих, глубоко человеческих людей, — обращаясь уже ко мне, продолжал Константин Макарович, — принято у нас почему-то называть странными, тогда как действительно странных людей мы принимаем за норму. А это, о чем вы сейчас рассказали мне, — он снова, как и на шоссе, произнес «вы», не заметив, очевидно, перехода, а впрочем, сам разговор, наверное, требовал теперь говорить «вы», — я, если хотите, знал, вернее догадывался, что у Евгения Ивановича все именно так. Он — человек широкой души, полной жизни и... Галь, слышишь! Слышишь, Галина, я нисколько не обвиняю его, что он не говорил нам о себе. Скорее всего мы сами повинны в этом. Мы не смогли сделать так, чтобы он открыл перед нами душу, а теперь бросаем свысока: странный человек! Мы привыкли в любом деле искать корысть, а тут вдруг — нет корысти. Как так? Странно. А я скажу: он приезжал сюда, а мы хоть раз съездили к нему в Читу? Нет. Хотя бы в Калининичи провожать ездили? Нет. У нас дела, от которых, видите ли, мы не можем оторваться, а у него? И не просто он приезжал, а многим и многим мы обязаны ему. В первый раз он появился в Гольцах лет пятнадцать назад, — продолжал Константин Макарович, в то время как заправленный, готовый в рейс «газик» уже стоял возле дома и был хорошо виден и ему и мне сквозь окно. — Пришел под вечер, мать рассказывала, остановился у ворот, запыленный, худой, в солдатской гимнастерке, рюкзак горбится на спине. «Смотрю, — говорит, — и жалко. Чей, думаю, куда идет?» А он: «Разреши, мать, переночевать». Мать пустила, он выпил молока и молча — на сеновал, а утром мать посылает Варьку — сестра у меня младшая — к завтраку солдата звать, а его уже и след простыл. На другой год в том же, как мать говорит, месяце, и опять на закате, даже глазам, говорит, не поверила — стоит у ворот ровно привидение, точь-в-точь прошлогодний, и худощавый, и рюкзак горбом. «Господи! — как она рассказывала (меня-то дома не было, я в те годы уже в институте учился; или только сдавал вступительные, ну да не в этом суть!), — господи, — говорит, — чи кажется? Чи вправду явился? Варька, — кричит, — а ну пойдй глянь, есть ли кто у ворот, а сама, — говорит, — крест на себя кладу». Варька, конечно, ответила, что «есть», раз на самом деле человек пришел. Мать к воротам. «Иду, — говорит, — а у самой сердце заходит. Ну чисто он, точь-в-точь прошлогодний, привидение, и все тут. И еще солнце закатное так огнем спину и обливает...» Мать-то понять нетрудно, сколько за войну солдат прошло через Гольцы, сколько смертей пришлось повидать. Я вам показывал холмик справа от дороги? Так вот, когда трупы автоматчиков выносили из болота, мать там стояла, а мы жались возле нее. Да и на отца моего — что? Только похоронная. И все это тогда было особенно живо в памяти, все мы еще дышали войной, и тут тебе — раз явился солдат, да второй раз, да еще в один и тот же почти день и на закате, так что действительно черт знает что можно подумать, и я вполне понимаю мать. «Подошла, — говорит, — к воротам и спрашиваю: ты?» «Я», — отвечает и улыбается. «А я, — мать-то говорит, — протягиваю руку да за гимнастерку, настоящая или нет, и в глаза стараюсь заглянуть. Спрашиваю: ночевать будешь?» «Да», — говорит. И все повторилось: выпил молока и — на сеновал, а утром чуть свет, коров еще не доили, — ровно и не было никого. «А молоко, — мать

говорит,— верчу чашку, выпито, и, где лежал на сене, видно примятое место. Может, в сельсовет, спрашиваю Варьку, сходить?» А та: «Да человек он. Переночевал и ушел, не украл же». Ну и опять целый год не видели его. А на третье лето — я уже был дома — мать, гляжу, волнуется, ждет. И Варька ждет. Я смеюсь над ними: «Привидений, говорю, нет. Все вы придумали. Мертвецы только у Гоголя из могил встают, да и то на Диканьке, а не у нас в Гольцах. И вообще, зачем солдатам по деревням шляться?» Смеюсь, а сам думаю: а вдруг?! Нет-нет да и поглядываю по вечерам на ворота. И что вы скажете: выхожу однажды вечером из коровника (зачем уж ходил туда, не помню), гляжу и глаза протираю — стоит у ворот, весь как мать описала: и гимнастерка, и худой, и рюкзак горбом, и плечи и голова багрянцем закатным залиты. Это мы сейчас вроде и не на краю живем, а тогда никаких изб напротив нас не было, жердевые ворота, а за ними поле и небо, и вот стоит у ворот на фоне этого закатного неба ну ни дать ни взять запыленный солдат. Я к воротам, молча открываю, впускаю на двор и оглядываю. Он мать спрашивает. «Здесь,— говорю,— дома, сейчас позову». А мать-то уже сама стоит в дверях. Молчит. И он молчит. Только спросил: «Можно?» Мать даже не ответила, а просто кивнула, и мне вдруг захотелось крикнуть: «Чего вы здесь ходите? Мать-то вон скоро в церковь пойдет!» — но не крикнул, а решил проследить, куда он по утрам исчезает. Не сказал никому о своем замысле, спрятался с полуночи в сарае и не спал, глядел. Утром вижу, спускается по лестнице с сеновала, а еще синь, роса, холодом тянет; спустился и пошел по дороге к болоту, как раз туда, где мы с вами сегодня встретились. Там бревенчатый настил был тогда. Я за ним, на расстоянии, конечно, чтобы не видно было, и до самого вечера глаз с него не спускал — не завтракал, не обедал, живот подтянуло, а не отступаю от своего. Он в лес, я — за ним, он к дороге, я — туда; долго он сидел на обочине, вставал, снова возвращался, а я руками разводил: чего бродит, что ищет человек — непонятно. Не знаю почему, но только в тот вечер он не уехал в город. Может быть, попутной машины не оказалось. Тогда ведь редко ходили машины. Пришел вечером опять к нам. Сидит в избе и ест молча хлеб с молоком, а я смотрел-смотрел на него и спрашиваю:

«Скажите,— говорю,— а что в лесу вы искали?»

«Ничего,— отвечает,— не искал».

«Ну как же, я сам видел».

Тогда он усмехнулся, качнул головой и говорит:

«Прошное искал».

«Как это прошлое?»

«Войну».

«А разве ее можно искать?»

«Да»,— ответил он.

Я смотрю на него, а он ест и опять словно не замечает меня; потом сказал матери спасибо и, гляжу, собирается на сеновал. Я спрашиваю его:

«Вы автоматчиком были? Не ваши друзья там захоронены?»

«Нет,— отвечает,— я служил артиллеристом и как раз на бревенчатом настиле немецкие самоходки подбил».

«А-а,— говорю,— это где гусеница размотанная ржавеет в траве».

«Гусеница? — спрашивает.— В самом деле, гусеница?»

«Да,— подтверждаю,— она и сейчас, по-моему, там, у обочины».

«Ты сможешь показать мне ее?»

«Смогу. Она от «фердинанда».

«Завтра сможешь?»

«Смогу,— опять говорю,— там и немецких касок по болоту можно собирать».

«Касок,— отвечает,— не надо, а если хочешь послушать, какое сражение здесь, возле вашей деревни, было, расскажу».

Мы вышли во двор, он прислонился плечом к лестнице, что на сеновал, и тихо и не спеша начал рассказывать. Он вообще человек как будто неспешный, нерасторопный, но, думаю, это только с виду; такие люди многое успевают в жизни. Рассказывает он, мать подошла, Варька, слушаем. Тихо, лунно на дворе, вечер на редкость теплый. Потому, может быть, я и запомнил этот вечер и, знаете, именно тогда-то все мы — и я, и мать, и Варька (как раз мать и говорила мне потом об этом) — почувствовали, что «солдат» наш, так мы его меж собой окрестили, добрый и душевный человек. Помню, мать до того растрогалась, что на другой день пироги завела, курицу зарубила, а когда Евгений Иванович уехал в город, говорит мне: «Жаль, Варька наша мала, а то вот человек: и одинокий, видать, и молодой, подкормили бы его, и добрый, чего искать еще?» У матери свои планы, а у меня свои были. Утром пошел я с ним к бревенчатому настилу, посмотрели гусеницу, ржавая вся, но точно от «фердинанда», это он подтвердил, несколько касок подобрали, собственно, не касок, а так, подобие, и он снова повторил всю картину боя и показал, где стояли немецкие самоходки, откуда стреляли зенитчики и куда выкатывал он свое орудие. Это было интересно. Он уехал, а я осенью, когда начались в школе занятия, повел ребят к бревенчатому настилу и пересказал им все. Вот с этого и пошло. Создали отряд следопытов, гусеницу приволокли на школьный двор (кстати, она и сейчас лежит в нашем колхозном краеведческом музее), принесли каски, гильзы понаходили, флажки, даже пуговицы, и за каждым предметом старались восстановить событие. Когда на следующий год Евгений Иванович приехал, я его к ребятам. Я уже тогда преподавал в школе. Ну, можете себе представить, какое осталось впечатление у ребят, когда они послушали Евгения Ивановича да еще вместе с ним сходили на место боя! У нас ведь с тех пор в лейтенанта Федосова играют, и не уймешь; да что я — на ваших же глазах сегодня передок от телеги катали, в пору хоть пушку деревянную строй и дорогу отводи, чтоб машины не подавили... Да, так с этого и началось все. Евгений Иванович назвал ребятам свою батарею, имена и фамилии артиллеристов, которых помнил, а потом дальше — больше, дальше — больше: завели наши следопыты переписку и про зенитчиков узнали, кто был ранен, кто убит, и про танкистов, и про автоматчиков, что захоронены теперь в центре деревни, там иobelisk стоит, и цветы живые (все ухаживают, а когда мимо проходим — шапки долой!), в общем, дальше — больше, и уже — школьная комната мала для музея. Теперь-то, когда я стал председателем, специальную избу отвел им, тут же, возле школы. А сколько, оказывается, партизан было в нашей деревне. Ребята все дотошно раскапывают. Уже материалы гражданской начали собирать и времен коллективизации — кто первым вступил в колхоз и кто был первым председателем? — и, знаете, поразительная картина открывается: в каждой избе, в каждой семье кто-нибудь да совершал подвиг! Но люди не говорили о себе, жили и жили, незаметные, вроде забытые, и вдруг — дела их опять вот на виду, и это преображает человека. Он словно рождается заново. Нет, я считаю, что Евгений Иванович сделал для нас большое дело, хотя и скромничает: «Да что я, да любой на моем месте...» Он каждый год неизменно появлялся в Гольцах, и мы, скажу вам, до того привыкли видеть его, что будто так и надо и ничего другого быть не может. Ради ребят, ради музея приезжает человек, ну и слава богу. И я привык, и радовался, и готовился каждый раз к встрече. Но в последнее время вижу: Евгений Иванович только и весел что лицом, а дума в голове совсем другая. Хотел было потихоньку расспросить, так он: «Нет, нет, что вы, вам показалось» — и никаких

жалоб, никаких просьб. Молоко, сеновал, дети — вот и все. Но я-то вижу! — воскликнул Константин Макарович. — Даже когда улыбается, тревога не сходит с его лица. И удивительно, — добавил он, — в таком состоянии, в такой душевной подавленности он еще с ребяташками возился. Он же кумир наших мальчишек, вы понимаете!

— Да, — ответил я.

— Кумир! — возбужденно повторил Константин Макарович. — Это надо заслужить!

Мы просидели допоздна, и когда вышли во двор, солнце уже лежало за крышами соседних изб, и синие тени стелились по дороге. Я снова окинул взглядом деревню, которая стала как будто ближе мне за эти несколько часов, пока сидел в председательском доме. Когда шагали к жердевым воротам, я на секунду представил, как появлялся возле этих ворот облитый багрянцем заката Евгений Иванович, и вся его жизнь, рассказанная им самим и дополненная Константином Макаровичем, невольно возникла перед глазами. Мне казалось, что старик, некогда поклонившийся Ксене, и то, что мальчишки, как мы когда-то в Чапая, играли здесь в лейтенанта Федосова, было одним и тем же признаем жизни, и я опять-таки невольно, хотя Евгений Иванович был для меня, в сущности, чужим человеком, радовался за него.

— Вон школа, — сказал Константин Макарович, когда мы уже дошли к машине, — а чуть правее изба, видите? Это и есть наш колхозный краеведческий музей, — не без гордости добавил он. — Я бы охотно сводил вас, это интересно, уверяю, но... жаль, не могу, мы и так уже запаздываем.

— Он открыт сейчас? — спросил я.

— Вы хотите остаться?

— Да.

— А в Калининовичи?

— На попутной.

— Ну, верно, выйти только на шоссе, а там день и ночь... в общем, смотрите сами, отговаривать не стану.

— Поезжайте, — сказал я.

— Да, скажите, пожалуйста, — уже из машины, грудью навалившись на дверцу и подавшись ко мне, спросил Константин Макарович, — где живут Василий Александрович и Мария Семеновна, о которых вы говорили?

— Не знаю.

— А в какой больнице?

— Василий Александрович? В одной, очевидно, в которой лечат алкоголиков?

— А-а, ну да. Филев его?

— Да. Хотите помочь? Сделаете доброе дело.

— Доброе? — с усмешкой переспросил Константин Макарович. — Добрым оно было бы вовремя, а теперь — я лишь запоздало берусь исправить упущенное.

II

Из Гольцов я уезжал, когда было уже совсем темно. Забравшись в кузов какого-то направившегося порожняком в Калининовичи грузовика, я стоял возле кабины, прислонясь к ней спиной, и смотрел на удаляющуюся в ночи с неяркими и редкими огоньками деревню. Редкими потому, наверное, что окна многих изб были закрыты ставнями. Я уезжал с таким чувством, словно покидал не Гольцы, а Долгушино, и все было здесь близко и дорого мне; с грустью вглядывался я в темноту, и чем сильнее набирала скорость машина, тем мрачнее и тревожнее становилось на душе. Я не упрекал себя, что не поинтересовался

делами колхоза, хотя никогда прежде не случалось, чтобы должностные заботы вот так, вдруг, отходили на второй план; я думал о жизни Евгения Ивановича и о своей, и грустно мне было именно потому, что я все время только лишь стремился к добру, лишь хотел видеть людей добрыми (добрыми по отношению ко мне), тогда как Евгений Иванович делал добро, и делал незаметно, не выдвигая себя, и эта его как будто незаметная и трудная жизнь получила признание («Не только мальчишек, нет! — восклицал я. — А всех, всей деревни!»); я видел, что жизнь Евгения Ивановича была наполнена смыслом, а моя (я насмехался теперь над тем, как бойко и решительно осуждал, в сущности, Евгения Ивановича, когда мысленно рассказывал ему о себе) — пустой, обесцеленной. «А ведь тянуло в Долгушино, — думал я. — И надо было подчиниться чувству, поехать; поехать еще и еще, и... кто знает, какой видимый след остался бы после меня, и ребятишки играли бы, может быть, в агронома Пономарева, как здесь, в Гольцах, в лейтенанта Федосова». Я не заметил, как за поворотом, за подступившим к шоссе лесом скрылись последние огоньки утонувших в ночи Гольцов; густой сумрак, лишь впереди рассекаемый лучами фар, окружал мчавшуюся машину, но я не замечал и этого сумрака и не слышал, как скрипели и позвякивали в пазах разошедшиеся борта деревянного кузова трехтонки; под тяжестью наседавших дум — да я и не противился и даже не пытался прервать их (может быть, именно потому, что это было не в моих силах) — так же, как две с лишним недели назад, когда лежал в гостинице рядом с Евгением Ивановичем, весь как бы снова переходил во власть давно пережитых и, как мне казалось, забытых волнений, и в ночной черноте, чем пристальнее вглядывался в нее, тем будто яснее различал захлестывавшие осенними дождями взгорья с золотой и слезящеюся стерней, те самые убранные и уходящие на покой в зиму хлебные поля, по которым бродил когда-то в жестком брезентовом плаще и сапогах, накинув капюшон на голову, и чувство силы, добра и сознание того, что есть возможность применить эту силу и одарить добротой людей, отбрасывали меня назад, в молодость, когда жизнь только открывала свои казавшиеся приветливыми двери, и я с удивлением и доверчивостью смотрел на мир и людей. То состояние и приятно, и тяжело было снова ощущать в себе. Я как будто, как делал, бывало, там, на Долгушинских взгорьях, откидывал капюшон и видел сиротливо приютившуюся за сеткой дождя у реки деревушку, и так же, как эта деревушка выглядела затерявшимся островком среди распаханых черных взгорий, так и я казался себе затерявшимся человечком среди людской нешумной и утонувшей в ночи жизни; она, эта жизнь, была сама по себе, со своими заботами, болью и радостью, будто даже непонятная и недоступная мне, моя же — сама по себе и тоже будто недоступная и непонятная другим, и я чувствовал себя одиноким и подавленным в кузове несшейся сейчас по шоссе на Калинковичи машине. Это тревожное состояние продолжалось и потом, когда я уже лежал в гостинице, завернувшись в одеяло и погасив свет; о чем бы я ни начинал думать, перед глазами неизменно возникали то Долгушино, то Красная Долинка, где на лунном дворе когда-то я встретил старого Моштакова с Кузьмой; и Андрей Николаевич в белой натальной рубашке и кальсонах, как он стоял на крыльце возле остекленной веранды, и Федор Федорович с женою и тремя, как и отец, ушастыми и в одинаковых платьицах дочерьми, и Пелагея Карповна, и маленькая веснушчатая Наташа в косынке, какой я увидел ее тогда, и эта Наташа, какой стала теперь, провожающая своих дочерей Валю и Ларочку по утрам в школу, и серый холмик с крестом, где похоронена Пелагея Карповна (я никогда не был на ее могиле, но хорошо представлял по рассказу жены), и могила ее двоюродной сестры, Надежды Павловны, худенькой, морщинистой, почти высохшей старушон-

ки,— все-все, перемежаясь, возникало и гасло, создавая картину прожитой обесцеленно, как я уже говорил, жизни. Я чувствовал, будто что-то нарушилось во мне, что прежде составляло покой и уверенность; так, как смотрел я на мир все эти годы после Долгушина, я уже не мог смотреть, и понимал это, но то новое, что появилось во мне, было беспокойно, и потому я всячески старался подавить, приглушить его в себе. «Какой черт погнал меня в Гольцы! — уже утром, проснувшись и одеваясь, упрекал я себя.— И вообще, вся эта встреча с Евгением Ивановичем? Играют в лейтенанта Федосова... Ну и что? Сам-то он как живет? Спокойно? Как чувствует себя его Зинаида? Ей-то какво? А ну как я, к примеру, начал бы уезжать от Наташи? А Валя? А Ларочка? Нет, нет, это невозможно», — повторял я, надеясь восстановить прежнее спокойствие. Раньше, чем требовалось, я вышел из гостиницы и направился по утренним и малолюдным улицам к зданию заготовительной конторы, где нужно было завершить кое-какие командировочные дела; я специально пошел пешком, и в первые минуты, когда очутился на солнечном тротуаре и в лицо повеяло свежим (по крайней мере, так показалось после устоявшегося запаха старых ковров, обычного, впрочем, запаха всех гостиничных коридоров), еще сырым от ночной прохлады воздухом, тяжесть раздумий будто осталась позади; щурясь и прикрывая глаза ладонью, я некоторое время поглядывал на дома, витрины магазинов, на голубое утреннее небо; но, может быть, потому, что все на свете теряет новизну и я пригляделся и к утреннему солнцу, и к домам, и к прохожим, — воображение постепенно снова перенесло меня во вчерашний день, в председательскую избу и музей, где я долго стоял перед грудой касок, ржавую гусеницей от подбитого «фердинанда» и затем перед стендом с фотографиями погибших зенитчиков, танкистов и автоматчиков. «Да что же, в конце концов, произошло? — между тем спрашивал я себя.— Ну есть Евгений Иванович, живет такой человек, но мне-то что до этого? Я всего один раз видел его и больше никогда не увижу», — рассуждал я, вполне веря в то, что действительно-таки больше никогда не увижу его.

Почти до самого обеда пробыл я у заготовителей, уточняя планы и контрольные цифры, а когда вернулся в гостиницу, — как ни чувствовал себя утомленным (да и времени до отхода поезда было еще много), оставаться в номере, где все напоминало об Евгении Ивановиче, не мог; уложив чемодан и расплатившись, сел в первое подвернувшееся такси и, сказав: «На вокзал», вздохнул с таким облегчением, что шофер внимательно и настороженно посмотрел на меня.

— Да, — подтвердил я, — на вокзал. — И, оглянувшись, еще с минуту провожал глазами удалявшийся подъезд гостиницы.

Возбужденный и довольный, что наконец покидаю Калининичи, что завтра вечером буду дома, увижу Наташу, Валю, Ларочку, что жизнь опять потечет в своем прежнем, привычном для меня, нерасторопном ритме, я прохаживался по перрону, держа в руке чемодан и приглядываясь к знакомой, сотни раз виденной вокзальной суете. С минуты на минуту должен был прибыть на первый путь скорый из Москвы (на Москву же, которым уезжал я, проходил часом позже); хотя мне никакого дела не было до этого поезда, но, как это бывает, когда хочется, чтобы побыстрее пролетело время, я с удовольствием ожидал, когда зеленые вагоны, медленно проплыв вдоль перрона, остановятся, платформа наполнится спешащими пассажирами, лоточницами с горячими пирожками, проводницами в синих беретах. Когда поезд подошел, я отступил к невысокой железной ограде и, облокотясь на нее, принялся наблюдать, как выходили из вагонов и входили в них люди. Недалеко от меня ссаживали со ступенек вагона на перрон безногого человека. Как и на все вокруг, сначала я лишь мельком и равнодушно посмотрел на

него и копошившихся возле него людей (они устанавливали трехколесную, с ручными педалями коляску), но затем словно что-то подтолкнуло меня посмотреть еще, будто этот безногий и женщина с мальчиком возле него имели какое-то ко мне отношение, и с изумлением вдруг увидел, что в тамбуре с узлами в руках стоит Евгений Иванович. Я сразу узнал его. Он был в том же темном пиджаке, в каком мы спускались с ним в ресторан ужинать, а потом он сидел в кресле и рассказывал мне свою историю; как когда-то, как он говорил, серебрились в свете горевшей под потолком керосиновой лампы серые Ксенины косы, теперь, насквозь пронизанные высокими лучами солнца, серебрились его седые волосы; лицо его было так же серьезно, как и две с лишним недели назад, в день нашей встречи, да и сам он весь, сухощавый, подтянутый, опять, как и тогда, производил впечатление крепкого, занимающегося спортом человека. «Петр Кириллович, Зинаида Григорьевна, сын Саша», — перечисляя я, глядя то на безногого человека, которому, очевидно, ехавшие вместе в вагоне люди помогали усаживаться в коляске, то на женщину с мальчиком возле него; я старался рассмотреть и их, но они стояли спиной ко мне и к солнцу, загораживая своими тенями Петра Кирилловича, и я видел лишь общие контуры опрятно одетых и неторопливых в движениях людей. Я взял свой чемодан и с волнением, будто встретил старых и добрых знакомых, которых не видел много и много лет и которых был рад видеть теперь, двинулся навстречу Евгению Ивановичу, издали приветливо помахивая ему рукой.

— Евгений Иванович! — не подходя, а уже почти подбегая к нему, крикнул я.

— Вы? — спросил он, заметив наконец меня. — Вы еще в Калининичах? — удивленно продолжил он, держа в руках узлы и не опуская их на серый и казавшийся ему, наверное, пыльным перрон.

— Вот, сегодня уезжаю.

— А я приехал, видите, всей республикой, — сказал Евгений Иванович, полуобернувшись в сторону своей семьи и кивая на них головой. — Петр Кириллович, — представил он сидевшего в коляске седого и лысеющего старого человека; и пока я, подойдя к Петру Кирилловичу, пожимал руку, говоря обычное: «Очень приятно познакомиться», и называя себя, Евгений Иванович молча и выжидательно смотрел на меня. — Зинаида Григорьевна, — затем, представляя жену, проговорил он и снова выждал, пока я так же, как с Петром Кирилловичем, знакомился с ней. — Саша. Первокласник, — добавил он, указывая глазами на сына.

Поезд еще стоял у платформы, пассажиры суетливо метались по перрону; за нашими спинами проводница кому-то громко объясняла, что двенадцатый вагон следует искать не в хвосте, а в голове состава.

— Этим? — спросил Евгений Иванович, теперь лишь движением бровей указывая на зеленые вагоны.

— Нет, — ответил я. — Обратным. На Москву. Через час.

— А-а. Ну, давайте тогда хоть в холодок отойдем, — предложил он и первым, так и не опустив узлы на асфальт, зашагал к широкому навесу перед входными дверями вокзала. Следом двинулся Петр Кириллович на коляске, работая ручными педалями, потом Зинаида Григорьевна, Саша и я.

Ни Евгений Иванович, ни тем более Петр Кириллович и Зинаида Григорьевна ничего, в сущности, не знали о моей жизни, и потому встреча эта, думаю, была неинтересна для них; они шли не оборачиваясь, и лишь маленький Саша, который впервые ехал на поезде и которому было любопытно все, несколько раз, приотставая и крутя круглую остриженной головой, смотрел на меня; я же знал, по крайней мере.

многое и многое о жизни и Евгения Ивановича, и катившегося на коляске Петра Кирилловича, и Зинаиды Григорьевны из далекой таежной Мосkitовки, и потому люди эти вызывали во мне особенную, какую я старался, но не мог скрыть на лице, заинтересованность. «Вот он, отец Раи», — думал я, глядя в спину Петра Кирилловича, и вся прожитая этим человеком жизнь, все испытанные им когда-то чувства на похоронах дочери, да и жизнь и смерть Раи, — все-все, весь душевный мир их был понятен мне, я смотрел на руки старика, на пальцы, обхватившие ручные педали коляски, и мне хотелось (так же, наверное, как хотелось когда-то Евгению Ивановичу, когда он забирал Раинога отца к себе в дом) сделать что-то приятное Петру Кирилловичу, будто и я, как и Евгений Иванович, чем-то был виноват перед ним. Я шагал позади и так же, как Петра Кирилловича, видел Зинаиду Григорьевну, которая и в самом деле, как говорил о ней Евгений Иванович, выглядела довольно молодо (я заметил это, еще знакомясь с ней); она казаласьстройной и совсем не похожей на ту сибирскую из захолустного таежного поселка женщину в узкой, обхватывающей грудь и руки кофте, как обрисовал ее Евгений Иванович; темно-малиновое платье с отделкою, свободно стекавшее до колен, было сшито со вкусом, шло ей, заметно подчеркивая ее красивую фигуру, и только разве прическа — по-крестьянски заколотые назад волосы — чем-то еще выдавала в ней простую деревенскую женщину. «Тоже пережила, — продолжал я. — Любила одного, потеряла на войне и теперь дорожит этим». Я на мгновение представил, как она в белой ночной рубашке и с распущенными волосами приходила по ночам к спавшему Евгению Ивановичу, добиваясь своего счастья, подолгу стояла у его постели, вся пронизанная лунным оконным светом, и потом шептала молитвы перед старой и тусклой, оставшейся еще от матери, иконкой, и с какой затаенной грустью каждую весну ожидала того дня, когда Евгений Иванович начнет собираться в свои, ненавистные ей, Калининичи (конечно же, она могла возненавидеть город, приносивший, как она видела, лишь страдания человеку, которого она любила и которому желала счастья; может быть, она ненавидела Калининичи и теперь, но, может, я ошибался, полагая так, потому что за все минуты, пока я был возле них, я не заметил ни малейшего недовольства или хотя бы раздражения в ее словах и взглядах); я продолжал смотреть на нее и представлять, как она каждое лето приходила вместе с Евгением Ивановичем на дощатый перрон маленькой таежной станции и затем, одинокая, неподвижная, безвольно опустив руки, провожала будто спокойным, но на самом деле полным напряжения и тревоги взглядом уносившийся в таежный сумрак состав, и красный огонек последнего вагона долго еще и потом, когда она ночевала у чужих людей и когда возвращалась на другой день по тропинке в Мосkitовку, светился перед ее глазами; она, наверное, возненавидела и красный свет, который был для нее светом разлуки. Но она шла теперь, по крайней мере, мне так казалось, спокойно и красивою походкой уверенной в себе женщины, неся одной рукой небольшую с дорожными вещами сумку, другой держа за ручонку продолжавшего оглядываться на меня сына, и я чувствовал, что мне было приятно видеть эти ее спокойствие и уверенность. «Как все люди, — думал я, опять и опять пробегаю глазами по спинам двигавшихся впереди Евгения Ивановича, Зинаиды Григорьевны, Петра Кирилловича, — и никогда в голову не придет, что у каждого из них такая судьба!»

— В гости? — спросил я, как только Евгений Иванович, опустив наконец узлы к ногам и встряхнув уставшие и затекшие руки, повернулся ко мне.

— Совсем, — сказал он. — И вы, между прочим, помогли мне принять это решение.

— Я?!

— Вы. Помните, когда я вам рассказывал о себе в номере? Вы спали, но я ведь не спал в ту ночь, а не ворочался только потому, что не хотел будить вас.

— Но...— начал было я, желая возразить ему, сказать, что я тоже не спал и тоже не ворочался потому, что боялся разбудить его, но он не дал ничего высказать мне.

— Вы погодите,— перебил он.— Рассказал я вам, да и сам как бы со стороны посмотрел на свою жизнь, и так, знаете, больно на душе стало: да что же, думаю, происходит? Мария Семеновна старенькая, сплнет, Василий Александрович и вовсе пропадает, так заберу-ка, думаю, всех своих, и сюда. Сколько можно разрываться? Да и мои,— Евгений Иванович опять, как и возле вагона, чуть повернув голову, глазами указал на Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича,— в один голос: едем!

Вместе с Евгением Ивановичем и я снова посмотрел на Зинаиду Григорьевну и Петра Кирилловича, который сидел в коляске, развернув ее так, что я видел теперь все его старческое и утомленное с дороги лицо, и, заметив, что они тоже рассматривают меня («Что он говорил им обо мне?» — подумал я), сейчас же, чтобы не молчать, спросил Евгения Ивановича:

— Работу уже подыскали?

— Нет. А что работа? — тут же добавил он.— Необязательно в техникуме преподавать, можно и в школе. Меня вон в Гольцы сколько раз приглашали. Может, поедem туда. В общем, как сложится, посмотрим. Да разве может у нас человек остаться без работы, если он хочет работать, а?

— Да, конечно,— подтвердил я.

С минуту мы стояли молча; Евгений Иванович искоса поглядывал на узлы, что лежали у ног, на Петра Кирилловича, и думал, наверное, как ему добираться до Марии Семеновны и как еще встретит их старая женщина, но я был так взволнован неожиданной встречей с ним, что не замечал ни этой его озабоченности, ни того, что разговор не получался.

— Вы — добрый человек,— сказал я Евгению Ивановичу, потому что не мог не сказать того, что думал о нем.

— Нет,— возразил он.— Если хотите знать, я всю жизнь только и делаю, что борюсь в самом себе со злом, на Петра Кирилловича и добавил уже мне: — Извините, но нам надо идти,— взял поданный Петром Кирилловичем старый брючный ремень и принялся стягивать им узлы; потом, вскинув узлы на плечо — один наперед, на грудь, другой на спину,— протянул мне руку для прощания.

— Может быть, помочь? — предложил я.

— Нет, спасибо. У вас свой.

— А то...

— Да и поезд ваш скоро, так что счастливого вам пути. Н-ну! — затем проговорил он, оглядывая своих и поправляя врезавшийся в плечо ремень.— Нам придется пешком, так что крепитесь.— И первым зашагал к выходу.

Я стоял и смотрел, как они удалялись, слегка смущенный таким поспешным и будто даже холодным прощанием, хотя, в общем-то, иначе и не могло быть, и это я теперь вполне понимаю: Евгению Ивановичу было не до меня; он ни разу не оглянулся, хотя я ждал этого, чтобы помахать ему рукой; я еще прошел к решетчатой ограде, чтобы взглянуть на привокзальную площадь и пересекавших ее Евгения Ивановича, сгорбившегося под тяжестью узлов, Петра Кирилловича на коляске и Зинаиду Григорьевну, которая все так же вела сына за руку, и даже когда они, свернув в улицу, скрылись за светившейся стеклянной витри-

ной магазина, продолжал смотреть уже на эту витрину; я чувствовал себя так, будто прожил две жизни, свою и Евгения Ивановича, и волновался теперь более не за себя, а за него, хотя — что же было волноваться за него?

III

Я не помню, как вошел в вагон и в купе, как положил чемодан на полку и затем, выйдя в коридор, стоял у окна, мешая проходившим пассажирам и то и дело прижимаясь к стеклу, чтобы пропустить их; не помню — хотя и смотрел на здание вокзала, ларьки на платформе и решетчатую ограду, отделявшую перрон от привокзальной площади, — как все это сдвинулось и поплыло за окном, и поплыли пристанционные белые дома, будки стрелочников и шлагбаумы, преграждавшие дорогу городским автобусам, и как все вдруг, именно вдруг, оборвалось, и потянулись поля, перелески, деревни, которые должны были уже приглядеться мне, но которые каждый раз, да и теперь, конечно же, вызывали то чувство радости, которое я много лет назад впервые испытал по дороге в Долгушино и Красную Долинку, и все же — нет, я не помню, как сменялись за окном картины и сколько времени простоял в коридоре; когда после очередной недолгой остановки поезда проводница подошла ко мне и спросила, не уступлю ли я свою нижнюю полку в купе старому и больному человеку, поспешно и почти машинально, чтобы только поскорее остаться опять наедине с собой, ответил, что «да, занимайте, пожалуйста», и снова, прильнув к стеклу, смотрел, как черные гроззовые тучи, нагоняя поезд, застилали собою небо. Я видел эти тучи, видел все, что открывалось и исчезало за окном вагона, но прерывающаяся цепь полей, деревень, лесов, рощиц и перелесков не нарушала тех размышлений, какие все это время занимали меня; я думал, как сложна человеческая жизнь, сколько в ней зла и сколько добра, приносящих страдания и радость людям, и какую нужно обладать силою, чтобы вот так, как Евгений Иванович, не растерять с годами те лучшие чувства, какие, впрочем, есть в каждом из нас, иногда разбуженные, иногда неразбуженные, иногда придавленные судьбой. «Взял и приехал, — рассуждал я, еще и еще возвращаясь мыслью к Евгению Ивановичу, — все как будто просто. Да со злом ли в себе он боролся? Нет. Он не давал успокоиться своей душе». Я невольно примерял свою жизнь к жизни Евгения Ивановича и с грустью думал, что сам я ничего, в сущности, не сделал из того, что мог бы сделать хорошего в жизни людям. Начало уже темнеть, когда я, почувствовав усталость, открыл дверь в купе, намереваясь прилечь и отдохнуть, но то, что я увидел, заставило задержаться в дверях. На нижней полке, вытянув во всю длину худые и старческие, в полосатых пижамных штанах ноги, лежал человек, которого, несмотря на годы и на то, что жизнь изменила его, я узнал сразу же. Это был Андрей Николаевич, бывший начальник Краснодолинского районного земельного отдела. Напротив него — и ее я тоже сразу узнал — сидела пожилая, расплывшаяся к старости, но все еще с румяным и неморщинистым лицом Таисья Степановна. «Вы?!» — хотел было спросить я, но не спросил ничего; да и не заметил, узнали ли они меня или нет; лишь сильно, не обращая внимания на то, как будет воспринято это окружающими, задвинул дверь и, прошагав по коридору, остановился в холодном, продуваемом насквозь и грохочущем тамбуре; я чувствовал, что снова прикоснулся к моштаковскому миру, что мир этот жив и что жизнь как бы по второму кругу начинается для меня.

ВАСИЛИЙ КАЗИН

★

УДИВЛЕНИЕ

Чему, поди, и в ближний день я
Не подивлюсь до обалденья,
Но и все пылче жизнь любя,
Давно не жду уж у себя
Пронзительнее удивленья,
Как в прихотливости творенья
Мир сотворил мне и тебя.

Как из-под дикости линиявшей
Вдруг выбившись и мыслью нашей
И прыгнув в вихри комбинаций
Переосмысленных им сил,
Из страховитости горилл,
Из скифских рыл,
Из граций наций
В веках твой лик мне смастерил.

И как,
И как он, дикий, с бою
Брал каждый штрих твой, чтоб такую,
Такой пленительной, тобою
И даже писаных Москвою
И римских дев Марий дивить,
И чтоб такой в пути, такую,
Такой счастливостью людскою,
Такой святыней мне
Явить.

И мне не тот же ль пыл
Привит им?
И я, счастливец, с диким видом
Творю не в муках ли, и в них
Беру не с бою ль каждый штрих,
Пока, как долг, ему не выдам,
Ну пусть и не таким уж видным,
Пусть и с крупиночку, но стих
С теплыню дивностей твоих.

К ТЕБЕ

Да ведь уж вышел с жизнью и на финиш,
Но, видишь ли, и хлебом не корми,
А лих ловить, как вновь ты лик свой двинешь
Тайком владычествовать над людьми.

И как их со стеснительностью милой
Такой спасительной обогатишь
И умопомрачительнейшей силой,
Какой не видел и у богатырш.

И что ж дивиться: дико ль насолит нам,
Пихнет ли жизнь какой-то леденец,
И пылко ль осчастливит наконец,
А я к тебе и в возрасте солидном
И лну и жмусь, как к матери птенец.

ВОЛШЕБСТВО

И сама слыла простою,
Да и, сблизившись с Москвою,
Лес как лес был, а едва
В расступившуюся хвою
Двинулась — и нет отбою
И от шишек под ногою,
И от вспышек волшебства.

И отдавшись дивным вспышкам,
По рассыпавшимся шишкам
С полверсты прошла почти.
Каждой искоркой как лишком
Чуть не с каждым муравьишкой
Поделилась по пути.

Черноликая исконно,
Но, зная, также благосклонно
Просветленная тобой,
Вон на синьке небосклона
Глянула с сосны ворона,
Как старинная икона
С золотистой смуглотой.

А и, бог ты мой, да тою,
Той же искоркой святою
Вмиг зажгла ты и слова,
И слова мои, не скрою,
Вылитые и мечтою,
Чтоб, возвышенный тобою,
Мог и я блеснуть такою
Силой волшебства.

В ЛЕСУ

Так он и жил бы диким-то обидно,
Да эту, Анна, истину земли,
Что все течет, меняясь,
Очевидно,
Постиг и лес,
Когда с тобой вошли.

Да, видит он —
И ныне ты красива.
А вон и старым липам
Не забыть
Того с лица лучившегося
Дива,
Каким могла и птиц в себя
Влюбить.

Каким могла не просто
Полюбиться,
А и, повысветлив всю душу
Им,
Могла умиловить
И убивца
И двинуть в жизнь подвижником
Святым.

Но жизнь творила так
Дела-делишки,
Что потемнила и твои черты,
Как будто были у нее излишки
И милости,
И красоты.

Ну, знаем — жизнь
Не сладкая каша.
И сам я был годами
Не в чести.
А только как она могла
Решиться
И на тебя-то руку
Занести!

ВДОХНОВЕНИЕ

Так и пишу стихи, не зная,
Что ждать мне, лирики рабу.
Куда вдруг занесет кривая,
Как часто кличем мы судьбу.

И вот пойдя, пойми-ка случай:
Ведь мог и мимо бы пройти,
А на красивых, что ль, везучий,
Я встретил и тебя в пути.

И как себя явила мило!
Ну не весна ли невзначай
И в стынь зимы себя явила,
Всем пылом прыснув через край?

И я, почти что до отвала
Хвативший по-мужицки жизнь,
Так вспыхнул, что хоть, как бывало,
Чуть не навзрыд в любви божись.

Что хоть как в рыцарском порыве
Рванись с тобой и в бой с судьбой.
Да только нет той силы вживе,
С какой блеснуть бы пред тобой.

Да только что ж, дивчинка, толку,
Тишком с улыбки стыд гоня,
Пытать прельстить тебя, как елку,
Рывком бенгальского огня.

И мог бы льстить, подобясь змею,
А жаждой близости томим,
И намекнуть о ней не смею
Пред целомудрием твоим.

И пью твой пыл немей, чем рыба,
И так боюсь смутить чем-либо.
И пусть хоть с лихостью отшиба
Вдруг мигом путь наш оборви,
И пусть хоть, сбив и сны свои,
Всей жизнью вскрикну от ушиба,
Спасибо, милая, спасибо
За то, что чтут и соловьи,—
За вдохновение любви.

СИНИЧКА

Ну ждал ли я, синичка,
Воспитанный Москвой,
Что как бы вспыхнет стычка
Между тобой и мной.

И было подоплекой,
Что хоть и не со зла,
А пылко той далекой
Вновь пытка обожгла.

Но дан мне дар счастливец.
Всю страсть его яви —
И пытка станет литься
Как песня о любви.

И я уж начал было.
И вывел стих на лад.
Да вдруг меня ты сбила,
Затинькав невпопад.

И как же не обидно!
Ведь сбил не соловей.
Ну что ж, синичка, видно,
Твоя любовь сильней.



ЭРНСТ КРЕНКЕЛЬ,
Герой Советского Союза

★

МОИ ПОЗЫВНЫЕ — РАЕМ*

В один из коротких светлых дней в конце февраля самолет доставил нам гидролога. Мы радостно встретили представителя науки. Никто из нас раньше с ним не встречался. Началось взаимное знакомство. Выражаясь высоким стилем, оно было негативным. Гидролог требовал: дайте мне это, сделайте так, мне надо... я иначе не могу... И так далее и тому подобное.

Мы четверо превратились в обслуживающий персонал представителя науки. Перед началом работы надо было проверить все привезенные им приборы. И тут оказались неполадки: что-то сломано, что-то не работает. Пришлось нашему Мехреньгину заняться необходимым ремонтом.

В первую же ночь произошло непредвиденное. Я проснулся от дикого крика. Гидролог упал с койки и с пеной у рта бился головой об пол.

Никто не спал. Подложили под голову подушки. Двое держали руки, третий сидел на ногах. В рот засунули ложку, чтобы не откусил себе язык.

В утренний срок связи сел за ключ и вызвал Рузова. Высказываю ему свое удивление: ну хотя бы предупредили, что гидролог болен эпилепсией.

Но ничего не поделаешь, дело сделано. Началась работа.

Очередной промер сделан. Еще целых полтора часа надо ждать... Гидролог, повернувшись спиной к двери, подтянув колени, сладко сопит во сне. Он отдыхает, а меня одолевают одновременно и зависть и дрема.

Спит человек на жестком топчане, под головой — свой собственный кулак. Ну что тут завидного! Он один проработал здесь более двенадцати часов подряд, а я недавно пришел на смену, чтобы дать ему возможность выспаться. Ну и пусть спит себе на здоровье! Задремал и я. Неизвестно, чем кончилось бы это занятие, если бы не запахло паленым. Присаживаться к раскаленному камельку не следует.

Тесновато. Вдоль стены — подобие столика из неструганных досок, топчан с возлежащим на нем гидрологом и дальше в углу — поле нашей деятельности, проще говоря — прорубь во льду. Над ней — лебедка для опускания гидрологических приборов. Около столика — камелек, и тут же дверь.

Этот храм науки мы создали за несколько дней.

Ширина пролива около двадцати километров. Скованный льдом, он казался безжизненным, но под зимней броней шла своя жизнь — жизнь моря.

Предстояло определить направление и скорость приливно-отливных течений, измерить температуру воды на различных глубинах, попытаться установить водообмен между двумя морями.

Малоисследованный пролив, соединяющий два моря, интересовал и ученых и моряков.

* Окончание. Начало см. «Новый мир», 1970. №№ 9, 10, 11; 1971. № 10.

В середине пролива на льду — домик. Слово «домик» не совсем соответствовало этому строению. Если говорить об архитектурном стиле, то наше детище больше всего походило на обыкновенный ящик.

Ни с кем не требовалось согласовывать свои планы, районные архитекторы нам не докучали, подземное хозяйство и красные линии нас мало волновали, и поэтому, начав утром, к вечеру мы уже справляли новоселье.

Четыре вмороженных столба, каркас из досок, обшитый голем, создали отличные условия для круглосуточных гидрологических работ независимо от погоды.

Под потолком стояла нестерпимая жара. Раскаленный докрасна камелек давал себя чувствовать.

Наверху — тропики, внизу — умеренный пояс, а под решетчатым полом — настоящий лед Арктики.

Этим климатическим поясам соответствовала и наша одежда: на ногах валенки, затем ватные штаны и рубашка с закатанными рукавами.

Сидеть лучше всего было на опрокинутом ведре.

...Тишина и трубка с махоркой настраивали на мечтательный лад, а жара неодолимо клонила ко сну. Свет керосиновой лампы едва освещал дальний угол, где в проруби, как бы дыша, медленно колыхалась вода. Сказочным хрустальным колодезем уходила прорубь в таинственную непроглядную тьму.

Внезапно сон как рукой сняло: в проруби что-то шевельнулось...

Ну что за ерунда! Конечно, померещилось! Лунная ночь, хоть газету читай. На фоне бархатного звездного неба безмолвно высятся горы со сползающими ледниками. Иногда начинает играть северное сияние. Наши товарищи безмятежно спят в десяти километрах от нас. Кто же решил подшутить и войти в нашу хибарку таким необычным путем?

Что это могло быть?

То ли знаменитый командир «Наутилуса» капитан Немо возник из небытия, или граф Монте-Кристо решил навестить полярников? А если это зверь?

Третий вариант наиболее вероятный. А раз так — в первую очередь нужна осторожность, чтобы не спугнуть его. Не отрывая глаз от проруби, не вставая, надо перевалиться на колени и при этом медленно, без резких движений взять со стола револьвер.

В неподвижном безмолвии прошло несколько минут...

Неужели померещилось?

В черной глубине мелькнула тень и затем медленно, как на фотографической пластинке, проявились две светлые точки. Вскоре точки превратились в два выпуклых глаза, в упор устремленных на меня. Вот обрисовалась и круглая, как шар, голова, и наконец я разглядел редкие топорщащиеся усы. Тюлень решил вынырнуть и подышать свежим воздухом, приняв свет керосиновой лампы за лучи солнца.

Охотничий азарт достиг апогея.

Только не двигаться! Не спугнуть! Единственные звуки — гулкие удары собственного сердца.

Грохнул выстрел...

Вначале события разворачивались по плану: револьвер отлетел в сторону, сразу же удалось подхватить тюленя «под мышки» и с ходу рывком вытащить из воды.

Далее началась внеплановая часть охоты: смертельно раненный зверь яростно бился. Борьба шла в узком проходе между топчаном и стенкой. Я отеснил тюленя подальше от проруби и поближе к камельку, который первыми же ударами хвоста был опрокинут. Такая же участь вскоре постигла и керосиновую лампу.

Домик-ящик наполнился паром от упавших на лед углей, смрадом несгоревшего угля и вонью разлитого керосина.

У меня хватало хлопот, и в это же время я не мог отказать в любезности ответить на вполне естественные вопросы моего товарища: бедняга проснувшись в обстановке, похожей на последние дни Помпеи. Легко представить его состояние:

выстрел над самым ухом, пробуждение в кромешной тьме, грохот падающих вещей, звон разбитой лампы, пар, вонь, чад и какая-то непонятная возня.

Чтобы помочь мне, требовалось, по крайней мере, спустить ноги на пол, а это единственное свободное место явилось ареной единоборства.

Наконец удалось уговорить тюленя. Охота закончилась.

Запасная свеча осветила картину побоища. Трудно было поверить, что при таком небольшом количестве вещей — ящиков, ведер, кастрюль, столика, топчана, камелька, лампы, разбросанной одежды — можно учинить этот потрясающий беспорядок, на который взирали двое вспотевших, вымазанных кровью и жиром людей.

Утром прикатали на собаках наши товарищи. Хорошо, что доказательство было налицо, иначе меня заподозрили бы в родстве с бароном Мюнхаузеном.

Результаты охоты все достойно оценили вечером за сковородкой с огромной тюленьей печенью.

Побывать в Арктике и не привезти жене экзотический сувенир в виде песка — я не мог себе позволить.

В Архангельске купили капканы. После окончания работ, не терпящих отлагательства, и подготовки к полярной ночи занялись песцовым промыслом. Влекли не только сувениры. Следовало больше двигаться и почаще быть на свежем воздухе.

Хождение в склад, на метеоплощадку, в баню, заготовка воды на кухне и кормежка собак — все это моцион недостаточный для четырех здоровых мужчин. Этак, чего доброго, и цингу можно схватить.

Кроме того, в случае удачи могли заработать немалую толику денег, так как шкурки подлежали обязательно сдаче Госторгу.

Еще с осени мы убили нескольких тюленей и разместили их на несколько километров к северу и к югу от нашего домика. Берег обрывистый, но имелись ложбинки и овражки, спускающиеся к проливу. Ясно, что это места хода песцов. Тюленя надо почти наглухо завалить камнями и оставить маленькую дыру, через которую песец может оторвать от туши лакомый кусочек. Все это делается до наступления морозов. Туша благополучно разлагается и смердит на всю округу. Песца привлекает аппетитный запах, он непременно станет сюда возвращаться. Затем наступает зима. Все заносит снегом, и ветер так крепко его прибивает, что он звенит под ногами. Вот тут и начинается для песка все человеческое коварство. Перед маленькой лазейкой вырезается круглая ямка немного больше патефонной пластинки. Сюда вставляется капкан и целью крепится за ближайший камень. Дужки капкана обматываются толстым шпагатом. Бывали случаи, что песец перегрызал сухожилие раздробленной ноги и уходил на трех ногах.

Теперь надлежит насторожить капкан: наладить максимальную чуткость, при этом желательно, чтобы уцелели пальцы. Капкан закрывается пластинкой снега. Ножом вырезаешь кусок снега и начинаешь его обтесывать, чем тоньше, тем лучше. Как полагается, в последний момент пластинка ломается, но, как говорил Нансен, в Арктике самыми главными являются три вещи: терпение, терпение и терпение. Все старательно припорошивается снегом.

Милости просим!

В тихую погоду в вечерние часы обязательно вдвоем отправлялись на очередной осмотр капканов.

Лунный свет, скрип шагов, величественная природа. Ближайшие от тебя на земле два человека, вероятно, в махорочном дыму играют в шахматы, все остальные — за много сот километров.

Ходили и в темную, пасмурную погоду. Фонарь «летучая мышь» едва выхватывал дорогу.

Где-то тут капкан. Он еще не виден, но уже слышен. Песец беспокойно ворочается и брочит цепочкой. Зверек яростно, с шипением пытается броситься на нас и крутится как волчок.

Тяжелый промысловый нож берется за кончик. Песец старается укусить ручку. Даже несильный удар по черному носику достаточен. Осторожности ради связываем лапки и закидываем трофеей за спину. Однажды такой трофеей, болтаясь за спиной, очухался и прокусил мне толстенную рукавицу и палец до кости.

За полгода мы добыли пятьдесят песцов. Как приятно промерзшим и продрогшим возвращаться домой! Издали виден на косогоре домик с обледеневшим окном. Как приятно после мороза вдохнуть родной запах жилья! Тут все: махорка, керосин, вчерашние щи, псина и мокрые валенки.

Хорошо!

В непогоду, когда в трубе бренчали вьюшки и горсти снега стучали в окно и бедняга Кремер в крошечной тьме и снежной круговерти брел на метеоплощадку, мы занимались обдиранием песцов. Надрез по внутренней стороне задних лапок, затем туда просовывается рука и с треском отдирается мездра от тушки. Шкурка снимается как чулок и сушится на пальцах. Впереди еще много работы по очистке.

Милые модницы и не подозревают, что о каждом песце можно написать целый рассказ.

Круглосуточные ночи проходили однообразно, но мы не скучали. У нас, четырех здоровых мужчин, не оставалось времени для скуки, тем более для всяких тонченных переживаний и эмоций.

Работа и условия ее нам нравились. Лучшего мы и не желали.

С нетерпением ожидали очередное новолуние, желательно с тихой и безоблачной погодой, при которой можно свободно читать вне дома.

Сохранился фотоснимок нашего дома, сделанный при полной луне. Выдержка — целых двенадцать минут. Видны все камушки и мельчайшие детали. Уютно светится окно. Единственный недостаток — луна не выдержала такого издевательства и за двенадцать минут на снимке стала похожей на длинный парниковый огурец.

Воскресные дни ничем не отличались от будничных. Зато мы радостно отмечали большие праздники, даты и дни рождений.

Так незаметно подошел и мой день рождения. Все капитально помылись, побрились и облачились в городские одежды.

Стало семейной традицией: жена при отправке на очередную зимовку или в экспедицию вручала мне плотно упакованный пакет — вскрыть 24 декабря ровно в шесть часов вечера.

Обычно пакет вкладывался в картонную коробку от обуви. На этот раз ее заменила квадратная жестяная коробка, обклеенная бумагой с названием давно исчезнувшей кондитерской фирмы Эйнем. В нашем доме все на виду и при всем желании никак нельзя уединиться.

Вопрос решился просто и честно.

«Ребятки, не мешайте. Открываю женин подарок».

Все люди одинаковы, и у всех бывают минуты, когда одиночество — благо.

Сев в углу на свою койку, стал развязывать — именно развязывать, а не резать — тугие узелки бечевки. И веревочка из дома, и эти узелки завязывали руки моей Наташеньки.

А вот и содержимое: несколько коробок хороших папирос, «Золотое руно» для трубки, бутылки с кофейным ликером домашнего изготовления, несколько до сего времени неизвестных мне фотографий Наташи с детьми Ирой и Люсей и самое ценное — письмо.

Читаю письмо и старательно отворачиваю лицо. В эти минуты я беззащитен. Вероятно, по моему лицу можно прочесть, как по открытой книге, — хочу домой!

К вечернему чаю все получили по рюмочке ликера. Сначала краткий инструктаж: ребята, лакать этот божественный напиток, как водку, не полагается. Это дурной тон. Надо пригубить несколько капель и затем старательно языком размазывать их по небу, чтобы ощутить букет.

Вчетвером старательно «размазываем и ощущаем»...

Каждый получил по одной хорошей папиросе. Содержимое посылки стало общим достоянием, и гомеопатические дозы радовали нас еще несколько недель.

Что же касается письма, то на следующий день я знал его уже наизусть, но это нисколько не мешало перечитывать его вновь и вновь.

За тридцать земель, далеко-далеко живет самый верный и самый дорогой человек на белом свете.

Как известно, в жизни мужчины только два серьезных шага — выбор профессии и выбор жены.

Счастлив тот, кому повезет правильно решить эти вопросы раз и навсегда, на всю жизнь.

Полярники, как правило, хорошие мужья. Тут влияют и расстояния, и разлука на долгие времена. Получается, что любовь прямо пропорциональна расстоянию. Если бы наши милые жены знали, как только одна мысль о них греет и озаряет дни и часы разлуки!

О выборе профессии я ничего путного посоветовать не могу. Пусть в этом деле помогают нашей молодежи дни открытых дверей и большая аудитория Политехнического музея с афишей: «Кем стать?»

В дни, когда гремело имя Валерия Чкалова, я старательно уговаривал славных мальчишек в школах — ради бога, не становитесь все летчиками. Мы все умрем от голода, некому станет нас лечить, дома развалятся, кино прекратит свое существование, да и летать будет не на чем, исчезнут геологи, металлурги, нефтяники, конструкторы, слесари, инженеры.

На ком жениться?

Просто надо быть счастливым. Мне повезло — оба шага я сделал удачно.

Работа по гидрологии показалась нам недостаточным вкладом в стахановское движение. Начальником управления полярных станций был челюскинец, хороший товарищ и хороший человек Иван Александрович Копусов. После длительных разговоров, а подчас и споров мы выработали программу действий, и вскоре Москва дала согласие на осуществление нашего плана.

К северо-западу в двухстах километрах от нас тянулась цепочка небольших островов, как бы форпост Северной Земли. Сюда осенью 1930 года к одному из островов пробился «Георгий Седов». Хорошо бы добраться до неизвестной пока земли, но острова, тяжелый лед и позднее время года не позволили этого сделать.

Отто Юльевич решил высадить знаменитую четверку Ушакова на одном из островов. В благодарность за гостеприимство островок получил уютное название Домашний. На два года остров и малюсенький дом стали базой Ушакова. Неимоверно трудная и опасная работа, давшая нашей стране 37 000 квадратных километров новой, доселе неизвестной территории была проведена за два года. В 1932 году группу Ушакова вывезли на материк. Очередной личный состав, прозимовав два года, вернулся на материк осенью 1934 года самолетом, и зимовку законсервировали.

Наше предложение сводилось к следующему: Мехреньгина и меня самолеты доставят на Домашний, а Кремер и Голубев останутся на мысе Оловянном. Четыре человека будут обслуживать не одну, а две полярные станции.

Мы настолько уверовали в целесообразность задуманной операции, что еще до получения ответа стали деятельно готовиться. И тут и там нужны представители двух специальностей: метеорологии и радио. Алексей Голубев стал приучаться к работе с нашим небольшим двигателем, а мне предстояло под руководством Кремера постигнуть таинства метеорологии или, менее напыщенно, просто научиться делать метеонаблюдения.

Костя Зенков, этот «бродяга Севера», мой добрый знакомый по первой зимовке, оказался на одной из соседних с нами станций. Большая удача! Костя — участник последней зимовки на Домашнем, и мы неустанно выкачивали у богом данного консультанта все необходимые сведения.

А знать нужно многое. Мы рассчитывали, что вдвоем будем жить на Домашнем около шести месяцев. Костя по памяти весьма приблизительно перечислил требуемые продукты. Однако следовало готовиться к худшему варианту, чтобы в случае непредвиденных осложнений не запеть Лазаря.

Полтора года и дом и имущество на Домашнем безнадзорны. Черт его знает, что могло случиться: штормом могло раскрыть крышу, смыть дом, стоящий на круглом пятачке из гальки, наконец, любопытные медведи...

Нам обещали дать два самолета, но предупредили: можем перебросить на Домашний двух человек и четыреста килограммов груза.

Четыреста... не так уж много.

Смастерили на всякий случай маленький передатчик, взяли приемник, положенные батареи, ручную динамо-машину, кое-какую одежку и продукты.

К середине марта подготовились полностью, но мешали внешние причины: то плохо проходили пробные полеты самолетов, то не задавалась погода. Наконец наступил день с хорошей летной погодой. Тормошу радиста и никак не могу понять причину задержки. Все же допек моего коллегу.

«Один из летчиков обнаружил у своей жены в комодке флакон одеколона и выпил его. Рузов боится выпустить его к вам».

Эка незадача! «Дорогой Леонид Владимирович! Немедленно направь к нам твоего изощренного эстета».

Через несколько часов самолеты благополучно сели у нас. Погрузка шла быстро. Леша Голубев, наблюдая в бинокль, сообщал подробности. Распрощался с Кремером и втиснулся в самолет опытного полярного летчика Мауно Линделя. Знакомы по «Сибирякову» и штурман Петров и бортмеханик Игнатьев.

На втором самолете с летчиком Батурой летел Мехреньгин.

Разбег, шлейф поднятого снега сиял всеми цветами радуги, быстро промелькнул и исчез из виду наш желтенький, еще не успевший потемнеть домик.

Прощай мыс Оловянный, вперед, к острову Домашнему!

Погода как на заказ. Сияющее солнце на безоблачном итальянском небе, видимость отличная. Справа большие белые опухоли куполов Северной Земли, кое-где прошитые высокими черными скалами.

Налево — запад и все Карское море. Внизу лед, и не поймешь, где кончается он и где начинается земля. Разве иногда видна с высоты приливная трещина.

Все полярные станции знали о нашем полете и внимательно следили за нами. Самолет оборудован радиотелефоном. Многочисленные болельщики всего бассейна Карского моря слушали мою передачу вплоть до последних слов: «Выбираю антенну, сейчас пойдем на посадку».

Что можно сказать про Домашний?

Неважненький остров!

Вероятно, создатель, притомившись, соорудил его из остатков строительного материала.

Разве это остров? Пять километров в длину, полкилометра в ширину, пять метров над уровнем моря и на северо-западе прищепка — круглая, как блин, площадка меньше футбольного поля, состоящая из морской гальки.

Посередине блина — домик.

Ура! Хотя жилище и погребено наполовину под снегом, но уже с самолета видно: крыша цела.

Остров плоский как стол. Даже начинающий альпинист с досадой только плюнул бы — ни одного пика! Впрочем, пики были. Правда, высотой не более сантиметра: сквозь тонкий снежный покров проглядывают ощерившиеся трухлявые сланцы. Лучше бы садиться на ледяное поле, но вокруг только торосистый лед. Однако все обошлось благополучно. Несколько кругов на бреющем полете — и, углядев более или менее безопасную полосу, Линдель первым посадил свой самолет.

Пока шла выгрузка имущества, мы вдвоем со штурманом Петровым отправились к дому. Можно ли оставаться в нем или это рискованно? На детальный осмотр времени не оставалось: самолеты ждали с работающими моторами.

Дом и склад внешне целы.

«Ну как? Остаетесь?»

«Остаемся...»

Благодарим летчиков, ждем руки, при штилевой, ослепительно солнечной погоде выдерживаем два снежных душа от взлетающих самолетов, прислушиваемся к стихающему рокоту моторов, и вот личный состав новой полярной станции в количестве двух человек, запыхавшись, сидит на своих пожитках.

Пошли осваивать новое обиталище. Низенький квадратный домик с квадратными окнами. Окна забиты досками, неуютно. Полтора года здесь никого не было. Дверь в холодный дощатый тамбур открыта настежь, и все забито плотным снегом.

Бррр! В доме темно, и если термометр сегодня показывал минус 35, то, кажется, в доме еще холоднее. Знали, что рядом со складом лежат две тонны угля, но именно здесь высился солидный сугроб.

Нужны свет и тепло. Отдираем доски с окон и топором крошим их.

Весь дым идет в дом. Ясно — или труба забита снегом, или надо прогреть дымоход, чтобы стало тянуть. С этой проблемой справились. В плиту вмазан чугунный котел. В нем до краев замерзшая вода. Опять волнение — разорвало его или он цел? Вскоре наше жилище походило на холодную баню: клубы пара и едкого дыма.

Разбитое окно и как следствие наполовину забитая снегом кухня заставили нас немедленно заняться выгребанием снега. На полках интригующие снежные холмики. Под одним — тарелка с недоеденными макаронами и одной котлетой. Здорово — полтора года!

Кухня представляла собой узкий закуток направо от дверей. Между плитой и кухонным столом только и стоять одному человеку. Большое печное зеркало, образуя целую стену, выходило в жилую комнату. Окно кухни глядело на запад.

До горизонта лед, лед и лед. В солнечную погоду — красота, в пасмурную — мрачно и уныло. Налево совсем уже маленький закуток с фанерными стенами — это радиостанция. С трех сторон наглухо прибитые стеллажи, на них радиоаппаратура, а под ними аккумуляторы. Свободного места оставалось только для стула радиста, ну, разве что еще за его спиной можно стоять.

Основная и единственная комната почти квадратная, что-то около двадцати метров. Направо и налево две двухъярусные койки. Обеденный стол с керосиновой лампой под жестяным абажуром, и в углу стол науки.

Какой науки?

На стене шкафчик с барометром, на полках самописцы и запасные приборы. Этот самый вульгарный, ширпотребный стол с гулким фанерным верхом, обклеенный отступающим дерматином, единственное место, где можно без помех писать, читать, думать и размышлять. Этот обшарпанный стол стал местом рождения огромного архипелага и увеличения территории Советского Союза на 37 000 квадратных километров.

Но не надо выдумывать и фантазировать. Вот как это выглядело.

Чертежная доска. Приколотый лист ватмана. При свете керосиновой лампы над доской священнодействует Николай Николаевич Урванцев — геолог, астроном и геодезист группы Ушакова. Честь открытия Норильского полиметаллического месторождения принадлежит ему. Уникальная первая карта составляется по кускам и проявляется постепенно, как фотографическая пластинка. Дикий, почти нечеловеческий труд в течение двух лет!

Подробности этой блистательной работы, история крупнейшего географического открытия двадцатого века описаны Георгием Алексеевичем Ушаковым в его книге.

В годы становления Советской власти молодой коммунист Ушаков участвовал в партизанском движении на Дальнем Востоке. Работал избачом в тундре.

Славное, забытое слово — избач!

Единственный грамотный человек, единственный коммунист на огромную округу.

Он первый рассказывал кочевникам о Советской власти, он единолично должен был решать любые вопросы.

Далее — педагогический институт и затем, в возрасте всего лишь двадцати шести лет, назначение первым начальником острова Врангеля, откуда только-только выселили непрошенных гостей — американцев. Таков Георгий Алексеевич.

Не упомянуть ушаковскую экспедицию нет никакой возможности. Не страшась громких слов, надо сказать — страна должна знать своих героев.

Итак, скороговоркой о четверке: Ушаков, Урванцев, Журавлев и Ходов.

Осень 1930 года. Шмидт высаживает четверку на остров Домашний. Что там дальше — пока никто не знает. Объем предстоящей работы также неизвестен. Уже летают самолеты, но в Арктике они еще редкие и робкие гости.

Ушаков закончил классический период исследования Арктики. На его вооружении только воля людей и полсотни собак.

В полярную ночь организовались промежуточные базы — это только подготовка. До первой базы 68,98 километра. Скрупулезная точность вызывает ныне добрую улыбку.

Базируясь на созданных депо, кроме восьми вспомогательных походов, совершено пять основных с определением астрономических пунктов и маршрутной съемкой. Наука потребовала 3004,8 километра, а общая протяженность всех походов — 5000 километров.

Круглосуточная ночь, морозы, скудное тепло спального мешка, ожидание сутками, когда окончится пурга и можно вылезть из погребенной под снегом палатки. Редко, при ровной дороге, можно присесть на нарты.

Люди берегли собак больше, чем себя. Походы втроем длились двадцать—тридцать, а один поход — даже пятьдесят суток. Бредя по насту или фирновому снегу, собаки обдирали мясо с лап до костей, до сухожилий. Выбившихся из сил собак везли на нартах. А люди выдерживали, люди шли...

Трое уходили в неизвестность, а в Домике оставался один-одинешенек совсем юный ленинградский комсомолец радист Василий Васильевич Ходов, или просто — Вася.

Вася не знал, через сколько дней или недель вернутся его товарищи. Этого никто не знал. В темноту и пургу одиноко брел Вася на метеоплощадку и делал наблюдения. Остров Домашний давал погоду. Иногда далекая Большая земля спрашивала:

«Ну как, вернулись?»

Нужно обладать большим мужеством и человеческим самообладанием, чтобы не свихнуться и не запсиховать.

Стало модным говорить нынче о совместимости или несовместимости характеров. Кроме умных слов, а порой и интересных статей на эту тему, никаких практических советов не существует. Пожалуй, любая коммунальная кухня может служить опытной лабораторией для решения этой темы.

Ну, а как в условиях зимовки?

Надо отдать должное Ушакову. Он сам подбирал людей, и если у трех соратников обнаруживались, как и полагается, какие-то недостатки, то личный пример и такт Ушакова приводили все к единому знаменателю.

Поди управься! Нервический Урванцев, матершинник Серега и тихий, застенчивый, как девушка, Вася.

Слава вам, великолепная четверка!

Осенью 1932 года Ушакова с его товарищами вывезли на материк.

Вторая смена имела совсем скромное задание — метеонаблюдения и больше ничего. В числе новой четверки был и мой добрый друг по первой зимовке Костя Зенков. Еще двое мужчин и четвертый человек — начальник зимовки... женщина!!!

Один из экспериментов Отто Юльевича Шмидта.

Прямо скажем, рискованный и ненужный. Это единственный случай, когда я осуждал Шмидта. Правда, он моего мнения и не спрашивал. Я решительно против такого женского равноправия.

Будучи в последующие годы начальником управления полярных станций, я слыл отъявленным женоненавистником. На небольшие полярные станции (5—10 человек) женщины мною не посылались.

Хочу, чтобы поняли меня.

Я очень люблю женщин во всех их многочисленных ипостасях — от прабабушек до жен, — но Арктика есть Арктика и нечего тут экспериментировать.

Теперь нам двоим предстояло привыкать к жилью, где обитали наши предшественники, возглавляемые женщиной.

Беглым осмотром и самыми неотложными делами мы занимались до позднего вечера.

В доме — умопомрачительный хаос. Нам было известно, что осенью 1934 года корабль не мог снять личный состав станции и лишь открывшаяся на короткое время полынья позволила Анатолию Дмитриевичу Алексееву вывезти людей на гидроплане. Все это произошло внезапно, чем и объяснялся беспорядок в доме. Один из четверых тяжело болел. Завернутого в одеяло, его отнесли на самолет, доставивший всех на базу. Здесь больной и умер. Самолет был перегружен и часть собак пришлось оставить. Пристрелить? — рука не поднималась: как же можно стрелять в друга. Их бросили на произвол судьбы. Мы с волнением обнаружили следы происшедшей собачьей трагедии. Вокруг дома валялись какие-то непонятные плоские железки, похожие на кухонную терку. Бедные собаки жевали консервные банки, выдавливая оттуда струйки мяса.

Поздно вечером, набив печку до отказа, мы завалились спать на чужих неприбранных койках, в грязи и хаосе. Конечно, вроде и не полагается оставлять печку без присмотра, но в доме стоял лютей холод, заставивший нас пренебречь противопожарными правилами.

...Но не спалось. Устали, нервничали, миллион впечатлений, набегались и наработались...

К полуночи температура в доме поднялась до 13 градусов мороза. Наконец кое-как заснули. Было еще темно, когда мы проснулись. Сразу же два непонятных явления. Откуда-то мощно капает и стучит по полу, как настоящий дождь, и второе — какой-то невозможный и удушающий смрад. Соскочив с койки, тут же поскользнулся. Капало с потолка, а на непрогретом еще полу образовался настоящий каток. Зажгли лампу и стали выяснять источник смрада. Аптечка! Размороженные склянки и бутылочки! Все это хозяйство сгребли и выбросили. Затем долго и упорно мыли стену и пол. Все же несколько дней жили как в аптеке.

Постепенно все стало налаживаться. Сразу же отпала одна важная забота: харчей хватит с избытком. Сгущенное молоко, топленое масло, мясные консервы, гречневая крупа, галеты и полмешка сушеного лука, нет... от голода мы не умрем.

Отыскался в результате длительных раскопок и уголь. Хорошо! Мерзнуть не будем. Хуже обстояло с керосином — жалкие остатки, да еще десяток свечей.

Но нарождался полярный день, и проблема освещения нас не особенно волновала.

В первую очередь нужно было установить радиосвязь. Летчики покинули нас в полном здравии и благополучии. Сначала радиоделя не заладились. Все отсырело, все мокро. Попытки вызвать какую-либо соседнюю станцию оказались тщетными. Занялись просушкой аппаратуры. Через два дня подсохло в доме, просохла и радиоаппаратура. Мехреньгин самоотверженно и безропотно до седьмого пота крутил ручную динамо-машину. Наконец нас услышал и ответил остров Уединения. Радостно и нам и товарищам на Уединении. Все соседние станции Карского моря следили за нами и проявляли интерес не только в служебном порядке, но просто из чисто человеческих чувств и любопытства.

Первая наша радиограмма — рапорт Шмидту. Через сутки пришел ответ: «Через Челюскин, мыс Оловянный, остров Домашний, Кренкелю, Мехреньгину. Горячо обнимаю, поздравляю новым успехом. Шмидт».

Мы ходили именинниками. Нас похвалил сам Отто Юльевич. Мы его не воспринимали как начальника. Для нас он родной отец, которому верили на слово и больше, чем самим себе.

Мой добрый друг Марк Иванович Шевелев как-то спросил меня:

— Хочешь ли жить спокойно и знаешь ли ты, для чего существует начальство?

На первый вопрос я ответил утвердительно, на второй — отрицательно.

— Так вот, запомни: начальство существует для того, чтобы отравлять жизнь подчиненным. Если это войдет тебе в плоть и кровь, ты будешь как в броне, которую никакое начальство не пробьет.

Отто Юльевич начисто опровергал эту мрачную характеристику.

После официальных телеграмм, конечно, немедленно послали весточки нашим женам.

Сразу же посыпались запросы из газет, радиовещания и так далее. Корреспонденция со дня на день увеличивалась. Несмотря на богатырскую силу и ангельское терпение, Мехреньгин вряд ли мог удовлетворить запросы всех редакций. Наши предшественники заряжали мощную аккумуляторную батарею с помощью ветряка. Мы это не могли делать. Вместо ветряка на камнях лежала куча искореженного ржавого металла. Аккумуляторы внешне как будто целы. Разыскали кислоту, развели ее снеговой водой, ну, а чем заряжать? В холодных сенях обнаружили небольшой бензиновый двигатель. По всему видно, что им никогда не пользовались. Удастся ли нам его оживить и использовать?

Где его поставить? Единственное место — тут же, в нашей жилой комнате. Затащили этот агрегат, прибили запросто здоровенными гвоздями к полу, и Мехреньгин начал колдовать. Через несколько часов движок начал робко чихать. Для нас это божественные звуки. Вскоре он уже гремел как положено. обороты на полный ход, и контрольная лампочка горит полным накалом. Ура! Электрификация делала успехи и на нашем острове. Свет лампочки стал меркнуть по простой причине: сизый дым заволок все помещение. Мы не знали, чем кончатся наши попытки оживить двигатель, и поэтому о выхлопной грубе заранее не побеспокоились.

Ну как же тут не попробовать зарядить аккумуляторы! Форточки, двери настежь — надо устроить сквозняк, — а двигатель пусть дымит в комнате на здоровье. На четыре часа пришлось уступить нашу комнату этому громохочущему и извергающему дым чудовищу. Мы бродили вокруг дома, мерзли и любовались окнами, освещенными электрическим светом.

Уже поздно ночью стали пытаться на аккумуляторах запустить передатчик, доставшийся нам по наследству.

Ура! И тут удача!

Утром ни свет ни заря мы уже долбили стену дома и прилаживали выхлопную трубу. Головы у нас трещали, как после хорошего перепоя: незаметно нахлебались газа, а ночью спали как в бензиновой бочке. Утром мы гордо пили чай при электрическом свете; двигатель, как укрощенный тигр, мирно трясся рядом с нашим столом. Мелкой дрожью бренчала посуда, аккумуляторы, заряжаясь, начинали потихоньку булькать.

Я радовался и за себя и за Мехреньгина! Не надо больше робким голосом и с просящими глазами говорить: «Слушай, Коля, надо маленько покрутить».

Одновременно в первые же дни мы занимались приведением в порядок скромного метеохозяйства. Ведь только для этого — давать погоду — мы и явились сюда. Слазили на столб и починили флюгер. Привели в порядок метеобудки и поставили приборы. На третий день остров Домашний четыре раза в сутки давал уже погоду.

Дело это не очень хитрое, но что мне трудно давалось и угнетало, так это облака.

Какого черта создатель придумал на мою бедную голову такую кучу разных облаков. Имелся атлас с изображением всевозможных облаков с латинскими обозначениями — поди разберись! Больше всего полюбил я сплошную низкую облачность — тут все ясно, а вообще говоря, еще лучше густой туман, когда вообще ничего не видно

Погожие, ясные дни радовали меня как нормального человека, но повергали в уныние как метеоролога. Бывало, что на небосводе представлен чуть ли не весь атлас облаков от первой до последней страницы.

Мусоля страницы атласа, глядя то на картинки, то на небо и произнося всякие нехорошие слова, я твердо решил — нет, стезя метеоролога мне явно противопоказана. Пусть разбираются без меня.

Вовремя уходили сведения о погоде, радиоаппаратура работала нормально. Все, что задумали, осуществилось, и не зря мы затеяли всю эту историю. В доме навели порядок, и стало уютно или, может быть, мы просто привыкли. Мы обследовали все закоулки и нашли много нужных вещей.

Теперь мы стали хозяевами положения и знали, чем мы располагаем, что можно расходовать, с чем надо быть экономным, а чего и просто нет.

Дело дошло до того, что мы даже стиркой занялись. Конечно, это скучное занятие. Вспомнилось, как хорошо и рационально стирать белье на судне. Было это со мной на «Сибирякове». На шкертке (это веревка) спускаешь белье за корму. Машина, ворочающая винт корабля, попутно и отлично стирает твое белье.

Провели мы пробную связь со всеми станциями Карского моря. Всюду нас хорошо слышали. Хуже всего проходила связь с нашими друзьями, оставшимися на мысе Оловянном. Виною тому — горы и ледники Северной Земли, лежащие между нами.

На острове Уединения командовал Александр Григорьевич Капитохин. Тот самый, вместе с которым мы изнывали на подготовительных курсах. Он и предложил: «Давай устроим переключку полярных станций Карского моря. Расскажем о своем житье-бытье, поделимся опытом, может быть, сделаем музыкальные вставки».

Рассказали всем об этой затее, всех оповестили, дали время на подготовку, и в определенный день и час началась переключка.

Начал остров Уединения. Капитохин, открывая радиособрание, произнес краткую речь и затем, командуя парадом, стал давать слово мысу Челюскина, острову Рудольфа, мысу Стерлегова, Усть-Таймыру, мысу Желания и нам, острову Домашнему. Регламент строго соблюдался. Мне рассказывали, что в очень древние времена, во времена родовой общины, мог говорить каждый, но стоя на одной ноге. Как только опустил другую ногу — все, твое время истекло. Мудрое правило!

Завести бы его на наших собраниях!

В этот день мы узнали от своих коллег, кто сколько убил медведей, сколько поймано песцов. Повара на все Карское море сообщали рецепты новейших блюд.

Великолепной была художественная часть. Мыс Желания заявил свое появление в эфире ревом туманной сирены. Затем последовала игра на баяне. Не важно, что некоторые клапаны заедало. Все же мы поняли всю тоску души, которую вложил баянист в эту песню. Мыс Стерлегова угостил нас джазом на кастрюлях, гитарой, и деревянные ложки были ничуть не хуже кастаньет. А вот программа мыса Челюскина мне лично не понравилась. Сначала выступил доморощенный поэт. Тут мы все (как я потом выяснил) заскучали. А окончательно нас добил и поверг в уныние несостоявшийся Карузо.

Через несколько дней получили нагоняй из Москвы от нашего начальства. Нам предложили впредь не заниматься такого рода самодеятельностью.

Жизнь текла спокойно и размеренно. Метео- и радиосвязь стала основным делом, но чтобы это осуществлять, приходилось много работать. Поварские дела по-прежнему остались за мной. По сравнению с Оловянным не хватало многих продуктов, и поэтому наше меню не блистало разносолами. Хлеб, каша, сгущенное молоко, галеты и чай. Тот же полярный суп из мясных консервов со жменькой сушеного лука не сходил с нашего стола.

Вскоре первый медведь оказался долгожданным и дорогим гостем.

Медвежья охота мною уже ранее описана, но охотничьи подвиги на Домашнем стоят того, чтобы о них рассказать.

Во-первых, мы никуда и никогда на охоту не ходили. Зачем же, ведь медведи сами придут к нам. Наше дело было проще простого — изредка посматривать в окошки.

Со стороны моря шел медведь. Время обеденное, уже кипел суп.

— Давай поедим суп, он медленно идет, успеем.

Молча хлебали суп, к окну и не подходили. Надо пойти помешать кашу, чтобы не подгорела, ну и, конечно, попутно взглянуть в окно.

— Идет?

— Идет. Знаешь что? Мы успеем и кашу съесть. Потом убьем медведя, разделаем его, помоемся, а потом уж будем чай пить.

Мы делали то, что явно не следует делать, — делили шкуру неубитого медведя. А дальше все шло просто. Открывалась большая низкая форточка. На двойную раму окна — винтовка. Можно еще закурить. Между домом и крепким сугробом узкий проход. Подходя к дому, медведь попадал в мертвую зону, и мы его не видели. Ну, а кончалось тем, что он появлялся на гребне сугроба и с любопытством смотрел на нас. Расстояние полтора метра. Одним выстрелом обычно заканчивалась охота.

Затем — нудная и грязная работа по разделке туши.

Совсем плохо было у нас с витаминами. Поэтому при разделке туши кружкой черпали кровь и, круто носолив, пили ее — вместо молока.

Свежее мясо — большое подспорье. Конечно, это не телятина — сильно отдает рыбой. Надо острым ножом резать мясо по волокну и стараться выковыривать как можно больше белых комочков, похожих на рисовые зерна, — это жир, от него и запах. А лучше всего вымачивать целые сутки в уксусе. Бифштексы стряпали феноменальной величины.

Частенько утром у дверей обнаруживали следы медведей. Наше счастье — крепкая задвижка.

1 мая мы встретили достойно, как полагается. День серый, сильно мела пурга. Все же Мехреньгин залез на крышу и водрузил флаг, а я внизу в единственном числе изображал первомайскую демонстрацию.

Отсалютовали двумя одиночными винтовочными выстрелами. За обедом поделили и съели единственную плитку шоколада. Вероятно, для нас обоих, не считая детских лет, этот Первомай был редчайшим — без выпивки.

Вечером светло: уже вступало в силу круглосуточное солнце; сев за приемник, стал слушать Москву. Передавали «Кармен». Я оперу вообще не люблю. Исключение — «Кармен» и «Евгений Онегин».

Оперев голову на руки и закрыв глаза, я пригорюнился.

Ну как же...

«Кармен» навевает воспоминания — в Москве праздник, женщины в весенних нарядах. На углах торгуют букетиками подснежников, милиция гоняет цветочниц, но так, больше проформы ради...

Разве весну прогонишь?

А у нас? Одна комната, партнер еще рта не открыл, а ты уже знаешь, что он скажет, давным-давно иссяк запас древнейших анекдотов...

Открыв глаза, в одном метре, за окном, увидел морду медведя. Не двигаясь, не убирая руки и продолжая слушать оперу, говорю:

— Коля, на меня медведь смотрит. Давай-ка...

Слышу, как Мехреньгин заклацал затвором винтовки, открыл форточку, и грохнул выстрел.

«Кармен» послушать не удалось.

Определенных рабочих часов у нас нет. Мы как на казарменном положении. Вставали в шесть, чтобы вовремя дать погоду. Затем откапывали занесенную дверь и уголь, топили плиту, готовили нехитрый обед, отвечали на всякие телеграфные запросы, стирали бельишко, подстреливали медведей, писали коротенькие корреспонденции в газеты, слушали радио и читали. С книгами дело обстояло великолепно. В Академии наук Ушакову дали небольшую часть личной библиотеки Анатолия Федоровича Кони. Во всю длину двух стен под самым по-

толком — книжные полки. Потолок низкий и закопченный. Вот в таких зверских условиях хранились уникальные книги. Были там гончаровские «Обрыв». «Обломов» и «Обыкновенная история». Многие книги имели дарственные надписи на имя Кони. Имелись тяжелые, как кирпичи, роскошные тома Брокгауза и Ефрона, наши и зарубежные классики. Я предавался литературному лукулльству. Мехреньгин обычно что-то мастерил, а я с головой уходил в книги, в другой мир.

Пушкин и Шекспир зимовали вместе с нами на острове Домашнем.

Был наш дом снаружи неказист. Никогда он не красился. Серые бревенчатые, истеганные ветрами стены. Небольшие окна — тепла ради — глядели как-то подслеповато. Точно в таких же избушках столетия назад зимовали наши предтечи. имена которых стали историей и произносятся с уважением.

Но какая огромная разница между нами!

Для них иногда последний поцелуй жены в Архангельске оказывался действительно последним.

Уходили в холодную неизвестность: умирали, гибли и пропадали без вести. О них никто ничего не знал, и они ничего не знали.

Два шеста, бронзовый канатик через дырку ныряет в дом к приемнику... и весь мир у тебя как на ладони...

Внешний мир потоком информации не обходил нас. Мы знали и слышали все. Приходили ласковые слова от наших жен, мы слышали голос Шмидта, голоса товарищей, мы получали фитили и напоминания от начальства, были в курсе больших событий.

В начале мая простая поздравительная радиограмма разволновала меня. Три подписи: Папанин, Ширшов и Федоров. Вот оно! Наконец! Вот они, мои товарищи по экспедиции на Северный полюс.

Тут же сугубо деловой запрос: «Какие штаны можно взять у тебя дома как образец для пошива меховой одежды?»

И второй запрос: «Сообщи свои пожелания по радиоаппаратуре».

Все предельно ясно и без всяких уточнений. Вероятно, личный состав уже утвержден, иначе мне бы не стали посылать такие запросы. Спасибо дорогому Отто Юльевичу. Он не забыл меня. Несколько позже все станции следили за полетом Водопьянова и Махоткина на Землю Франца-Иосифа.

Тоже ясно: разведка и выбор места для базы будущей экспедиции. Еще позже, когда началась навигация, я внимательно следил за продвижением двух кораблей — «Русанова» и «Герцена» — под командованием Папанина к острову Рудольфа.

Все ежедневные работы делались по-прежнему, но как-то машинально, по заведенному порядку. Остров Домашний уже потерял для меня свою экзотику. Всеми помыслами я был уже там — в Москве и на полюсе. А жизнь шла своим чередом.

С 19 июля приказано давать погоду каждые три часа. Летели на покрытие дальности беспосадочного полета Чкалов, Беляков и Байдуков. Вылетев 20 июля, они шли по маршруту: Москва — Мурманское побережье — по 65 меридиану до острова Виктория — Земля Франца-Иосифа — Северная Земля — мыс Челюскина, Тикси, Якутск — Петропавловск-на-Камчатке.

Будучи метеорологом и радистом в единственном числе, довольно сложно давать погоду так часто, каждые три часа. Мобилизовали будильники. Спал в рассрочку, по два часа. Кроме того, нам предписали вести наружное наблюдение. По очереди стояли на юру на нашем мысочке. Мы слышали радио самолета, и в четыре часа утра он шел слепым полетом где-то между мысом Желания и нами. У нас же была низкая сплошная облачность, противная морось и плохая видимость. Ничего мы не видели.

Узнав о благополучной посадке на острове Удд, мы мысленно поздравили наших летчиков и немедленно завалились отсыпаться.

Неожиданно на нас свалилась беда. В середине июля начал как-то странно киснуть мой товарищ. Ночью однажды как-то не спалось, и я услышал в мертвой тишине нашего домика какие-то странные звуки. Мехреньгин плакал. Ну, так, как

плачут обычно мужчины — без слез, не голосом, а так... кряхтел и кашлял. Настойчиво стал выпытывать причину.

— Да вот уже пятый день с ногой что-то неладно.

— Снимай штаны, покажи ногу.

От пятки до колена левая нога — сине-багровая.

В ненапряженном состоянии тверда, как полено, а от ходьбы к вечеру сильно опухает и чувствуется сильный жар. От нажатия пальцем остаются ямки. А так все тело чистое и десны в порядке.

Версия Мехреньгина, что он зашиб ногу месяц тому назад, показалась мне не очень убедительной. Через несколько дней синева поднялась выше, и теперь вся нога до бедра походила на огромный кровоподтек.

Послал Мехреньгина наводить порядок в складе. Мне надо было с глазу на глаз побеседовать с Александрой Петровной Анохиной, врачом-хирургом на острове Уединения.

Кратко сообщил признаки, и последовал такой же краткий диагноз: цинга!

— Александра Петровна, роденькая, что же делать?

— Делайте согревающие компрессы. А что-нибудь свежее, какие-нибудь витамины есть?

— Нет, ничего нет. Вот только мясо. Ни одной травинки и ничего зеленого на наших камнях нет, а то бы стали жевать.

Александра Петровна долго расспрашивала о возможных витаминах. Вот чего нет, так нет. Нет витаминов. И все же они нашлись. Долго Александру Петровну смеялась над моей серостью. Уточнялся вопрос, есть ли у нас горох.

Мне в популярной форме было объяснено, что лущеный горох не годится. На наше счастье, в складе нашли ведро с нелущеным горохом. Весь вопрос, не пострадали ли зародыши от мороза. В сите, на мокрой тряпке, в теплом месте мы проращивали очередную порцию гороха до сантиметровых ростков. Почти видно было, как там копошатся витамины. Жевали в день по стакану гороха, а по ассоциации приходили мысли о пиве, но его не было. За компанию ел горох и я, а через десять дней моя правая нога стала точно такой же, как у Мехреньгина левая.

Вот мы оба и зацинговали.

Обычно кровоточат десны и шатаются зубы. У нас — какая-то особая цинга.

Убили очередного, одиннадцатого по счету, медведя. Тащить его пришлось метров двести. То, что раньше мы делали запросто, теперь давалось с трудом.

Одышка, головокружение и слабость — верные признаки цинги. И витаминной крови не удалось попить: прострелили желчный пузырь.

До смены оставалось месяца два. Во-первых, надо как-то дотянуть и не переселяться в прерии праотцев. Тревожило и будущее: в каком виде я заявлюсь в Москву. Могут вежливо сказать, что полюс — не место для инвалидов. Мы строго соблюдали лечебный режим: ели сырое мясо, с отвращением жевали горох и двигались, несмотря на боль в ногах и одышку. Каждый день по шуршащей гальке нашего пятачка, хромая, брели к высокому плато нашего острова. Высота в четыре метра казалась нам тяжелой. Потом брели по ровному месту два километра и доходили до брошенного когда-то ржавого бидона — нашего контрольного пункта. Здоровой ногой били по бидону, потом садились, отдыхали, курили и молча смотрели на юг. Там где-то идет жизнь, идут корабли, а мы — двое доходят — занимаемся вынужденным променадом. Затем молча брели обратно.

Вспоминалась строчка:

«...во Францию два гренадера из русского плена брели...»

И вид у нас был ничуть не лучше, чем у этих гренадеров.

В июле началась навигация. Эфир бурлил новостями. Если мы не слышали интересную новость, соседи, естественно, нам ее сообщали.

Год 1936 был тяжелым в ледовом отношении. Три больших каравана судов — два с запада и один с востока — в районе мыса Челюскина уткнулись в еще не вскрывшийся пролив Вилькицкого. Ледоколы пытаются форсировать десятибалльный лед, но тщетно. Топчется вся эта армада, тычась в различных на-

правлениях. Иногда просто стоят из-за густого тумана. Летчики делают все возможное, а подчас и невозможное, чтобы ледовой разведкой помочь кораблям.

На «Литке» — сам Отто Юльевич Шмидт.

Иногда мы подслушивали его переговоры с капитанами и летчиками.

Интересно бы знать, умеет ли Отто Юльевич вообще волноваться и нервничать. Что-то не похоже на это.

8 августа «Сибиряков» вышел из Архангельска. Он имел задание завезти грузы и произвести смену полярников на Уединении, Домашнем и Оловянном.

8 августа у нас обильно выпал снег, и опять зимний пейзаж.

18 августа — последняя медвежья охота. Привожу мою дневниковую запись: «Мехреньгин растолкал меня. Со стороны острова шла медведица с двумя большими медвежатами. В окно видно медленное шествие. Маленькие интересовались радиомачтой и поиграли с ящиком. Мы вышли, и они идут прямо к нам. С первого выстрела уложили медведицу. Медвежата вроде как хотят бежать, но поджидают маму. Это решило их участь. Шкуры хорошие».

Эх, дернуло нас убивать их. Лучше бы отпустить. Намучились с ними страшно. Кружится голова, болят ноги, колени. Трясутся руки. У нас обоих опухли морды и руки. Ну да, ее величество цинга. А у меня еще какой-то непонятный озноб. Дома было плюс 24 градуса, а я три часа сидел в полушубке и дул горячий чай.

Через десять дней «Сибиряков» добрался до Уединения. Тоже не совсем удачно. Пришлось команде за полтора километра груз тащить по льду к острову.

Хороший знакомый по «Сибирякову» и «Челюскину», ныне уже капитан Михаил Марков сообщил мне о посылке от Наташи. Сообщалось, что в посылке что-то булькает. Это хорошо!

И письмо везет. Такое толстое, что отроду таких не возил.

Шмидт дал указание прекратить выгрузку, забрать старую смену и идти «Сибирякову» на разведку, чтобы помочь застрявшим караванам. Вот тут-то и началось: то туман, то «Сибиряков» застрял во льду, а время идет и идет.

Мы знали, что наш вид цинги должен кончиться внутренними кровоизлияниями. Вопрос стоял просто: что раньше — то ли «Сибиряков», то ли... А горох уже съеден.

Как ни печально, но пришлось готовиться к худшему варианту. Сделали электроосвещение от аккумуляторов. В ночные часы стало уже темнеть. Керосина не было. Правда, повесили только одну лампочку. Аккумуляторы тоже надо беречь.

Мы со шкурным интересом следили за «Сибиряковым». Напитохин и Александра Петровна уже на корабле и, сообщая всякие новости с Большой земли, как-то старались развеселить нас.

Как на ладони все перипетии и осложнения большого количества кораблей. Мы отлично понимали, что трещат большие планы, сотни и тысячи людей ждут необходимого оборудование, простаивают в тумане и льдах корабли, а тут мы двое со своей цингой путаемся под ногами.

Мы все это отлично понимали, но легче нам от этого не было.

На душе очень погано. Но нас двоих не забыли. Шмидту каким-то образом стало известно наше положение, хотя мы сами ему не писали и вообще не скулили.

«Дорогой друг, надеюсь вас скоро увидеть. Шмидт».

Через две недели «Сибиряков» закончил разведку, караваны двинулись по назначению.

К этому времени у нас открылась большая вода, хотя лед и маячил на горизонте.

С материка радиограмма: по распоряжению Шмидта вас снимаем самолетом, подготовьтесь.

Ну как же так? На «Сибирякове» идет смена. Надо же слать станцию как положено, честь по чести.

Началась торговля с летчиками и пристальное наблюдение за горизонтом. Капитохин сообщает: работаем в тяжелом льду, продвигаемся медленно.

Выдалась чудесная погода и у нас и у летчиков. Вот они и говорят: такие дни бывают редко, да и вода для посадки гидроплана бывает не всегда.

Чуть ли не слезно умолял подождать несколько часов. И наконец, ура! На далеком горизонте в сильный бинокль мы увидели долгожданные тонюсенькие черточки — мачты корабля.

Дальше — очень просто.

Разве что прослезились, обнимаясь с добрыми друзьями.

Сдача станции заняла несколько часов. Нам приходилось отпихиваться от чересчур сердобольных людей.

На корабле нас встретили с мужской лаской: папиросы, водка, письма и посылка от жены.

Неотлагательно приступили к изгнанию цинги.

Мы жрали, именно жрали, чеснок и лук.

Отличное средство от цинги, рекомендованное Джеком Лондоном, — тертая сырая картошка. По три стакана в день мы пили эту несусветную пакость.

К мысу Оловянному нас не пустил лед. На две недели мы застряли на далеких подступах в ледяной ловушке. Пришлось просить помощь, и нас вытащил «Ермак» — дедушка русского ледокольного флота.

Капитан «Ермака» Владимир Иванович Воронин послал Кремеру и Голубеву радиogramму: «Понимаю и сочувствую вашему положению. Рисковать двумя кораблями не могу. Мы уходим».

Жаль было наших товарищей. Вот мы благополучно выскочили и уходим, а они, бедняги, остаются вдвоем на второй год зимовки.

В марте следующего года самолетом им доставили немного свежих продуктов. Пилот Махоткин передал устное предложение Шмидта: если очень невмоготу, консервируйте станцию и садитесь на самолет.

И Кремер и Голубев отказались.

Ведь скоро начнется навигация. Оба они были вывезены самолетом в сентябре 1937 года, когда я уже благополучно добрался до полюса.

К ПЕРЕКРЕСТКУ МЕРИДИАНОВ

Притягательная точка. Прошу считать меня кандидатом. Готовится экспедиция. Ленинградцы проектируют радиоаппаратуру. Опять Стромилов. Шмидт докладывает Политбюро. Репетиция в Теплом Стане. Москва — остров Рудольфа. Разведчик над полюсом. Посадка на полюсе. Мы без связи. Первые телеграммы. «Интернационал» под аккомпанемент самолетных моторов. Мы остаемся четвером.

Вероятно, немногие точки земного шара могли бы соперничать в притягательности с Северным и Южным полюсами. На кораблях и собаках, на лыжах, воздушных шарах, дирижаблях и самолетах люди рвались туда, рискуя жизнью и порой погибая. Я не стану перечислять имен смельчаков-первооткрывателей. Они широко известны. Об их подвигах написано множество книг. К тому времени, когда после гибели «Челюскина» мы дрейфовали на льдине (1934 год), человечество уже смогло отметить двадцатипятилетие со дня достижения Северного полюса. Честь свершения этого подвига принадлежала американцу Роберту Пири.

Но и четверть века спустя люди отлично понимали всю иллюзорность такого завоевания: достичь полюса и повернуть обратно значило сделать лишь первый шаг.

Белое пятно по-прежнему оставалось белым пятном. Чтобы стереть его, предстояло поселиться на полюсе, прожить там какое-то время, достаточное для проведения научных изысканий.

Задача, веками казавшаяся неразрешимой, к концу первой четверти XX века представлялась в ином свете. Успехи воздухоплавания сделали свое дело. Идея завоевания полюса обрела конструктивный характер.

О возможности экспедиции на Северный полюс я впервые услышал в 1930 году от Владимира Юльевича Визе и тут же попросил его считать меня первым кандидатом на вакансию радиста.

К моему великому огорчению, дело оказалось не очень реальным. Когда в 1931 году В. Ю. Визе на конференции «Аэроарктики» поставил вопрос о создании дрейфующей станции и все участники конференции поддержали его, немецкая фирма «Строительство цепелинов» не выразила ни малейшего желания предоставить для этой цели воздушный корабль. А «контрольный пакет» в виде реально существующих дирижаблей находился в руках этой фирмы. Нетрудно догадаться, что дело пришлось отложить на неопределенный срок. Сама обстановка подсказывала решение: надо самостоятельно продвигаться к осуществлению великой цели.

Спустя некоторое время на борту «Сибирякова», когда мы проходили по Северному морскому пути, я услышал о планах покорения полюса. На этот раз уже не международных, а советских. Отто Юльевич Шмидт сообщил, что экспедиция на Северный полюс с высадкой там небольшой группы научных работников запланирована на последний год второй пятилетки.

Это уже деловой разговор! Конечно, я не преминул вновь заявить о своем желании стать участником экспедиции.

Вернулись мы к той же теме после гибели «Челюскина» во время дрейфа ледового лагеря. Времени там было достаточно, и мы с Отто Юльевичем Шмидтом и Петром Петровичем Ширшовым не раз беседовали на волновавшую нас тему. Ледовый лагерь челюскинцев представлял собой как бы модель будущей дрейфующей станции, двухмесячное пребывание в палатках на льду явилось вполне приличной практикой, обогатившей нас для будущей экспедиции.

Добраться до Северного полюса для настоящего полярника — мечта жизни. Не удивительно, что энтузиастов сыскалось много. Но при комплектовании будущей станции следовало, разумеется, руководствоваться не энтузиазмом отдельных личностей, а научной. По инициативе О. Ю. Шмидта, С. С. Каменева и других руководителей арктическими исследованиями острова и побережье советской части Северного Ледовитого океана были покрыты сетью полярных станций. Они регулярно передавали информацию о погоде, состоянии льда, физике и химии моря. Не хватало только сведений из центра полярного бассейна — с полюса.

Штурм полюса начал О. Ю. Шмидт. К этому обязывали и положение руководителя и душа романтика.

Через год после челюскинского дрейфа Шмидт перешел к делам практическим. Он понимал: задача настолько серьезна и необычна, что решить ее в лучшем случае можно за два года, не быстрее.

К тому времени вопрос — лететь ли к полюсу на самолете или на дирижабле — уже не стоял: слабые стороны дирижаблей и сильные черты самолетов определились с достаточной очевидностью. Вопрос заключался в другом — как использовать самолет, ибо десанты бывают и парашютными и посадочными.

Вскоре Шмидта вызвал Сталин. 13 февраля 1936 года, ровно через два года после гибели «Челюскина», Отто Юльевич вместе с несколькими знаменитыми летчиками, в том числе Леваневским и Громовым, отправился в Кремль. Сталина интересовала проблема трансполярных полетов. Основные вопросы, которые он задавал, касались безопасности таких полетов. В подобной ситуации, как говорится, сам бог велел Шмидту доложить о проектах организации станции «Северный полюс». Сообщение было встречено с интересом. Сталин принес глобус и предложил конкретно продемонстрировать, где и что предполагается сделать.

После подробного доклада Шмидта Главному управлению Северного морского пути поручили организовать в 1937 году экспедицию на Северный полюс, а Наркомтяжпрому изготовить необходимые для этого самолеты. Именно с этого

момента я и оказался вовлеченным в орбиту дел экспедиции, развернувшихся незамедлительно...

Первым включился в подготовку экспедиции Михаил Васильевич Водопьянов. По приказу О. Ю. Шмидта вместе с летчиком В. М. Махоткиным он 29 марта 1936 года вылетел на Север. Задача летного отряда — найти место для будущей базы. Ею стал один из островов, откуда до полюса рукой подать — девятьсот километров. Для самолета пустык. Но именно эти девятьсот километров оказались в 1914 году непреодолимым барьером для Георгия Седова. На мысе Бророк острова Рудольфа покоится прах отважного исследователя.

Найти базу — только половина дела. Гораздо труднее ее освоить, доставив туда грузы, необходимые будущей экспедиции. Вскоре после возвращения Водопьянова, а вернулся он 21 мая 1936 года, ледокольный пароход «Русанов» и пароход «Герцен» повезли все необходимое для постройки на острове станции.

Это была очень сложная работа. Лед там летом оказался тяжелее обычного. Приходилось искать круглые пути, и все же подойти к острову удалось лишь после двух попыток «Русанова». Выгрузку организовали только после третьей попытки. Грузы пришлось тащить на руках два с половиной километра, взрывая большие торосы, сбивая мелкие и наводя через трещины мосты. Когда кончилась эта адская работа, «Русанов» вернулся в бухту Тихую, где взял грузы с «Герцена», не совладавшего со льдами. Пополнив запасы угля, «Русанов» снова пошел к острову, и все началось сначала.

Теперь на безлюдном дотоле острове закипела жизнь. Строились жилые дома, радиостанция, мастерские, технические, продовольственные и хозяйственные склады, машинное отделение, баня, скотный двор... Большую группу полярников оставили на зимовку. Вершину купола ледника, возвышавшегося над островом, предстояло превратить в посадочную площадку.

Доставкой всего сложного хозяйства и строительством руководил И. Д. Папанин, а затем, закончив работу, он отбыл на материк, оставив начальником зимовки на острове Яшу Либина. После совместной работы на мысе Челюскина, где, к слову сказать, зимовал и Евгений Константинович Федоров, Либин в глазах Папанина был стопроцентно проверенным человеком.

Папанин знал, что оставляет на острове не только смелого и опытного полярника, но и отличного организатора. И действительно, Яша Либин и другие воспитанники и выученики Ивана Дмитриевича, оставшиеся готовить плацдарм для овладения полюсом, показали себя наилучшим образом. К тому времени, когда Папанин, организовав базу, вернулся на материк, стало ясно, что врачи не разрешат Владимиру Юльевичу Визе трудную зимовку, которую он ждал так много лет. Станцию «Северный полюс» предстояло возглавить И. Д. Папанину.

Весной 1936 года, когда происходили эти важные события, я, как писал уже в предыдущих главах, находился далеко от Москвы, на одном из островов Северной Земли. Именно туда и пришел запрос Папанина: можно ли шить полярное обмундирование по размерам моей одежды, оставшейся в Москве?

Конечно, можно! Поскольку летом 1935 года перед отъездом на зимовку при очередной беседе со Шмидтом я получил твердое обещание включить меня в состав дрейфующей станции, то догадаться, зачем понадобились мои размеры, не представляло труда. Я немедленно отправил жене телеграмму, чтобы за эталон взяли мой лиловый костюм, тот самый, что я сшил в Японии после прихода туда «Сибирякова», недоглядев, что из такого же материала заказал себе костюм и Ширшов.

Образец оказался удачным. Вернувшись с острова Домашнего, я обнаружил, что сшитые заочно полярные туалеты сидят на мне отлично. Следующая радиограмма, предлагавшая прислать пожелания по поводу создания специальной радиоаппаратуры, окончательно убедила: на полюс я обязательно попаду.

Первомайское поздравление Папанина, Ширшова, Федорова внесло ясность — кто мой будущий начальник и кто мои спутники.

Конечно, сразу же захотелось вернуться на материк, чтобы принять участие в подготовке радиохозяйства для предстоящей экспедиции. В условиях Северного полюса уверенная связь с землей — вопрос жизни и смерти участников дрейфа. Если допустить мысль, что мы не сможем передать по радио координаты, определенные Е. К. Федоровым, то это практически значит, что нашу группу просто невозможно будет разыскать, ибо найти ее в полярном бассейне труднее, нежели пресловутую иголку в стоге сена.

Как я ни торопился на материк, пришлось в очередной раз запастись терпением, сидеть на острове Домашнем и ждать, поглядывая на календарь.

Только 27 октября 1936 года в пять утра на «Сибирякове» мы пришли в Архангельск.

К восьми утра я был уже в городе. Немедля нырнул в парикмахерскую. Тепло и светло. Ножницы парикмахера ласково стрекотали, приводя меня в христианский вид. Блаженствуя в удобном кресле, поймал себя на мысли, что вновь и надолго расстанусь со всей этой цивилизацией. Будет холодно, грязно, темно, неуютно и сыро...

Дома нахлынули сразу дела, волнения, беспокойства. Прежде всего занялся аппаратурой.

Требования к радиоаппаратуре установили на редкость жесткие. Прежде всего вес. С учетом грузоподъемности самолетов на все радиохозяйство отводилось лишь 500 килограммов. Боже мой! Ведь сколько вещей надо взять: мачты, оттяжки, ветряк для зарядки аккумуляторов, аккумуляторы, трехсильный бензиновый движок, основную аппаратуру, запасную аппаратуру, запасные части для ремонта!..

В эти дни, дни больших забот и волнений, судьба снова столкнула меня с человеком, которого я хорошо узнал во время подготовки к экспедиции «Челюскина». Моим партнером по радиоделам опять стал Николай Николаевич Строилов.

Мы встретились с ним в Ленинграде, когда большая группа специалистов создавала нашу уникальную радиоаппаратуру. Это дело поручили радиолаборатории НКВД Ленинградской области.

Начальником лаборатории был известный любитель-коротковолновик Л. А. Гаухман, начальником исследовательской части и главным инженером проекта радиоаппаратуры «Дрейф» — В. Л. Доброжанский, основными руководителями работ — старшие радиотехники Н. Н. Строилов и А. И. Ковалев.

Весь большой коллектив работал с огромным энтузиазмом — разработчики Теодор Гаухман и Николай Иванович Аухтун, конструкторы Маша Забелина и Тоня Шереметьева, технолог Женя Иванов, механики Толя Киселев, Алеша Кирсанов, Саша Захаров, монтажник Виктор Дзервановский... Одним словом, множество народа — молоденьких симпатичных девиц и юношей, что-то непрерывно мотавших и павших...

Всем этим работникам, и большим и малым, удивительно милым, добросовестным, скромным, создавшим «Дрейф», которому предстояло обслуживать первую в истории человечества дрейфующую станцию «Северный полюс», мой земной поклон. Не раз, находясь на полюсе, теплыми словами поминали мы их работу. Аппаратура работала безупречно.

Теперь наша подлинная палатка стоит в Ленинграде в музее Арктики, и если войти, то направо на столе можно увидеть и радиоаппаратуру.

Готовую аппаратуру надо проверить. Это сделали дважды. Один раз неподалеку от Ленинграда, второй раз под Москвой в Теплом Стане. Я выходил в эфир с позывными РАЕМ, и никто из моих корреспондентов в Москве, Киеве, Ярославле, Саратове, Могилеве, Англии, Чехословакии, Швеции, Дании, Польше, Германии, Японии, Центральной Африке и США не подозревал, что участвует в испытании аппаратуры, предназначенной для Северного полюса.

Долго и упорно мы собирались в дорогу. На третьем этаже старого гостиного двора в Рыбном переулке в маленькой комнате помещался штаб экспедиции. В соседних комнатах стучат машинки, щелкают арифмометры, снуют посетители. Обычная жизнь обычного учреждения, каких в Москве не мало.

Однако эта привычная канцелярская жизнь иногда нарушается. На узкой лестнице со стертыми от времени каменными ступенями то и дело создаются пробки. Лестничное движение обычно нарушаем мы, когда тащим наше меховое обмундирование. Одежда добротная. Посетители, встречающиеся на нашем пути, единодушно одобряют ее качество:

— В таких одеждах не замерзнешь и на Северном полюсе!

Сами того не ведая, они попадают в цель. Но мы помалкиваем. Об экспедиции на Северный полюс пока знают немногие и нам не велено особенно распространяться.

По мере выполнения заказов на одежду, приборы и экспедиционное снаряжение в маленькой комнатке становится все теснее и теснее. Груды меховой одежды, образцы тары, бинокли, ножи, табак, керосиновые печи, посуда, обувь, белье, фотоаппараты, оружие придают комнате вид не то филиала Мосторга, не то военного лагеря.

Здесь подготавливается экспедиция.

Старая истина гласит, что тщательная подготовка — это три четверти успеха. Подготовка началась с апреля 1936 года. На дрейфующем льду надо не только жить хотя бы с минимальными удобствами, но и работать. Трудно сказать, на что следует больше всего обратить внимание. Для того, чтобы работать, надо быть сытым и одетым. Для того, чтобы дать о себе знать, должны безупречно работать астрономические приборы и радиостанция...

Продумать надо все мельчайшие детали жизни. Нужно знать, где и что можно заказать. Книжка экспедиции с перечнем телефонов содержит номера от Госплана СССР до мастерской валенок. Все снаряжение должно отвечать самым строгим требованиям.

Наше обиталище — палатка — просто шедевр. Даже палаткой это чудо называть не хочется. К нему больше подошло бы название домик. Основа домика — легкий каркас из дюралюминиевых труб.

На каркас надевались три чехла. Первый — из легкой прорезиненной ткани. Второй — голубое шелковое стеганое одеяло. На изготовление его и наших, также шелковых, спальных пижам (признаться, мы не очень-то пользовались ими), ушло 17 (!!) килограммов гагачьего пуха. Старушки монахини в артели, где все это шилось, умилялись: точь-в-точь такие одеяла мы шили купеческим дочкам в приданое. И наконец третий чехол — черный брезент, пропитанный водоотталкивающим составом, и надпись: «СССР. Дрейфующая экспедиция Главсевморпути 1937 года». С торцевой части домика — серп, молот и звезда.

Три метра семьдесят сантиметров длины, два семьдесят ширины и два метра высоты — таковы габариты нашего домика, изготовленного в одном из цехов завода «Научук», изготовленного любовно и продуманно. В окнах стекла из небьющейся пластмассы. Надо быть готовыми к трещинам и торошению. Создатели нашего домика гордились тем, что его вес не превышал 160 килограммов, и утверждали, что мы просто можем на руках унести свое жилье на другое место.

Как жаль, что ученые еще не выдумали питательных пилюль. Почти треть всего нашего груза составляло продовольствие. Бессмысленно было бы везти обычное продовольствие в обычной таре. Мы получили запаянные жестяные банки весом 44 килограмма каждая. Такая банка — на четверых на десять дней. В Институте инженеров общественного питания ничуть не удивились, когда Папанин, придя к директору института М. Белякову, сказал:

— Обеспечьте нас обедом на два года!

Но куда сложнее, нежели технику, одежду и питание, подготовить людей. Каждому из нас предстояло овладеть второй профессией, чтобы в нужный момент помочь товарищу или заменить его, если почему-либо он выйдет из строя. Федоров должен был стать моим дублером. Мы с Папаниным — метеорологами и механиками. Всем четверым надлежало уметь крутить лебедку при подъеме с глубины проб воды и всякой живности для Петра Петровича. Подготовка шла полным ходом, а один вопрос, немаловажный для нас, так и оставался нерешенным: кто представит в нашем ледовом лагере медицину? Полтора года без доктора... Стали об-

суждать, что же делать. Первая мысль — взять пятого человека. Конечно, можно бы подобрать легонького врача, килограммов на пятьдесят живого веса. Но тогда нужно расширять палатку, прибавлять одежды, продовольствия и так далее. Мы не укладывались в преподанный нам жесткий лимит: десять тонн и ни килограмма больше.

Что же делать? Выход один — врачом должен стать кто-то из нас. Добровольцев не нашлось. Прикинули и решили: больше всего к лицу это Ширшову. Он гидробиолог, а гидробиология и медицина почти одно и то же.

Петра Петровича откомандировали в Государственный институт усовершенствования врачей. Началась учеба по программе, которую составил для Ширшова его наставник доктор А. Чечулин. Скоростными методами изучал Ширшов болезни, наиболее распространенные в Арктике, осваивал диагностику, ибо, прежде чем лечить, надлежало хотя бы как-нибудь разобраться, от чего лечишь.

Поначалу шло обучение фельдшерскому искусству; практика по уходу за ранами, умение делать инъекции и, наконец, хирургия. Петру Петровичу давали куски мяса, кривую хирургическую иглу, кетгут, и он сшивал эти куски, затем вскрывал фурункулы, останавливал кровотечения.

И все же мы относились к Петру Петровичу как медику с некоторым подозрением, не зная тогда, сколь серьезно он готовился к своей второй профессии. Тогда же, возвращаясь из клиник, Ширшов больше рассказывал нам о необыкновенных достоинствах одной из сестер, удивительно красивой блондинки.

13 февраля, ровно через год (день в день), Шмидта опять вызвали в Кремль. Его сообщение слушали Сталин и другие члены Политбюро.

Как вспоминал впоследствии Шмидт, доклад в Кремле пришлось делать обстоятельно, решая по ходу совещания ряд немаловажных вопросов. Большое внимание уделялось людям — начиная от начальника экспедиции до младших специалистов. Только здесь, на этом совещании, Шмидту разрешили лично участвовать в экспедиции. Поначалу Отто Юльевича не хотели пускать на полюс. Конечно, соглашались: руководить экспедицией будет он. Но зачем же лететь самому? Как доказывал на этом совещании Ворошилов, уровень связи позволяет руководить экспедицией из Москвы.

Разумеется, Шмидт сопротивлялся и настоял на своем. Он полетел.

Чубарь лестно охарактеризовал Папанина, отметив его жизнерадостность и организаторский талант. Ворошилов дал согласие на включение в состав экспедиции в качестве флаг-штурмана одного из лучших аэронавигаторов советских Военно-Воздушных Сил Ивана Тимофеевича Спирина. Это ему предстояло найти в ледяной пустыне заветную точку полюса.

Сталин первый подписал постановление и передал его на подпись другим. Вылет назначили на середину марта...

Не прошло и недели после этого совещания, как началась генеральная репетиция. По улицам Москвы проехал грузовик, ощерившийся дюралевыми трубами, радиомачтами и различными тюками и ящиками. Вряд ли кому из москвичей приходило в голову, что это едет имущество экспедиции на Северный полюс.

Отъехав на несколько километров от Москвы, грузовик остановился. На территории радиоприемного пункта Севморпути, вдали от любопытных взоров, мы разбили палатку, установили ветряк и мачты. Дребезжащая груда дюралевок труб поначалу повергла нас в тихое уныние, но разобрались мы довольно быстро, и через два часа палатка уже стояла.

Койки в два яруса, откидной столик и небольшие размеры делали палатку похожей на купе железнодорожного вагона. В общем, не так уж плохо.

Направо от входа стол радиостанции. Наверху радиоаппаратура, внизу аккумуляторы... Налево кухня, которую тут же оккупировал Папанин, спеша продемонстрировать нам свои кулинарные таланты. Накормил нас Иван Дмитриевич хорошо — после обеда есть не хотелось около суток.

Каждый из нас опробовал свое хозяйство. Все вместе мы сделали первые выводы по организации быта. Первый из них (его подсказал приехавший к нам в гости Шмидт) таков: на ночь, залезая в спальный мешок, обязательно раздеваться

до белья и не спать в верхней одежде. Правда, одевание и раздевание — процедура на полюсе не из приятных, но зато раздетому в теплом мешке гораздо лучше спится.

Итак, генеральная репетиция, или черновой прогон, окончилась. Настала пора действовать. Остановка теперь за малым — за погодой. Кончился и февраль, а мы еще никак не могли покинуть Москву.

В одиннадцать часов утра 21 марта на очередном совещании летчиков и синоптиков в Главсевморпути нам сообщили, что надежд на ясные морозные дни нет. Откуда-то с юга, чуть ли не из Африки, прет мощная волна теплого воздуха, и единственный шанс добраться по полюсу — поскорее от этой волны удрать.

К пяти часам вечера принято решение: вылететь завтра, 22 марта, в семь часов утра. И хотя экспедиция снаряжается целый год, и хотя решения ждали с часу на час, оно всколыхнуло, взволновало. Это «завтра» казалось одновременно желанным и немного страшным.

В пятом часу утра позвонил Папанин. Он тоже не спал всю ночь. Затем звонок из гаража: машина вышла. Пора приниматься за шнуровку высоких ботинок, обладающих, по заверениям специалистов, какой-то неслыханной прочностью.

Пришла машина. Вещи вынесены. Зашел попрощаться с детьми. Девочки просыпаются:

— Папа, ты куда?

— Да вот поедем с мамой на аэродром посмотреть самолеты.

К счастью, не вникнув в происходящее, дети быстро засыпают.

Последний напутственный поцелуй. По традиции, получаю его дома. У нас с женой действует одно неписаное правило: сдерживаться при расставании, щадить друг друга.

Не буду описывать всех перипетий нашего перелета на Север, продолжавшегося, как говорят, по не зависящим от нас обстоятельствам без малого месяц. Происходил он под знаком острой и непрерывной борьбы с погодой. Весна буквально наступала на пятки. Изю всех сил мы старались удрать от нее на север, однако Борис Львович Дзержевский, главный синоптик экспедиции, красивый мужчина с мифистопельской бородкой, не очень-то торопился. Мы долго сидели на разных аэродромах. Каждое утро командиры кораблей с надеждой смотрели на Дзержевского, а он произносил одну и ту же фразу:

— Лететь не рекомендую!

Запретить вылет Дзержевский не мог. Но без его рекомендации никто не мог и разрешить вылет. Трасса до полюса длинная, и единственное, что могли делать наши летчики, — продвигаться по ней поэтапно. Добрались мы до острова лишь 18 апреля.

Последний промежуточный аэродром встретил нас веселым морозцем в 23 градуса и ярким солнцем, светившим все двадцать четыре часа в сутки. Однако и тут на протяжении месяца Дзержевский продолжал повторять свою неизменную фразу:

— Лететь не рекомендую!

На острове у входа в жилой дом — огромный белый медведь, повязанный красным галстуком. Он держал в лапах полотенце с хлебом-солью и большой жестяной ключ с надписью: «Ключ от полюса». Медведя подстрелили за два дня до нашего прилета и заморозили в сидячем положении.

5 мая в разведку улетел на самолете «СССР-Н-36» Павел Головин. С ним полетел Стромиллов. Поначалу радио самолета-разведчика стрекотало так благоприятно, что Водопьянов приказал греть моторы. Головин лихо отсчитывал параллели, пересеченные его самолетом. Погода ясная, лед хороший. Но в последний момент — команда: отставить. Полюс закрыт сплошной стеной облаков.

Обнаружил Головин сплошную облачность на 88 градуса широты. Но тут вместо того, чтобы повернуть обратно, как это планировалось при его вылете, он решил «рвануть до полюса». И рванул. Головин, штурман Волков, механики Ке-

кушев и Терентьев, радист Стромилов стали первыми советскими людьми, пролетевшими над самой северной точкой мира.

Николай Николаевич рассказывал потом, как произошла первая встреча советских людей с полюсом. Добравшись до заветной точки, экипаж увидел под крылом клубящееся море облаков. Только информация штурмана свидетельствовала о том, что цель достигнута. Соседи Стромилова, бортмеханики самолета, немедленно решили отметить достижение цели. Терентьев дал расписаться Стромилову в блокноте и выбросил блокнот за борт. Второй механик сбросил иной сувенир: сначала вниз полетели три куколки — белая, желтая и черная, символизировавшие три расы людей, населяющих земной шар, вслед за ними, разбрызгивая содержимое, полетел бидон с маслом.

— Для смазки подшипника земной оси!

Нетрудно было догадаться, что так мог поступить лишь один человек в экипаже Головина — бортмеханик Кекушев. Коренастый, широкоплечий, он производил впечатление человека в высшей степени солидного. Мастером своего дела он был великолепным. Но не только это принесло ему славу в полярной авиации. Был Кекушев еще и редчайшим мастером розыгрыша. Особенно нашумела история с часами Шмидта. Сценарий Кекушев разработал заранее и осуществил во время одного из перелетов, когда ему пришлось облететь все наиболее крупные станции Арктики. На каждой происходило примерно одно и то же. Сидят полярники за столом, а Кекушев спрашивает:

— Ребята, а вы заказали часы со Шмидтом?

— Какие часы?

— Эх, ребята, вы все прохлопаете.

— А что это за часы?

— О, прекрасные часы!.. С гириями. Когда начинается бой, открывается окошечко и оттуда выскакивает не кукушка, а голова Шмидта. Сходство портретное. Борода как в натуре. Он и отсчитывает бой часов вместо кукушки.

— Здорово! А где их купить?

— В Москве, в Центральном универмаге. Телеграфируйте директору, сколько пар вам забронировать.

Директор магазина с пачкой телеграмм пришел в Политуправление Главсевморпути. О беседе Кекушева с начальством можно было только догадываться.

...После того, как экипаж поприветствовал Северный полюс, самолет «СССР-Н-36» стал возвращаться. Не знаю, как реагировал на этот полет Шмидт. Внешне, во всяком случае, он никак не проявил своего отношения. Возможно, он не оправдывал риск, на который пошел Павел Головин, но, думаю, как человек огромной душевной широты, Отто Юльевич понял и не очень осудил поступок Головина, хотя полет этот заставил нас пережить несколько острых минут.

Когда Головин прошел уже большую часть пути от полюса до острова, наш аэродром стало закрывать туманом. То ли аппаратура у Головина подвирала, то ли он сам немного просчитался, не знаю, но, во всяком случае, он промахнулся и вышел западнее острова.

Мы волнуемся. Большая часть нашего коллектива — представители пятого океана. Что такое контрольный срок полета и каков он у самолета Головина, известно всем досконально. Летчик плутает. Туман все гуще и гуще, а бензин, по подсчетам специалистов, уже кончился. Нас всех была мелкая дрожь. Шутки ли, экспедиция на полюс еще не началась, а над нами нависло такое страшное ЧП, как гибель самолета и потеря людей.

И вот когда, по всем расчетам специалистов, самолет Головина уже просто не мог лететь, послышался шум мотора и машина ворвалась чуть ли не на бредущем полете. Аэродром — на высоте четырехсот метров, на куполе ледника. Но купол в тумане, и Головин стал садиться прямо около жилых домов. Никто этого «аэродрома» не мерил. Взлетел с него только маленький «У-2», но летчик решительно плюхнулся на наш пятачок. Самолет еще катился, когда замолкли моторы.

Начались объятия. Головин поцеловался со Шмидтом, затем подошел к машине, открыл контрольный кран главного бака, и оттуда на глазах всей собравшейся публики вытекла, я видел это собственными глазами, одна-единственная столовая ложка бензина.

Прошло еще две недели, прежде чем погода наконец улыбнулась нам. На маленьком «У-2» Яков Мошковский вывез Дзержеевского на высоту трех тысяч метров, и главный синоптик благословил вылет.

У дверей жилого дома появился трактор «Сталинец». Во всеоружии своих шестидесяти сил он приготовился тащить к летному полю сани, скорее похожие на плот. Полосьями служили толстые бревна. зашитые сверху не менее внушительными трехдюймовыми досками. На этих санях перебрасывались на купол бочки с горючим и маслом.

Казалось бы, брать с собой нечего — личные вещи уже в самолете. Засовывай в карман зубную щетку, вешай аппарат — и в дорогу. Однако и тут набралось много разного скарба. Штурманы везут приборы, радисты — аккумуляторы, бесчисленными кулечками и пакетиками обросла и наша четверка.

Добавочная поклажа — чистая контрабанда. Стараемся побольше напихать в карманы. Там можно обнаружить и пачки папирос, и питьевую соду, и горсть гвоздей. Борьба идет за каждые сто граммов. В наволочке везем селедки, возмущая соседей вытекающим рассолом.

Трактор пыхтит. Потихоньку ползем в гору, со скоростью пешехода преодолевая четырехкилометровый путь. И когда достигаем цели, перед нами открывается панорама бухты. Отсюда многие экспедиции пытались достичь полюса.

Никто не произнес слова «вылетаем», но в одно мгновение все стало ясно. Вылетаем одни — первым идет к полюсу флагманский самолет «Н-170» Михаила Васильевича Водопьянова, второй пилот Бабушкин. На нем летим мы четверо, Шмидт, флаг-штурман экспедиции И. Т. Спирин. Ему и Жене Федорову с их астрономическими инструментами предстоит отыскать среди снега и льда полюс и привести машину к заветной точке.

Для облегчения из самолета выкинуто все что только можно выкинуть. Сняты крепления, подставки для приборов, откидные сиденья. Папанин, Ширшов и я размещаемся в центроплане. Женя ушел к Спирину в «моссельпром». В полете они будут работать вместе.

Итак, поехали! Легкий рывок. Моторы дают максимальные обороты. В люк каскадом летит снежная пыль. Второй механик В. Н. Гутковский влезает уже на ходу и захлопывает люк. Самолет убабывает бег. Толчки учащаются. Внутри все гудит и резонирует. Поднимемся ли?

Начав свой путь с самой высшей точки ледника, самолет катится под горку, разгоняется. Сейчас или... Или, разогнавшись, взлетим, либо, если не успеем взлететь, соскочим с двадцатиметровой высоты ледника на морской лед. Пилот жмет на всю железку. Моторы ревут. Четыре тысячи лошадиных сил все же оторвали от земли нашу донельзя перегруженную машину. Взлет произведен мастерски. Мы дружно выражаем наши чувства поднятыми вверх большими пальцами.

Водопьянов делает вираж. Под нами проплывают домики. Прощай, остров. Ты был гостеприимен. И хотя мы жили тут как шпроты в банке, долгие месяцы будем вспоминать такие достижения человеческой культуры, как печку, рукомойки и баню.

Маяк нудно бубнит две буквы — «Н» и «А». Между ними и лежит наш курс. А в Москве волнуются синоптики. Шквалистые ветры не лучший союзник перегруженного самолета. Мы успокаиваем — все в порядке. Наши радиogramмы доходят до Москвы в течение нескольких минут.

Монотонная размеренность полета внезапно нарушается. Механики проявляют какую-то не очень понятную активность: поочередно исчезают в левом кры-

ле самолета. Потом Флегонт Бассейн, первый бортмеханик, идет к Водопьянову и что-то кричит ему в ухо. Разговор кончается быстро. Бассейн с бесстрастным лицом становится у пульта управления. Остальных механиков не видно. Потом появляются и они, а вместе с ними возникает неурочный спрос на марлю и йод. Заливаются бесконечные порезы на руках.

О том, что все это означало, мы, пассажиры, узнали только после посадки. Потек радиатор одного из двигателей. Это грозило большими неприятностями. Перегретый мотор обязательно вышел бы из строя. К счастью, наши механики не растерялись. До самой посадки, в невероятной тесноте, лежа вниз головой, они голыми руками собирали при помощи тряпок вытекающий антифриз, выжимали его в ведро и вновь доливали в радиатор.

Не прошло и часа после вылета с острова, как впереди по курсу показались легкие редкие облака. Затем, по мере продвижения к северу, облака стали уплотняться. Самолет набрал высоту, и вскоре мы уже шли почти над сплошной облачностью.

Очень редко открываются маленькие оконца, и тогда видны трещины во льдах. Они гораздо уже тех, которые мы наблюдали в районе острова Рудольфа.

Истекает шестой час полета. Спирин и Федоров вдруг оживились. С сияющим лицом Женя кричит мне в ухо:

— Полюс!

Инстинктивное движение к оконцу. Надо обязательно посмотреть, как выглядит полюс сверху. Не видно. Под нами все та же бесконечная поверхность облаков.

По самолету забегали солнечные зайчики. Водопьянов разворачивается. Скоро посадка.

Сердобольные люди учили, как вести себя при посадке на неподготовленные аэродromы:

— Упритесь ногами и руками в стойки, но так, чтобы перед физиономией не оказалось никаких предметов!

Действовали по этой инструкции. Трем можно было упираться, четвертому — Жене Федорову — сделать это труднее. Руки у Жени заняты ящиком с хронометрами, а уж если выбирать, то он, безусловно, предпочел бы разбить лицо, а не приборы. В такой обстановке не позаботиться о Жене грешно. Усадили его среди мягких баулов как в гнездышко.

Механики разматывают через весь самолет, от хвоста к пилотскому креслу, трос. Это особый трос. Конец его в распоряжении Бабушкина...

Спускаемся ниже. Ныржаем в облака. Меркнет солнце. Освещение становится серым, скучным. Посадка уже близка. И в эти минуты, когда обычно в салонах современных воздушных лайнеров зажигается табло: «Не курить» — вдруг едкий запах горелой резины. Очевидно, замыкание. Ох, какой это был неприятный запах!..

А самолет все ниже и ниже. На высоте 500 метров выходим из облаков. Отчетливо видны большие поля, гряды торосов и неширокие трещины. Водопьянов осмотрительно выбирает наиболее благоприятное место, делает несколько кругов и заканчивает виражом, от которого дух захватывает. Моторы сбавляют обороты. Бабушкин дергает за трос, протянувшийся к хвосту. С хлопком раскрывается тормозной парашют. Теперь такими парашютами никого не удивишь, они давно приняты в реактивной авиации. Тогда же применение их для сокращения послепосадочного пробега являлось новинкой. Пробежав 240 шагов, самолет стал.

Мы на полюсе.

У люка оживление. Скорее на лед! Скорее посмотреть как выглядит полюс. Поздравляем друг друга, восхищаемся мастерством полета и посадки. Не верится, что мы на полюсе, не верится, что в такой прозаической обстановке осуществилась давняя мечта человечества.

Из самолета извлекаем бутылку коньяка и на снегу расставляем алюминиевые кружки. Я в роли виночерпия. Пробку прячу в нагрудный карман. Сувенир! Когда-нибудь буду показывать внукам.

Тост краткий:

— За нашу Родину!

Гремит троекратное ура. И холодная кружка, и густой от мороза коньяк обжигают. На этом торжественная часть и заканчивается.

Начинаются будни. Экзамен, при котором переэкзаменовок не дано. Механики закрыли моторы чехлами. Началась разгрузка, а я поспешил на помощь к Симе Иванову, потрошившему свою радиостанцию. Запахом горелой резины в самолете угостил нас именно он.

— Что у тебя, Сима?

— Плохо дело, сгорел умформер!

— Отремонтировать можно?

— Нет...

Вопрос излишний: где уж тут ремонтировать обмотку, которая состоит из сотен метров провода, втиснутого заводом в пазы якоря.

К сожалению, не удалось из-за веса полностью захватить мою радиостанцию. С нами прибыла только аппаратура, необходимая для пуска станции и минимальной ее работы. Привезли лишь один комплект аккумуляторов да небольшой бензиновый двигатель. Ни ветряного двигателя, ни велосипеда с динамо-машиной для аварийного питания у нас нет.

Рассчитывали, что сразу после посадки связь с нашим островом установит значительно более мощная самолетная рация, а мы не спеша развернем свою станцию. Непредвиденный выход из строя самолетной радиостанции нарушил первоначальный план. Оставалось одно — не теряя ни минуты разворачивать собственную радиостанцию.

Все помогают мне. Папанин и Ширшов ставят небольшую темно-зеленую палатку. Спирин и Бабушкин — мачты, оснащая их такелажем. Работать трудно. Температура минус пятнадцать, свежий ветерок студит руки.

Особенно внимательно следим при выгрузке за аккумуляторами. Один — двенадцативольтовый, питающий машинку радиопередатчика, накал передатчика и накал приемника. Другой аккумулятор — анодный. Вес двенадцативольтового — сорок килограммов.

Сейчас некогда заниматься удобным размещением приборов. Все ставится на снег в палатке. меховая куртка служит и полом и стулом. Соединять провода, налаживать хозяйство приходится стоя на коленях.

Наконец в четвертом часу дня 21 мая 1937 года включаю машинку передатчика. Аппаратура проверена. Осечек быть не должно. Заглушенное гудение машинки, спрятанной в ящике, показывает, что все в порядке. Но это только кажется. Не успел я заняться настройкой передатчика, обороты начали падать. Гудение приобрело все более низкий тон.

Вольтметр подтвердил то, о чем я уже догадывался: аккумуляторы сели! Моя ошибка! Переоценил их качество. Две недели они простояли в самолете и частично саморазрядились. Вот неприятность!

Срочно притащили двигатель с динамо-машиной. Распаковали и тут же, на снегу, приступили к зарядке аккумуляторов. После часа работы аккумуляторы чуть-чуть ожили. Можно было немного послушать эфир. Ритмичные, монотонные сигналы. Надо пускать передатчик и звать, звать, звать...

Палатка вся занята аппаратурой. Над головой висят провода. Работать приходится лежа на боку. Ноги не помещаются в палатке и высовываются наружу.

Рядом на ящике неотлучно молча сидит Отто Юльевич Шмидт. Завидуешь его внешнему спокойствию. Ни одного резкого нервного замечания, вполне простительного в этой напряженной обстановке.

Проходит час за часом. Попеременно слушаю, затем пускаю передатчик. Опять вынужденная задержка. опять надо подзаряжать аккумулятор.

Напряжение огромное. Сейчас дело исключительно за связью. Если не будет связи, последствия могут оказаться неотвратимыми.

А остров все бубнит и бубнит. Сквозь мощные сигналы ему не услышать наш слабенький передатчик. Остальным еще хуже, они находятся дальше, южнее.

Поскольку материковым станциям услышать нас не удастся, они в 17 часов получают распоряжение прекратить работу. Эфир очищается от лишних сигналов. Все слушают нас. Слушают на всех волнах...

И все же наши вызовы остаются гласом вопиющего в снежной пустыне. Опять приходится подзаряжать аккумуляторы. И снова зову. И снова безрезультатно...

Наконец в 21 час 30 минут совершенно ясное ощущение: сейчас нас услышат, будет ответ. Уверенность так велика, что хочется сказать об этом сидящему рядом Шмидту. Но неудобно как-то на полюсе в такой момент заниматься черной и белой магией. Лучше промолчать.

Приемник включен...

Быстро, как пуля, посвяляется в эфире наш остров. С бешеной скоростью несутся точки, тире нашего позывного. Вот ошибка, вот срыв буквы. В такие минуты даже выдавшие виды опытные радисты нервничают и ошибаются.

По всему видно, что нас услышали. У меня по лицу расплывается улыбка. Отворачиваюсь, чтобы Шмидт не видел ее, — ведь пока даются только позывные. Надо подождать, что скажет остров.

Но вот слова:

«Ну и радость тут... Где вы? Давай сюда сообщение».

Шмидт и я жмем друг другу руки.

— Они подождут, пока я напишу телеграмму? — спрашивает Отто Юльевич.

— Конечно, — отвечаю.

Кто говорит, что небесной музыки нет? В полном сознании и твердой памяти утверждаю, что есть. Есть еще более прекрасные вещи. Например, установление связи группы людей, находящихся на дрейфующем льду Северного полюса, с родной землей, да еще после двенадцатичасового перерыва.

Пока Шмидт пишет подробную телеграмму, говорю с островом.

Ну, конечно, нас услышал Коля Стромиллов.

Сообщаю самое главное:

«Все живы, самолет цел... У Симы перегорела его основная машинка. У меня садится аккумулятор... Пишем радиограмму: лед -- мировой»...

Волнуясь и спеша отвечает Стромиллов.

Узнаю подробности тревожных часов, которые провели наши товарищи. Уже наступила ночь. День закончился мрачно, тоскливо. Умолкли обычные шутки. Москва шлет запрос за запросом. Густым туманом заволокло купол, где стоят подготовленные друзьями самолеты для поиска.

И вдруг совершенно неистовый вопль Стромиллова:

— Слышу!..

В соседних комнатах люди соскакивали с коек, хлопали двери, из соседних домов бежали в нижнем белье, босиком по снегу. В мгновение ока небольшая радиорубка наполнилась до отказа, как московский трамвайный вагон в часы пик.

Стромиллов пишет. Мошковский, изогнувшись, из-под его локтя шепчет вслух каждое записанное Стромилловым слово. Шепот слышат все...

Идет телеграмма номер один с Северного полюса. Полюс заговорил. Телеграмма адресована: Москва — Главсевморпути.

«В 11 часов 10 минут самолет «СССР-Н-170» под управлением Водопьянова, Бабушкина, Спирина, старшего механика Бассейна пролетел над Северным полюсом.

Для страховки прошли еще несколько дальше. Затем Водопьянов снизился с 1750 метров до 200. Пробив сплошную облачность, стали искать льдину для посадки и устройства научной станции.

В 11 часов 35 минут Водопьянов блестяще совершил посадку. К сожалению,

при отправке телеграммы о достижении полюса внезапно произошло короткое замыкание. Выбыл уформер рации, прекратилась радиосвязь, возобновившаяся только сейчас, после установки рации на новой полярной станции.

Льдина, на которой мы остановились, расположена примерно в 20 километрах за полюсом по ту сторону и несколько на запад от меридиана Рудольфа. Положение уточним. Льдина вполне годится для научной станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных самолетов с грузом станции.

Чувствуем, что перерывом связи невольно причинили вам много беспокойства. Очень жалеем. Сердечный привет.

Прошу доложить партии и правительству о выполнении первой части задания.

Начальник экспедиции **Шмидт**».

Договариваемся о порядке и сроках последующей работы. Долго и трудно устанавливалась первая связь. Теперь все пойдет как по маслу.

Уже прошла полночь. Следующий сеанс связи назначен на шесть часов утра. Надо воспользоваться свободным временем и зарядить аккумуляторы. Все спят. Пасмурное небо сеет мелким снежком. Метет порывистый ветер. Холодно от долгого неподвижного лежания на боку в палатке у радиоприборов. Честно заработанный в Арктике ревматизм сильно дает себя знать.

Да, денечек был горячий.

Вспоминая все тревожения в эти напряженные часы, когда не кленлось со связью, я обращаюсь мыслью к своим друзьям-радистам: ныне здравствующему Николаю Николаевичу Стромилову и покойному Симе Иванову. Хочу, чтобы читатель поверил, что высокие оценки их профессионального мастерства не только мое мнение, но и мнение всех, кто работал с этими превосходными знатоками своего дела. Приведу отзыв о Стромилове Отто Юльевича Шмидта.

«Стромилов поехал, чтобы остаться на острове и держать связь со своим другом Кренкелем и, если нужно, разъяснять ему недоразумения, которые могли бы возникнуть с новой станцией.

Но на деле Н. Н. Стромилов сделал гораздо больше. Он летал радистом в разведках Головина, флаг-радистом на самолете Молокова. Это артист своего дела. Любо-весело смотреть, как этот длинный и худой человек с горящими глазами, Дон-Кихот по фигуре, уверенно колдует среди тонких деталей современной большой радиопередающей аппаратуры. Его тонкие нервно-подвижные пальцы, какие бывают у скрипача, казалось, непосредственно излучают таинственные волны.

А наш радист флагманского корабля С. А. Иванов, по фигуре скорее Санчо Панса, в свою очередь, не менее четко и надежно держал связь непосредственно с Москвой, с Диксоном и с любой станцией. Моряк, многократный зимовщик, участник челюскинской эпопеи».

Уже через три часа меня извлекают из мешка. Пора передавать первое метео. Трём самолетам, оставшимся на острове, идти к полюсу теперь будет легче, чем нам. Они пойдут с открытыми глазами, опираясь на наши сведения о погоде и о посадочной площадке.

Хотя радиостанция еще полностью не развернута, хочется вознаградить за труды первых обитателей полюса. Решено каждому из чертовой дюжины (нас высадило на полюс тринадцать!) дать по двадцать пять слов. Пиши кому хочешь и что хочешь.

Оригинальностью никто не блеснул. Телеграммы удивительно похожи. Весь вопрос в том — кому повезло, а кому не повезло с адресом. Самая невыгодная знакомая оказалась у нашего оператора Марка Трояновского. На адрес ушло одиннадцать слов из двадцати пяти.

Вечером 23 мая остров передал радиограмму:

«Правительственная № 2768 106 сл. 23.V. 20 ч. 12 м.

Начальнику экспедиции на Северный полюс товарищу О. Ю. Шмидту.

Командиру летного отряда товарищу М. В. Водопьянову.

Всем участникам экспедиции на Северный полюс.

Партия и правительство горячо приветствуют славных участников полярной экспедиции на Северный полюс и поздравляют их с выполнением намеченной задачи — завоевания Северного полюса.

Эта победа советской авиации и науки подводит итог блестящему периоду работы по освоению Арктики и северных путей, столь необходимых для Советского Союза.

Первый этап пройден, преодолены величайшие трудности. Мы уверены, что героические зимовщики, остающиеся на Северном полюсе, с честью выполняют порученную им задачу по изучению Северного полюса.

Большевистский привет отважным завоевателям Северного полюса!

И. Сталин
В. Молотов
К. Ворошилов
Л. Каганович
М. Калинин
А. Микоян
А. Андреев
А. Жданов».

Из палаток вылезали их обитатели, от самолета бежали люди. Шмидт читал ровным, громким голосом.

Абсолютный штиль, мягко падает снег.

Такие минуты незабываемы...

А затем начались будни. Тяжелыми пешнями Папанин, Федоров, Ширшов и Марк Трояновский продолбили прорубь. Лед оказался толщиной три метра десять сантиметров.

Постепенно прибывали самолеты. Мы посещаем их как гости и попутно стараемся что-нибудь прихватить: инструмент, всякие проволочки, алюминиевые трубы, провода, электрические лампочки. Нам понадобится здесь все. Пилоты смотрят на нас косо.

Когда нас стали гонять от самолетов, Папанин, который поначалу угощал пилотов замечательной украинской колбасой, свою щедрость убавил. А затем выработал жесткую таксу и начал товарообменные операции: одна колбаса — метр дюралевого трубы. Все довольны, все смеются.

Наконец 28 мая установили основную жилую палатку. Управляться с маленькими гайками голыми руками на морозе трудно, но собрали жилье быстро. Обтянули чехлом, устлали пол шкурами. Тепло, уютно. Затем начали пристраивать к ней снежный тамбур и кухню. В связи с окончанием первой очереди строительства состоялось новоселье. Переехали из легких временных палаток в жилой дом. После них в новом жилье чудо как хорошо.

Заработал наш ветряк. Обдуваемый полярным ветром, он весело машет крыльями, оживляя пейзаж. Станция полностью введена в строй. Аккумуляторы заряжены. Теперь в наших руках неисчерпаемый источник тока для связи.

Две недели жизни большой компанией пролетели быстро. И хотя мы знали, что останемся вчетвером, последний день пришел, как всегда, как-то неожиданно и внезапно. Надо было написать домой, но получалось плохо. В последний момент что-то нацарапали на бумажках.

В пять часов вечера 6 июня — митинг в честь подъема флага и торжественного открытия дрейфующей станции «Северный полюс». Вместо трибуны — нарты. Бамбуковые шесты в роли флагштоков. Короткая речь Шмидта. Затем речь Папанина. Поднять флаг поручили мне.

— Флаг поднять!

— Есть флаг поднять!

Трехкратный залп из винтовок и револьверов. Мы стоим с обнаженными го-

ловами и поем «Интернационал». Нам аккомпанирует гул моторов в 16 000 лошадиных сил.

Наступают последние минуты. Целуемся, обнимаемся. Пилоты суют нам в руки подарки, провезенные на полюс контрабандой, сверх груза, записанного в соответствующих документах.

Василий Сергеевич Молоков подарил примус, Бабушкин — колоду карт, Мазурук — патефон с пластинками... Одним словом, у каждого нашелся для нас какой-то милый, приятный сюрприз, свидетельствующий о том, что наши строгие пилоты, нет-нет да покрикивавшие на нас, когда мы занимались на их кораблях мелкими кражами, все знают, все понимают и питают к нам самые нежные чувства.

Обдавая нас вихрями снега, один за другим уходили на материк самолеты. Описав круг над льдиной, они ныряли в облака. Стихал звук моторов. Наступила тишина...

В первые минуты, хотя мы и готовились к ним, было как-то не по себе. Все-таки не привыкали мы с малых лет оставаться вчетвером на полюсе. Но человек на то и человек, чтобы привыкнуть к самым невообразимым ситуациям. Вот мы и начали привыкать к нашей жизни на перекрестке меридианов.

ЛАГЕРЬ У ЗЕМНОЙ ОСИ

Гидрологическая лебедка. Мои товарищи. Самые северные домашние хозяйки. Проблемы нашего быта. Встречи с Чкаловым. Самогонщик Ширшов. Сюрпризы примуса. Лето на полюсе. Визит белых медведей. Трагическая судьба Сигизмунда Леваневского. Дрейф на льдине и в воздухе. К нам пришла зима. «Последнее» ламповое стекло. Ночи коротковолновика. К нам идут ледоколы. Льдина трескается. Нас тащит на юг. Операции по спасению. Гибель дирижабля. Видим огни кораблей! Летчик Власов — первый человек на льдине. Моряки у нас в гостях. Домой! Встреча в Москве. Несостоявшийся академик. Не буду говорить — прощайте, лучше сказать: до свидания...

6 июня улетели доставившие нас самолеты, а 7-го уже полным ходом шла работа. Начали мы с самого тяжелого — принялись мерить Ледовитый океан, определяя его глубину и температуру воды на разных уровнях. Ширшов в ожидании этой минуты просто горел от нетерпения. И мы понимали его волнение: таких промеров в районе полюса никто и никогда еще не производил. С воодушевлением ожидали нашу информацию десятки ученых в различных странах мира.

И вот предвкушая сладость первого в мире океанологического эксперимента на Северном полюсе, готовим к делу ширшовскую лебедку. Петр Петрович затратил много сил, чтобы сделать это важное орудие предстоящих исследований легким, удобным и надежным. Вся конструкция собрана из дюралевого труб, а барабан изготовлен из лучшей стали.

Для установки лебедки Папанин и Ширшов выстроили специальное сооружение из досок.

Наконец приготовления окончены. Груз, щуп и батометр скрылись в воде. Побежали стрелки счетчика. Быстро, слой за слоем, сматывался тросик.

О том, на какую глубину предстоит нырнуть приборам, можно только гадать. Ширшов из осторожности отрегулировал тормоз так, чтобы скорость спуска не оказалась чрезмерной. Трос бежал вниз, а мы как приклеенные стояли подле лебедки. Интересно! Продолжался спуск ни много ни мало — два часа сорок минут. Два часа сорок минут приборы шли вниз и достигли глубины 4290 метров. На сердце у Петра Петровича сразу же полегчало. Он очень боялся, что пяти тысяч метров троса может не хватить.

На этом интересное и закончилось. Спуск — процесс самодействующий: работала сила тяжести. Иное дело подъем. Тут никаких сил, кроме наших мышц, не существовало. Я глубоко убежден, что если бы в древние времена искали для ка-

торжников работу потяжелее, то работа на гидрологической лебедке оказалась бы вне конкуренции.

Люди, формировавшие наш состав, исходили из правильных соображений. Четыре специалиста посылаются для важной работы. Значение ее понимает каждый. Опыт жизни в условиях Арктики тоже имеет каждый. И хотя «пяточек», отведенный для жизни, не превышал пяти квадратных метров, ни одному из четырех и в голову не могло прийти, что его сосед чем-то может быть недоволен. Железное слово «надо» пронизывало все, в том числе и наши взаимоотношения.

Мы великолепно понимали: государству наша работа обходится недешево, к тому же было еще одно, чрезвычайно важное обстоятельство — престиж страны. Отдавали мы себе и достаточно ясный отчет в той степени риска, которой подвергались по ходу дрейфа. Все это требовало от всех четверых безупречного отношения к своим обязанностям, организованности и очень доброго товарищества. Мы были одновременно и первопроходцами (звучит красиво!) и подопытными кроликами (ничего худого не вижу в этом и по сей день!). Мы понимали, что не имеем права ударить в грязь лицом. Это и предопределяло наши взаимоотношения.

Подняв столь важный вопрос, как приработка четырех разных характеров, я должен представить читателю своих товарищей. Дело нелегкое, ведь говорить придется о людях, которых сегодня знают во всех странах мира.

Начальник экспедиции И. Д. Папанин. Начну с того, что начальник в Арктике не профессия, тем более что подчиненные подобались такие, которых ни проверять, ни понукать не приходилось. Иван Дмитриевич — прирожденный великолепный организатор. И работа слесарем на заводе, и служба на флоте, куда он попал в 1915 году, научили его той разной разности, которая никогда и никому лишней не бывает, а на зимовке просто становится предметом острой необходимости. Короче, Иван Дмитриевич — на все руки мастер.

Впервые я познакомился с Папаниным в 1931 году, после посадки цеппелина «ЛЦ-127» в бухте Тихой. Иван Дмитриевич прибыл туда на «Малыгине», где в угоду филателистам всего мира специальное почтовое отделение ставило на конвертах специальное гашение, столь дорогое сердцу каждого любителя почтовых марок. Папанин, работник Наркомпочтеля (Министерство связи еще просто не успело родиться), заведовал этим отделением.

К тому времени Иван Дмитриевич стал в Арктике человеком известным. Я знал, что по заданию того же Наркомпочтеля он строил первую радиостанцию на Алданских золотых приисках и блестяще организовал охрану радиостанции. Когда в один прекрасный день на нее налетела группа головорезов, Папанин, имея всего десять человек, дал налетчикам сокрушительный отпор.

Постепенно об Иване Дмитриевиче в Арктике стали складываться легенды. Большая часть легенд относилась к его хозяйственности и пробивной силе. Небольшого роста, расположенный к полноте, но удивительно быстрый и ловкий в движениях, он действовал всегда с какой-то неповторимой стремительностью, с каким-то редким талантом мгновенно превратить собеседника, подчас даже случайного, в своего союзника и помощника.

Я еще не видел человека, который бы не откликнулся на знаменитый папанинский призыв:

— Братки, надо помочы!

Папанин самый старший в нашей четверке (при высадке на полюс ему было сорок три года), а нынешний академик Евгений Константинович Федоров, тогда еще просто Женя, самый младший (ему лишь двадцать семь). Однако несмотря на юность, Женя — испытанный полярник. Зимовать он начал сразу же после окончания Ленинградского университета. Первой зимовкой в 1931 году стала для него бухта Тихая, где Папанин был начальником. Потом, снова вместе, они зимовали на мысе Челюскина.

Пожалуй, наиболее характерная черта Жени Федорова — его удивительная работоспособность. В нашем содружестве он, прежде всего астроном, изучал

проблемы земного магнетизма. А когда после полярной ночи появлялось солнце, занимался еще и актинометрией. К этому надо добавить, что Женя еще наш метеоролог, запасной радист и рядовой крутильщик лебедки. На все у него хватало времени и сил. Это удивительно работающий, способный, хорошо организованный человек.

Сейчас академик Е. К. Федоров руководит метеорологической службой Советского Союза. Но так же, как и тридцать лет назад, Евгений Константинович прост в обращении, так же работоспособен.

Из всей четверки после самого себя лучше всех я знал Петра Петровича Ширшова. Полярные приключения как-то очень сближают, а с Петром Петровичем мы бедовали дважды. Один раз на «Сибирякове», второй — на «Челюскине».

Трогательное и симпатичное существо — пятый член нашего коллектива — черный пес по кличке Веселый. Действительно веселый, добрый, хотя и воробячий, что огорчало нашего рачительного начальника.

Среди наших повседневных дел немало оказалось и просто скучных, но выполнять приходилось любую работу, в том числе и надоедливую. Чтобы наши молодые ученые Ширшов и Федоров смогли всецело отдавать свое время науке, мы с Папаниным стали самыми северными домашними хозяевами земного шара. Две недели в кухне хозяйничал он, две недели — я.

Правда, многое в наших кухонных делах приведет в ужас представительниц лучшей половины рода человеческого. Однако рассказывая обо всем этом, прошу снисхождения и скидки на условия производства, значительно уступавшие кухне и столовой современной отдельной квартиры.

Хотя все четверо имели полярный опыт, но быт на дрейфующей станции все же оказался для нас во многом необычным. Пришлось привыкать, постепенно втягиваясь в его ритм. Весна, от которой мы старательно удирали, чтобы долететь до цели, догнала нас здесь, на полюсе. За весной пришло и полярное лето. Солнце, не заходящее ни днем, ни ночью, превратило в кружево снеговые стены нашей кухни, а радиорубка приобрела сходство со знаменитой падающей Пизанской башней.

Жизнь на льдине была ключом. Полярный день немало способствовал тому, что мы просто не замечали бега времени. Солнце одинаково и утомительно светило круглые сутки. Ориентироваться во времени приходилось по таким приметам — в шесть часов утра обязательное метео открывало рабочий день, зверский аппетит и усталость свидетельствовали о его конце. Послав в полночь последнее метео, ложились спать, чтобы через шесть часов снова начать свой трудовой цикл.

Проблема продовольствия приносила нам ощутимые сюрпризы.

Первый урон мы потерпели, когда раскисли изготовленные еще в Москве сто пятьдесят килограммов пельменей. Еще в пути стало ясно — их надо выбросить. Заменяли телячьей и свиной тушами. Затем, едва мы долетели до полюса, «отказали» пятьдесят килограммов ромштексов. Попытка их съесть вызвала дружный протест всей четверки. Душа и желудок не принимали. Экономный Папанин не без колебаний передал порционные блюда Веселому. Пес хватал ромштекс зубами и долго размахивал им, перед тем как съесть. Веселый понимал, что такую пищу перед употреблением необходимо проветривать.

Стремясь уберечь телятину и свинину от таяния, Папанин выдолбил в торопе «ледник» для мяса. В других условиях этого оказалось бы вполне достаточно. Но на полюсе с высокой круглосуточной солнечной радиацией папанинский ледник подкачал. Под воздействием солнечных лучей, проникавших сквозь стены холодильника, мясо нагрелось. Очень скоро и эти мясные запасы перешли Веселому.

Не следует думать, что мы купались без конца в солнечных лучах. Летняя погода на полюсе достаточно изменчива. Временами солнце уходило за облака, по палатке барабанил дождь, и все содрогалось под порывами жестокого норд-оста. Иногда мы часами пребывали под проливным дождем. Над нами раскрывались шлюзы пресной воды, под нами — четырехкилометровая толща соленой.

Плохая погода приносила свои дополнительные проблемы, в том числе и такую, как сушка одежды и обуви.

И все же независимо от погоды научные работы продолжались нормально каждый день.

Иногда наука и быт приходили в нежелательное столкновение. Бурное таяние снега продолжалось. Лыдина покрылась озерами, потекли ручейки. Один из них, шириной метра в полтора и глубиной в полметра, протекал прямо перед входом в нашу палатку. Через ручей перекинули доску, торжественно названную мостом, а чтобы нас не залило, Папанин прорубил водоотводную канавку. Канава Папанина вела прямехонько в гидрологическую прорубь Ширшова. Наша кухня получила шикарный водопровод. Пресной воды — хоть залейся! Зачерпнул и пожалуйста, хочешь — кипяти чаек, хочешь — мой посуду, хочешь — умывайся.

Водопровод действовал так хорошо, что я попытался приспособить его как канализацию при мытье посуды. Ничего не вышло — Ширшов взбунтовался:

— Грязная посуда и чистая наука несовместимы!

Пришлось согласиться. В самом деле нехорошо, если в приборы попадут остатки борща, а в списке выловленных из океана существ появится неведомое ученым — «макарона вульгарис».

В многочисленных хлопотах первые две недели не прошли, а пролетели. И вдруг важное задание: обслуживать перелет экипажа Валерия Павловича Чкалова в Соединенные Штаты Америки через Северный полюс. 18 июня 1936 года в 4 часа 5 минут В. П. Чкалов, А. В. Беляков, Г. В. Байдуков вылетели из Москвы.

Каждые два часа мы аккуратно передавали метеорологическую сводку, с величайшим нетерпением ожидая Чкалова и его друзей. Уж очень хотелось всем нам получить из Москвы посылку. В самом деле, ну что им стоит, ведь это так просто: пролететь над нами и сбросить письма от родных, газеты и четыре литра спирта.

Хочу оговориться сразу: доставить спирт мы попросили Валерия Павловича не от чрезмерного желания утолить жажду. В этом смысле вели мы себя в высшей степени умеренно. Причина заключалась в том, что на нашем острове перед вылетом на полюс четыре бидона со спиртом куда-то испарились, а обнаружили мы это исчезновение уже на полюсе, после того как самолеты улетели обратно. Мы очень расстроились. Спирт необходим Ширшову для консервации тех многочисленных «морских блох», которых время от времени он аккуратно вылавливал из океанских пучин. Среди них попадались совершенно уникальные экземпляры, и наука никогда не простила бы Петру Петровичу, если бы он не законсервировал их за недостатком спирта.

Утром в 5 часов 50 минут Папанин вдруг сказал:

— Ребята, мотор!

Шум мотора чкаловского самолета слышен совершенно отчетливо, но между нами и Чкаловым — невероятная толща облаков. Мокрые, по колено в раскисшем снегу, стояли мы, произнося всякие слова, в этом беспросветном сыром месиве. Письма, газеты, спирт — все пролетело над нами и двигалось теперь дальше, в Америку.

Постепенно гул мотора, удаляясь на север, замолк, а мы, мысленно пожав руки героям (прямой связи с самолетом не было), пожелали им счастливого пути.

Второй раз, находясь в Арктике, я обслуживал чкаловский экипаж метеорологической информацией. За год до randevу над полюсом, находясь на острове Домашнем, я тоже посылал ему свое метео. Тогда самолет летел на остров Удд, ставший после этого островом Чкалова. Более коротко я познакомился с Валерием Павловичем позднее, почти через год, когда мы вернулись с полюса. Мы подружились и часто встречались в маленьком подвальчике в Старопименовском переулке, где под руководством Б. М. Филиппова зарождался нынешний Дом работ-

ников искусств (ЦДРИ), а также во Всероссийском театральном обществе на улице Горького.

Наши встречи обычно происходили после работы, в 10—11 часов вечера. И актеры и работники искусств встречали нас в высшей степени гостеприимно и приветливо. У них было всегда уютно, а потому мы с Чкаловым любили эти встречи, чувствуя себя и в ЦДРИ и в ВТО как дома. Часто мы с Валерием Павловичем заходили на кухню к поварам и только после такого визита выходили уже в общий зал, где продолжали трапезу за столами, покрытыми белоснежными скатертями и с накрахмаленными салфетками.

Но тогда, на полюсе, я меньше всего предполагал, что год спустя мы с Чкаловым предадимся подобным развлечениям.

Наша жизнь на льдине не отличалась безмятежностью, как можно предположить: плывут, мол, себе потихоньку, согреваясь на не заходящем круглые сутки солнце. Нет, все было иначе...

Пожалуй, не всякий за свою жизнь переменял столько квартир, сколько я за один лишь месяц жизни на полюсе. Сначала зеленая палатка, в которой просто негде вытянуть ноги. Затем недолгая жизнь в снежном радиодоме. С трудолюбием, достойным лучшего применения, солнце упорно разрушало эту великолепную постройку. По льдине, весело журча, побежали ручейки.

Теплая погода держалась более чем устойчиво, подвальный этаж радиодома продолжал наполняться водой. Вскоре на том месте, где я работал, образовался полноводный бассейн. Вода прибывала, и я переехал на третью квартиру — в нашу жилую палатку.

Рай! Тепло и сухо. Лежат оленин шкуры, аппаратура стоит на столике, и через иллюминатор падает свет. Просто блаженство!

Переезд в палатку совпал с усовершенствованием, организованным Н. Н. Стромилловым. Провозившись несколько дней, наш остров организовал нам радиотелефонную связь. Я включил громкоговоритель, и целый час мы наслаждались, слушая «литературную передачу». Нам читали газеты за первые дни июня. Пожалуй, только в этот момент мы по-настоящему поняли, какой переполох не только в Советском Союзе, но и во всем мире вызвала наша экспедиция.

Однажды мы получили молнию: в ближайшие дни через полюс в Америку полетят М. М. Громов, С. А. Данилин и А. Б. Юмашев. Евгений Федоров назначен спортивным комиссаром Центрального аэроклуба СССР. Конечно, столь высокое назначение вызывало у нас прилив почтения к нашему Жене. Раньше будил его просто:

— Жень, вставай!

Теперь:

— Товарищ спортивный комиссар, разрешите толкнуть вас в ваш многоуважаемый бок!

Комиссар вставал так же неохотно, как и бывший Женья.

12 июля весь утренний выпуск московского радио посвящен вылету Михаила Михайловича Громова. С этим сообщением вновь возрождается надежда на письма, газеты и посылку со спиртом. На этот раз Папанин решил готовиться к встрече активно. Он развел в бидоне краску, и они втроем пошли рисовать на ледяном поле два ядовито-желтых круга. Каждый — диаметром по 150 метров. Круги рисовались для того, чтобы летчикам легче найти место лагеря, так как среди трещин, разводьев и торосов разглядеть палатки, особенно в пасмурную погоду, очень трудно.

Часы свидетельствуют, что самолет должен скоро появиться в наших краях. Так хочется, чтобы летчики сбросили нам груз!

В 2 часа 5 минут с оглушительной громкостью врываются сигналы самолета:

«Привет завоевателям Арктики — Папанину, Кренкелю, Ширшову, Федорову. Экипаж самолета «О-25» Громов, Данилин, Юмашев».

Ответил на условной волне: «Взаимный привет советским орлам!» И снова тишина.

Четыре человека, измазанные канареечной краской, наконец опускают головы: больше уже ждать нечего. По сведениям, которые я почерпнул в эфире, ясно: самолет прошел к полюсу по меридиану острова Рудольфа, а мы находимся значительно западнее.

15 июля наше поле, казалось бы, наделенное природой неслыханной прочностью, вдруг показало, что лёд — это совсем не твердая земля. На южной окраине поля возникло первое серьезное сжатие, местами породившее шестиметровые торосы. Восприняли это мы довольно спокойно.

Привыкнуть к неожиданностям и уметь оказывать им сопротивление, хотя масштабы льдины и силы четырех человек выглядели несоизмеримыми, стало нашей обязанностью. Но сил эта обязанность требовало много. И океан и солнце непрерывно подбрасывали нам работу.

Несмотря на трудности, работали мы в полном соответствии с нашими планами. Вот только читать почти не приходилось, и не потому, что не было книг, — не было времени. Его не хватало даже для сна.

Уловы у Петра Петровича — отменные. Число «морских блох», поднятых им из пучины морской, возрастало с каждым днем, но... столь же стремительно убывали запасы спирта.

Впоследствии, когда мы вернулись в Москву и корреспонденты задали свой классический вопрос: «Что вы считаете самым героическим во время дрейфа?» — я не задумываясь отвечал: добыча спирта для консервации трофеев нашего Пети.

Поясню. Исчерпав все скудные запасы спирта, мы занялись обсуждением способа добычи его для науки. Нарушив государственную монополию, соорудили маленький самогонный аппарат и за отсутствием подходящего сырья стали перегонять спирт... из коньяка.

Как большинство самогонщиков, Петр Петрович начал свое черное дело ночью. Смотреть спокойно на такое варварство я не мог и отворачивался.

Результаты перегонки оказались удовлетворительными. Соотношение один к двум. Из литра коньяка — пол-литра спирта. За утренним завтраком дегустировали продукцию спиртозавода имени Ширшова. Члены комиссии выпили по рюмочке, закусили луковицей, салом и сухарями. Эх, красота какая! Прямо по жилам побежало. Сразу согрелись! И удовлетворенная дегустацией комиссия дала работе Ширшова в области винокурения положительную оценку. Отсутствие поблизости милиции позволяло безнаказанно продолжать это черное дело до накопления надлежащих запасов спирта.

В том крохотном мирке, который ограничивался нашей льдиной, все, что выходило за рамки ежедневной работы, становилось событием. Работы много, делали ее мы добросовестно, но зато время от времени баловали себя небольшими праздниками.

Но если маленькие радости доставляли нам большое удовольствие, бывало подчас и так, что небольшие огорчения выглядели угрожающими. Прожив два с небольшим месяца на льдине, мы столкнулись с крупной по нашим масштабам неприятностью — начали выходить из строя чересчур нежные бесшумные горелки заграничных примусов. Починить их — ни малейшей возможности. Единственная надежда — два честных советских примуса с двумя запасными горелками, подаренные нам летчиками.

Советские горелки оказались прочнее, но и они начали бастовать, а это грозило уже форменной катастрофой. Горелки забились, и единственным источником света и тепла могла оказаться керосиновая лампа. Вот нелепость: горючего много, а жечь его негде. Вот когда пригодился мой опыт прожигать примусные горелки, возвращая их в строй. В маленькой мастерской на Солянке я прошел совсем не плохую практику...

Сначала из моих ремонтных упражнений ничего не получилось. Второй примус и маленькая паяльная лампа, которыми я пользовался как орудиями производства, оказались слишком слабенькими. Нагар, накопившийся в примусной головке, не желал отлетать. И тогда я достал большую паяльную лампу... Зверь с бензобаком на полведра. Тигр, лев! Лампа горела так, что рядом с ней страшно сидеть, и ревела, заглушая человеческий голос. В кухонной палатке сразу стало жарко. На шум в одном белье прибежал Папанин. Вместе с ним торжествовали победу. Лампа-зверь сделала свое дело. Горелки прожжены. Примуса работают, а лампа сдала экзамен на то, чтобы в надвигающуюся полярную зиму работать вкупе с примусами на растопке снега.

А Москва тем временем жила своей привычной жизнью. Пижоны блистали белыми брюками из рогожки и парусиновыми туфлями, начищенными до снежной белизны зубным порошком. По только что выстроенному каналу Москва—Волга ходили пароходы, в том числе и «Радист Кренкель», торжественно поименованный так, вероятно, для повышения моей моральной стойкости.

На киностудии документальных фильмов заканчивался монтаж картины об экспедиции на Северный полюс. В Партиздате экспрессом шел сборник «Северный полюс завоеван большевиками», который и по сей день покоится в моем книжном шкафу. На Страстной площади, по случаю столетия гибели поэта недавно переименованной в Пушкинскую, под гулками ударами чугунных баб рассыпались стены Страстного монастыря.

Вся эта пестрая московская панорама возникла перед глазами, когда я читал адресованную нам радиограмму корреспондента «Правды» Лазаря Бронтмана. Его репортаж в девяносто два слова содержал информацию и дружеские пожелания.

«За вами следит вся страна, — писал Бронтман, — люди переживают лужи, сжатия и дрейф. Пишите больше, пусть Петя и Женя пишут о научных результатах, а то тут уже появились знатоки».

Конечно, пожелание правильное. Наши молодые ученые, верные правилам и традициям, из поколения в поколение передававшимся в мире науки, скрупулезно накапливали факты. Ширшов и Федоров исследовали их, с тем чтобы через несколько лет написать солидные фолианты — точные, проверенные, взвешенные.

Однако никто из нас четверых не имел права пренебрегать еще одним весьма немаловажным соображением. Мы не могли забывать и о политической стороне нашей миссии. Уж коль скоро советские полярники первыми оседлали полюс, то как же не отчитаться на страницах газет о своей работе. Вот почему, не боясь обвинений в упрощенчестве, Ширшов и Федоров должны были просто, популярно рассказывать о первых научных результатах нашего дрейфа. К тому же — какая гарантия, что мы обязательно вернемся на Большую землю?

Однако договорившись обо всем этом, мы не сумели сразу же включиться в исполнение намеченной программы. Аккумуляторы без ветра не заряжались. Временно пришлось воздержаться от посылки частных и корреспондентских радиограмм. Отправлял я на материк только метео.

В связи с летом и занятия у нас летние. Ходили в одних фуфайках (по местной погоде ситуация не из частых). Ширшов спустил в большую лужу байдарку. Папанин — в ту же лужу — надувной резиновый клипер-бот. Корабли пошли по внутренним морям и озерам нашей льдины, взяв курс на базы. Обследование мореходами этих баз показало, что они высяты буквально на островах.

Ночью 1 августа наш Веселый вдруг поднял неистовый лай. Пес буквально захлебывался от злости. Выйдя из палатки, я увидел, что у клипер-бота, рядом с нашей северной базой спокойно ходит медведица с двумя медвежатами. Топчутся на месте, обнохивая базу, к нападению не переходят.

Северные медведи любопытны. Их не мог не заинтересовать вертящийся ветряк.

Всунув голову в палатку, я кинул охотничий клич:

— Медведи!

Схватил винтовку. Медведи стали уходить. В такой ситуации, не ожидая, когда мне составят компанию товарищи, я принялся стрелять. Расстояние большое. Медведи бежали галопом.

Снайпер я неважный. Выскочили Папанин и Ширшов. Они помчались за медвежьим семейством.

Погоня продолжалась как в приключенческом кинофильме. Иногда медведи останавливались и, обернувшись, разглядывали нас. Расстояние большое, стрелять бесполезно, и мы продолжали мчаться не разбирая дороги. Бежали даже через встречавшиеся на пути озера, вздымая при этом тучи брызг. Бесполезно! Постепенно медведи словно растворились в тумане и исчезли между торосов. Преследование пришлось прекратить.

12 августа 1937 года был дан старт последнему из трех трансполярных беспосадочных перелетов. В 18 часов 15 минут с аэродрома под Москвой взлетел «Н-209», тяжелый воздушный корабль конструкции Болховитинова. На «Н-209» летели С. А. Леваневский, Н. Г. Кастанаев, В. И. Левченко, Н. Я. Галковский, Н. Н. Годовиков, Г. Т. Побежимов.

Самолет погиб. Ни один из шестерых членов экипажа не вернулся из Арктики. Произошла трагедия, обстоятельства которой и по сей день — неразгаданная тайна.

Так уж, видно, бывало во все времена — о победителях говорят и вспоминают куда чаще, чем о побежденных. Вспоминают и о Леваневском — выдающемся летчике — гораздо реже, чем он того заслуживает. Вот почему мне хочется восполнить этот пробел.

В трудной и рискованной летной службе, кроме отличных физических данных, знания техники, профессиональных навыков, обуславливающих потолок возможностей летчика, есть еще один фактор. О нем упоминают даже в солидных сочинениях по авиации и называют его элементом счастья. Да, в дополнение к воле, таланту, мастерству надо, чтобы еще чуть-чуть повезло, а вот этим-то Леваневский похвастать не мог. Он был невезучим.

В августе 1935 года Леваневский первый раз попытался перелететь через Северный полюс. Вместе с Г. В. Байдуковым и В. И. Левченко он вылетел на самолете «АНТ-25» из Москвы в Сан-Франциско. Однако невезение не замедлило напомнить о себе: в полете обнаружилось неполадки и пришлось вернуться.

Наша дружба с Леваневским началась в 1934 году после спасения челюскинцев. Отношения, как я уже писал, сложились на редкость хорошие.

Однажды Леваневский сказал:

— Слушай! Это дело секретное и распространяться о нем не следует. Хочу лететь через Северный полюс в Америку. Свой план я изложил в письме на имя Сталина и геперь жду ответа.

Не скрою, сообщение моего друга произвело на меня впечатление. Я сообразил, что произойдет после ответа на его письмо.

— Скажи, Сигизмунд, а если дело состоится, кто будет у тебя радистом?

— Ну о чем спрашивать! Конечно, радистом будешь ты. Это железно!

Однако вскоре после этого разговора я уехал на Северную Землю, откуда меня сняли для работы на дрейфующей станции «СП-1». В феврале 1937 года, когда подготовка к экспедиции находилась в самом разгаре, в два часа ночи раздался звонок. В одном белье побежал к двери. Звонок в такое время не сулил ничего доброго.

— Кто там?

— Открой, это я, Сигизмунд!

— Что ты шляешься по ночам? Пугаешь добрых людей.

— Я из Кремля. Лично докладывал Сталину план перелета в Америку через полюс. Получил разрешение. Значит, летим?

Я невразумительно что-то ответил.

Шум разбудил жену. Просунув голову в дверь, она испуганно спросила:

— Что случилось, кто пришел?

— Не волнуйся, Наташа, это Сигизмунд, да еще с интересными новостями. Интересные новости требовали обсуждения. Между оконными рамами нашлась недопитая поллитровка, лежал хвост селедки и огрызок огурца. Банкет начался незамедлительно. Выпив по рюмочке за успех предстоящего полета, перешли на чай. Леваневский изложил все подробности беседы со Сталиным и закончил словами:

— Ну, Эрнст, собирайся. Мы летим!

— Дорогой Сигизмунд, извини, но я с тобой не полечу!

— Но мы же договорились!

— Да, но меня уже утвердили в четверке на полюс. Менять решение не в моей власти.

Тогда Леваневский решил действовать через жену.

— Объясни, Наташа, своему дурню, что лететь со мной проще и быстрее. Экспедиция может разбиться при посадке о лед. В каком направлении их потянет дрейф — неизвестно. Они там передерутся, зарежут друг друга, сойдут с ума. Врача у них нет. Простой аппендицит или заворот кишок — и кончен роман! Затем их просто могут не найти в Ледовитом океане. Одним словом, полтора года сплошных волнений. А тут сутки, максимум двое и — герой.

— Я в ваши мужские дела не хочу вмешиваться, — отнекивалась Наташа. — Пусть Эрнст решает сам.

Пришлось выдвинуть наиболее убедительную аргументацию:

— Сигизмунд, ты умный человек. Представь себе, что в высокое учреждение приходит Кренкель, чтобы сказать — не хочу лететь с Папаниным на полюс, хочу с Леваневским в Америку. Что бы ты ответил?

— Погнал бы тебя поганой метлой, и ты не попал бы ни туда, ни сюда!

— Золотые слова! Говорить на эту тему больше не стоит.

Леваневский замолчал. Мы посидели еще немного. Разговор пошел уже про другое. Около четырех часов утра Сигизмунд ушел домой. Я вышел на лестничную клетку. Спустившись на один марш лестницы, он спросил:

— Ну, как, летишь со мной или нет?

— Давай, давай, иди спать. Не лечу.

В ту ночь я видел его последний раз.

Вся эта картина возникла перед глазами, когда в ночь на 13 августа я слушал самолет Леваневского.

В 13 часов 45 минут поймал радио: «Пролетаем полюс. Достался он нам трудно. Начиная с середины Баренцева моря, все время мощная облачность высотой до 6000 метров. Температура минус 35. Стекла кабины покрыты изморозью. Встречный ветер...»

В 14 часов 32 минуты ряд станций принял телеграмму № 19: Леваневский сообщал, что крайний правый мотор вышел из строя в связи с повреждением маслопровода. Самолет вошел в сплошную облачность, и больше его никто не видел и не слышал.

Сорок часов я провел без сна, надеясь услышать Леваневского. Под конец я уже слушал стоя, чтобы не заснуть. От длительной работы с телефоном болят уши. Не знаю, выдержал бы я эту адскую нагрузку, если бы не черный кофе, который старательно варил мне Папанин.

Утром 14 августа Леваневского слушала уже вся Арктика. Помимо советских полярных станций, включились в дело и американские. Мобилизовали все радиостанции, в том числе и военные и любительские.

Главсевморпути запросил, возможна ли на нашей льдине посадка самолетов. Какие работы необходимо для этого проделать и в какой срок?

Постарались быстро осмотреть поле, нашли одно направление, возможное для посадки, и радиовали об этом в Москву. Вечером услышали сообщение Правительственной комиссии: ледокол «Красин» получил приказ забрать три самолета, идти с ними к мысу Барроу (Аляска), а оттуда по меридиану как можно дальше на север. Самолеты должны работать со льда, «Красин» станет их базой. На остров полетели Водопьянов, Молоков, Алексеев.

Поиски продолжались долго. Даже в октябре, когда в Арктике наступила полярная ночь, прибыли самолеты, специально оборудованные для ночных полетов. В начале октября Москва сообщила, что вторая летная экспедиция по спасению Леваневского приземлилась в Архангельске. Я воспринимал эти сообщения особенно напряженно, так как среди пропавших был мой друг — Сигизмунд Леваневский.

В условиях полярной ночи поиски оказались невероятно сложными. В экспедицию включились лучшие полярные летчики — Бабушкин, Мошковский, Водопьянов, Фарих, Пивенштейн. Наш остров сообщил подробности полета Водопьянова. В темноте Михаил Васильевич поднял двадцатипятитонную машину. Без звезд и солнца, по маяку и компасу он повел ее над льдами. Обстановка тяжелая. И все же Водопьянов долетел до полюса. Тут наблюдением занялся весь экипаж. Все видели «много самолетов». При ближайшем рассмотрении «самолеты» оказывались обыкновенными трещинами.

О том, что произошло с Сигизмундом Александровичем и его экипажем, оставалось только догадываться.

Сентябрь принес нам перемены. На полюсе началась зима. Термометр стал показывать мороз, причем не только снаружи, но и на полу палатки. Мы приступили к переходу на зимние квартиры.

Холод наступал медленно, но настойчиво. Еще недавно великанские размеры валенок, засунутых к тому же в глубочайшие калоши, казались нам смешным недоразумением. Нет, теперь уже никому не смешно. Валяные гиганты завоевали полное признание. Ноги, одетые в меховые чулки, легко проходили в эти богатырские снаряды, обретая там долгожданное тепло.

На должной высоте оказались и другие детали нашего зимнего мехового туалета. Очень удобны рубашки из пыжика и штаны из нерпичьих шкур. Превосходны мешки из волчьих шкур, в которых мы спим. У волков мех не только густой и теплый, но еще и не сыреет.

Пол жилой палатки в результате подготовки к зиме тоже стал меховым. Мы устлали его шкурами оленей. После работы приятно посидеть или полежать на мягком плотном меху.

Каждая медаль имеет две стороны. Погода, способствовавшая строительству, совсем не способствовала накоплению энергии, необходимой радиостанции. Ветра не было. Ветряк бездействовал.

Перед отлетом на полюс проблему питания радиостанции продумали и разработали в трех вариантах. Ветряк, в общем, себя вполне оправдавший, бензиновый двигатель и собственные мышцы. Так как ветер дул не всегда, оставались два запасных варианта, в которых мышцы явно уступали бензину. Конечно, нам не улыбалось крутить до седьмого пота привод динамо-машины. С нас хватало ширшовской лебедки. Вот почему еще в августе мы занялись приведением в порядок нашего бензинового движка.

Бензиновому двигателю на полюсе не повезло. В первые дни, когда на водопьяновском самолете вышла из строя радиостанция, мы гоняли наш движок зверски. Настолько зверски, что на одном из клапанов отвалилась головка от стержня. Поломка эта в высшей степени редкая, и в запасном комплекте клапанов не оказалось. Правда, бортмеханик К. Н. Сугробов нарезал резьбу на поврежденном клапане и движок заработал, но мы понимали — такой ремонт ненадолго.

В августе, когда мы стали упорядочивать наше энергетическое хозяйство, неприятное предположение подтвердилось. Движок проработал после запуска ровно десять минут, а потом остановился с шумом, наводившим на мысль, что в цилиндре не осталось ничего, кроме большой каши обломков.

После такой неприятности извлекли запасной двигатель, все подготовили к запуску, но запускать не стали. В нашем положении всегда полезно что-то оставить на черный день. Мы немножко боялись двигателя, а он — нас. Винтиков и деталей в нем так много, а нас только четверо.

На сентябрьском морозе мы колдуем над новым источником тока, осваиваем новую технику, заставившую меня вспомнить про «солдат-мотор». Наша динамо-

машина имеет ручной и ножной привод. Поковыряться, пришли к выводу, что лучше крутить руками. Педали для ног сняли, поставили ручки, и тут же случайно организовалась артель из четырех корреспондентов Северного полюса под вывеской «Личный труд». Все на самообслуживании. Сами пишем, сами крутим динамо, сами передаем. Пробным камнем явилась статья Папанина «Сто дней» — тысяча двести слов. Три двигателя непрерывно сменяли друг друга, и статью передали по назначению.

После всей артелию пили чай. «Двигатели» — для возмещения истраченной влаги, радист — для согревания. Опыт признали удачным. Вывод сделали правильный: чем примитивнее техника, тем она надежнее.

9 сентября впервые зажгли керосиновую лампу. Теперь она будет гореть до февраля. Вакантную должность ламповщика Северного полюса занял Папанин. Привели в порядок наши аварийные базы: надо быть готовыми ко всяким неприятностям. Затем обставили кухню. Перетасили в нее из маленькой палатки «мебель» и кухонную утварь. Пол застелили фанерой. В одном из углов Папанин вморозил несколько досок и устроил подобие слесарного верстака. Тут же весь инструмент. Повсюду полочки для кухонного хозяйства. Другой угол занят горячим и ламповым хозяйством, здесь висят все наши шесть фонарей «летучая мышь».

Когда натянули обе гагачьи покрывки на жилую палатку и покрыли весь «жилкорпус», получилась замечательная квартира. Имеется и электричество, правда не 127 вольт, а три вольты и только одна точка — лампочка карманного фонаря над моим радиостолом.

Освещение у нас керосиновое. А керосиновое и светит и греет.

Зима все ближе и ближе. К концу сентября солнце стало редким гостем. Женя со своими теодолитами и хронометрами все время на чеку. Для наблюдений выпадают какие-то считанные секунды, а наблюдения очень нужны: нам надо знать наши координаты.

Я как бессменный ночной сторож бодрствую до шести утра. Без десяти шесть бужу Федорова, и он идет на мороз на первые утренние метеонаблюдения. Женя делает все быстро, и через несколько минут он снова в палатке. Книга с метеошифром предельно затрепана, хотя мы даже не тратим время, чтобы рассматривать в ней обозначения таких привычных явлений, как туман, снег, полная облачность. Мы просто помним их наизусть.

В шесть пятнадцать тоненьким голоском наш остров требует метео. Передав сводку, вступаю в частные разговоры со Стромилковым, грубо нарушая все правила радиослужбы. Делюсь с Николаем Николаевичем всем, что услышал ночью. А пока я веду светские радиобеседы, Женя кипятит чай и жарит колбасу. Размачивая сухари, чтобы не разбудить хрустом Папанина, который, по его собственному выражению, спит как заяц, завтракаем.

После завтрака Федоров уходит в свой ледяной кабинет или же в жилой палатке, зарывшись в справочники, таблицы, карты, ведет вычисления. Что же касается меня, то после ночного дежурства я получаю право на сон. Блаженный момент: ныряю в спальный мешок.

У Папанина и Ширшова в этом смысле жизнь несколько легче. Жесткий график безотлагательных дел не хватает их за горло, и они могут понежиться в мешках. Но как ни заманчива такая возможность, и Петр Петрович и Иван Дмитриевич не позволяют себе иметь какие-то преимущества передо мной и Женей. Ширшов придумал стимул: чтобы вставать без задержки, он повесил над головой плитку шоколада. Тот, кто его будит, одновременно пускает секундомер. Если график подъема нарушается, Петр Петрович теряет свою шоколадку.

Темнота и холод как-то незаметно для нас самих уменьшили жизненное пространство. Изменились и условия работы. После того как мы натянули гагачьи покрывки, мое рабочее место потемнело. Пришлось просить осветительную аппаратуру. Иван Дмитриевич выдал мне десятилинейную керосиновую лампу. Света лампа давала не очень много, но неприятностей я имел с ней бездну. Уж очень

часто лопались стекла. В такие минуты Папанин смотрел на меня молча — осуждающе. Я робко просил:

— Дай, Дмитрич, еще одно. Ты ведь понимаешь, я не виноват!

Папанин сокрушенно качал головой:

— Смотри, Теодорыч, последнее!

Потом лопалось и «последнее». Я уже не просил, думал, что больше нет, и вдруг опять стекло, новенькое, даже с соломинкой внутри.

— Откуда, Иван Дмитриевич?

— Последнее, Теодорыч, последнее... Правду говорю...

Когда же ледоколы «Таймыр» и «Мурман» пришли снимать нас со льдины, то стекол к моей лампе оставалось еще два.

В октябре наступила настоящая зима. Небо раскрылось, демонстрируя, к великому удовольствию Федорова, бессчетное число звезд. Делать астрономические наблюдения стало легче. Начал оживать лед.

Звон разбитого стекла, пыхтение паровоза под куполом вокзала, затем глухой сильный удар, звук сбрасываемых реек, визг собаки, крик ребенка, отдаленная стрекотня пулеметов — все эти звуки рождались от перегруппировки ледяных полей. Мы понимали, что означает весь этот адский шум. Было ясно — такая ледовая обстановка требовала бдительности.

Порой на несколько минут все стихало. Потом начиналось все заново. Иногда казалось, что все происходит совсем рядом, под самой палаткой. Казалось, вот-вот рухнут ледяные стены нашей кухни. Тотчас же в ход шли фонари. Мы внимательно смотрели, нет ли трещин, и, убедившись, что тревога ложная, отправлялись в спальные мешки.

Сжатие при дрейфе независимо от того, дрейфуешь ли на корабле или на льдине, всегда неприятно. Но опыт подсказывает: держись спокойнее, шума бывает больше, чем реальной опасности. Так мы успокаивали сами себя, отлично понимая, что шум шумом, но и опасность все же существует.

В такие дни особенно приятно получать весточки из дома. А весточки эти часто вызывали улыбку, ибо даже ближайšie родственники с нормального человеческого языка переходили на высокопарно-официальный и изъяснялись в радиограммах так: «Пламенный привет отважной славной четверке».

Наш надежный приемник — неиссякаемый источник радости и бодрости. Две миниатюрные мачты и натянутый между ними обветренный бронзовый провод доносят до нас слова далекой Москвы.

Радио занимало в нашей жизни большое место. Мы отлично знали по голосам всех дикторов. Почему-то тут наши вкусы единодушно сошлись — наибольшими симпатиями пользовалась Головина. Ее голос нам особенно нравился. Мы подсчитывали, когда она снова будет на дежурстве, и с нетерпением ждали этого часа, споря, можно ли по голосу определить, кто говорит — блондинка или брюнетка.

Радиодень начинался рано, в 5 часов 35 минут. Мои друзья спали, а я слушал все подряд: первый урок гимнастики, первый утренний выпуск известий, снова гимнастика, «Пионерская зорька»...

Слушал я все. И все мне было интересно. Даже разъяснение «Пионерской зорьки», что ребятам не надо класть на трамвайные рельсы посторонние предметы. Конечно, не надо!

С особым интересом прослушивал объявления торговых и других организаций. Правда, возможность ремонта и обмена пианино и роялей меня не волновала, но зато обильный перечень разных сортов хлеба воспринимал с воодушевлением. Честное слово, никогда не подозревал, что существует столько разных сортов. По возвращении обязательно перепробую все, а на льдине оставалось лишь одно — глотать слюны и с грустью думать о сухарях, которые надоели до омерзения и вызывали неприятную изжогу.

Однако такому радиокейфу можно предаваться недолго. Наступал день с его многочисленными делами. Мои товарищи углублялись в работу, я отсыпался за ночное бдение. И только вечером можно снова прильнуть к приемнику. Мои обя-

занности ночного сторожа позволяли мне получать это удовольствие в гораздо больших дозах, нежели всем остальным.

Трудовой день заканчивался обычно боем часов Спасской башни. Мои товарищи расплзались по спальным мешкам, а я, передав последнее метео, устроился у прегемника.

После полуночи начиналось время легкой музыки и танцев. Словно сговорившись, все радиостанции на разных языках принимались воспевать лунные ночи, чарующие улыбки, объятия, любовь.

Голоса с далекой земли слушаешь не всегда с удовольствием. Вылезает из палатки. Мороз и ветер быстро отрезвляют.

Вот радиостанция Люксембурга передает архимодную музыку. В перерывах сообщается: принцесса Маргерит советует всем женщинам пользоваться изобретенным ею кремом. Способ употребления: вы смазываете на ночь лицо; наутро вас никто не узнает — настолько вы похорошили. И подумать только: так похорошеть за одну ночь! Принцесса... Танго... Крем... «Жизнь диктует свои железные законы», — сказал Остап Бендер.

Четвертый час ночи. Нормандская радиостанция дает международную передачу. Диктор проникновенным голосом заканчивает ее пожеланием: «Всем плавающим и вахтенным на семи морях света — счастливого пути, без тумана ночи. Больным — облегчения в их страданиях. Всем, всем, всем — спокойной ночи и счастливых снов». Красивая, замирающая мелодия — Европа заснула...

Огромное удовольствие доставляли радиолюбительские связи...

Наверное, далеко не каждый из читателей этих записок сумеет понять азарт и увлеченность, сопутствующие этому занятию. Если вы никогда не были радиолюбителем-коротковолновиком, если вы не вылезали в эфир с собственным передатчиком, вы очень многое потеряли. Снайпера эфира может понять только охотник. Именно поэтому отзывчивым ценителем моих чувств оказался Папанин. Моя охота напоминала ему охоту на уток, которую он очень любил.

Для радиолюбительских дел наша льдина идеальное место. Ни трамваев, ни лифтов, создающих досадные помехи. Не мудрено, что с нашим маленьким приемником можно слушать весь мир. И мы действительно слышали все материки.

Круглые сутки копошатся в эфире радиолюбители. Хрипы, свистящими, тонкими голосами они настойчиво зовут:

— Всем, всем, всем! Отвечайте...

Наш позывной UPOI широко известен. Стоит только появиться в эфире, как нас начинают звать со всех сторон. Остается только выбрать наиболее интересную станцию. Обычная связь с Европой, конечно, интересна. Но еще заманчивее найти какого-нибудь редкого радиолюбителя. Ну, например, единственного радиолюбителя с Огненной Земли!

В августе Москва объявила среди советских коротковолнников соревнование: кто первым свяжется с полюсом. Честно говоря, я и сам несколько содействовал этому состязанию, оставив перед отлетом на полюс в редакции журнала «Радио-фронт» свой личный коротковолновый приемник. Приемник — премия радиолюбителю, который первым установит с полюсом двустороннюю радиосвязь.

Через некоторое время это удалось ленинградскому коротковолновику Салтыкову. Он и выиграл приемник. Затем первый москвич — Ветчинкин. Из иностранцев — норвежец из Олесунда. В дальнейшем связывался с коротковолновиками почти всех европейских стран, со многими американцами, с Аляской, Канадой, Новой Зеландией, Южной Австралией, Гавайскими островами.

21 ноября отпраздновали полгода Дрейфа. По этому поводу получили ответственную телеграмму от коллектива работников Библиотеки имени В. И. Ленина. В ответной телеграмме пригласили их в гости, указав точный адрес: пройдя по восточному берегу Гренландии, свернуть на лед — и через двести километров окажется наша льдина.

Лагерь заметен на расстоянии 10—15 метров. Драгоценным камнем светится ледяная обсерватория Федорова — это горят внутри лампочки карманного фонаря: Женя наблюдает. Вокруг палатки широкий проход. В пургу здесь не особенно

уютно. Мелкий снег быстро мчится в этих траншеях и пробирается сквозь плотнейшую одежду.

Наша палатка похожа на кулич, обильно покрытый глазурью, с одиноко торчащей изюминкой — черным изолятором антенны. Тамбур плотно застегнут тройной дверью-фартуком. Пройдя внутрь, застегните его, иначе фартук будет хлопать. Площадь тамбура вся занята четырьмя парами так называемых «тапочек». В каждой из них можно смело купать двухмесячного младенца. Пролезая сюда, нагнитесь пониже, иначе получите за шиворот солидную порцию снега. Налево расположена кухня.

Снимите обувь и стряхните веником снег. Это делается на ледяной ступени, покрытой мехом. Здесь долгое время нам мешал ходить пес Веселый. За нездоровое любопытство, проявленное к ящичку с маслом, он изгнан отсюда.

Резиновая дверь на меховой подкладке открывается с трудом. Ее держит сильная резина, укрепленная за стойку палатки. Полугодовой опыт научил нас ловко проходить в дверь даже с горячим чайником в руках.

Летом в доме мало вещей. Зимние условия потребовали значительного увеличения их количества. Постепенно привыкая к этому, мы сейчас находим наше жилище просторным.

Каждый из нас усвоил свой катехизис одевания. У меня следующие правила: садясь в мешок, не ударься головой об острый угол стола. Надевая фуфайку, не опрокидывай пепельницы и пузырьков Ширшова. Встав во весь рост, берегись острой гайки на потолке. Надевая брюки, не опрокинь правой ногой лампы, а левой не выбей из рук Ширшова его письменный стол. Каждый из нас имеет свой собственный письменный стол — кусок фанеры.

Среди необъятных просторов Арктики мы топчемся на трех квадратных метрах. Это все, что осталось после размещения вещей. Мы не ощущаем ни запаха керосина, ни запаха сырых оленьих шкур. Давно уже привыкли к оленьей шерсти. Наш доктор Ширшов уверял нас, что проглоченный волос может вызвать аппендицит. После этого стали из супа вылавливать большие куски шерсти, не обращая внимания на мелкую расфасовку.

Направо от входа в наш дом — стол радиостанции. Внизу аккумуляторы, инструменты. Налево от входа на стене висит ящик, гордо именуемый буфетом. На полу — ящики Ширшова с пробами воды. На них несколько прокопченных каштрюль с нехитрым обедом. Тут же примостились хронометры. Продольные стенки до конца заняты двухъярусными койками.

В ногах Ширшова на веревочке подвешен потрепанный портфельчик. Смотрите на него с уважением. Здесь хранятся тайны Северного полюса. Это — осуществление мечты человечества. Для нас это полгода напряженной жизни, многие часы тяжелой физической работы. Лучше потерять собственную голову, чем этот старенький портфельчик.

Между койками — зыбкий стол, занятый лабораторией. Над столом жестянка, предохраняющая потолок от жара ламп. Моя обязанность — засыпать эту жестянку звонкой, промерзшей колбасой. Мы перещеголяли московский «Гастронорм» — у нас горячая колбаса имеется в любое время суток. Горячая колбаса звала у Федорова некоторые ассоциации, в результате чего на лаборатории Ширшова, очень похожей на ларек Моссельпрома, появилась надпись: «Пива нет».

У каждого из нас свой уголок, где хранится всякая мелочь. Особенно много ее у Папанина. Он спит на веревочках, проволочках, тетрадах, спичках, книгах. Все это необходимо иметь под руками.

Днем лампы стоят посередине палатки, и мы, как огнепоклонники, мостимся вокруг них, сидя на нижних койках. Прикасаться к стеклам запрещено. Это привилегия главного жреца — Папанина.

Немного свободные места на стенках увешаны оружием, фонарями, связками книг. Покосившийся набор маленький ящик — наша аптека. Ширшов мужественно защищает остатки марли, запас которой разошелся на хозяйственные надобности.

Недавно Федорову ставили банки Пахло горелым спальным мешком. Бла-

годарные за развлечение зрители не скупилась на советы. Время лечения прошло весело, и пациент исцелился главным образом смехом.

Серебрятся инеем стены палатки. Тускло горят лампы (им не хватает кислорода), а лампам к нехватке кислорода привыкнуть труднее, чем людям.

12 декабря 1937 года наш поселок претерпел существенные изменения, став поселением еще более необычным. Все его жители, уснув рядовыми гражданами, проснулись членами правительства. В этот день наша четверка в разных концах Советского Союза избрана депутатами в Верховный Совет СССР. Я — избранник жителей города Уфы.

Перед этим знаменательным событием из разных городов пришли радиogramмы трудящихся, запрашивающих наше согласие на баллотировку в депутаты Верховного Совета.

Не получив никаких указаний, как нам надлежит действовать, мы радостно подтверждали свое согласие во многие города. Многие требовали наши подробные биографии. Вот тут-то и началось!

По объему — несколько тысяч слов.

Как на грех, длительное безветрие: ветряк не хотел работать и аккумуляторы выдохлись. А отвечать надо...

Затащили в палатку велосипедную раму с двумя седлами и динамо-машиной.

Ну! Ни пройти, ни проехать!

Двое крутильщиков взгромоздились на седла. Из-за низкого потолка им, беднягам, приходилось сгибаться в три погибели. Похоже на велосипедные гонки — только на месте.

Работа тяжелая.

Лампа меркнет. Мы сожрали весь кислород в палатке.

Крутильщики подменяются, им достается тяжело, да я еще время от времени покрикиваю: «Ребятки, поднажмите, вольтаж падает».

В декабре уже стало более или менее ясно: наш дрейф подходит к концу. Мы полагали, что в апреле—мае приобщимся к цивилизации, оказавшись на палубе ледокола. Москва поддерживала в нас эту уверенность, сообщив разные варианты снятия нас со льдины. В ответ мы заказали в Ленинграде новые морские фуражки. Нам — грязным, невытым, нечесаным, хотелось вернуться в Москву во всем блеске.

Гидробиолог профессор Богоров, с которым Ширшов поддерживал связь, предусмотрительно наставлял: кроме материалов науки, везите статьи. Готовьте их впрок и побольше.

Предупреждение Богорова понятно. Судя по сообщениям из Москвы, наша жизнь на льдине стала модной темой и трамвайных дискуссий, и домашних бесед. Не удовлетворить такой массовой интерес мы просто не вправе, а потому писали.

От этой усиленной творческой деятельности начал ощущаться известный недостаток в темах для корреспонденций. Чтобы избежать конфликтов на литературном поприще, мы провели общее собрание, распланировав темы и мирно разделив их, подобно сыновьям лейтенанта Шмидта, на четыре эксплуатационных участка. Тем немного, и потому все они нарасхват. Ширшов разразился даже сочинением на кухонную тему, написав трактат о примусах. Что ж! Примус в наших условиях — дело существенное, а пишет Петр Петрович, как Лев Толстой, — семь раз исправляет написанное, предъявляя очень высокие требования к своему творчеству.

Условия между тем плохонькие. Карандаш у нас — ценность. Каждый пуще глаза бережет свои огрызки.

И все же, преодолевая трудности, мы старательно строчим. Понимаем, что к Новому году, который уже не за горами, спрос на наше творчество, и так немалый, повысится еще больше. Хочется пожелать к Новому году успехов всем соотечественникам. Хочется, чтобы у каждого из них был свой полюс. Пример искать долго не пришлось: написал о замечательном мастере Иване Ивановиче Гудове, который достиг полюса фрезеровщиков.

За час до Нового года меня разбудил Папанин. Женя и Петя ушли крепить

гидрологическую палатку, так как разгулявшийся южный ветер не сулил ничего доброго.

— Давай, Теодорыч, наводишь красоту!

Очень не хотелось вылезать из мешка, но, чтобы встретить Новый год вымытым и побритым, пришлось поторопиться. Вот я и стал на четвереньки, а Папанин кромсал на затылке мои космы. Остриженный, я побрился, вымыл голову, лицо и шею (приблизительно, конечно). Затем подошли Федоров и Шишков. Включил приемник. Услышали бой часов, а затем, передав новогоднее метео, сели пировать. Тяжелые, как свинец, лепешки на соде, приправленные паюсной икрой, картофельное пюре с охотничьими сосисками и кофе с остатками сухого торта — таков наш шикарный новогодний стол.

Уже с первых дней нового года стало ясно, что дрейф приближается к концу. Первыми нам сообщили об этом журналисты. Редакция «Последних известий по радио» обратилась с просьбой поддержать ходатайство о посылке на «Ермаке» ее представителя. Сомнений не оставалось — когда журналисты врвутся к финишу, значит, финиш уже не за горами.

Диагноз оказался правильным. Москву беспокоили темпы дрейфа. Мы вдруг начали двигаться гораздо быстрее, чем предполагалось. Такая быстрота могла стать для нас роковой. Вот почему на месяц раньше срока навстречу нам отправился маленький корабль — зверобойный моторно-парусный бот «Мурманец».

На первый взгляд казалось странным, что к нам посылают такое утлое суденышко. Но возможность ходить под парусами сэкономила топливо, а округлый корпус позволял «Мурманцу» не бояться льдов. 10 января 1938 года экипаж из двадцати одного человека под командованием опытного капитана Ульянова, проплававшего в северных морях сорок лет, взяв на шесть месяцев топлива и на год продовольствия, вышел в море.

«Мурманец» имел задание патрулировать у кромки потока льда, спускавшегося на юг, в Гренландское море. Где-то тут сидели и мы. Необходимо было предусмотреть и самый плохой вариант: нас могло вынести на чистую воду и мы будем сидеть на каком-то обломке поля.

По указанию правительства к берегам Гренландии, куда, по всем расчетам, нас выносило, отправятся ледокольные пароходы «Таймыр», «Мурман», и, как только закончится ремонт, туда же двинется ледокол «Ермак». Начальником экспедиции по снятию нас со льдины назначен Отто Юльевич Шмидт, его заместителем Ананий Владимирович Остальцев.

Первым 3 февраля 1938 года двинулся в поход «Таймыр» под командованием капитана Б. Д. Барсукова. Этот ледокол — один из старейших кораблей нашего ледового флота. Главный груз экспедиции — три больших ящика. В них три самолета, «П-5», «У-2» и «Ш-2», — материальная часть летного отряда под командованием полярного летчика Геннадия Петровича Власова. И конечно, множество корреспондентов, фотографов, кинооператоров.

Одновременно с кораблями снаряжалась отдельная летная экспедиция на двухмоторных скоростных самолетах «ЦКБ-30» конструкции С. В. Ильюшина. В Мурманске подыскивали для них подходящие аэродромы. Начальник — старый знакомый — Иван Тимофеевич Спирин, флаг-штурман нашей экспедиции на полюс. Предполагалось, что из Мурманска самолеты группы Спирина либо прилетят к нам на льдину, либо будут базироваться на аэродромы около «Таймыра» вместе с летной группой Г. П. Власова.

Пока разворачивались операции по нашему спасению, жизнь на льдине становилась все сложнее. При полном штиле, безоблачности и луне стоял сорокаградусный мороз. Температура в палатке от нуля до семи градусов мороза. Еще никогда не видели мы в нашем жилище такого обилия инея и льда. Еще никогда не ощущали с такой силой недостатка кислорода, из-за чего лампы совсем почти не горели, а следовательно, и не грели...

21 января 1938 года давление стало катастрофически низким. И хотя погода стояла тихая и пасмурная, мы поняли — неприятности не заставят себя долго ждать.

Утром за завтраком похвалили льдину, и словно в ответ на эту похвалу на востоке раздалось грозное рычание. Рев то нарастал, то спадал, напоминая шум большого города или сильного прибоя. Такого сильного сжатия у нас еще не происходило. Оно продолжалось до двух часов дня, а потом наступил полный штиль.

Разошлась наша старая знакомая — осенняя трещина. Мы-то наивно полагали, что после декабрьских и январских морозов она смерзлась раз и навсегда. Озабоченный Ширшов помчался смотреть свою гидropалатку и увидел ее... на другом берегу трещины, которая разошлась, образовав полынью шириной около двухсот метров. Пришлось срочно заняться спасательными работами.

Так продолжалось несколько дней. Затем наступила пурга, выдавшая нам бурный пятидневный концерт.

Как-то под утро Папанин предложил сразиться в шахматы. Играли вдумчиво, спокойно, с полным сознанием важности выполняемого дела. И вдруг сквозь грохот ветра — необычный шум.

Выполняя обязанности дежурного, я вылез из палатки. Потоптался в пургу в темноте, никаких трещин не обнаружил. В следующий вечер легли спать не раздеваясь.

Странный скрип в палатке первым услышал Папанин. Он поспешил разбудить всех. Женя пробовал было сопротивляться:

— Это снег оседает, Дмитрич. Ты, наверное, спросонок напугался.

— Да какой там снег, — рассердился Папанин, — кухня ходуном ходит. Ну-ка, вылезайте, сами посмотрите!

Самым быстрым оказался Ширшов. Он первым напялил малицу и на четвереньках выбрался наверх. Отдаленный скрип то смолкал, то перерастал в близкий, тревожный и угрожающий шорох.

Петя оказался самым глазастым. В десяти метрах от нашего жилья, за метеобудкой, его остановила темная полоса. В первый момент он не поверил своим глазам, но сомнений не оставалось — трещина! Трещина то сходилась, превращаясь в тоненькую ниточку, то расходилась. Светя фонарем, прикрывая лицо от бешеной слепящей пурги, полусогнувшись, Петя пошел вдоль этой зловещей черной трещины. Наконец ему стало ясно — трещина уходила вдаль по направлению к хозяйственному складу. Оставалось одно — поскорее вернуться в палатку.

Трещины... Трещины вокруг палатки... Вот оно, то самое, чего мы опасались, ожидали месяцами, к чему упорно и тщательно готовились.

— Достукались, браточки, видно, сглазил кто-то льдину...

Это замечание я адресовал своим товарищам, еще накануне без меры хвалившим льдину.

Но шутка повисла в воздухе. Нужно срочно принимать решение, но какое? Все вчетвером выбрались из палатки. Поползали с фонарями по снегу, пытались определить направления новых трещин. Темь, ветер и сногсшибательная пурга требовали предельной осторожности. Меня оставили с фонарем у палатки, поручив обязанности маяка. Вскоре все собрались. Решено коротать время до утра за чаем.

Через час Петя ушел на разведку. На этот раз новости оказались и вовсе невеселыми. Пурга не утихала. Трещина разошлась местами до 4—5 метров. Там, где совсем недавно вились тонкие подозрительные черные нити, теперь широкие полосы воды. Ближайший канал образовался сразу за метеобудкой и шел к углу хозяйственного склада, висевшего одной стеной над водой.

Времени для раздумий уже не было. Надо срочно спасать имущество. Сквозь пургу прорвались к складу. Дверь наглухо забита снегом. Папанин несколько раз ударил топором по ледяному куполу. Свод со звоном рухнул. Внутри уже виднелась вода. Очевидно, она просачивалась по нижним слоям снега. Спрыгнув в дыру, Папанин очутился по щиколотку в воде.

Каскадом вылетали валенки, сапоги, патроны, фонари, лопаты, посуда, брезенты. Втроем молниеносно грузили все это на нарты. За несколько минут склад опустел. Напрягая все силы, наваливаясь корпусом, чуть ли не на четвереньках,

оттаскивали нарты в центр льдины. Кое-как укрыв свою добычу брезентом, возвращались за следующей партией.

Измучились вконец, а рассвет все не наступал. Хотелось дождаться его, чтобы получше осмотреть льдину.

Оставив на вахте Федорова, решили поспать. Но из этого ничего не получилось. Неожиданно прекратилась пурга. Шесть дней из-за отсутствия звезд мы не могли определиться. Женя молниеносно пустил в ход свои инструменты и получил настолько ошеломляющий результат, что не поверил глазам своим. Что делать? Только одно — заново повторить наблюдения и расчеты. Женя повторил и передал мне сведения, от которых дрогнули руки уже у меня. Да, было от чего взволноваться. Такой скорости дрейфа за все восемь с половиной месяцев не отмечали ни разу. За шесть дней мы прошли 120 миль. 20 миль в сутки!

В половине двенадцатого Федоров разбудил нас снова. Неприятности нарастали. На этот раз черная как змея трещина сверкнула от метеобудки к стенам нашей кухни и нырнула прямо под жилую палатку. Дальше, вынырнув с противоположной стороны, трещина направилась прямо к ветряку.

Жаль было расставаться с жилищем, к которому так привыкли, но деваться некуда, да и медлить нельзя. Разбиваем легкие шелковые палатки, которые оставили нам летчики, чтобы разместить в них радиостанцию и все ценное имущество. Однако прежде чем демонтировать радиостанцию для эвакуации, передал на материк краткое сообщение Папанина:

«В результате шестидневного шторма в 8 часов утра 1 февраля в районе станции поле разорвано трещинами от полкилометра до пяти. Находимся на обломке поля длиной 300 метров, шириной 200. Отрезаны две базы, также технический склад с второстепенным имуществом. Из топливного и хозяйственного складов все ценное спасено. Наметилась трещина под жилой палаткой. Будем переселяться в снежный дом. Координаты сообщу дополнительно сегодня: в случае обрыва связи просим не беспокоиться».

Палатку для радиостанции поставили возле дальней мачты антенны. Почему-то казалось, что именно этот обломок не будет крошиться и продержится дольше всего.

Трещина под жилым домом пока что молчала. Но шкуры, устилавшие пол, постепенно покрывались водой. Мокрая, хлюпающая шерсть быстро смерзлась. Под ногами хрустел лед. И все же вечер 1 февраля еще провели в старом доме, готовые в любой момент покинуть его.

Долго обсуждали, что делать с научным имуществом. По предложению Папанина решили погрузить на нарты: вся наша наука переходит на кочевой образ жизни. До наступления темноты едва успели наладить связь. Но ничего радостного сообщить Москве мы не могли. Льды продолжают наступать. Появились новые трещины. Вокруг насколько хватает глаз видны отдельные льдины, разделенные водой. Весь день, пока я возился с рацией, Папанин, Ширшов и Федоров перетаскивали грузы к середине нашего осколка, который становится все меньше и меньше. К утру 2 февраля его габариты — тридцать на пятьдесят метров. С каждым часом становилось все неудобнее.

Я возился с антенной. Разместить ее на нашем осколке невозможно. Длина антенны больше шестидесяти метров, а наибольшая длина нашего ледяного обломка не превышает пятидесяти метров. В двух местах по краям льдины воткнул бамбуковые палки и натянул антенну в виде буквы «Г». Попробовал — действует. Удалось передать на «Мурманец» ту единственную радиogramму от 2 февраля, каждое слово которой мы тщательно обсудили и взвесили, чтобы не создавать на материке поводов для излишних беспокойств:

«В районе станции продолжает разламывать обломки полей протяжением не более 70 метров. Трещины 1—5 метров, разводья до 50. Льдины взаимно перемещаются. До горизонта лед 9 баллов, в пределах видимости посадка самолета невозможна. Живем в шелковой палатке на льдине 50 на 30 метров. С нами трехмесячный запас, аппаратура, результаты. Привет от всех».

С чувством огромной благодарности вся четверка поглядывала на ветряк, ко-

торый, неуклюже размахивая своими крыльями, подзарядил аккумуляторы. Теперь радиосвязь обеспечена.

Эти дни, потребовавшие от нас внутреннего напряжения, оказались полными драматизма и для наших спасателей. А для тринадцати из них закончились трагично...

На ленинградском Балтийском заводе невиданными темпами рабочие ремонтировали ледокол «Ермак». Отчаянно воевал со льдами, пробиваясь к нам, мотобот «Мурманец»; в жестоком шторме продвигался ледокол «Таймыр»; в Москве стартовал, взяв курс на север, дирижабль «СССР-В-6» под командованием Н. С. Гудованцева и И. В. Панькова.

Риск — неперемный спутник всех спасательных отрядов. Рисковал «Мурманец». После того как наша льдина начала трескаться, Отто Юльевич послал капитану этого крохотного кораблика седоусому Ульянову приказ: «Правительство поручило мне передать вам задание обязательно дойти до лагеря Папанина, спасти героев, снять их со льдины. Вложите все силы в выполнение этого исторического задания. Донесите о продвижении каждые шесть часов. Шмидт».

Чтобы выполнить этот приказ, командиру утлого деревянного суденышка надо было быть героем.

Уже после того как все окончилось и мы благополучно вернулись в Москву, журналист Михаил Розенфельд опубликовал на страницах «Известий» корреспонденцию о подвиге этих людей.

Рисковал и «Таймыр». Шторм, в который он попал, проходя через Баренцево море, оказался настолько жестоким, что палубные надстройки судна получили серьезные повреждения. Палуба и снасти обледенели, сделав работу моряков донельзя опасной. За борт смыло баллоны с водородом, предназначавшимся для шаров-зондов.

Труден оказался поход и для трех подводных лодок, выделенных командованием Северного флота для участия в спасательных работах. «Д-3», «Щ-402», «Щ-404», только что вернувшись с учений, отправились на помощь «Таймыру», потерявшему радиосвязь со льдиной, и для обеспечения полета дирижабля «СССР-В-6». Особенно отличилась лодка «Д-3». Во время шторма, когда ей приходилось продвигаться в надводном положении, волна захлестывала рубку. Вахтенные командиры, сигнальщики привязывались ремнями к стойкам. Одежда их покрылась ледяной коркой, цепенели руки, но моряки привели лодку точно в назначенное им место.

Самая страшная судьба выпала на долю дирижаблистов.

Дирижабль вылетел из Москвы вечером 5 февраля 1938 года. Он пошел в полет по маршруту Москва — Мурманск, чтобы, испытав на этом участке материальную часть и приборы, отправиться затем к нашей льдине. Полету придавали немалое значение. Провожал аэронавтов Анастас Иванович Микоян. В свете прожекторов дирижабль оторвался от земли и ушел в ночь и метель.

Днем 6 февраля, благополучно пройдя Петрозаводск и Кемь, дирижабль двинулся к Кандалакше. Он шел слепым полетом через плотную завесу сильнейшего снегопада. Из района станции Жемчужная в 39 километрах от Кандалакши пришла последняя радиogramма о благополучном ходе полета. В 18 часов 56 минут радиостанция дирижабля замолчала, а через час тревожные сообщения местных жителей: в районе станции Белое море произошел страшнейший взрыв. Дирижабль врезался в гору.

Местным лыжникам, ринувшимся на помощь потерпевшим, открылась зловещая картина: израненный лес, согнутый остов дирижабля, разбросанные части воздушного корабля, обгоревшие моторы, оборудование, выжженная растительность, трупы погибших, а у кюстра на куске оболочки — шестеро живых из девятнадцати членов экипажа.

Фосфорные шашки, бензин и вытекающий из оболочки водород за какие-то мгновения превратили дирижабль в груды искореженных обугленных обломков.

Это казалось особенно страшным, так как ничто не предвещало катастрофы. Проверили и взвесили каждый шаг. В Мурманске воздухоплавателей ждало за-

везенное туда горючее. Пополнив баки, дирижабль должен был отправиться прямо к берегам Гренландии, где дрейфовала наша льдина. Экипаж корабля отобран из лучших специалистов, подъем и посадка кабины тщательно отрепетированы. И вот страшная трагедия...

В Москве на Новодевичьем кладбище в стене старого монастыря покоятся урны с прахом тринадцати аэронавтов: Н. С. Гудованцева, И. В. Панькова, С. В. Демина, В. Г. Лянгузова, Т. С. Кулагина, А. А. Ритсланда, Г. Н. Мячкова, Н. А. Конюшина, К. А. Шмелькова, М. В. Никитина, Н. Н. Кондрашова, В. Д. Чернова, Д. И. Градус. Имена этих людей, погибших при исполнении служебного долга, должна знать наша молодежь. Прошу эти строки, написанные в память героев, рассматривать как мою самую горячую поддержку решения Кандалакшского горсовета об установлении памятника на месте гибели дирижабля «СССР-В-6». Летевшие на нем люди, которых сегодня нет с нами, заслужили эти посмертные почести.

6 февраля лед внезапно сплотило до десяти баллов, на месте недавних трещин возникли торосы. Ближайший вал вырос буквально рядом с нами — метрах в семи—десяти от палатки. Затем лед снова развело, и осколки нашего поля опять заплясали вокруг нас. Эту недолгую милость океана мы постарались использовать. Правда, гидрологическую лебедку, подплывшую к нам совсем близко, взять не успели, но керосин с одной из баз забрали. А едва закончилась разгрузка, как база снова уплыла. После нескольких погожих дней погода испортилась. Пурга и норд-остовый ветер никак не радовали. В густом снегопаде ни зги не видно и черные флажки (они стоят в 15—20 метрах от палатки), ограничивающие нашу льдину, словно растворились во тьме.

В девятом часу утра 8 февраля сорвало радиопалатку. Чтобы она не улетела, навалился на нее и позвал на помощь. Подмял палатку под себя, а лицо на ветру. Вот когда до конца понял литературный образ «глаза вылезают на лоб!» Победить палатку удалось только благодаря помощи подбежавших товарищей. Пока все держали палатку, я залез внутрь, составил на пол всю аппаратуру, закрыл ее, и палатку повалили, прижав ко льду бурдюками с керосином. Связь временно прервана.

Отдыхал я после этой напряженной вахты в нашей старой палатке. Мы с Папаниным залезли на верхние полки и дремали, прислушиваясь к порывам ветра. Отдых не из приятных. Температура в палатке около нуля. Как раз столько, сколько надо, чтобы таял снег на одежде. Все сыро — ноги, одежда, шапка, капюшон. Малица как губка, хоть выжимай. Лежишь весь как в компрессе. Согреться невозможно.

Решили строить снежный дом. Мы с Папаниным резали пилами кирпичи, а Ширшов и Федоров клали стены. Выпилили яму, по ее краям возвели стены из снежных кирпичей, в дальней от входа половине оставили лежанку из снега, на которой будем лежать все рядышком, как на деревенской печке. Затем комплект новой мебели дополнили снежным кухонным столом. Вместо стропил положили палки и бамбук и натянули крышу из легкой материи. Правда, вползать в новое жилище надо на коленях, но все-таки защита от непогоды, главным образом от ветра, который в эти последние дни непримиримо жесток.

Первым приблизился к нам ледокол «Таймыр», один из самых заслуженных кораблей советского полярного флота. Четверть века назад «Таймыр» вместе с судном «Вайгач» участвовал в экспедиции Вилькицкого. Оба корабля прошли из Владивостока в Архангельск, открыв по пути юго-восточный берег нынешней Северной Земли.

Заслуженный ветеран пробился сквозь сильный шторм и добрал до кромки того ледяного поля, в которое снова вмерз осколок льдины со всем нашим цыганским хозяйством. 10 февраля мы вступили с «Таймыром» в двустороннюю радиотелефонную связь и узнали, что к нам полным ходом спешат «Мурман» и «Ермак». Таймырцы сообщили также, что, как только стихнет шторм, они немедленно спустят на лед один из трех самолетов авиаотряда Геннадия Петровича Власова.

А на следующий день мы увидели огонь «Таймыра».

Уже несколько раз какие-то далекие звезды мы принимали за огни «Таймыра». Но на этот раз огонь самый настоящий. Он то пропадал, то снова разгорался, но не поднимался над горизонтом, как звезда. Сомнений не было: это свет корабля.

Зажгли бензиновый факел и помахали им. Нас заметили. Огонек замигал, подтверждая тем самым, что нас видят. Женя запеленговал первый огонек Родины. Это было 12 февраля, но прошла еще неделя, прежде чем нас сняли со льдины, неделя, наполненная самыми разными событиями...

Едва стих шторм, таймырцы начали готовить рядом с кораблем аэродром. Работа шла ночью в свете прожектора. Одновременно шла сборка спущенного на лед самолета. Самолеты на борту «Таймыра» были заслуженными машинами нашей авиации. Их три — «Р-5», хорошо известный читателю этих записок по спасательным операциям из лагеря Шмидта, его старший брат «У-2», впоследствии переименованный в «Поликарпов-2», и славная маленькая «шаврушка». Лететь к нам в лагерь Власов решил на «У-2».

Почти одновременно с подошедшего «Мурмана» Черевичный и Карабанов вылетели на «Ш-2». Вылетели и пропали. Одним словом, дела завертелись: корабли пробивались к нам, а летчики искали и нас и друг друга...

Разыскивая Черевичного, к нам неожиданно добрался Власов. Он прилетел на «У-2» со штурманом Дорощевым, попав в объектив прильнувшего к киноаппарату Папанина. Мы были в этот момент с Иваном Дмитриевичем вдвоем: Петя и Женя ушли искать Черевичного. Папанин убежал, перескакивая через трещины, на аэродром в двух километрах от нас. Моим делом было известить «Таймыр» — Власов у нас, все в порядке. Папанин потом рассказывал о встрече. От волнения оба не могли говорить и принялись успокаивать друг друга.

Расцеловавшись с Папаниным, Власов улетел. Когда вернулись Петя и Женя, стали читать письма из дома, грызть замерзшие мандарины, от которых в зубах ломило, и запивать ледящим душу пивом. Молодец Власов — бутылки с пивом он привез за пазухой. Роскошный вечер — в нашей ледяной берлоге. На горизонте маячили горные пики Гренландии. На следующий день «Таймыр» сообщил: Власов обещание выполнил и Черевичный со вторым пилотом доставлены им на «Таймыр».

Последние сутки наполнены волнениями. Никакая непосредственная опасность в эти сутки нам не грозила, но стало как-то не по себе. Вечером по льдине бродил луч прожектора. Бесновался Веселый. У всех итоговое настроение, связываются тетради, укладываются рюкзаки. Кусок в рот не лезет. В кастрюле медвежий борщ, но сегодня его почему-то все дружно бойкотируют. Впрочем, бойкотирuem, но не выливаем. А вдруг корабли завтра не подойдут?

Неподалеку от нас, километра за полтора, большая полынья. По нашим расчетам, в нее и должны войти «Таймыр» и «Мурман». Каждый из нас хотел первым увидеть там корабли. Это удалось Папанину. Раньше всех остальных он разглядел сиреневые силуэты кораблей, вошедших в наши территориальные воды.

Теперь уже ясно, что осталось нам провести на льдине считанные часы. Папанин брется. Ширшов и Федоров проделали эту операцию еще раньше, а Иван Дмитриевич решил побриться в самый последний момент, чтобы выглядеть эффективнее. Выглядит он действительно эффектно — нижняя часть лица после бритья явно посветлела. Мне же побриться не довелось. Такова судьба всех радистов. В самые напряженные и интересные минуты сидишь буквально на приязи телефона и изрядно надоевших шкатулок.

К полудню корабли стали хорошо видны и без биноклей. Часто валил густой дым. Это кочегары шуровали топки. Шло неофициальное, но энергичное соревнование, кто дойдет раньше — «Мурман» или «Таймыр». В два часа дня с кораблей, украшенных флагами расцвечивания, сошли на лед две колонны. К нам двигалась целая манифестация со знаменами и развернутыми транспарантами. Фотографы и киношники бежали с аппаратурой на плечах. Одним словом, на нашей одинокой льдине стало внезапно оченьлюдно. Моряки сначала шли стройной колонной, за-

тем не выдержали и побежали. Неслась атакующая лавина. Впереди развевались знамена. Вот уже видны кричащие, веселые и радостные лица.

Последними к месту события прибыли те, кому больше всего хотелось быть первыми, — операторы кинохроники с гигантскими штативами и тяжеленными кинокамерами.

Папанин взял в руки знамя, и мы стояли вчетвером на высоком обломке как на трибуне, приветствуя приближавшихся спасателей. Стоило им поравняться с нами, как встреча приняла совершенно неофициальный характер: нас стали качать. Затем состоялся митинг. Мы вытащили револьверы и салютовали нашим спасителям. Фоторепортеры и кинооператоры неистовствовали. Ходили мы именнинниками. За что ни возьмешься — десятки добровольцев предлагают помощь. Десятки рук мгновенно делали то, что нам вчетвером приходилось осиливать часами.

Матросы стали откапывать палатку. Выдернули ее. Все разобрали и за несколько рейсов увезли на корабли. Как всегда хозяйственно хлопотал Папанин. Он понимал, что со льдины эвакуируется музейный экспонат. Палатка, как я уже писал, и по сей день пребывает в этой почетной роли, доступная для обозрения посетителям музея Арктики.

В берлоге еще горела лампа. В алюминиевой миске кисли остатки супа. Чашки и стаканы из пластмассы валялись где попало. Иван Дмитриевич, верный себе, поспешил навести и тут порядок: потушил лампу, начал собирать чашки. Их просят на память. Раздаем. Затем идут в ход книги. На них пишем всякие теплые слова, ставим дату «19.11.1938». Папанин выкатил из угла бочонок с остатками коньяка, выбил пробку, стал угощать всех желающих.

Пора эвакуировать радиостанцию. С нее снят брезент. Моим одиноким встречам с Большой землей наступил конец. Всюду сидят гости. Прямо из-под локтя нацелился на меня объектив фотографа, ищущего оригинальную точку зрения.

Последняя радиограмма передатчика UPOLO — рапорт о завершении работ. Удар ногой. Рухнула снежная стенка. Радиостанция «Северный полюс» на рысях двинулась к кораблям.

— Надо идти, братки, дело к вечеру... Что же мы стоим? — сказал Папанин.

Вереницы нарт, переваливая через торосы и трещины, удаляются к кораблям. Надо идти...

Папанин укрепил красный флаг на торосе, и мы не оглядываясь пошли к кораблям...

Когда приблизились к ним, возник спор: на какой садиться, кто нас забереет? Нас соблазняли дозволенными и недозволенными приемами:

— Идите к нам, у нас несколько ящиков пива. А на тот корабль не ходите, у них клопов много!

Однако обольщение продолжалось недолго. Приняли Соломоново решение — разыграть нас. Написали четыре записочки с нашими именами. Один из капитанов снял меховую шапку, бросил в нее эти записки, а другой капитан тянул. Все это происходило под неустанным наблюдением двух помполитов, чтобы не было никакого жульничества.

В результате Ширшов и Федоров попали на «Таймыр», а мы с Папаниным на «Мурман». Встретили нас «хлебом-солью». Как только мы поднялись по трапу, тотчас же проводили в кают-компанию и дали по стакану спирта. Мы выпили, крикнули и закусили картошкой в мундире, огурцом, селедкой — одним словом, тем, что на протяжении девяти месяцев лишь мерещилось нам.

Нам объяснили, что угощают нас предварительно, пока готовится ванна. Однако предварительное угощение оказалось на таком высоком уровне, что, когда я погрузился в ванну, рядом со мной посадили матроса. Мера предосторожности разумная. Не утонув за девять месяцев на полюсе, досадно было бы захлебнуться в ванне.

На следующий день отправил домой телеграмму:

«Веду роскошную жизнь. Впервые залез в ванну. Кушаю апельсины. Курю папиросы. Ну до чего же хороша жизнь!»

Уже на «Мурмане» узнали переданный по радио приказ исполняющего обязанности начальника Главсевморпути Георгия Алексеевича Ушакова:

«Приказываю с 19 февраля сего года 16 часов считать станцию «Северный полюс» закрытой и исключить ее из списка полярных станций Главсевморпути. Личный состав станции полагать на борту ледокольных пароходов «Таймыр» и «Мурман».

Наблюдение в эфире за сигналами радиостанции УПОЛ прекратить».

А в это время, пока мы блаженствовали на «Таймыре» и «Мурмане», на всех парах к нам спешил ледокол «Ермак». На чистой воде через сутки произошла встреча трех кораблей. На «Ермаке», которым командовал Владимир Иванович Воронин, к нам прибыл Отто Юльевич Шмидт. Мы пересели на «Ермак». Полюбовавшись на красивые горы Исландии, пошли дальше.

В Северном море попали в жесточайший шторм, оглушивший нас фантастической качкой. Если качка бывает на пассажирских лайнерах, то на ледоколах за счет яйцеобразности корпуса это просто что-то совершенно сверхъестественное. Нас клало на 45 градусов. Невозможно не только стоять и ходить, но даже спать. Чтобы не свалиться с коек, приходилось расчаливаться руками и ногами. Несмотря на то, что штормовая погода не способствовала комфорту, мы блаженствовали, рассматривая присланные из дома фотографии, читали письма. У «Ермака» мало вато угля. Отказавшись от мысли прийти в Ленинград прямым ходом, мы направились для пополнения угольных запасов в Таллин — тогда столицу буржуазной Эстонии. В Таллине нас замечательно приняли работники полпредства, и полпредские дамы повели по магазинам, где мы купили разных сувениров для своих близких.

К Ленинграду мы шли по каналу, пробитому для торговых кораблей.

Нас встретил целый отряд буеров, лихо мчавшихся по ледяным полям навстречу ледоколу. На парусах слова приветствий. Вскоре мы вошли в торговый порт, заполненный несметным количеством ленинградцев.

Начался митинг. Когда он кончился, нас рассадили по машинам и мы поехали в город. Невский проспект забит до отказа. Милиция пыталась установить какой-то порядок, но не получалось. Машины двигались черепашьям шагом, с трудом протискиваясь через людское море. Кое-как добрались до гостиницы «Европейская». В «Европейской» нас разместили в роскошных номерах. Камин... Китайские вазы... Рояли, на которых, к слову сказать, никто из нас играть не умел... Одним словом, принимали нас не хуже, чем вдовствующую императрицу или какого-нибудь индийского набоба.

Вечером состоялся концерт, потом танцы, и лишь поздно вечером мы отправились на вокзал. Опять цветы, фотографии. Заснули далеко за полночь.

На всем пути от Ленинграда на станциях нас радостно приветствовали соотечественники. Даже ночью, в темноте, люди стояли с развернутыми знаменами, чтобы передать нам слова привета. Все это удивительно тепло и трогательно, но поезд спешил. Иван Дмитриевич не спал всю ночь. Он выходил на остановках и произносил прочувствованные речи.

На станции Клин вошел парикмахер и сказал, что нас приказано побрить. Мы сообразили: значит, с вокзала нас куда-то повезут.

Встреча началась сразу же на Октябрьском вокзале. Нас приветствовал народный комиссар иностранных дел М. М. Литвинов, новый начальник Гражданского воздушного флота Герой Советского Союза В. С. Молоков, наш славный дядя Вася. Мы встретились здесь, на вокзале, с пролетавшими над полюсом летчиками. Нас приветствуют М. М. Громов, В. П. Чкалов, А. В. Беляков и А. Б. Юмашев. Вся Комсомольская площадь от края до края представляла собой море голов. Перед Октябрьским вокзалом сооружена маленькая трибуна. Митинг открыл секретарь Московского городского комитета партии А. И. Угаров.

Был пасмурный сырой мартовский день. Раскисший снег. Серые дома. Море москвичей на площади.

Папанин произнес короткую речь, поблагодарил за теплую встречу. Этот момент началось страшное: по площади как бы пошла волна, задние напирала на передних. Мы понимали, чем это грозит. Любому человеку просто трудно удержаться на ногах. Понял это и Угаров. Чтобы избежать беды, он скомандовал:

— Быстро, быстро заканчивайте!

Мы закончили и спустились в ожидавшие нас машины. Молодец Угаров. Во время он подал команду. Мы поехали в Кремль и уж потом узнали, что на площади оказалось бесчисленное количество потерянных калош, но, слава богу, обошлось без несчастных случаев.

Через Орликов переулок ехали по улице Кирова. Вдоль тротуаров стояли москвичи и бурно аплодировали. С крыш сыпались десятки и сотни тысяч листовок. Вот и знакомая парикмахерская на улице Кирова. Машу мастерам. Кажется, они меня узнали. Скоро опять буду сюда заходить.

Как и после возвращения с «Челюскина», автомобили, на которых мы ехали, увиты цветами. Как и тогда, на первой машине ехал Отто Юльевич Шмидт с Папаниным, затем мы, все остальные. Машины въехали в Кремль, и мы попали в Георгиевский зал, где уже собрались все приглашенные на встречу. Вдоль зала в несколько рядов стояли уставленные всякими яствами столы. За ними 800 человек, которых мог вместить зал.

Один стол, стоявший в конце зала, пустовал. Нас провели поближе к нему. Ждать пришлось недолго. Вскоре открылась боковая дверь и вышел Сталин с членами Политбюро. Раздались овации, приветственные крики. Мы пошли на встречу. Впереди Папанин со знаменем, которое развевалось у нас на полюсе, затем гуськом все мы. Нас радостно приветствовали и рассадили за этим первым столом.

Папанин сидел между Сталиным и Молотовым. Я между Буденным и Ждановым. Разговоры вели вполне светские:

— Товарищ Кренкель,— спросил Буденный,— что вы будете пить — коньяк или водку?

— Я, Семен Михайлович, воспитывался на самогоне. Поэтому, с вашего разрешения, буду пить водку.

Мой ответ явно развеселил Буденного.

Затем разговор поддержал Жданов. Он сказал, что мы с ним коллеги, так как во время ссылки он работал метеорологом. Очень теплую речь о героях и героизме у нас и на Западе произнес Сталин.

Между официальной частью и концертом объявили небольшой перерыв. Присутствующие встали, бродили по залу, обменивались приветствиями. В самом начале зала оставалась небольшая свободная площадка. И когда на хорах заиграл духовой оркестр, в вальсе закружились две-три пары. Полукругом стояло и смотрело на танцы все Политбюро во главе со Сталиным.

Свое искусство танцора решил показать и я. Ох, лучше бы мне этого не делать! Последующие минуты оказались самыми страшными в моей жизни. Начнем с того, что партнершу себе я выбрал неповторимую. Подлетев и галантно шаркнув ножкой, я пригласил на вальс замечательную певицу Антонину Васильевну Нежданову. На этом крохотном пятачке мы принялись бодро вальсировать, проходя в каком-то метре от наблюдавших за нами зрителей.

Лихо, саженными шагами я раскрутил Нежданову. Наполовину повиснув, она летела на моей правой руке. И вдруг я почувствовал, что талия Неждановой начинает медленно, но неуклонно выскользывать из моей руки. Прекратить вальс было уже выше моих сил. Я раскрутил свою даму так сильно, что процесс стал в значительной степени неуправляемым. Нежданова все больше и больше выскользывала из моих рук.

Легкий хмель с меня соскочил, и от ужаса выступил холодный пот.

«Боже мой, что произойдет, если я не удержу Нежданову и она, вылетев как из пращи, угодит в стоящих рядом?»

Мысль показалась столь безотрадней, что я понял: удержать! Во что бы то ни стало удержать! В последний момент мне повезло. На Неждановой был корсет

старинной, дореволюционной конструкции, с частыми планками китового уса. К счастью, мои ногти были острижены не слишком коротко. И я буквально ногтями впился в одну из планок. Удержав даму на ногтях, я закончил этот очень опасный для меня вальс. Раздались аплодисменты, но я не настаивал на овациях. Жена сказала, что я был бледен как смерть. С тех пор я как-то не очень люблю вальс.

Потом состоялся концерт. Он продолжался долго, и домой мы с женой вернулись поздно. Уже светало. Маленький дворик заполнили наши соседи. Несмотря на ночное время, громыхал духовой оркестр. С одной стороны, очень мило и приятно. С другой — как-то совсем не по-добрососедски. Ведь эта ночная встреча не давала спать всем остальным. Разумеется, меня попросили произнести речь. Я постарался быть кратким:

— Дорогие товарищи! Простите, что я вас так задержал. Мы сейчас были в Кремле. Посидели там и пили не только воду и главным образом не воду. А потому, вы понимаете, произносить длинные речи мне сейчас трудно...

Соседи встретили откровенную речь дружными аплодисментами, и мы с женой направились домой. Жили мы на третьем этаже без лифта. И когда мы вступили на лестницу, то увидели, что, несмотря на март, когда вся зелень в Москве под снегом, лестница уставлена цветами. На каждой ступеньке горшок. Скромные горшки, скромные цветы, но было ясно, что они собраны здесь с подоконников многих квартир. И от этого простые незаметные цветы показались какими-то удивительно трогательными.

Вскоре после возвращения с полюса стало известно, что при очередной баллотировке в Академию наук СССР мы котируемся как возможные академики. Это известие не столько обрадовало, как огорчило меня. Я понимал, что даже при самой большой снисходительности не могу считать себя достойным такого высокого звания. В смятении чувств помчался к Шмидту:

— Отто Юльевич, дорогой, что же это за напасть такая? Неужели это правда?

Отто Юльевич подтвердил, что такой вариант возможен, а я в ответ стал доказывать, что этого наверняка не следует делать, что такого рода выборы вряд ли будут содействовать укреплению советской науки вообще и Академии наук СССР в частности.

Отто Юльевич поулыбался, а потом сказал:

— А пожалуй, вы правильно оцениваете свои возможности как академика. Видимо, надо по этому поводу посоветоваться в ЦК.

Я попросился на прием в ЦК. Там выслушали мою точку зрения и согласились с ней, после чего я снова пришел к Шмидту, но на этот раз с вполне конкретным вопросом:

— Ну, а что надо сделать практически?

— Написать вежливое письмо Президенту Академии наук. Поблагодарить за честь и отказаться от баллотировки.

Как депутат Верховного Совета СССР, я имел отличные бланки с указанием фамилии, имени, отчества, адреса и телефонов. Напечатаны эти бланки были на толстой, слегка желтоватого цвета бумаге. Вот на таком шикарном бланке я и отправил письмо Президенту Академии наук СССР академику Комарову:

«Глубокоуважаемый Владимир Леонтьевич!

Благодарю Вас за высокую честь возможной баллотировки моей кандидатуры в Академию наук СССР, но считаю себя недостойным этой высокой чести. Прошу мою кандидатуру с баллотировки снять».

Я расписался и отправил письмо. Кто его читал? Что по поводу него говорили, не знаю. Но зато знаю другое: академиком я не стал. Членами-корреспондентами Академии наук выбрали наших молодых ученых Ширшова и Федорова, что меня очень обрадовало, так как по их работе это вполне заслуженная честь.

После возвращения с полюса прошло более тридцати лет. За это время произошло много разных событий. О некоторых из них было бы интересно расска-

зять, но соберусь ли я это сделать? Не знаю. Сейчас мне предстоит большая работа для издательства «Советская Россия», которое опубликует мои записки в полном объеме («Новый мир» опубликовал их с сокращениями).

В тексте будущей книги хочу исправить некоторые неточности и упущения, но одно из таких недоразумений, допущенное мной при рассказе о зимовке 1925 года на Новой Земле, считаю своим долгом исправить немедленно. Речь идет о моем коллеге Дмитрие Александровиче Козловском. Я ошибочно приписал ему поступок, которого он никогда не совершал. Память человеческая — инструмент не безгрешный. Поскольку это произошло на страницах «Нового мира», я с этих же страниц приношу Дмитрию Александровичу свои самые искренние извинения.

После опубликования первой части записок в 1970 году я получил ряд писем с разного рода замечаниями, пожеланиями и советами. Пользуюсь случаем поблагодарить всех тех, кто так доброжелательно и заинтересованно отнесся к моей работе.

Сейчас же остается одно — попрощаться. Но на всякий случай, дорогой читатель, я не буду говорить Вам — прощайте. Лучше скажу: до свидания.

Москва. 1969—1970 гг.



О Ч И Р К И Ж А У С И Х Д Н Е Й

НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ

Письмо в редакцию

Уважаемый товарищ редактор!

В девятом номере Вашего журнала мы прочитали сообщение редакции о том, что «Новый мир» намеревается систематически освещать ход строительства автозавода на Каме вплоть до его завершения.

Исходя из того, что XXIV съезд КПСС определил КамАЗ как одну из важнейших строек пятилетки, Ленинский комсомол взял над ней шефство и объявил ее всесоюзной ударной.

Уже сегодня более 150 комсомольско-молодежных коллективов, ведущих работы на решающих участках сооружения КамАЗа, идут в авангарде социалистического соревнования. По решению ЦК ВЛКСМ в Набережные Челны выехал комсомольский строительный отряд численностью 500 человек, составленный из представителей всех союзных республик, передовых мастеров различных строительных специальностей.

Важнейшая задача многотысячного коллектива строителей — выпустить первый автомобиль в 1974 году.

В планах издательства «Молодая гвардия» этой всесоюзной ударной комсомольской стройке отводится почетное место. В частности, издательство приняло решение выпускать ежегодник о КамАЗе, основанный на материалах «Нового мира», о чем просим поставить в известность Ваших авторов.

С уважением

*В. Н. Ганичев,
директор издательства
«Молодая гвардия».*

ДЕНЬ С АЛЕКСЕЕМ БОЛДЫРЕВЫМ

Восьмом часу утра Алексей Анатольевич Болдырев вышел из дому, сел в «козлик», который ожидал его у подъезда, и велел ехать к управлению строительства.

— Там одного человека заберем и поедем на свой участок.

— Комиссия?— спросил молодой шофер.

— Нет, Петя, на этот раз не комиссия. Он работу просматривает, приехал, как сказали, из Астрахани. Прочат ко мне в заместители... Корчиц...

Болдырев смотрел вперед, на развороченную, в ямах и глубоких лужах улицу, и повторил:

— Корчиц. Константин, Ольга, Ромул, чемодан, Иван и Цицилия.

Моросил дождь. Дул сильный ветер.

По центральной улице поселка гидростроителей бежали на автобус люди. Около отдела кадров толпа прибывших, под навесиком, прямо на чемоданах, на траве. Как они прибыли? На пароходе? На автобусе? На самолете? Но разве сейчас летают самолеты? Аэродром размок и никого не принимает...

Около нового здания управления строительства (в общем-то, здесь все новое) впритирку рядком выстроились машины. У подъезда бочка с водой, входящие окунают палку с тряпкой и обмывают с сапог грязь. Болдырев сразу угадал гостя, вышел из машины.

— Здравствуйте, Корчиц. Садитесь, мы готовы.

Они влились в поток машин, проехали через старый город — мимо одноэтажных домиков в зелени, мимо церкви, через речку, мимо красочного плаката с цитатой из Мусы Джалиля.

— Сегодня или вчера прибыли?— спросил Болдырев, поворачиваясь к гостю. — На чем добирались?

— На «метеоре»,— отвечал тот. — Самолеты не ходят.

— В том-то и дело,— сказал Болдырев. — А у меня дети должны на днях прилететь из Москвы, к первому сентября. С такой погодой они застрянут в Казани. Или же посадят в Бугульму за двести верст, или их...

— Давно льет?

— Льет недавно, но все равно противно. Видите, что творится? И работа стоит. — И указал вперед на дорогу, где, подымая веером грязь, юзили на съездах огромные «КРАЗЫ».

Потом Болдырев сказал, что в июле были сплошные дожди и план они порядком завалили. Дорога как речка, по ней катила вода. Поток так силен, что сдвинул с основания бетонный блок на их участке.

— В Москве тоже, говорят, шли дожди,— заметил шофер.

— Да, и в Италии была непогода, как газеты пишут,— рассеянно произнес Болдырев. — Но нам-то что до этого. У нас своих забот хватает.

Помолчали. Гость спросил, сколько километров до участка.

— Километров двадцать пять,— ответил Болдырев. — Это до нашего управления, а до литейного все двадцать восемь будет.

— Да нет, Алексей Анатольевич,— вмешался шофер, — не будет столько.

— А если будет? Засеките по спидометру.

Дождь продолжал лить. За серой пеленой слева стала видна какая-то машина, завалившаяся набок, переднее колесо было неестественно вывернуто.

— Столкнулась?— спросил Болдырев, поворачиваясь и стараясь разглядеть машину.

— Мост передний свернулся,— ответил шофер.

— Ну да. Или же столкнулась. Конечно, столкнулась, вот стоит вторая,— указал Болдырев. — Задним колесом зацепила встречную за передок и разворотила мост. Бьются здесь здорово. Что и говорить.

Они въехали на территорию участка, и Болдырев показал направо, где строился большой бетонный завод (ББЗ), а немного спустя на другой завод, ремонтно-инструментальный (РИЗ), и далее, махнув неопределенно рукой, сказал, что литейный туда дальше, его отсюда не видеть.

— Какая же у вас площадь? — поинтересовался гость.

— А бог его знает, — отвечал Болдырев. — Вот, земля, что вы видите, до горизонта — моя...

Это прозвучало смешно, и оба улыбнулись.

Он прилетел сюда в середине зимы, если точно говорить, то 15 февраля. Город Набережные Челны ему понравился. А на месте будущего завода было поле, белый снег, и трудно сразу понять что к чему. И посреди этого сам по себе, в единственном числе, и начальник и подчиненный. Начал с того, что, потеснив кого-то в вагончике, занял стол. Составил штатное расписание, пригласил людей. Не было никакого помещения, как нет его и сейчас...

Болдырев указал на ряд брезентовых палаток:

— Вот наше управление. Весной переселял контору из вагончиков в палатки. Руководить можно из-под брезента, а вагончиков не хватало для жилья рабочим. Подводили, знаете ли, кран, приподымали вагончик слегка над землей и предлагали выходить и начинать жизнь сначала. А это капитальное здание управления, второй этаж почти готов, мы переселили туда в первую очередь женщин. Бухгалтерию, техотдел, группу рабочего проектирования. А сам? Сам, как капитан, покину палатки последним...

Человек в брезентовом плаще с капюшоном шагнул на повороте к машине. Болдырев открыл дверцу, и человек, стоя так, на обочине, в резиновых сапогах, стал говорить, что котлованы залило водой и работа прекратилась. И бульдозеры ушли, куда — никто не может сказать. И все льет и льет...

— Ладно. Идите на планерку, — сказал Болдырев.

— Прямо сейчас?

— Сейчас. Сию минуту.

Вышел перед палаткой на деревянный настил, почистил насколько было возможно сапоги и так, не снимая плаща, прошел в дальний угол к своему столу. Гостю указал на место рядом.

В палатке было просторно, с десяток письменных столов рядом вдоль стены, железный сейф, а на нем графин с водой. Уже собрались люди со всех подразделений, и Болдырев громко сказал:

— Товарищи, товарищи! Заканчивайте разговоры. Начнем работать.

Вступление было коротким. Небольшая информация о том, что на строительство приезжали из Госснаба, так сказать, главные снабженцы, и обращали внимание на неэкономное расходование стройматериалов.

— Это не только по нашему, но и по другим подразделениям. Тысячи кубометров лучшей половой доски истрачены на всякие подсобные помещения, будки и так далее. Руководители побывали у нас на бетонном и отметили, что даже небольшой дождь (а вчера он был еще небольшим и можно было работать) начисто парализовал участок. Поэтому первый вопрос мой по бетонному. Доложите, что там делается, товарищ Сайкин?

— Ничего не делается. — отвечал Сайкин с места. — Все залито, насосов нет.

— Арбузов отвечает лично за откачку воды. Какие у нас есть насосы?

— «Гномы».

— Это как горохом об стенку. Когда будет большой насос?

— Через двое суток, Алексей Анатольевич.

— Так и запишем. Через двое суток спрошу. И, товарищи, повторяю, бетонный завод — это ключевой участок... Товарищ Сайкин, проститесь на время с семьей, спите, живите на участке, но приемку бетона обеспечьте.

Разговор шел о самом главном, от бетонных работ зависело все. Бетон шел

в основания зданий, а без основания, естественно, не могло быть ни будущих цехов, ни самого завода.

Болдырев теперь повернулся к другим сидящим, спросил:

— РИЗ, как у вас? Монтаж, опалубка? Дороги есть?

Ему отвечали, что есть.

— Хорошие дороги? А мы проезжали по трассе семь-а, там в низине не дорога, а озеро, потому что нет стоков.

— А куда ее денешь, воду?— спросили с места.

— Странный вопрос. Куда пониже. Возьмите бульдозер...

— Да нет их, бульдозеров!

— Нет?— спросил Болдырев, наклоняясь вперед.— Найти надо. Вчера там один участок занесло, я сам лично подошел к механизаторам, они меня и не знали. Попросил помочь, и сделали. Главное, товарищи, нужно уметь разговаривать с людьми. И так, записываем: сделать дороги до распутицы... Я, наверно, зря говорю «до распутицы». Возможно, она наступила и до зимы не кончится. Транспорт у нас из-за дождя простаивает, можно использовать под щебень. Закажите кому сколько нужно. Как говорят, патронов не жалеть. Всё по борьбе с природой?

Дождь сыпал по брезенту не переставая. Порывы ветра колыхали брезентовые стены, задувало в щели. Болдырев стал говорить, что пора наладить график планерок.

— Вот есть предложение на бетонном проводить ежедневно. Ну, скажем, вечером. На РИЗе еженедельно. Понедельник у нас что? Партком строительства? Значит, вторник. Он не занят ни профсоюзом, никем еще. Так и договорились. Подготовьте списки тех, кто обязательно должен присутствовать. Остальных мы будем привлекать по мере надобности.

— И хочу предупредить,— сказал Болдырев чуть громче,— что больше часа никакие заседания не проводить. Это железное правило, усвойте его. Готовьтесь тщательнее, чтобы не устраивать базарную склоку, а разговаривать по существу. Не тратьте драгоценное время руководителей... По этому поводу прошу вторично прочесть в «Неделе» статью об организации заседаний. Вопросы есть? У меня тоже нет. Спасибо.

Посмотрел на гостя, кивнул в знак того, что помнит о нем и готов поехать по объектам, только сейчас отпустит народ по всяким делам. Кто-то просил взаимнообразно кран и совал Болдыреву заявление, на что он отвечал:

— Принесите мне документ, а не любовную записку.

— Мне срочно, для дела,— говорил человек.

— Я понимаю, что всю работу мы делаем не для себя,— отвечал ему Болдырев мягко.— И у нас тоже не сад-огород. Но не могу я без документа вам кран отдать, и с вашей стороны нехорошо напирать на меня.

Он встал, показывая, что разговор этот кончен, и спросил, задирая голову к потолку:

— А что, дождь кончился?

Ему отвечали, что кончился маленький...

— Ага. Маленький кончился, будет большой.

Тут подошел представитель Стальмонтажа, один из основных субподрядчиков, и стал выяснять бюджет будущего года.

— У нас двенадцать миллионов рублей,— говорил он, доставая какие-то бумаги.— Вас устраивает?

— Нет, не устраивает,— отвечал ровно Болдырев.

— Много или мало?

— Конечно, мало.

— Хорошо,— сказал подрядчик и сел, положив руки перед Болдыревым на стол.— Давайте разговаривать, сколько нужно вам и нам...

— Не вам и не нам,— произнес Болдырев,— а родине.

— А мы вам не родина?

— Вы ее только маленький кусочек. Нам могут потребоваться не один и не два таких кусочка... — усмехаясь сказал Болдырев.

— Хорошо. Давайте вашу цифру! — рубит подрядчик.

— Наша цифра миллионов тридцать.

— Да??

— Да, да.

— Хватили! — кричит тот. — Тогда есть предложение собраться и выяснить отношения.

— Согласен, — кивает Болдырев и улыбается, весь сплошная любезность. Хотя ясно, что дело тут нешуточное и спор идет серьезный, даже ожесточенный, о будущем плане, о темпах стройки и как следствие о выполнении директивных сроков, которые на сегодняшний день срываются. Как важно тут сдержаться, не нагрубить, а суметь доказать свои перспективы, возможности, которые сегодня не видны, но которые есть.

Болдырев предложил гостю пройти посмотреть здание управления. Заодно, там есть кое-какие дела. Но прежде чем он встал, пришла секретарь и положила на стол целую папку бумаг. Болдырев посмотрел на бумаги и на женщину, произнес вздыхая:

— Вы меня, братцы, угробите этими бумагами. Я ведь вечером, после десяти, у себя дома их до ночи разбираю. Вы хоть сами бы немного сортировали, что ли... Кстати, вчерашние возьмите у меня в машине.

И он вышел вслед за женщиной из палатки. По дороге рассказал гостю, что три месяца они жили без печати и зафиксированной подписи, но, слава богу, никого не обманули. А эти канцелярские столы достались им с превеликим трудом.

— Но материал к вам идет потоком, — почти с завистью произнес гость. — Не то что на нашем объекте, по рыбному хозяйству.

— Поток, действительно, — согласился Болдырев. — Мы в нем захлебнулись, хотя много некомплектного, но все есть. Кроме птичьего молока.

Они прошли через первый этаж управления, где не было еще ни полов, ни дверей, один голый кирпич. В это время с улицы через первый сразу на второй этаж тащили какие-то вешалки, папки с бумагами, столы и стулья. Великое переселение. Все творилось одновременно, кое-где еще отделявали стены, кое-где красили и штукатурили, а уж вселялись, и обживали, и начинали здесь работать люди.

Болдырев остановился, глядя, как девочки, наверное выпускницы профтехшколы, штукатурили стену, похвалил:

— Смотри-ка, научились, почти ровно!

Зашел в бухгалтерию и тут спросил, как устроились, не течет ли, не дует в окна.

— Немного задувает, — отвечала девушка за столом.

— Вызовите рабочих, не терпите, не ждите.

— Вам тут подписей накопилось, Алексей Анатольевич.

— Чего же молчали? — спросил он. — А если бы еще неделю у вас не появился? — Сел и стал расписываться. Не отрываясь от бумаг, спросил: — В банке не ругаются, что я подпись укоротил по сравнению с образцом? Одуреть можно, если полную ставить.

— А вам самим-то аван выдать?

— Да пока терплю, — сказал он. — А есть? Сколько?

— Сколько положено, — ответили ему и попросили поставить еще одну, теперь уже напоследнюю, подпись.

В коридоре к Болдыреву подошли молодые рабочие в брезентовых зеленых робах. Наверное, ждали, пока он выйдет.

— Алексей Анатольевич, к вам за увольнением.

— Уходите? — спросил он. — Почему?

— Потому что не нравится.

— Вот как. — И он посмотрел на ребят, на каждого в отдельности. — Вот

как, не нравится. Ну давайте поговорим о том, что вам не нравится. Согласны? Сейчас сколько, одиннадцать? В час дня я жду вас у себя.

— Тогда мы пообедаем,— сказал один из парней.

— Приятного аппетита,— пожелал Болдырев и пошел дальше, все так же заглядывая в комнаты, как будто видел их первый раз.— Здесь будет телефонная станция, а здесь, возможно, ваш кабинет.— Это уже к гостю.

— Вы где до Астраханской стройки работали?

— На Тактогуле,— отвечал тот.

— А вас отпустят?

— Конечно, нет. Пойду в министерство. Буду проситься.

В это время к Болдыреву подошла худенькая молодая женщина, по-видимому, татарка.

— Помогите, пожалуйста,— сказала и стала вытирать слезы.

Болдырев стоял, наклоняясь к ней, и лишь повторял:

— Ну, ладно. Ладно. Что случилось?

— Я плачу и плачу,— произнесла тихо женщина.

— Не надо плакать. Лучше объясните, чем мы можем помочь.

— Ребенок у меня... Четвертый годик... И один... Без детсада...

Болдырев оглянулся, поискал глазами прораба, который только что крутился рядом, а сейчас словно пропал.

— Подите сюда,— крикнул он.— Вот видите, у нее ребенок, ей нужен отпуск. Детского сада у нас пока нет.

— Отпуск у нас неоплаченный,— ответил тот.

— А вы оплатите. Ничего не случится.

И наклоняясь снова к женщине, Болдырев сказал:

— Принесите мне заявление, поняли? В час дня, я буду у себя.

— Где?— спросила женщина.

— В палатке. Там написано «начальник». Не забудьте, в час дня.

Болдырев предложил для начала съездить в поселок «литейный», где живут строители, по пути посмотреть панораму литейного завода. А потом можно и на бетонный. В два нужно успеть на профсоюзную конференцию.

Болдырев велел остановить машину на площадке перед литейным, где из глубокого котлована как железный лес подымалась, росла ажурная колоннада. Не без удовольствия оглядывая свое хозяйство, стал объяснять, как встанут цехи, расположенные на площади что-то около тридцати семи гектаров.

— Самому нравится,— сознался он.— Бывает так: делаешь, делаешь — и вдруг понравится...

Гость кивнул, он не был многословным. И сейчас только Болдырев вполне рассмотрел, что он еще молод, наверное, не старше его, болдыревских, тридцати девяти лет. Кажется, сообразителен и деловит. И тоже не спешит, приглядывается. К стройке приглядывается, но и к Болдыреву тоже. Главный инженер да начальник, это как палка о двух концах: если каждый в свою сторону будет гнуть, дело на месте станет. А если наоборот, один у другого на побегушках окажется, то снова для дела мало толку. Тут разумное равновесие необходимо. Чтобы каждый знал свое место и понимал другого.

Болдырев добавил, все глядя на литейный:

— Как у нас часто говорят, самый-самый большой в Европе... Самый лучший... Самый... Самый... А я просто люблю его. Теперь бетонный полюбить надо.— И садясь в машину, спросил:— В пять вы уже уедете? Жаль, а у меня тут планерка назначена.

Поселок находился неподалеку. Несколько десятков вагончиков, выстроенных наподобие улиц, на некоторых, как на настоящих улицах, были прибиты названия «Сибирская», «Новокузнецкая». Это рабочие самочинно присвоили названия в память о родных местах.

Болдырев широкими шагами, не разбирая дороги, по грязи пересек поселок

наискось к одному из вагончиков и заглянул внутрь: будет парикмахерская. Воду пока сюда возят, но мы бурим скважину. Поставим котельную.

Около промтоварного магазина, тоже вагончика, стояла машина и толпился народ. Видимо, привезли товар. Заглядывая через головы людей, благо рост хороший, Болдырев спросил:

— Что привезли?

Одна из женщин не оглядываясь объяснила, что привезли куртки и свитера. А вот резиновых сапог нет. Потом добавила:

— И школьной формы тоже нет.

— А вы закажите, — сказал Болдырев. — Составьте список и отдайте продавцу. Нам дадут все, что есть на складе, и раньше, чем в городе. Вы слышали, о чем речь? — спросил он теперь продавца. Тот кивнул в ответ.

Болдырев еще раз огляделся, вдруг спросил шофера:

— Петя, а где твоя хата? Это ты веранду приспособил?

— Зайдите, посмотрите, — пригласил Петя, указывая на один из вагончиков. На крыше стояли двое рабочих и тянули электрический шнур.

Болдырев вместе с гостем заглянули в комнату, на кухню, потрогали полки для посуды. Открыли дверь в туалет, где белел новенький унитаз. Спросил:

— Когда жена приезжает?

— Может, завтра, — сказал Петя. — Она от Киева через Москву и Пермь...

— Вещи все забрала?

— Все, и мебель тоже... Шкаф, диван.

— Куда же ты их поставишь?

— На склад, — ответил Петя. — Когда-нибудь мы ведь получим квартиру в городе.

Болдырев кивнул, выглянул в окошко и заметил, что тут можно свой садик при желании развести. А чернозем здесь богатый, более полуметра толщиной, в Балакове, в черноземной полосе, такого не видывал. Говорят, что французы просили продать на вывоз ту землю, что они сняли при подготовке строительных площадок и насыпали высокие кучи. Но им не продали. Самим пригодится для разных там парков.

— Здесь бы климат получше, ананасы бы росли!

Гость спросил:

— А что, этот поселок еще зимы не переживал?

— Ничего он не переживал, — ответил Болдырев. — Он весны не переживал. А весна тут хуже зимы. Как пойдет вешняя вода, все позальет.

Уже возвращались к машине, когда выскочила из одного вагона девушка с распущенными черными волосами и встала на дороге, ожидая приезжих. Она стояла и не закрывалась от дождя.

— Ну что? — спросил Болдырев. — Пропустили тебя к нему?

— Спасибо вам, — быстро отвечала девушка. — После вашего звонка разрешили свидание. Только следователь спросил, а кем я ему довожусь.

— Кем же ты доводишься? Невестой. И не надо стесняться, так и говори, что ты ему невеста. Будешь еще навещать?

— Буду, — сказала она.

— Ну скажи: что в наших силах, то мы сделаем. Хотя наши возможности не столь велики. Я думаю, что он год получит, не больше.

Девушка воскликнула:

— Ох, хоть бы год!

— Будем надеяться на лучшее, — сказал Болдырев. — Отцу его сообщили?

Ну ладно. Счастливо.

И поворачиваясь к гостю, Болдырев по дороге к машине рассказал, что подралась рабочие-азербайджанцы, и один другого пырнул ножиком. В общем-то, он не бандюга, его научили другие.

— Жаль девчонку, — сказал Болдырев. — Народу сюда едет тьма-тьмушая, и солдаты, и по оргнабору, и по комсомольским путевкам... И народ неплохой, иногда романтики. Иногда слишком романтики. Приходит один, говорит: «Началь-

ник, не могу так жить, фруктов не вижу. Вечером выхожу без пиджака, мерзну. Разве это жизнь, начальник?»

Хотели по пути на бетонный проскочить мимо управления, да не вышло. По дороге попались ребята из студенческого отряда и сказали, что им не дают денег за работу. А им нужно уезжать.

— Почему не дают?

— Говорят, нет кассирши.

— Нет — значит, будет, — сказал Болдырев. — После обеда деньги получите. Я обещаю. Получите и уедете.

Он велел завернуть к своей палатке и послал за бухгалтером. В это время подъехала «Волга», из нее вышли люди, по всему видно нездешние. Болдырев уже заходил в палатку, но обернулся: кого там принесло в неурочный час? Или корреспонденты? Он остался стоять, глядя на прибывших, как они, выбирая посуше тропинку, направлялись к нему.

— Здравствуйте! — крикнул идущий впереди седоватый человек. — Вы тут главный?

Он остановился, соскабливая о край деревянного настила грязь с ботинок, и попутно объяснял, что они работники кино, приехали посмотреть, как строится КамАЗ.

— Да ничего, строится, — отвечал Болдырев.

В это время подошли двое других, невысокого роста женщина в куртке и усатый, уже полнеющий мужчина. И мужчина выругал здешние дороги.

— Если на «Волге» доехали, то дороги не так уж плохи.

— А что вы строите? — спросил усатый. — Завод? Вот здесь?

— Ну... не здесь, а скорее там, — указал Болдырев.

— А будет завод?

Болдырев кивнул, посмотрел на усатого. Не сдержался, чтобы не ответить, как тот напрашивался:

— Не знаю, как ваш фильм, а завод точно будет.

— А где же люди?

— Работают, — сказал Болдырев.

— Так мало?

Он усмехнулся и добавил в шутку, что они не китайцы, чтобы носить землю в корзинах и создавать видимость массовой стройки. Работают столько, сколько необходимо. Вас это интересует?

— Да все нас интересует, — сказал уже седоватый человек.

— Здесь приезжал один драматург из Казани, — весело произнес Болдырев, — он заявил, что будет писать пьесу о сваях... Честное слово. Я показывал ему сваи.

— Нас люди интересуют, — слишком серьезно подтвердила женщина.

— Ну хорошо. — Болдырев видел, что к нему направляется бухгалтерша, и сказал, прощаясь: — Завтра я могу вам показать все, что вас интересует.

— У вас студенческие отряды есть? — спросил усатый. — Как они?

— Ну как, — ответил Болдырев. — Борются... Утром со сном борются. Так завтра в десять я вас жду. До свидания.

Киношники направились к машине, а Болдырев уже не помнил о них. Он спрашивал издали бухгалтершу:

— Почему студентам не даете денег? Где кассирша?

Женщина подошла ближе и перевела дыхание.

— Мы ее отпустили, Алексей Анатольевич.

— А вы знали, что люди уезжают и им нужны деньги?

— Мы, конечно, знали, но у нас дома...

— Как же вы могли им в лицо говорить, что знали? Знали об отъезде и отпустили кассира? Ну как же так?

Бухгалтерша молчала, и Болдырев молчал, глядя на нее и искренне недоумевая, как могло так случиться, что забыли об элементарном уважении к людям.

— Ну вот что, — произнес он негромко, но весьма выразительно. — Найдите кассира и дайте людям деньги. Все.

— Где же мы ее сейчас найдем?

— Где хотите. Есть телефон, если необходимо, я помогу вам с машиной... Сейчас приеду с бетонного, у меня профконференция, можете на это время машину забрать. Езжайте в город и ищите. Действуйте, одним словом. — И уже не для этой женщины, а будто для себя он сказал: — Людям деньги нужны. Какое им дело до наших забот? У них своих забот вполне хватает.

На пути к бетонному остановились, посадили начальника участка, возвращавшегося, видимо, с обеда. Молодой парень сел на заднее сиденье, отряхивая воду с дождевика. И так как еще продолжался давний разговор о студентах, парень спросил:

— А правду говорят, что вы играли в футбол недавно с ними?

— Да, — отвечал Болдырев. — И они нам наколупали. Но у них же сыгранность, а мы, считай, первый раз.

— Рассказывают, — снова завел парень, — что вы шли в нападение и кому-то кричали: «Я вам приказываю передать мне мяч!»

Все рассмеялись, и Болдырев тоже рассмеялся. Потом сказал, что в Асуане ему пришлось играть с арабами, которые работали на стройке. Боевой, надо сказать, был матч. Только потом из Москвы поступил запрос, по какому такому праву они устроили международную встречу, да еще ее проиграли...

— Вы долго работали в Асуане? — спросил гость.

— Порядком, — ответил Болдырев. — Три года. Мы приехали туда первыми, ровное поле... Это в нашем понимании поле, а так — пустыня. Стоят на железнодорожных путях платформы, а на них наши бульдозеры да детали экскаваторов. И все. Расковыряли один ящик с бульдозером, слили от какой-то машины солярку дизельную, завели... Своим ходом скатили с платформы, ну а дальше? Как собрать первый экскаватор, первый кран?

Болдырев посмотрел в окошко так, скорее машинально, потому что думал он в это время о чем-то своем. Потом заговорил об Асуане, о первых трудных днях. Как приходилось выворачиваться из самых необычных положений. Вот как этот первый кран... Положили шпалы рядом с платформой, сдернули ходовую тележку от крана, она скатилась в пустыню. Таким же способом сняли поворотную часть. С «МАЗов», которые прибыли, взяли три домкрата и начали поворотную часть поднимать. Каждый раз на десять сантиметров. Под низ подкладывали всякие брусочки, пока не подняли всю махину — а в ней было двадцать тонн — на высоту два метра. Подкатили под нее бульдозером тележку, домкраты опустили, подтянули также бульдозером стрелу, завели трос. И появился первый кран, который и делал все остальное. Смонтировать такой кран при обычных условиях можно дня за два. У них это отняло не меньше двух недель.

Конечно, Асуан был настоящей строительной школой, без которой трудно представить в его биографии все дальнейшее. Он и сейчас не может спокойно пройти мимо обрезков арматуры, валяющихся на земле. Ведь в пустыне в первое время, идя на работу, подбирали по пути любую железочку, которая могла пригодиться, чтобы выточить какой-нибудь болт...

Интересной была работа с подрядчиками, с разными фирмами. Прямое, так сказать, соприкосновение с капиталистическим производством. Он видел, как бьют рабочих плетками, словно в средневековье, за то, что они медленно работают.

Рядом с их площадкой западные немцы монтировали химкомбинат. Пошли просить у немцев помощь — отказали. Пока поднимали первый кран, выкручивались из самых невероятных положений, а немцы ездили мимо и смотрели. Ни гвоздем не помогли. Даже пилы вначале не было, шпалы топором рубили.

Пришлось познакомиться с методами американских корреспондентов. Не успеешь сказать два слова, как тут же переврут. Беспардонно, чушь какую-то

напишут. Один западный немец писал, например, что русские такие социалисты, что даже спят в красных трусах.

Первый месяц прожили вообще без газет. Потом уже прочитывали все, что попадало с родины. Каждая газета передавалась из рук в руки, пока не стиралась, не рвалась.

Выходили из машины прямо в грязь выше щиколоток, которую тут густо размесили «МАЗы». Щепочкой очищали обувь перед прорабской, но все равно, как вошли, измазали, исследовали голубой нарядный линолеум, покрыли его рыжим слоем грязи.

На стене портрет Ленина и какой-то чертеж, приколотый кнопками. Две больших электрических лампы, ничем не прикрытых, после сумрачной улицы просияли сверху теплым приятным светом. В углу стоял телефон, но проводов к нему никаких еще не было.

Заходили люди, откидывали капюшоны и садились на скамью вдоль стены. Болдырев быстро уточнил обстановку, куда отсыпка щебня, куда бульдозеры. И дорога ужасная, иначе не назовешь. И вода заливает. Всю ночь будут работать «гномы», завтра возможно принять бетон.

Встал главный инженер строительства завода, сказал, что ему срочно надо отвезти детей в интернат.

— Кто вместо вас останется?— спросил Болдырев.

— Начальник участка.

— Вы договорились?

— Нет, но он согласится.

— Когда вы появитесь?

— Мне нужно, Алексей Анатольевич, пару дней. Я на самолете.

Болдырев помолчал, раздумывая.

— Давайте так, я отпущу вас в середине недели. Может, и погода вам посветит. А то вы будете сидеть на аэродроме, а я буду страдать без вас... И обоим, главное, плохо. Договорились? Тогда бетон заказываем на полную катушку. Согласны, товарищи?

Все согласились, что бетон надо принимать.

— А вот вы,— сказал Болдырев одному из начальников участка,— оказались совершенно не готовы к удару судьбы. Небольшой, в общем, дождичек вас нейтрализовал. А такую маленькую, изящную площадку, как ваша, можно всегда держать в порядке, так ведь? Ладно.— И Болдырев встал.— Наведите, товарищи, марафет, готовьтесь принимать бетон в три смены. И сделайте выезд на дорожку. Порожний «МАЗ» обладает минимальной проходимостью. Устройте дежурство бульдозера, в случае чего будет толкать машину в зад...

Посмеялись, встали. У своей палатки Болдырев попрощался с гостем.

— Ну, приезжайте.

— Попытаюсь,— ответил гость, впервые улыбнувшись. Болдырев смотрел, как тот сел в машину, уходящую в город на поиски кассира.

— Петя,— сказал Болдырев,— после конференции нам на литейный, долго не задерживайся.— И взглянув на часы, было десять минут второго, он пошел к своему столу.

Молодые рабочие ждали его. Он извинился за задержку, сел напротив и сказал, что слушает. Один из рабочих, скуластый смуглый парень, стал говорить, что они недавно из армии, заработка хорошего нет, все, что ни получают, уходит на питание. Если штаны разорвутся, не на что будет купить. Ребята за его спиной кивали в знак согласия.

— Сколько вам закрыли в июле?— спросил Болдырев.

— Сто сорок.

— По шесть рублей в день? А я думаю, что это немало. Бывает и по тройку. Если не секрет, сколько вам обещают там, куда вы рветесь?

Ребята молчали, переглядывались. Наконец кто-то сказал:

— Рублей десять, двенадцать.

— Кто это такой богатый?— полюбопытствовал Болдырев.

— Главмонтаж,— назвали сразу двое.

Болдырев покачал головой.

— Не знаю, мил человек, кто у вас загибает, но это липа.

— С командировочными,— сказал парень, и остальные кивнули.

— Ах вот что! Какие же вы командировочные?

— Нас обещали прописать в Ленинграде.

Болдырев усмехнулся.

— Что же, теперь все понятно. Прописку я могу обещать только в Набережных Челнах. А вот работа у нас разворачивается, вы сами видите, заработки соответственно растут. На штаны заработаете. И не только на штаны...

— Вот дождь...— протянул кто-то.— А в общежитии и просушиться негде.

— Подожди,— быстро сказал Болдырев, сразу нацеливаясь на говорившего, видимо, почувствовал возможность здесь столковаться, так как речь шла уже не о ленинградской прописке, что, наверное, тоже было липой, а о вещах бытовых, насущных, вполне исправимых. Чуть громче он повторил:— Подожди, не путай божий дар с яичницей! Где сушить одежду — мы всегда решим. Уйдете вы или не уйдете, сушку мы сделаем. Замечание насчет работы — по существу... Хотя сколько вы тратите на питание?

— Девяносто рублей,— сказали ребята.

— Три раза в день по рублю?

Тут все заговорили разом о том, что столовая не всегда работает, а в буфете может выйти и дороже рубля, и не так сытно.

— Хорошо,— произнес Болдырев.— А вы с кем-нибудь говорили о своих бедах?

— Говорили... с прорабом.

— На нем свет клином не сошелся. Есть у нас партком, комитет комсомола... Вы ведь, наверное, все комсомольцы?

— Да,— ответил первый, что начинал разговор.

— Что же,— резюмировал Болдырев.— Держать не могу. Права такого у меня нет. Пусть в комсомоле решат и сделают выводы. Я же могу обещать то, что обещал, кроме разве...— он посмотрел на ребят,— кроме прописки в Ленинграде.

— Вот именно,— сказал первый за всех.— А мне нужна прописка.

— Да, я понял, что вам нужно,— будто устало, нехотя произнес Болдырев.— У меня вопросов нет. До свидания.

Начальник отдела кадров протянул ему письмо, объясняя, что какой-то специалист, инженер с Севера, просится сюда работать.

— Просится, так вызовите. Насчет жилья напишите все как есть. То есть что нет.— И уже комсorghу, который пришел и положил на стол перед начальством карточку:— А это что?

— Это комсомольская свадьба, Алексей Анатольевич.

Болдырев повертел билет и негромко и не повелительно произнес:

— Не поздравить их было бы невежливо. Но если я пойду, неудобно. Быть свадебным генералом... А ты молодой, красивый.. Пожалуйста, будь добр, сходи.

— Да я тоже не планировал,— сказал очкастый комсorgh и вздохнул. Он был молодой специалист, выпускник института. Наверное, общественная штатная работа тяготила его.— Да они приглашали вас лично,— добавил комсorgh.

— Я им выдал, браток, на свадьбу и на красивую жизнь в первые три дня сто рублей,— сказал Болдырев.— Им не пригласить меня было бы неудобно. Это деликатность. А моя деликатность не ходить, не смущать их...

Он повертел билет, пробормотал:

— Желаем счастья... Мир, да любовь, да вагончик... Хорошо, что им квартиру не надо.

— Квартиру пока не надо,— подтвердил комсorgh.

— Видишь, ты все понимаешь. Пойди, в общем, поздравь... Пойди, пойди...

Комсорг пытался что-то говорить, но из-за спины Болдырева снова сунулся с бумагой старый проситель крана, и Болдырев не слушая взял бумагу и стал читать, а комсорг ушел.

Вздыхая Болдырев сказал, поворачиваясь к человеку всем корпусом:

— Дорогой товарищ, ну вы же не подшефный колхоз, ну что вы пишете? «Прошу дать мне кран, так как...» Если я дам вам кран по такой бумаге, меня завтра возьмут за одно место и не отпустят до конца жизни. Меня спросят, почему я отдал кран по такой, простите меня, филькиной грамоте. Вы понимаете меня?

— Понимаю,— сказал проситель.

— Понимаете, а все-таки просите.

— А я не для себя,— сказал тот.

— Опять все сначала... Мы же ведь тоже не дачу себе строим, а существует форма взаимоотношений! Ну да черт с вами!

И Болдырев в сердцах подписал бумагу и встал. Время было идти на конференцию, но в это время в палатку сунулся еще один человек, которому Болдырев не обрадовался. Представитель техотдела управления строительства. От них сыплется на голову поток приказов, распоряжений, уточнений и многих, многих бумаг, с просьбой, например, проконтролировать, как выполняется пункт «б» параграфа десятого приказа номер сорок.

А черт его знает, как он выполняется!

Но им это важно для отчетности, для статистики... Чтобы построить график «мозговой деятельности» — как в шутку выразился однажды Болдырев.

Оттого он и несколько не обрадовался молодому красивому инженеру, севшему перед ним. И оттого продолжал стоять.

— Алексей Анатольевич,— произнес инженер из техотдела.— Нам бы все-таки надо объединиться в наших усилиях. А то вы сами по себе, а мы сами по себе.

Болдырев стоя смотрел на человека сверху вниз и о чем-то раздумывал. Вдруг он повеселел, произнес:

— Знаете, как говорил Ленин на этот счет? Прежде чем объединиться, надо размежеваться, дорогой товарищ.

— Ну вот, вы шутите,— сказал инженер миролюбиво,— а у нас полное неведение о вашей работе. Как быть?

— Как были,— коротко ответил Болдырев. Он сел перед инженером, сложил руки на столе и, глядя прямо в лицо собеседнику, очень вежливо, но поучительно стал говорить, что это липа, вся названная бумаженция. И оба они понимают, что это липа, потому что никто не сможет им ответить каждую неделю на сто вопросов... Не справочное у них бюро. У них производство. А если мы из сферы производства в сферу наблюдения за производством (как вам того хотелось бы) перевели б часть наших работников, вы бы первые же потянули нас к ответу.

— А как тогда узнать о вашей работе?

— Ее видно будет,— с улыбкой произнес Болдырев.— А вы почаще приезжайте, чтобы видеть. Я вам сегодня глубоко благодарен, что вы не погнушались дождем и плохой дорогой... Все. У нас, простите, конференция, а я докладчик.

Но инженер еще шел за Болдыревым до самой столовой и говорил, что кое-что можно сделать, если поставить на отчетность девочек-практиканток. А Болдырев на ходу отвечал, что это не решение вопроса...

— У нас практикантки приезжают на месяц, дней пять устраиваются, еще десять дней учатся отличать бетонный завод от литейного, несколько дней работают на коммунизм, весьма озабоченные уже отъездом и всякими билетами... Нет, это несерьезный разговор.

Конференция проходила в одном крыле огромной столовой. Люди появлялись, как были на работе, в плащах, ватниках и робах, сполоснув только сапоги в лужице перед входом.

За столом президиума сидело руководство, тут же, рядом с трибуной, Болдырев. Ему первому предоставили слово как начальнику управления Металлургстроя. Он говорил о том, что их управление, или трест, как сейчас некоторые называют, организовалось 1 мая этого года.

— Тогда в нем было триста человек. На сегодняшний день насчитывается около тысячи двухсот. Можно посчитать, что каждый месяц мы принимали двести—триста человек, и такой же темп сохранится на будущее. До конца года мы должны иметь две с половиной тысячи специалистов и рабочих.

Что мы строим? В наше управление входят три крупных объекта: литейный завод, бетонный завод и ремонтно-инструментальный — РИЗ. Кроме них, мы строим массу подсобных предприятий, три девятиэтажных дома, две столовых, мастерские, здание управления и многое другое.

Как мы работали? Пока мы плохо работали. Выполнение плана в названные месяцы не превышало 50—60 процентов. Чувствительный, резкий спад произошел в июле. Некоторые склонны относить его лишь за счет погоды. Август мы несколько выправились, но нам весьма далеко до успокоительных речей.

Причины такого темпа вовсе не в отсутствии ресурсов, о чем любят у нас говорить и на что любят обычно ссылаться. Причина и не в погоде, а в нас самих. У нас еще плохая организация труда. Примеры. Подсчитано, что краны используются только на 65 процентов.

Ясно, что даже при скидке на нашу молодость и неорганизованность механизмов у нас вполне достаточно. Мы плохо используем малую механизацию. Там, где подчас можно обойтись ведром и лопатой, мы просим бульдозер. Передвинуть кучу мусора мы уже без бульдозера не способны. И просим мы не какой-нибудь слабосильный, а самый мощный, в сто лошадиных сил... А Беломор-канал, я хочу напомнить, строился без единого крупного механизма, да и после войны на больших наших объектах механизация насчитывала буквально единицы.

Мы заелись техникой и, что хуже, сваливаем на нее те работы, которые прежде бы надо сотворить головой. Авось бы тогда и техника не понадобилась в таком количестве. Позже я скажу о положительном примере в этом смысле на литейном.

У нас плохая еще дисциплина. Технологическая дисциплина, если ее можно так назвать, брак, организация труда, та самая, когда поздно приходят на работу, зато рано с нее уходят... Но это взаимосвязано: плохая организация труда и низкая дисциплина. Простой, неналаженность графика, нерасторопность руководства обычно расхолаживают людей, у них тут же появляется небрежность к исполняемому делу или безразличие.

В первую очередь это относится к РИЗу. В августе у нас почти не было увольнений, за исключением личных причин, а вот с РИЗа люди бегут. Сегодня у меня снова были увольняющиеся молодые рабочие. Они справедливо жалуются на плохую организацию труда, на низкую зарплату. Руководству РИЗа надо крепко подумать об этом.

Скажу вообще о руководстве. Решения руководителей не становятся законом для исполнителей. Обсуждается всё и вся. Пришлось собирать начальников подразделений и беседовать о дисциплине руководителей. Ясное дело, что если наши решения не будут выполняться, то у нас не будет никакого рабочего коллектива. Будет кучка людей, занимающихся говорильней.

Партия учит нас хозяйственной бережливости. Мы не имеем морального права просить что-либо, если не использовали то, что уже дано. Ни партийная, ни какая совесть не позволят нам быть расточительными при том положении, когда нам дают все, что мы ни попросим. Более чем на любой другой стройке... А мы просим и не краснеем от того, что техника у нас частью лежит в размонтированном состоянии, как говорится, в чистом поле.

На литейном заводе мы провели уже реорганизацию работ по специальному графику, увеличилась производительность труда, высвободился сразу целый кран, мы пока не придумали, чем ему заняться. Такие графики мы думаем ввести на других объектах.

Смысл в том, что люди поняли: при одинаковых условиях, при ресурсах или, скажем, при тех же дождях можно работать иначе и лучше.

От нашей профсоюзной организации, которая сегодня практически создается, мы ожидаем действенной помощи во всех названных вопросах. Хочу, чтобы вы поняли: главное на сегодня — наш бетонный завод.

Обратите внимание и на поселок «литейный». Так мы сегодня его называем. На его подготовку к зиме. Приятно, что там наконец появляются магазин, парикмахерская, а вот детский сад остается проблемой. Подумайте, может, нам ускорить строительство второй такой столовой, как эта, а небольшую сегодняшнюю столовую на площадке переоборудовать в детский сад?

Вопросов, товарищи, пока мы формировались, накопилось множество. Один из них — проблема кадров, которой занимаются на сегодняшний день исключительно кадровики. К нам приходят четырнадцать человек в день, сто сорок в декаду. Как я говорил, к концу года мы должны удвоить наш коллектив. Но главное, сделать его коллективом. Если сделаем, то нам по плечу любая задача.

Болдырев закончил. Начались вопросы.

— Кроме «само строя», будут ли сдаваться дома в четвертом квартале? «Само строй» — это строительство жилья силами подразделения.

— Будут, — отвечал Болдырев. — Но если мы не построим своих собственных домов, а будем ждать, что нам поднесет рождественский Санта-Клаус, то многого мыждемся.

— Кому будут привилегии при получении квартир?

Он отвечал, что привилегии могут быть в случае, если у кого-нибудь произойдет несчастье (что не дай бог!) или будет принят весьма ценный работник, что вполне возможно. Но решать этот вопрос будет не руководство, а вы сами, то есть профсоюзы совместно с руководством. Правильное распределение жилья, исключительная объективность и справедливость — вот что важно. Ведь от быта зависит настроение рабочих и, в конечном счете, сама работа.

— Когда будет распределен новый дом?

— Возможно, сегодня, — сказал Болдырев. — Если мы здесь не пересаждаем и успеем встретиться потом в рабочей обстановке.

Спрашивали о садах и огородах, о пионерлагерях, о выпускниках профессионально-технических училищ (ГПТУ), за которыми надо следить как за детьми, о нехватке бетона, о цене на автобус до стройки...

— Если мы считаемся городом, то цена на проезд должна быть пять копеек, а не двадцать! Часто ведь приходится ездить, то в баню, то за картошкой.

Говорили о жулике-продавце на «литейном», в продуктовом отделе, и о многом другом.

Болдырев ответил, что пионерлагерями нужно начинать заниматься сегодня вновь избранным товарищам, местному. Участок для кооперативных садов выделен. Что касается выпускников ГПТУ, то они еще действительно дети, у них и паспортов нет, необходимо создать условия для воспитания их в нашей рабочей среде. Возможно, стоит назначить воспитателей из тех, кто любит и умеет разговаривать с подростками. Вилеты на автобус должны стоить пять копеек, это вопрос разрешимый. Продавца из магазина уже убрали. А что касается бетона, то хочу вас проинформировать: его не из чего было готовить, на всей стройке целых двое суток не было ни одного килограмма цемента. Это редкий случай, ЧП, и по этому поводу приезжали представители Госснаба. Они посетили, кстати, и нашу площадку. Бетон будет, товарищи, важно, как нам его принять.

Последние слова Болдырев произнес медленно и четко. И сошел с трибуны. Начались выступления, выдвижение кандидатов. Потом состоялись выборы.

Было четыре часа. Болдырев медленно прошелся по коридору столовой, соединяющему оба зала, отметил, что многие делегаты с профконференции пошли сюда поесть. Известно — это одна из лучших столовых на стройке, недаром работники в шутку просили почаще устраивать собрания, чтобы вкусно пообедать.

Заглянул в одну комнату, в другую, увидел заведующую и спросил, как дела, в порядке ли с продуктами.

— Да, привезли,— сказала она и спросила, будет ли Алексей Анатольевич обедать.

— Да нужно бы.

В просторной комнате, которую только что сегодня отделали и поставили несколько столов, Болдырев присел, сняв плащ и куртку. Он оказался в белой сорочке, при галстукке, галстук он не снимал ни на работе, ни дома. Заведующая сама принесла закуску и первое блюдо и на вопрос Болдырева, отчего ей волноваться, можно назначить сюда какую-нибудь девочку, отвечала:

— Я люблю подать, ведь я же хозяйка.

— Вы пани директор,— заметил Болдырев.— Кстати, вам нужно сейчас решать, как вы будете управляться еще с двумя столовыми, которые мы строим.

— Никак не буду управляться,— отвечала она.— Пусть управляются другие. Мне, Алексей Анатольевич, и тут хватит работы.

— И здесь и там! — настоятельно повторил он.

— Вот, у меня производственная травма,— сказала заведующая.

— Что случилось?

— Одна девушка замуж вышла. И некому пока заменить. Кстати, мы сегодня по заказу торты делали, вам какой-нибудь оставить? Вот, смотрите, с розами, можно еще сделать белые розы...

— Не надо белые,— отмахнулся Болдырев,— это цвет невинности. А что у вас написано тут? С днем рождения? Ну, ладно, пусть будет рождение. В Балакове мне однажды продали торт, кем-то заказанный и не востребованный в столе заказов, а на нем было написано «с законным браком». Жена долго допытывалась, почему я его купил.

В это время вошел Панин, начальник производственного отдела. Прямо от дверей он сказал:

— Хочу испортить вам аппетит.

— Валяйте,— отвечал Болдырев и тут же спросил: — А вы обедали?

— Обедал.

— Здесь, нет? Теперь ходите сюда, эта комната для нас организована. И другим скажите, чтобы сюда ходили обедать.

Панин присел на кончик стула и стал говорить, что с планом на семьдесят второй год они договориться со Стальмонтажем не могут.

— Да шут с ними,— сказал Болдырев.— Пошлите их, Василий Дмитриевич, подальше и пишите в трест. Будем выяснять на другом уровне. Никуда они от нас не уйдут.

— Я с ними вдребезги разругался,— сказал Панин.— Теперь насчет дирекции РИЗа, они тоже заявляют, что с нашим планом не согласны.

— Чемберлены какие-то,— заметил Болдырев.— Вместо того чтобы деловые бумаги писать и чертежи готовить, они заявления делают. Посылайте их ко мне.

— Но нужно решить, так сказать, конкретизировать наши предложения на зиму...

— А вы готовы? — спросил Болдырев.— Хорошо. В пять у меня планерка на литейном, у меня еще есть время. Приготовьте чертежи, я сейчас приду в отдел.— И вдогонку крикнул: — Позовите Иванова!

В техотделе он скинул плащ и наклонился над столом, где уже сидели люди.

— Цех инструментального оборудования... Пропади он пропадом, отсекаем. Склад готовых станков тоже до свиданья... Как у нас выражаются, привет из Сочи... А вот это, участок сборки станков, необходимо оставить. И вот это надо. Как решили, отгородить временной стенкой? А придумали, как будем обогревать?

Стали предлагать калориферы или протянуть нитку от теплотрассы. Или поставить «катушку» — газотурбинный двигатель. Болдырев взял логарифмическую

линейку, прикинул объем, калорийность. Выходило, что «катюша» здесь удобнее всего. Начались споры по деталям, но Болдырев сказал:

— Это уже думайте сами. В принципе, я считаю, решено. Через неделю проект будет готов?

— В эскизах, не в чертежах,— сказал Иванов, заместитель главного инженера, хотя главного инженера еще не было. Если повезет, скоро будет, тот самый — Корчиц.

Болдырев как бы пропустил поправку Иванова мимо ушей, а тот не стал больше повторять. Оба знали: сказано, так и будет. Откидываясь от бумаг, Болдырев как бы мимо дела заметил, что такие работы надо брать с собой домой на воскресенье. Ей-богу, в воскресенье голова хорошо варит!

Панин посмотрел на Болдырева и на Иванова и сказал:

— Он у нас рыболов и охотник.

— Не рыбачил ни разу и не охотился,— отмахнулся Иванов.— Времени вспомнить об этом нет.

Из бухгалтерии принесли какие-то бумаги, обрадовавшись, что начальство под боком, положили на стол. Болдырев перелистал, спросил:

— Это что, договор о ненападении? Для чего вам столько копий?

Подписал и молча отдал. И собираясь уходить, спросил, поедет ли Панин на планерку с ним или отдельно. В коридоре, остановив прораба, еще спросил, почему та женщина, которая просила у него детский садик, не зашла с заявлением на отпуск.

— Не знаю,— отвечал тот.— Она кончила смену и ушла.

— Пусть тогда завтра зайдет. В любое время, когда сможет.

Вышли на улицу, прошли мимо инструментального цеха, болдыревской гордости, потому что сам доставал для цеха редкие станки. Прицизионный, револьверный... Даже пневматический молот, хоть экскаваторы делай!

Около «катюши» остановились. Болдырев попытался рассмотреть технические данные на металлическом паспорте, потом достал монетку и счистил с цифр грязь. Вслух произнес, что расчетное тепло здесь даже выше того, которое они брали, вот так «катюша»! Реактивный двигатель! Можно домашний самолет строить...

Петя увидел начальство издалека, быстро развернулся, подъехал поближе. Болдырев пригласил Панина садиться и уже закинул ногу на ступеньку, когда увидел, что к ним через грязь напрямик шествует ризовское руководство, те, кому предназначалось работать после сдачи завода. Одним словом, заказчики. Настроены они были, как видно, агрессивно.

Болдырев их поприветствовал и первый заговорил о том, что они рассмотрели вопрос с цехом, который будет отгорожен, и в зимних условиях можно будет монтировать станки.

— При какой температуре? — спросил один из дирекции.

— Какая положена по норме.

— А именно?

— Плюс пять градусов.

— Для работы на станках этого мало.

— А я говорю: для монтажа,— уточнил Болдырев.

— Вот то-то и оно, что нам придется работать.

— Работайте,— произнес Болдырев.— Десять тысяч квадратных метров, это уже не сарай.

— Нам необходимо больше,— сказали люди из дирекции.— Нас вообще не устраивает то, что вы делаете.

Болдырев развел руками и посмотрел на Панина.

— Давайте, товарищи, исходить из реальных условий, иначе мы с вами не договоримся. Ваше «нужно» и наше «можно» должны как-то урегуливаться. Мы можем бесконечно задавать друг другу вопросы, а лучше от этого не станет. Ни нам лично, ни делу прежде всего. Я ведь тоже могу спросить, где у вас будут фундаменты для кондиционеров?

Еще немного постояли, перебросились несколькими фразами, недовольно, почти враждебно.

Болдырев спросил напрямик:

— План наш не хотите принимать? Ладно. Давайте составим бумагу, где будет написано, что мы не выполняем директивный план по таким-то и таким причинам. И одна из них, что нет рабочих чертежей и проектов. А мы такую стену из ответных писем возведем, что выше будет вашего завода. Так-то, товарищи. Прошу меня простить, ждут на литейном.

По дороге на литейный завод Болдырев увидел грейдер, а рядом человека, остановил машину, крикнул:

— Подите-ка сюда! Вы кто, мастер? Какая задача у грейдера?

— Чистить дорогу, — отвечал тот.

— С нуля часов пойдет бетон на эту площадку, — он указал на литейный, — вы можете почистить спуск?

— Какой спуск? — спросил мастер. — Этот, да? Ладно, почистим.

Когда отъехали, шофер сказал:

— Чудной он... Мастер по музыке. То ходит на гармошке играет, то на дудке... Видели у него в руках?

Машина проходила в это время упоминаемый спуск, и Петя еще заметил, что «МАЗ» тут не проскочит.

— Надо поскрести, и проскочит, — отвечал Болдырев и велел ехать прямо к прорабке.

Народ был в сборе, начали без предисловий. Болдырев так и предупредил, что вопрос дождя на планерке разбираться не будет.

Начальник управления строительства литейного Самсонов также с места подтвердил, что они решили о дожде не говорить.

Болдырев заметил:

— Решить-то решили, а невыполнение графика провели за счет дождя. Давайте считать так: условия для работы в непогодных условиях созданы, чтобы рабочие могли смениться, сушить одежду... И вы принимаете бетон в любую погоду.

Все согласились, что так считать можно.

— Тогда у меня к вам первый вопрос, — сказал Болдырев. — Почему не смонтировали кран?

— Не успели, — сказал Самсонов.

— Если я прекращу вам завтра бетон, это будет правильно или неправильно?

— Конечно, неправильно, Алексей Анатольевич. Мы же не выполним плана, люди денег не получают.

— А кран, значит, пусть стоит?

— Там у нас пути не проложены, котлован водой залило.

— Откачайте! Две бочки воды! И не говорите о дожде, мы договорились не говорить. Хватит.

— Мы сейчас не успеем с краном до конца месяца, — произнес неторопливо Самсонов. — Иначе мы с планом завалим.

— Хорошо. А я прекращу вам подавать бетон.

— Вы шутите...

— Нет, вполне серьезно. Что я должен делать, если я не могу вас заставить монтировать кран, который сдерживает монтажные работы? Вы думаете про сегодняшний день, а я про сегодня и про завтра.

— А люди?

— Соберите людей и объясните им причину, почему они не смогут заработать.

Болдырев повернулся к человеку, сидевшему от него по правую руку.

— Я предлагаю высказаться нашим дорогим субподрядчикам от Стальмонтажа.

Человек поднялся, грубовато сказал, что фундаменты под монтаж они принимать больше не будут.

— Ультиматумы после, — предложил Болдырев. — Сперва факты.

— Факт — это ваша дорога, — сказал тот. — Обещали улучшить, а что мне с ваших обещаний? Дождь пошел, и...

— Что же, товарищ прав, — заметил Болдырев. — Сделаем такую запись: «Дать согласованное решение по дорогам». Но реальное, товарищи, решение. Если вы запроецируете, скажем, десять тысяч бетона, то такой дороги не будет и в будущем году.

Подрядчик усмехнулся и спросил, когда же будет такое решение.

— Через три дня.

— А дорога?

— Видимо, после решения.

— Ну, тогда мы начнем работать после дороги. Вот и все. Тем более что и площадки для монтажа вы нам так и не сделали.

— У меня нет людей все это делать, — произнес Самсонов.

А Болдырев развел руками:

— Все сначала! Снимите людей с бетона и поставьте на расчистку площадки и на кран. Вот вы жалуетесь, что ваши подчиненные не выполняют решений, а я говорю, что и мои подчиненные не выполняют моих решений... Мне стыдно выяснять этот вопрос при субподрядчике, но если честно, я бы на его месте не только бы кричал здесь, но вообще устроил демонстрацию протеста и бросил работу. Вопросы есть?

— Есть, — сказал Самсонов.

— Только, прошу вас, не мелкие, не базарные. Берегите время.

— Не мелкий вопрос, — молвил тот и помолчал. — Вот мы ввели скользящий график... Как нам быть со смежниками?

— Это нужно решать вместе с ними. Вы в четыре смены?

— Да. В четыре.

— Переработка у вас получается? Как вы будете оплачивать, вы с рабочими поговорили?

— Поговорил и уговорил, — сказал Самсонов.

— Вот видите! — воскликнул Болдырев. — Если бы так же вы делали площадку и кран, то не было бы никаких у нас с вами разговоров. А были бы и кран и площадка. Еще вопросы?

Женщина-бухгалтер спросила, как быть с оплатой рабочих на немецких кранах. На них нет расценок.

— Пошепчитесь с дирекцией, они вам подскажут, — отвечал Болдырев. — Только не двадцать девятого числа. В это время они жадные.

— Клуб нужен в «литейном» поселке, — сказал кто-то.

— Я тоже считаю, что клуб нужен, — поддержал Болдырев. — Давайте переделаем в клуб, хотя бы временно, ремонтные мастерские?

— Я против, — сказал Самсонов.

— Ну, вы администратор, ваша антиобщественная позиция известна, — произнес весело Болдырев. — А вот как не с административной, скажем, а с партийной точки зрения? Тысяча людей, им кино посмотреть надо?

— Но мастерские не годятся, Алексей Анатольевич. Лучше заново построить...

Тут вмешалась в разговор дирекция и заявила, что она категорически против капитального строительства на поселке.

Болдырев отмахнулся: не будем капитально строить...

— Повторяю вам утренний вопрос: какой будет план на сентябрь месяц? — громко спросил субподрядчик из Стальмонтажа.

— Я вам отвечаю, — сказал Болдырев. — Четыре тысячи тонн.

— А фундаменты?

— Значит, будут и фундаменты.

— Фантастика. — бросил субподрядчик. — Вы никогда не сделаете фунда-менты...

— Это вы говорили и к пуску первой колонны, когда это было... Двадцать восьмого июля? А я обещал и даже принес шампанское, чтобы торжественно разбить о вашу колонну...

— Не дали разбить?

— Выпили бы, а потом разбили!

— Фронт работ вам будет, — повторил Болдырев.

— Поживем — увидим!

Все стали расходиться.

Болдырев попросил остаться Самсонова и еще одного человека, начальника участка. Тут же сидел парторг литейного.

— Николай Дмитрич, — обратился Болдырев к начальнику участка. — Вас обвиняют в том, что вы манкируете задания, выходите на работу в нетрезвом виде, используете в личных целях машину... Да я и сам вижу, что за вас тут пашет Самсонов... Когда ни придешь на литейный, вас не видно, а он вечно здесь, и утром рано, и вечером, и ночью. Вертится, простите за сравнение, как на гребешке. Я вовсе не хвалю его за то, что он делает и за себя и за других, но что есть, то есть. А вы? Я вас слушаю.

— Чего говорить? — сказал тот. — Если бы я выпил, я бы не стал тут показываться, а ушел бы домой.

— Тоже выход, — подхватил Болдырев. — Но может быть, лучше совсем не пить? Мы тоже не из общества трезвенников, но я говорю про работу.

— Машину я никакую не брал.

— Замечание насчет машины поступило, кстати, от рабочих.

— А я и без вас, когда мне нужно будет, найду машину. А работать сутками, как другие, я не могу.

— Ну, смотрите сами, — предостерег Болдырев. — Потеряете авторитет, мы вас защитить не сможем. Тогда разговор только о понижении оудет идти. Сейчас мы делать этого не будем, хотя скажу честно, что ехал я с таким намерением.

— Если я кому мешаю, я хоть сегодня уйду, — сказал начальник участка.

— А мы вам скажем, — ответил Болдырев.

— Что же, я совсем не тяну участок?

— Пока тянете. Поэтому и держим. И никто под вас, Николай Дмитрич, из коллектива не копают. Недаром разговор ведется в узком кругу. Пока всё. Они вышли из прорабки, день клонился к концу. Дожда не было, но воздух был словно напоен холодной влагой.

Панин уже сидел в машине, ждал их. Дорогой разговор зашел про поселок «литейный», который похвалили вчера на совещании. Кстати, объявили месячник культуры быта, за лучший порядок — месячный оклад.

— Вы не хотите включиться? — Это Болдырев спросил Самсонова.

— Дело не в окладе, — резонно ответил тот. — Польза бы людям была.

— И польза будет. Научите людей жить культурнее — они работать будут культурней.

— Я за обогрев боюсь, — сказал Самсонов.

— Не бойтесь, котел есть, а тепло будет. Кино им нужно. И вот, знаете, повесьте какой-нибудь плакат при въезде... Только не стандартный какой... «Наш поселок «литейный» приветствует...» Кстати, нельзя ли его назвать иначе?

— Батыр, — предложил Панин. — А как по-татарски «литейный» будет?

— Так и будет: «литейный», — ответил Болдырев. — А стиральные машины выписали? Это же целое несчастье — возить белье стирать за двести верст в Бугульму.

— Машины мы сделаем, — сказал Панин. — Может быть, Алексей Анатольевич, нам при поселке свой жэк создать? А то хозяйство большое и продолжает расти... И белье, и электричество, и ремонт какой...

Самсонов как-то невпопад сказал, что вряд ли что у них выйдет с начальником участка, которого сейчас обсуждали.

— А что вы с ним нянчитесь?— спросил Болдырев.— Ставьте перед ним конкретные задачи. Каждое утро отсель и досель, а каждый вечер — проверка. Это тоже метод воспитания.

Самсонов сказал:

— Да не верю я в него.

— А почему тогда молчали? Сергей Николаевич, надо говорить в лицо то, что думаете!

Самсонов как-то негромко произнес:

— Не снимайте нас с бетона, Алексей Анатольевич. Там и народу-то человек восемьдесят. Да женщин много.

— У вас в управлении, Сергей Николаевич, триста шестьдесят человек. Мало, еще берите. А дело делайте.

— Значит, точно снимете?

— Было решение, — сказал Болдырев, — грош мне цена как руководителю, если я на дню буду по нескольку раз менять решение. Да и вам советую действовать так же.

Когда они остались вдвоем с Паниным, Болдырев заметил:

— Хороший инженер... Я говорю про Самсонова. Интеллигентный, между прочим, человек. Я это в людях очень ценю. Раньше работал в проектной организации, это важно для дела. А на производстве пока мягок. Но это придет.— И, помолчав, добавил: — Технические вопросы, знаете, я наизусть помню и не устаю. А вот организовывать людей... Например, к таким планеркам я заранее готовлюсь.

— Ну, как-нибудь организуется, подождите.

— Организуется, когда построим КамАЗ, — подхватил Болдырев.— Но я тогда уйду. Мне будет неинтересно.

И он вернулся к мысли об интеллигентности, сказав, что на стройке у них все есть, но громадная недостача культурных кадров. А это совершенно необходимо. Культура производства без кандачка, без нахрапа— вот что нам сегодня позарез нужно. С Паниным он говорил доверительно. Знал, он тоже умел «пахать» сутками, потому что прошел школу Горького и Братска и понимал стройку. Слово же «пахать» почему-то привилось здорово именно здесь, на КамАЗе, где сам размах, и простор, и страдная горячка не могли ни с чем идти в сравнение, как только с великим трудом пахаря.

Уже когда Болдырев подъезжал к палатке, к нему подошли люди и спросили, возможно ли сегодня обсудить раздачу квартир. Уж очень жалко откладывать, когда все ждут. Болдырев посмотрел на часы — без десяти минут семь, время вполне рабочее — и пригласил всех к столу.

— Будем квартиры делить? — спросил кто-то энергично.

— Нет, делить мы не будем, — ответил Болдырев и посмотрел на говорившего.— Если мы сейчас начнем заниматься дележкой, простите, такая сучья свадьба... Сами не будете рады.

— А как же тогда?

— Без дележки дадим тем, кто больше всего нуждается, и все. Пусть каждый из вас вникнет в нужды своих людей, в их быт и самых остро нуждающихся представит.

— А какому подразделению сколько достанется? — опять спросили у него.

— Вместе выясним. Вот у нас бухгалтерша, например. У нее старые родители, двое детей... Основание? Дать? Так и решим. И никаких побочных распределений у нас не будет. Все квартиры перед вами. Давайте мне четырнадцать кандидатов.

— А если каждому подразделению свою долю? — опять спросил кто-то.

— Товарищи, — ответил Болдырев, — я местничества боюсь больше всего. Вот вы, СМУ-2, вы хапнули первые семь домов, что вам еще?

— Надо, значит, — произнес человек и вытер лысину платном.

— А я вам не верю. Вы заработали дешевый авторитет, нахально заняв чужую площадь, а на самом деле вы этот авторитет потеряли.

— Нам один дом и не нужен,— сказал человек.

— Обижайтесь в нерабочее время... Вы составили список на шестьдесят восемь человек, обнадружили людей, неужели вы не понимаете, что мы пока не сможем их обеспечить квартирами?

— Люди поступают на работу, знают, что существует очередь, и просят записать.

— Надо объяснять людям, а не вводить их в заблуждение. Есть жилищные условия очень трудные и не очень трудные, и не по списку очередности, а по трудности будем давать...

Болдырев ткнул в список, представленный лысоватым, и спросил:

— Вот у вас Горбачук с женой... Почему он имеет право получать раньше других? Потому что раньше записался? У них дети есть?

— Нет,— ответил лысоватый.

— Вот видите. А тут Афанасьев приходил, бригадир, его выгнали с частной квартиры, двое детей у него... Где он у вас?

— Он у нас не просил.

— Людей надо знать, дорогой товарищ,— сказал Болдырев вовсе негромко, но лысый снова полез за платком.— Забирайте свой список и наведите порядок. Остальных прямо спрашиваю: кандидатуры действительно нуждающихся? Это другое дело. Начнем разговор по существу.

Кончилось. Палатка опустела. Болдырев сидел за столом, будто не решаясь поверить, что действительно все кончилось и других срочных дел не существует. Перебирал бумаги, бездумно, в общем, и не торопился вставать. Прикинул завтрашний день: с утра бетонный завод, потом разговор о подготовке к зиме, потом техвопросы... Нет, придут киношники, им нужно показать стройку. Ладно.

Он уперся руками в стол и отжался, и сразу решил: «Теперь домой». Но вместо того, чтобы уйти, поднял трубку и набрал номер телефона, удивляясь, что он действует. Спросил у невидимой Гали, у себя ли начальство.

— Здравствуйте,— сказал он.— Это Болдырев вас беспокоит. Да... Мне на завтра «КРАЗЫ» положены, я бы хотел их иметь. Да. Я могу работать и хочу работать. Дороги действительно кислые, но я приму. Хорошо. Спасибо...

Болдырев, садясь в машину, сказал:

— Петя, домой! Что-то сегодня мы рано?

— А вы когда говорите, что рано, всегда что-нибудь задержит.

— Твоя правда,— произнес Болдырев, глядя, как подъезжает к управлению чужая машина. В позднее время да чужая машина... Ясное дело — неспроста.

Но тревога оказалась ложной. Дорогой Болдырев договаривался с шофером, когда тот заберет машину, чтобы встретить семью.

Между тем въехали в город. Ярko сверкал кинотеатр, но было уже не разобрать, что там идет. На одном из зданий светились огромные буквы: «Камский автомобиль в 74!» У подъезда отдела найма стояла группа только что прибывших людей. Свернули на Альметьевское шоссе, и открылась панорама домов пяти- и девятиэтажных, их дом был пока где-то на краю.

Болдырев вышел из машины, посмотрел на свои окна, потом на небо и подумал, что погода разошлась, как будто бы разошлась, и авось завтра подсохнет и полетят большие самолеты.

— Петя, всего хорошего,— сказал он шоферу.— Завтра, половина восьмого.— И шагнул в свой подъезд.

Пятница. 20 августа 1971 года.
Набережные Челны.

ПУБЛИЦИСТИКА

Профессор Б. НИКИФОРОВ

★

ПРЕСТУПНОСТЬ В США: О СМЫСЛЕ ЦИФР И ОБ АНОМИЧЕСКОЙ ЕРЕСИ

Преступность в капиталистических странах мы справедливо рассматриваем как проявление и показатель социального неблагополучия. Впрочем, в наши дни и на Западе мало кто из авторитетных специалистов верит в то, что преступления совершаются ненормальными людьми или что они представляют собой ненормальную «адаптацию» индивидов к меняющимся условиям. Статистические наблюдения, проводящиеся на разных уровнях в течение ряда лет, и социологические исследования последнего времени привели многих ученых к выводу, удачно сформулированному американским исследователем Дж. Плантом: «Преступность — это нормальная реакция нормальных людей на ненормальные условия»¹.

По-видимому, нет надобности доказывать, что в этом выводе с необходимостью содержится и другой: в высоких показателях и стремительном росте преступности мы должны видеть отражение особенно серьезного отклонения социальных условий от нормы и быстрого ухудшения ситуации в этой области. И в том и в другом отношении Соединенные Штаты Америки являются бесспорным лидером капиталистического мира.

Утверждения такого рода полагается подтверждать цифрами. Цифр в нашем распоряжении достаточно. Пожалуй, их даже более чем достаточно, и это — по старому правилу «что слишком, то плохо» — сразу же создает своеобразные затруднения.

Эти затруднения вызываются фактом существования наряду с «явной», регистрируемой преступностью преступности «латентной». Латентную преступность обычно обозначают так: «Какая-то часть фактически совершенных преступлений остается неизвестной властям. Она не попадает ни в какую регистрацию, остается скрытой, латентной». Логически эта «какая-то часть» может быть достаточно большой. Однако только что приведенная формулировка обычно вольно или невольно наводит на мысль, что латентная преступность — это всего лишь малая толика общего числа, тогда как подавляющее большинство преступлений... Если представление о том, что большинство преступлений и в самом деле регистрируется полицией и затем раскрывается проницательными детективами где-нибудь и соответствует действительности, то только не в Америке. В США, напротив, фактически совершенные преступления, известные полиции, составляют, судя по всему, небольшой процент, и если пользоваться не очень оригинальным сравнением с айсбергом, то латентная преступность — это его огромная скрытая под водой часть. Недаром американские авторы предполагаемые размеры ее обозначают «темной цифрой»².

¹ J. S. Plant. *Personality and the Cultural Pattern*, N. Y., 1937, p. 248.

² Roger Hood and Richard Sparks. *Key Issues in Criminology*, N.Y., 1970, p. 12.

Проблема состоит в том, что «темная цифра» значительно превышает «светлую цифру» убийств, изнасилований и разбоев, зарегистрированных полицией. ФБР признает это неохотно и в общем виде: «Многие преступные деяния оказываются не отраженными в официальных источниках»³. Специалисты, не находящиеся на государственной службе, чувствуют себя свободнее и высказываются более определенно. Профессор К. Меннинджер считает, что полиция узнает об одном из каждых двенадцати совершенных преступлений⁴. А известный знаток проблемы преступности Р. Кларк, бывший при президенте Джонсоне министром юстиции, полагает, что из каждых пятидесяти человек, совершивших серьезное преступление, подвергается наказанию лишь один⁵.

Если к этим «выкладкам» добавить показатели официальной статистики, к которым мы обратимся через некоторое время, получится весьма пестрая картина. Естественно, каждому она говорит свое. Глядя на нее, одни вместе с классиком американской социокриминологии ныне здравствующим профессором Т. Селлином заявляют: «Данные официальной статистики не стоят бумаги, на которой они напечатаны». Другие пускаются в неожиданные рассуждения о том, что никакого роста преступности в Америке нет, а просто полиция, ежечасно улучшая свою работу, «вычерпывает» все большее число латентных преступлений⁶. Третьи склоняются к выводу, что реального представления о масштабах американской преступности мы сегодня получить не можем.

Должен ли такой — по-видимому, более трезвый — вывод обезоружить нас? Нет, ни в коем случае, и не только потому, что обычное свойство трезвости — вооружать.

В самом деле. Если, по официальным данным, в Соединенных Штатах Америки совершается значительно меньше — и никогда не больше — преступлений, чем показывают выборочные обследования и подсчеты отдельных лиц; и если, по этим данным, например, в 1970 году в стране было совершено 5 568 200 серьезных (серьезных!) преступлений⁷, — то мы имеем солидные основания для солидного предположения, что в указанном году подобных преступлений было совершено, во всяком случае, не меньше данного числа. При этих условиях только что приведенная цифра сама по себе, кажется, может дать пищу для некоторых предварительных размышлений...

Впрочем, в туманном море латентной преступности в США внимательный взгляд обнаруживает и другие «жесткие контуры». По разным причинам разные преступления обладают различной «латентностью». Изнасилование — высоколатентное преступление, так как в этом случае сообщение в полицию обычно зависит от усмотрения потерпевшей. Иначе обстоит дело с убийствами: труп обнаруживается почти всегда и по поводу него кто-то должен давать объяснения. То же самое с телесными повреждениями: здесь дело редко обходится без врача, а врач обязан сообщать в полицию о каждом подозрительном случае; с ограблениями банков: каждое из них неминуемо становится достоянием гласности; и с хищением автомобилей: не заявив о событии, нельзя получить страховую сумму. Так вот: динамика убийств, телесных повреждений, банковских ограблений и «автокравж» в основном та же самая, что и преступлений других видов. При этих условиях мы, по-видимому, вправе «моделировать» недостоверную динамику по достоверной.

И наконец: если термометр испорчен, он показывает неправильную температуру; однако ее повышение или понижение он регистрирует с необходимой точностью. Дефекты статистического учета преступности многочисленны, но для наших целей положительным фактом является то, что на протяжении ряда лет они остаются примерно одними и теми же. Поэтому как бы мы ни оценивали досто-

³ Uniform Crime Report, 1968, Wash., p. 4.

⁴ K. Menninger, *The Crime and Punishment*, 1969, p. 31.

⁵ *Crime in Urban Society*, N.Y., 1970, p. XII.

⁶ Там же, стр. 36.

⁷ U.S. News and World Report, Sept. 13, 1971, p. 54.

верность абсолютных цифр, показатели движения преступности могут внушать доверие, особенно когда в них на протяжении ряда лет выражаются устойчивые тенденции.

В этом смысле показатели движения преступности в Америке необычайно красноречивы. Они свидетельствуют о постоянном ее росте, далеко обгоняющем прирост населения, и об убыстрении темпов роста. В этом убеждает сравнение по трехлетиям данных за десятилетие 1960—1970 годов, а затем этих данных — с данными о приросте населения за эти же периоды.

По сравнению	Рост преступности в %/о/о	Прирост населения в %/о/о
1962 с 1960	10	3,3
1965 с 1963	20	2,7
1968 с 1966	40	3,1

Как видно, за период 1960—1968 годов преступность в США колоссально выросла. При этом разрыв между показателями роста преступности и прироста населения становится все более драматическим. Если в первом трехлетии он был трехкратным и во втором — восьмикратным, то за последний трехлетний период он стал почти тринадцатикратным. За 1960—1970 годы преступность в США выросла на 176 процентов — иными словами, почти утроилась, в то время как прирост населения составил всего лишь примерно 14 процентов.

Мы охотно ограничились бы этими цифрами и на время оставили бы статистику в покое, если бы не одно загадочное обстоятельство, обнаружившееся в 1969 году: впервые за весь интересующий нас период темпы роста преступности в США неожиданно замедлились. Если сравнивать этот год с предыдущим, а предыдущий — с 1967 годом, то получается: все серьезные преступления — 12 и 17 процентов, в том числе насильственные — 11 и 19 процентов, а в числе этих последних разбой — 14 и 30 процентов. По имеющимся данным, такое замедление отмечается и в 1970 году⁸.

Существенное отклонение от устойчивой тенденции не бывает случайным и в качестве такового требует объяснения.

В заявлении, сделанном в связи с опубликованием ФБРовского отчета за 1969 год, министр юстиции Митчелл назвал снижение темпа роста преступности «обнадеживающим» и, как и следовало ожидать, связал его с «крутыми мерами», принятыми республиканской администрацией в борьбе с этим явлением⁹.

Как пример политической спекуляции это заявление не лучше и не хуже иных подобных. Однако «по всем другим статьям» оно никак не может быть принято всерьез. Во-первых, до конца 1970 года, когда конгресс принял некоторые из законов, предложенных Никсоном, происходили главным образом разговоры о «крутых мерах», а самих этих мер не было и не могло быть. Во-вторых — и это главное — опытный юрист Митчелл не может не знать, что преступность очень туго поддается воздействию даже самых эффективных административных мер, и в данной области не только внезапные «взлеты», но и быстрые «падения» либо происходят только на бумаге, либо объясняются иными причинами.

Какими же, однако, если брать данный случай? Мы помним: преступность есть реакция на ненормальные условия и ее рост свидетельствует об ухудшении ситуации. Казалось бы, сама логика подсказывает нам простое решение: нормализация, улучшение...

Предпочитая делить решения не на простые и сложные, а на правильные и неправильные, мы вернемся к этой задаче через некоторое время: чтобы решить ее, нам понадобятся дополнительные данные — снова цифры и некоторые наблюдения.

⁸ International Herald Tribune, Sept. 1, 1971, p. 1.

⁹ U.S. News and World Report, July 7, 1969, p. 4.

Пока же мы должны — теперь мы можем сделать это на значительно более солидной основе — вернуться к началу наших размышлений. Мы сказали там, что преступность есть проявление и показатель социального неблагополучия. Но вот вопрос: в чем оно заключается? И знает ли читатель, что вся криминология, по сути дела, представляет собой «большую попытку» объяснить, в чем это неблагополучие состоит?

Вездесущие в Америке институты общественного мнения не раз ставили этот вопрос перед «репрезентативным американцем». Сразу же скажем, что научная ценность его ответов сомнительна. Они представляют интерес скорее с точки зрения изучения особенностей обывательского мышления — эмоциональной скоропалительности и готовности принимать видимость за сущность. И все же...

В 1964 году большая часть опрошенных институтом Харриса людей относилась к росту преступности на счет «неуравновешенных и беспокойных подростков». В 1965 году, по данным института Гэллага, большинство опрошенных проявляло склонность объяснять рост преступности преимущественно «моральными», а не «социальными» причинами. Более половины ответов включали в себя упоминания об условиях семейного воспитания или о недостаточном руководстве со стороны родителей. В качестве дополнительных указывались такие обстоятельства, как «чрезмерные ожидания» или — популярная в Америке формула — «люди хотят получить, ничего не давая» («people want something for nothing»). Объективные условия, такие, как «безработица», «нищета», «демографический взрыв», упоминались сравнительно редко¹⁰.

Иную картину показал опрос, проведенный институтом Харриса в марте 1968 года. В то время 39 процентов американцев, размышляя о преступности, пришли к выводу, что в современной Америке что-то «глубоко неправильно» («deeply wrong»). Результаты этого опроса не успели опубликовать — события развивались слишком быстро. В середине июня, то есть уже после убийства сенатора Р. Кеннеди, число таких встревоженных американцев поднялось до 66 процентов. Руководитель института Харрис назвал эту цифру «ошеломляющей». Ее расшифровка дала интересные результаты, в известной мере характеризующие теперь уже «социальную ориентацию» опрошенных. 75 процентов «встревоженных» выразили глубокое беспокойство по поводу того, что лица, выдвигающие свои кандидатуры на видные общественные должности, подвергают опасности свою жизнь; 82 процента заявили, что на улицах слишком много преступников; 53 процента считали, что законность во многих отношениях рухнула; 77 процентов выразили мнение, что за последние пять лет режим законности в стране ослабел; и наконец, 90 процентов пришли к выводу, что больше, чем чего-либо другого, они хотят, чтобы разгулу насилия в стране был положен конец¹¹.

Как видно, порождаемая преступностью паника приводит не только к тому, что с наступлением темноты люди боятся выходить на улицу и сидят дома за закрытыми дверями, оборудованными хитроумной сигнализацией. Надежно заперев двери и проверив исправность сигнализационных устройств, американец, естественно, нередко задумывается над тем, «что же все это значит». Опросы показывают, что тревога и страх рождают у него невеселые мысли и обобщения. Мы видели, что эти обобщения приобретают все более «обобщенный и обобщающий» характер. По сути дела, задача заключается в том, чтобы продвинуться дальше по этому пути, преодолевая возникающие одно за другим «почему» и вместе с ними всякого рода видимости, добраться до природы вещей. В чем же заключается она, эта противоестественная «природа»?

Самое простое — как говорится, без затей — назвать ее капитализмом. Это тем более соблазнительно, что такой ответ в общем виде безусловно правилен. Но вот беда: если бы дело было только в этом, то такая же, как и в США, картина преступности обязательно наблюдалась бы и в других странах капита-

¹⁰ The Challenge of Crime in a Free Society, President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice, Wash., 1967, p. 49—50.

¹¹ The Federal Probation, October, 1968, p. 9.

лизма. Но этого не происходит. Более того: по признанию самого Никсона, европейцы с ужасом наблюдают то, что в этой области происходит в Америке¹².

При сопоставлении того, к чему европейцы привыкли у себя дома, с тем, к чему они никак не могут привыкнуть в Соединенных Штатах, у них и в самом деле могут возникнуть острые ощущения. Если сравнить (не абсолютные цифры, конечно: в виду различий в численности населения они нам ничего не дадут) так называемые «коэффициенты преступности» (число преступлений данного вида, приходящееся на каждые сто тысяч населения), то видно, что, например, в 1966 году в США было совершено больше, чем в Англии¹³: умышленных убийств — в 18 раз, изнасилований — в 12 раз, разбоев — в 10 раз, нападений с целью причинения телесных повреждений — в 25,6 раза и т. д. Интересно — и поучительно — сопоставить также американские и другие коэффициенты по такому криминологически «выразительному» виду убийства, каким является убийство из огнестрельного оружия. Американский коэффициент здесь превышает канадский в 7, французский в 12, бельгийский в 17,5 и английский в 35 раз!¹⁴

Видимо, из всех капиталистических «образов жизни» особой криминогенностью отличается именно американский. В чем причина? И каков «механизм» связи между этим «образом» и, по-видимому, одним из его «подобий» — американской преступностью?

Нередко указывают как на приводной ремень от капитализма к преступности на такие явления, как нищета или безработица.

На первый (а может быть, даже на второй и на третий) взгляд такое объяснение весьма правдоподобно.

Часто, и правильно, говорят, что проблема преступности — это городская проблема. Пожалуй, для США это особенно верно. В американских городах с населением более 250 тысяч человек разбойные нападения происходят в 10 раз чаще, чем в их же пригородах, и в 35 раз чаще, чем в окружающей города сельской местности.

Более того, если присмотреться к городской действительности поближе, то легко разглядеть, что то, что именуется городской преступностью, на самом деле есть преступность беднейших районов больших городов. Это те районы, в которых тысячи людей живут до предела скученно и в нищете. В этих районах детская смертность в четыре раза превышает средний городской показатель, средняя продолжительность жизни — на семь лет меньше, а случаев замедленного психического развития — в восемь раз больше, чем в среднем среди городского населения. Средний доход на душу населения здесь равен 60 процентам показателя для города в целом, безработица выше в четыре раза, и люди заняты преимущественно неквалифицированным трудом в сфере «личных услуг» — они работают в качестве прислуги, дворниками, мойщиками автомобилей. Продолжительность формального образования на четыре года меньше, чем в среднем для городского населения, при огромном сверх того различии со стороны качества образования и организации учебного процесса. Дома и квартиры здесь ветхие, наиболее плотно заселенные, находящиеся в состоянии, представляющем опасность для жизни и здоровья. На живущее здесь население, составляющее от 10 до 20 процентов населения города, приходится $\frac{2}{3}$ всех производимых полицией арестов и $\frac{3}{4}$ всех совершаемых в городе преступлений. Стоимость содержания и «присутствия» полиции на душу населения в этих районах — в несколько раз выше, чем в «новых районах» города. Жизнь здесь — тревожная, она регулируется своими собственными законами. Живущие здесь люди обычно не в состоянии добиться осуществления своих прав, закон для них часто не защита, а враг. Полиция здесь — обычно чужеродная и враждебная сила, она испытывает страх

¹² Nixon on the Issues, N. Y., 1968, p. 5.

¹³ Ввиду сходства правовых систем сравнение американских данных с английскими дает наиболее убедительные результаты. Английский источник — Criminal Statistics England and Wales, London, 1966, p. 1—4.

¹⁴ Demographic Yearbook, 15th issue, U. N. Publication, N. Y., 1963, pp. 594—611.

перед теми, кого она призвана обслуживать. О подавляющем большинстве совершенных преступлений ее даже не ставят в известность.

Казалось бы, при таком положении вещей вопрос о линейной корреляции между бедностью и преступностью решается положительно и при этом — легко и убедительно, почти что «сам собой». А из этого решения, опять-таки «само собой», следует и другое: чем больше бедность и чем больше бедности, тем хуже обстоят дела с преступностью.

Спору нет: бедность, безработица и тому подобные явления определенным образом взаимодействуют с преступностью. Сложность положения заключается, однако, в том, что линейной корреляции между ними, по-видимому, нет. «Бедность как таковая и сопутствующее ей ограничение возможностей, — пишет известный американский социолог Р. Мертон, — сами по себе недостаточны для того, чтобы обусловить заметное повышение коэффициента преступного поведения»¹⁵. Он считает, что бедность — не изолированная переменная, она включена в комплекс взаимозависимых переменных социального и культурного характера.

В самом деле. Если бы предположение о прямой связи между преступностью и бедностью соответствовало фактам, уровень преступности в бедных странах был бы выше, чем в богатых, и экономический рост везде сопровождался бы снижением преступности. Однако такого соответствия в жизни не происходит.

В первом случае к таким «не соответствующим» фактам относятся коэффициенты преступности в Индии с ее невысоким «жизненным стандартом» и — чтобы сравнить сравнимое — в сельских районах США. Данные показывают, что даже в начале 50-х годов, когда американские показатели были значительно ниже нынешних, в сельской местности США совершалось больше, чем в Индии: убийств — в 1,5, изнасилований — в 2,5 раза, разбойных нападений — в 6 и краж — в 7 раз¹⁶.

Во втором — в периоды социальных бедствий статистика регистрирует падение преступности и ее рост в периоды процветания. По имеющимся данным, преступность резко возросла после первой мировой войны и в период экономического подъема 20-х годов и пережила не менее резкое падение в период депрессии, начавшейся в 1929 году. В этот период, за время с 1929 по 1932 год, валовой национальный продукт упал с 157,8 до 113,6 миллиарда долларов, тогда как безработица увеличилась с 1,55 до 12,1 миллиона человек¹⁷. В период второй мировой войны уровень преступности вновь понизился. Графически это выражается в том, что в период 1933—1941 годов коэффициенты преступлений против собственности и против личности, почти повторяя друг друга, хотя и на разных уровнях, все время падают (первый — от 6,5 до 2,5, второй — от 1,6 до 0,9), а затем, после недолгого периода колебаний на одном уровне с заметными флуктуациями вниз, начинают стремительно расти (первый — до 17, второй — до 4,0 в 1968 году)¹⁸. Отмеченное выше замедление темпов прироста преступности в 1969 и 1970 годах отражает ту же самую очевидную и в то же время до конца не разгаданную закономерность: оба эти года отмечены признаками серьезного кризиса. США, подчеркнул товарищ Л. И. Брежнев в Отчетном докладе ЦК КПСС XXIV съезду КПСС, «вот уже около двух лет не могут выкарабкаться из очередного экономического кризиса»¹⁹. Что касается социологического обобщения указанной закономерности, то американские специалисты формулируют его следующим многозначительным образом: «Коэффициенты преступности, как и женские юбки, ползут вверх в периоды процветания»²⁰. Не менее образно эту закономер-

¹⁵ «Социология преступности (Современные буржуазные теории)». М. 1966, стр. 311.

¹⁶ P. K. Kawalia. A Study on Indian Crime, Bombay, 1959, p. 22—23.

¹⁷ John Fenneth Galbraith. The Affluent Society, N. Y., 1958, pp. 97—98.

¹⁸ Violence in America: Historical and Comparative Perspectives, 1969, Vol. II, p. 377.

¹⁹ Л. И. Брежнев. Отчетный доклад ЦК КПСС XXIV съезду КПСС. М. 1971, стр. 17.

²⁰ Violence in America..., vol. II, p. 376.

ность определяет известный американский экономист профессор Дж. К. Гелбрейт: «Чем больше богатство, тем гуще грязь»²¹. Если эти соображения верны, они могут послужить основой интересной рекомендации тем, кому об этом надлежит думать: приводя показатели роста преступности в США, помнить, что они не являются показателями понижения жизненного стандарта.

Таким образом, мы вновь возвращаемся все к тому же вопросу: в чем заключается «социальное неблагополучие», демонстрируемое высоким уровнем и быстрым ростом преступности в США?

Было бы в высшей степени наивно искать полноценный ответ на этот вопрос в буржуазной литературе. Границы буржуазной науки определяются границами буржуазной структуры, и за пределами этих последних она перестает быть сама собой. Это в полной мере относится к самым что ни на есть «либеральным» или «радикальным» буржуазным теориям. Их цель неизменна — не столько разоблачение, сколько апологизирование капитализма. Положение не меняется и тогда, когда буржуазные теоретики, как это делают, например, видные американские криминологи Барнз и Титерз, видят в преступности порождение «мрачного царства финансового капитализма»²². Они и в этих случаях далеки от революционных выводов, потому что вместо них в их головах — иллюзия какого-то другого, не финансового, а, скажем, «народного» капитализма или чего-нибудь в этом роде. В условиях современной научно-технической революции это может быть «индустриальное», или «новое индустриальное», или «технологическое», или «техно-электронное» общество, в котором происходит всеобщий рост изобилия, увеличивается досуг, «гармонизируются» классовые отношения и «затухает» классовая борьба. Буржуазная мысль никогда не выходит за пределы того, что Дж. К. Гелбрейт саркастически — и очень удачно — называет «удобной мудростью» («conventional wisdom»). «Удобная мудрость», — пишет он, — существует на всех уровнях изоциентности. В общественных науках на самом высоком уровне учености некоторая новизна формулировки или определения не вызывает возражений. Напротив, очень ценится умение выразить старую мысль в новой форме и весьма приветствуются малые ереси. И сама горячность дискуссии по второстепенным вопросам дает возможность исключить как не относящееся к делу и без риска показаться отставшим от науки или провинциальным любое покушение на структуру как таковую»²³.

Слов нет, сказано хорошо, особенно если учесть, что сам профессор Гелбрейт является создателем немалого числа разноразмерных ересей такого рода. Буржуазии в ее нынешнем положении нужны пропагандисты, ересь — это уклонение всего лишь от догмата веры, но не от нее самой, и в том, что буржуазия сейчас готова терпеть в своем доме талантливых еретиков, есть своя хитрая политика.

В области социокриминологии эта политика иной раз оказывается обоюдоострой. Крупные ереси здесь, оставаясь, конечно, «буржуазной точкой зрения», все же подчас дают «приблизительно правдивую картину»²⁴ действительного положения вещей.

Не стремясь (стремясь не) обнаружить всю картину целиком, они порой поднимают краешек занавеса над ее деталями и демонстрируют их, как говорится, «на ходу». Это в той или иной мере относится ко многим более или менее реалистическим попыткам американских исследователей связать преступность с явлениями, органически присущими капитализму США и усиливающимися вместе с его развитием. Одной из интересных попыток такого рода является использование для объяснения преступности концепции так называемой аномии²⁵.

²¹ John Kenneth Galbraith, цит. раб., стр. 201.

²² H. E. Barnes and N. K. Teeters, *New Horizons in Criminology*, 1947, p. 21.

²³ John Kenneth Galbraith, цит. раб., стр. 19 (подчеркнуто нами.— Б. Н.).

²⁴ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 27, стр. 344.

²⁵ *Anomie* (греч., франц.) — состояние общества, в котором стандарты поведения и вера слабы или отсутствуют.

В соответствии с этой концепцией, одним из видных представителей которой является упоминавшийся выше профессор Р. Мертон²⁶, каждая социальная и культурная структура включает в свою «схему группового существования» определенные цели и определенные средства их достижения. Речь идет здесь не просто об индивидуально избранных, а о социально, то есть большинством данного общества апробированных, «институционных» целях и средствах. Институционность целей выражается в том, что к их достижению стремятся практически все, ввиду чего их достижение, например достижение богатства, признается своего рода «всеобщим стандартом успеха». Институционность средств выражается в том, что «большое общество» через законодателя признает их законными или само санкционирует их морально.

В зависимости от отношения различных групп к институционным целям и средствам различна и степень «интеграции общества».

Оптимальная интеграция общества имеет место в случае, когда типичным является достижение институционных целей институционными средствами. Р. Мертон утверждает, что именно это соотношение, которое он называет «конформизмом», «наиболее» обычно и широко распространено». Он основывает этот вывод на том простом факте, что общество существует. Если бы не конформизм, рассуждает он, не могло бы быть и речи о поддержании стабильности и преемственности общества.

Соображения аномистов о различных формах адаптации людей к условиям «группового существования» можно для наглядности придать табличную форму. Конформизму как форме адаптации в графе «цели» и в графе «средства» таблицы будут соответствовать плюсики, означающие «принятие». Вот так:

Адаптация	Цели	Средства
Конформизм	+	+

Социо-, психо- и просто логической противоположностью конформизма является, очевидно, такая адаптация, при которой во второй и третьей графах будут значиться минусы. При такой адаптации, которую аномисты именуют «ретритизмом» (бегство, отступление, уход: в наркоманию, алкоголизм, «хиппизм»), отвергается все апробированное — и цели и средства. Это может показаться тавтологичным: если отвергаются институционные цели, тем самым, казалось бы, отвергаются и средства и их достижения. Но аномисты рассуждают иначе. Институционная цель, утверждают они, может быть потеряна из виду, дискредитирована, забыта. Однако люди по инерции, по привычке, для самоутешения или «на всякий случай» нередко продолжают совершать действия, которые когда-то выражали стремление к этой цели: они ходят в церковь, хотя уже не верят в бога, или повторяют лозунги движения, утратившего цель и поэтому никуда не движущегося. Эта форма адаптации именуется «ритуализмом». Итак:

Адаптация	Цели	Средства
Ретритизм	—	—
Ритуализм	—	+

В этой табличке мы находим форму адаптации, при которой с минусом соседствует плюс. Однако последовательность этих знаков не безразлична. При «ритуализме» за минусом в «целях» следует в «средствах» плюс. А что произойдет, если их переставить местами? «Ритуализм», очевидно, исчезнет. Что же останется?

²⁶ Роберт К. Мертон. Социальная структура и аномия, в кн. «Социология преступности (Современные буржуазные теории)». М. 1966, стр. 299 и след. В дальнейшем изложении выдержки из этой статьи приводятся без указания источника.

Адаптацию, определяемую плюсом в «целях» и минусом в «средствах», анимисты именуют «инновацией».

Вот как она выглядит:

Адаптация	Цели	Средства
Инновация	+	-

При «инновации» лицо, принимая институционные цели, обнаруживает, однако, что оно не может достигнуть их институционными — законными, моральными — средствами. В этом пункте в аномической схеме появляется американская преступность.

Накоплению богатства в качестве институционной цели в Америке придается чрезвычайное значение — большее, чем где бы то ни было. В то же время реальное продвижение в сторону этой цели по «институционным» каналам весьма затруднено здесь для всех тех многих, «кому мешает недостаточное формальное образование и скудные экономические ресурсы». В результате законные, но неэффективные средства достижения цели постепенно вытесняются незаконными, но более или менее эффективными средствами аморального и преступного характера. Обман, коррупция, аморальность, преступность, пишет профессор Р. Мертон, короче говоря, весь набор запрещенных средств становится все более обычным, когда значение, придаваемое цели достижения успеха, стимулируемой данной культурой, расходится с координированным институционным значением средств. Если в обществе, которое признает и провозглашает «стандартом успеха» одно только экономическое процветание и социальное продвижение и объявляет этот стандарт достижимым для всех своих членов, фактически каналы вертикальной мобильности закрыты или сужены, Аль Капоне воплощает триумф безнравственного интеллекта над предписанными нормами морали «банкротством». Когда социальное поведение оценивается «технически», то есть исключительно или преимущественно в терминах результата, безотносительно к характеру употребленных для его достижения средств, общество дезинтегрируется, возникает «аномическое перерождение» его социальной ткани.

Этот процесс на наших глазах развивается в Америке вглубь и вширь. Понятная причина этого — классовая структура быстро становится здесь все более жесткой. Стереотипу: «Каждый посылный может стать президентом», — когда-то более или менее согласовавшемуся с фактами, пришла на смену трагикомическая формула: «Мой старик говорит, что не каждый может быть президентом. Он говорит, что найти постоянную работу на три дня в неделю тоже неплохо». Если старый стереотип еще продолжает существовать, то лишь потому, что он может еще выполнять полезную роль для сохранения status quo. В той мере, в какой он принимается массами, он играет роль приманки для тех, кто, не будь этой утешительной надежды, «мог бы взбунтоваться против всей существующей структуры».

Итак, если говорить о «нормальной реакции» этого типа, «инновационное» антисоциальное поведение приобретает значительные масштабы тогда, когда «система культурных ценностей» превышает всего превозносит определенные «символы успеха», объявляемые общими для всех, в то время как социальная структура жестко ограничивает или полностью исключает для большей части тех же людей доступ к институционным средствам овладения этими символами. «Иными словами, наша идеология равенства по сути дела опровергается существованием групп и индивидуумов, не участвующих в конкуренции для достижения денежного успеха». Вопреки официальной идеологии, в соответствии с которой классовые различия перекрываются институционными целями, в действительности социальная организация обуславливает существование этих различий в степени доступности этих общих для всех символов успеха. Отсюда — массовые и все более массовые поиски путей для овладения доминирующими ценностями с помощью незаконных, преступных средств.

Недостатки аномической теории бросаются в глаза. Нельзя в одно и то же время утверждать, что нормой психологически-поведенческой реакции большинства членов американского общества является «конформизм» и вместе с тем что в сегодняшней Америке доступ к институциональным средствам ограничен или закрыт для большинства населения. Приведенные выше данные и подсчеты свидетельствуют скорее о том, что второе положение отражает действительность точнее и что по логике самих фактов «конформизм» едва ли может занимать в сегодняшней Америке крепкие позиции.

Однако важнее другое. Описываемые аномистами формы адаптации — это всего лишь результат некоторой более глубокой причины. Почему, принимая институциональные цели, одни становятся на путь «конформизма», тогда как другие избирают «инновацию»? Почему, отвергая эти цели, одни впадают в «ритуализм», в то время как другие ищут спасения в «ретретизме»? Одно из двух: либо все дело здесь в биологическом предрасположении тех и других, чего никому до сих пор не удалось сколько-нибудь убедительно доказать, либо причина содержится в различной ценностной ориентации представителей различных социальных групп, коренящейся в особенностях их экономического и политического существования. Устойчивый и быстрый рост преступности в США на протяжении ряда десятилетий сам по себе убедительно свидетельствует в пользу второго решения.

Другой — теперь уже политический и поэтому роковой — порок теории аномии заключается в том, что при всей своем видимом радикализме она — всего лишь «крупная ересь». Соображения о том, что классовая структура американского общества становится в наши дни все более жесткой, Р. Мертон не только не связывает с особенностями монополистического этапа развития капитализма, но старается не развивать их в этом рискованном направлении. В качестве одной из форм адаптации он упоминает о «мятеже» и говорит о нем неохотно и коротко. «Мятеж» — это не только отказ от институциональных средств и целей, но и замена их «новыми целями и стандартами». На таблице:

Адаптация	Цели	Средства
Мятеж	— +	— +

Мятеж происходит тогда, когда освобождение от господствующих стандартов ведет к попытке осуществить «радикальное изменение социального устройства», ввести «новый социальный порядок» (беря эти слова в кавычки, Мертон явно не хочет, чтобы их принимали всерьез). Эта — по Мертону «переходная» — реакция стремится институционализировать новые способы, ориентированные на достижение обновленных целей культуры.

Нужно ли доказывать, что даже на уровне буржуазной социологии абсурдно видеть в революционной деятельности, как это делают аномисты, своего рода альтернативу антисоциального поведения, пронстекающую из той же самой «структурной непоследовательности»? Помимо всего прочего, «новый социальный порядок» появляется не потому, что «массы» решили отказаться от «старых» институциональных целей и средств и заменить их новыми; для этого нужен ряд других объективных и субъективных факторов.

Но и в этом окарикатуренном виде «мятеж» не вдохновляет профессора Мертона на научный поиск. Дело в том, что «мятежная реакция» включает в себя усилия, направленные на изменение существующей структуры, а не на приспособление в ее рамках, и, как пишет Р. Мертон, «требует рассмотрения дополнительных проблем, не интересующих нас в данном случае». В этом отсутствии любознательности есть своя политика: «структура как таковая» остается непотревоженной.

Само собой разумеется, американские специалисты критикуют аномическую концепцию не за эти ее недостатки. Они обращают внимание на то, что она не объясняет ни массовой «беловоротничковой» преступности (деловых людей в ходе их профессиональной деятельности), ни насильственных преступлений. Действи-

тельно, в первом случае субъекты тем или иным путем уже достигли материального стандарта и не переживают «мучительного разрыва» между желаниями и возможностями, тогда как во втором достижение этого стандарта не является ни мотивом, ни целью преступной деятельности.

Однако на самом деле это не так. Когда преобладающим мотивом деятельности становится «greed, not need» («алчность, а не нужда») ²⁷, речь идет не о желаниях, которые, не удовлетворенные сегодня, могут быть завтра удовлетворены и перестанут существовать вместе со всем, что связано с ними. Если мерилом престижа является богатство, «желание иметь больше, чем другие, становится самодовлеющим. Оно порождает стремление приобретать, быть может еще более сильное, чем порождаемое потребностями, которые, как предполагается, это приобретение удовлетворяет» ²⁸. Отсюда, преступность в США и на беловоротничковом уровне — это нечто вроде одного из результатов все ускорившейся погони за собственным хвостом, постоянно возобновляющегося конфликта, неразрешимого в порождающих его условиях, неразрывно связанных с капитализмом на современной стадии его развития в США. По-видимому, в этом и причина парадокса, о котором шла речь: социальные бедствия, подобные депрессии конца 20-х годов или мировой войне, придавливают преступность к земле потому, что в обстановке и психологической атмосфере экономического кризиса или военной напряженности психоз приобретательства и связанные с ним явления для большинства отодвигаются на второй, третий или на десятый план. На передний край сознания и чувств людей в большей мере, чем обычно, выступают «первоначальные», если так можно сказать — подлинные, переживания: острая тревога за завтрашний день, за судьбу близких, боль утраты сыновей и отцов, ощущение прямой прикосновенности ко всему, что происходит в «большом мире». В этих условиях большому числу людей — не до приобретательства, не до желания опередить в этом другого или других. Собственность разъединяет людей, и в условиях разъединенного собственнической психологией буржуазного общества временно объединить их может ощущение угрозы или наступившая беда. Напротив, в пору относительного благополучия «нищета среди изобилия» (и в этом контексте она и в самом деле высокочриминогенна) ощущается, осознается и переживается особенно остро, и обездоленные люди, не понимая действительных причин своего положения и видя, что они не могут преодолеть эту невыносимую ситуацию средствами, разрешаемыми буржуазным правом, обращаются к насилию и обману. Массовый характер такой реакции на «ненормальные условия» нетрудно понять: уже после первой мировой войны В. И. Ленин называл США «одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой» ²⁹.

Что касается насильственных преступлений, то «можно полагать, — замечает английский криминолог Н. Уокер, — что те, кто не проявляет ортодоксальности при выборе средств для достижения одной цели, например материальной выгоды, проявит ее, когда речь будет идти о другой...» ³⁰. Г'орыстная преступность — всего лишь вид преступности. Между тем анонимисты в любой преступности видят одну из форм «инновационной адаптации», усматривая эту последнюю всюду, где «способ, наиболее практичный с технической точки зрения, независимо от того, законен он или нет, получает предпочтение перед институционно предписанным поведением». Не случайно во внутреннем плане Р. Мертон иллюстрирует свои рассуждения ссылкой на пример Аль Капоне, тогда как во внешнем напоминает о том, что получается, когда «акцент на национальном могуществе не сочетается должным образом с удовлетворительной

²⁷ Эта формула введена в оборот видными американскими криминологами Барнзом и Титерзом, авторами фундаментального труда «Новые горизонты в криминологии» (выше, стр. 171).

²⁸ James S. Duesenberry. Income, Saving and the Theory of Consumer Behavior, Cambridge, 1949, p. 28.

²⁹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 37, стр. 49.

³⁰ Nigel Walker. Crime and Punishment in Britain, Edinburgh, 1966, p. 101.

организацией законных, то есть определенных и принятых в международном масштабе средств достижения этой цели». В результате — тенденция к аннулированию международного права, к тому, чтобы рассматривать договоры как лоскут бумаги, использовать «необъявленную войну как техническую уловку и находить рациональное обоснование для бомбардировки гражданского населения».

Трудно поверить, что это написано задолго до начала американской агрессии во Вьетнаме. Трудно поверить, что это написано тем самым ученым, который не решился заняться рассмотрением «дополнительной проблемы» мятежа против «институциональных целей и средств». Ведь при всей жеманной уклончивости формулировок профессора Мертон, который международный империалистический разбой преподносит как всего лишь выражение ненадлежащего сочетания «акцента на могуществе» с легальными средствами достижения этой цели, — логика фактов и его собственной теории волей-неволей приводит его к признанию того, что в структуре современного империалистического государства США на разных уровнях его функционирования происходит сплошной отход от правовых и моральных канонов буржуазной демократии.

Если в случаях, рассмотренных ранее, нарушителем «интеграции целей и средств» является отдельное лицо, стремящееся к достижению посредством нарушения закона своих личных целей и вследствие этого становящееся преступником, то на более высоком уровне нарушает эту интеграцию сама государственная власть, которая, не видя возможности достижения своих классовых целей в рамках существующего национального и международного правопорядка, стремится уничтожить эти рамки или раздвинуть их, сделать их менее стеснительными для себя. Профессор Р. Мертон мог бы назвать этот процесс «легализованной аномией». В переводе же на точный и общепонятный язык марксистско-ленинской теории это означает, что реакционное перерождение буржуазного государства в период империализма включает в себя и разрушение буржуазной законности. Неизбежность отказа буржуазии «от ею же созданной и для нее ставшей невыносимой законности»³¹ В. И. Ленин связывал с тем, что именно в период империализма «дело коснется основного и главного вопроса о сохранении буржуазной собственности»³².

В ранее описанных случаях «интеграция» восстанавливается путем наказания преступника. В случаях, которые интересуют нас теперь, империалистическое государство средствами законодательства и судебной практики устанавливает новую «интеграцию», менее или еще менее демократическую, чем существовавшая ранее.

Из целого ряда примеров, которые можно было бы привести на эту тему, мы используем лишь один, однако, пожалуй, один из наиболее выразительных. Речь идет о законодательном санкционировании электронного подслушивания.

Развитие науки за последние полвека привело, как известно, к широкому распространению подслушивания с помощью электронных устройств. Важными событиями в данной области явились микроминиатюризация этих устройств и изобретение магнитной записи. В настоящее время много говорят и пишут о возможностях, связанных с появлением микрофонов величиной с ноготь, передатчиков с папиросную коробку и т. п. Были продемонстрированы методы преобразования телефона в микрофон, передающий воспринятую речь на расстояние в сотни километров. Лазерный луч, пока что в лабораторных условиях, может «снять» с оконного стекла разговор, происходящий в помещении за окном. При определенных условиях с помощью микрофона направленного действия могут подслушиваться разговоры на большом расстоянии. Дальнейшее совершенствование техники и снижение расходов на ее использование через короткое время дадут органам буржуазного государства возможность регистрировать не только поведение, поступки и телодвижения людей в любой обстановке, но и все, что они говорят друг другу или вслух с самими собой на работе, в общественных местах, на прогулке в

³¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 16.

³² Там же, стр. 11.

поле или в лесу, в автомобиле, по телефону и дома за запертыми дверьми. Подчеркнем тройной чертой: если этого не произойдет, то в первую очередь по причинам политического порядка — ввиду наличия препятствий в законодательстве или в решениях Верховного суда США, который в 1957 году отказался санкционировать подслушивание телефонных переговоров в качестве способа собирания доказательств, или же в результате сопротивления этим тенденциям со стороны трудящихся или определенных групп правящего класса.

Электронное подслушивание на федеральном уровне было разрешено — конечно же, с рядом оговорок и «гарантий» — в 1968 году. Обсуждение законопроекта шло не гладко. Против него выступили многие. Разумеется, они не ограничивались соображениями о том, что подслушивать нехорошо, что это «дело грязное»³³ и что защищать электронный шпионаж значит становиться на безнравственную позицию «цель оправдывает средства». Они энергично настаивали на том, что законопроект противоречит Основному закону государства и ряду старых и новых решений Верховного суда США конституционного значения.

Сразу же обостряя проблему до ее практической крайности, необходимо подчеркнуть: полиции, вооруженной электронной техникой, бороться, скажем, с организованной преступностью легче, чем без помощи электронных устройств. Для противодействия высокоэффективным специализированным методам «Коза Ностра» полиция и в самом деле нуждается в большей свободе рук, чем та, которой она располагала до сих пор. Это объясняется в первую очередь тем, что в структуре преступного «синдиката» деятели верхнего эшелона в высокой степени изолированы не только от властей, но и от рядовых участников и «вольнонаемных», ввиду чего ссылка этих так называемых кнопок на то, что они «ничего не знают», нередко является вполне добросовестной. В случаях, когда они оказываются в той или иной степени «в курсе дела», они из страха перед безжалостной расправой предпочитают молчать. Даже если они соглашаются давать показания в полиции, они отказываются выступать в качестве свидетелей перед судом. Еще сложнее обстоит дело с вещественными доказательствами. Гангстерские сделки обычно имеют устный характер и заключаются, как правило, по телефону с использованием шифрованной «терминологии».

Другое отличие организованной преступности от обычной: полиция движется здесь не от ставшего ей известным преступления к неизвестному преступнику (метод Шерлока Холмса), а от известного ей преступника к конкретному преступлению, в связи с совершением которого его можно было бы упрятать за решетку. В этом случае она всегда в общих чертах знает, «кто есть кто и что и с кем этот «кто» затевает»³⁴. «Если копать достаточно долго, доказательства рано или поздно окажутся на поверхности»³⁵. «Копание» — это, так сказать, необходимый в этих случаях стратегический этап наблюдения, цель которого — установление вероятной вины или вероятной невиновности. После обнаружения доказательств такой вины наблюдение приобретает тактический характер. Его цель теперь — установить «достаточное основание» для ареста или обыска, выявить свидетелей, добыть признание вины, довести дело до суда, а преступника — до тюрьмы.

Как бы то ни было, при этих условиях похоже на то, что именно электронное вторжение дает полиции практическую возможность взять организованных гангстеров за горло. Об этом свидетельствует сама практика применения нового законодательства. В сообщении от 6 января 1971 года ФБР заявило, что на его основе в 1970 году было осуждено 468 участников организованной преступности. ФБР сообщило также, что дела по обвинению более 1200 лиц, «вовлеченных» в деятельность «синдиката», находятся в различных стадиях производства и что арестовано около 4500 гангстеров. Среди них несколько «боссов»: Гамбино из нью-йоркской организации, Ликата из Лос-Анджелеса, Чавелла из Канзас-сити.

³³ Судья Хоумс по делу *Olmstead v. United States*, 277 U.S. 438, 470 (1928).

³⁴ G. Robert Blakey. *Aspects of the Evidence Gathering Process in Organized Crime Cases*, «Task Force Report: Organized Crime», p. 92.

³⁵ Там же.

Такого размаха борьбы против организованной преступности не знала история США. Так, может быть, и в самом деле «давайте сделаем все, что от нас зависит, чтобы вооружить полицию такими законами, которые нужны ей»? ³⁶ Может быть, и в самом деле «лучший способ добиться того, чтобы полиция во многих местах «не ходила по газонам», это снять ограждения в других местах»? ³⁷

Тенденции такого рода не так давно получили точную оценку со стороны сенатора Харта. «...Публика все в большей мере склонна думать, — подчеркнул он в полемике с генеральным атторнеем Митчеллом в одной из сенатских подкомиссий, — что если то или иное судебное решение мешаает обвинительной власти или ограничивает ее, значит, это решение неправильно. Мы должны при каждом удобном случае напоминать независимо от того, нравится это публике или нет, что ограничение и сдерживание полиции было целью Билля о правах и что учреждением, ответственным за осуществление гарантий Билля о правах, является суд. Поэтому просто сказать, что то-то и то-то затрудняет работу полиции, это значит, в известном смысле, выдвинуть аргумент, за которым следует вопрос: «Ну и что?» — потому что именно это и было целью Билля о правах. Мне известно, что сейчас в обществе получает широкое распространение мнение, что все, что служит помехой полиции, неправильно. Между тем неправильно само это мнение, и руководители юстиции должны прямо заявить об этом» ³⁸.

Бывший министр юстиции Р. Кларк поступил именно таким образом: он «прямо заявил», что электронное подслушивание несовместимо с Биллем о правах. В этом пункте от «практических крайностей» мы закономерно переходим к политическим оценкам.

Гарантия 4-й поправки к Конституции США против «общих ордеров» не предоставляет производящему обыск лицу права решать, что именно подлежит изъятию. Обыск на предмет изъятия того, что обнаружится, противоречит Конституции ³⁹. Обыск должен начинаться с расчета на определенный предмет и заканчиваться, когда этот предмет обнаружен.

В отличие от всего этого подслушивание «неразборчиво». Подлежащие «изъятию» элементы перехватываемого сообщения не могут быть обозначены заранее хотя бы потому, что они неизвестны: пока нечто не сказано, нельзя знать, будет ли оно сказано вообще. Подслушивающее устройство фиксирует все сообщение, оно не отбирает одни только «виновные слова». Не только все прослушивается — прослушиваются все, кто входит в комнату или пользуется телефоном. Избирательно слушать нельзя, время для избирательности наступает позже, когда всё и все услышаны и уже произошло всеобщее нарушение охраняемой 4-й поправкой «прайвеси» ⁴⁰.

Из существа этой поправки следует и требование «открытости» обыска. Одним из элементов традиционного толкования 4-й поправки является вывод о том, что об обыске должно быть объявлено. Перед тем как войти в помещение, производящее обыск лицо должно сообщить о своих полномочиях и о цели своего «визита» ⁴¹. Тайное посещение помещения или его посещение с тайными целями незаконно ⁴².

При подслушивании все происходит наоборот. О том, что в телефонную линию включен подслушивающий аппарат, «заинтересованному лицу» не сообщается. Полицейский агент, устанавливающий подслушивающее устройство, делает это тайно, воровским способом. Чтобы быть эффективным, подслушивание должно быть тайным. Иными словами, чтобы быть эффективным, оно должно быть незаконным.

О злоупотреблениях американской полиции много писали, пишут и будут пи-

³⁶ Из речи президента Никсона в Дандоке 24 ноября 1970 года.

³⁷ J. Robert Blakey, цит. раб., стр. 100.

³⁸ Measures Relating to Organized Crime, Wash., 1969, p. 147.

³⁹ Lefkowitz v. United States, 285 U. S. 452 (1932).

⁴⁰ P r i v a c y — частная, личная жизнь лица.

⁴¹ § 3109 титула 18 Свода законов Соединенных Штатов.

⁴² Gouled v. United States, 255 U. S. 298 (1921).

сать. К этому вопросу через несколько минут вернемся и мы. Пока же уместно напомнить старое «правило о правилах». Поскольку простое правило выполнить легче, чем сложное, постольку полное запрещение подслушивания осуществимо легко; частичное же разрешение на практике оказывается всеобщим. Эта практика показывает, что, какие бы ограничения ни были «встроены» в законодательство, легализующее подслушивание, они не могут предупредить ни злоупотреблений, ни излишеств. «Усердие все превозмогает», и должностные лица, от которых зависит разрешение полиции осуществить «исключение из правила», никогда не отказывают ей в этом. Что касается самой полиции, то она всегда стремится «захватить побольше»: не дожидаясь, когда ее полностью «вооружат законами, которые ей нужны», она стремится расширить рамки исключения либо превратить исключение в правило.

«Все так, — может сказать неэмоциональный читатель, — все правильно. Но ведь «стремится» — это больше из области потенции и перспектив. Что же касается реальных результатов подслушивания...», то только что приведенные солидные цифры обезвреженных гангстеров говорят сами за себя. Они покажутся еще более убедительными, если вспомнить, что происходило в этой области до 1968 года. По свидетельству «самого» Дж. Э. Гувера, с 1919 года в районе Большого Чикаго было совершено более тысячи гангстерских убийств, из которых было раскрыто только 17; из более чем 50 таких убийств, совершенных за 1964—1968 годы в Большом Бостоне, было раскрыто 11⁴³.

Так может быть, нет надобности пытаться дать полицейскому подслушиванию однозначную оценку? Ведь само его использование неоднозначно, и одно дело, когда электронные приспособления употребляются для борьбы с гангстерами, и совсем другое — когда полиция устанавливает электронную слежку за оппозиционно настроенными элементами и активистами прогрессивных движений. Так может быть, полицейское подслушивание само по себе политически нейтрально и получает ту или иную окраску в зависимости от «способа употребления»? И наконец: если, как мы видели, 90 процентов американцев желают, больше чем чего-либо иного, чтобы власть положила конец разгулу насилия, может быть, ради этого стоит пойти на то, чтобы не все овцы были целы? Ведь заявил же недавно «один консервативный сенатский чиновник», что «если общество должно выбирать между гражданскими правами и безопасностью, оно предпочтет безопасность!»⁴⁴

Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что перед нами хрестоматийный пример использования правящими кругами Америки вызванной преступностью паники для достижения своих собственных политических целей, не имеющих к борьбе с преступностью никакого отношения. Именно ради этого они пытаются внедрить в сознание пресловутого «среднего американца» представление о том, что свобода и правосудие непременно противостоят эффективности и быстроте карательных мер. Главное же, однако, заключается здесь в том, что под завесой демагогической болтовни о необходимости такого выбора правительство вводит в правовой оборот «методы», имеющие в виду достижение отнюдь — и даже — не этих привлекательных целей.

Подобную демагогию надлежит рассматривать, как говорят американцы, «в контексте» функционирования механизма буржуазного правопорядка.

Буржуазная демократия не есть дар буржуазии народу. Сколько бы буржуазия ни старалась представить проводимые ею реформы как выражение и символ ее собственного великодушия и благоразумия, на самом деле они результат борьбы народных масс за свои интересы и права. Мера развития демократии в буржуазно-демократическом государстве определяется соотношением в нем классовых сил, и поэтому буржуазная демократия демократична в той мере, в какой этого могут добиться и добиваются трудящиеся. Величайшие ценности человеческой цивилизации — свобода и неприкосновенность личности, свобода совести и

⁴³ U. S. News and World Report, October 7, 1968, p. 62.

⁴⁴ «Newsweek», March 8, 1971, p. 24.

слова, равенство перед законом в обязанностях и правах — завоеваны народными массами в трудной многовековой борьбе. И тем, что эти ценности в какой-то мере продолжают существовать сегодня, когда в империалистических странах происходит «поворот от демократии к политической реакции»⁴⁵ и буржуазия пытается вырвать из рук пролетариата то самое оружие, которое она в свое время, когда нуждалась в его помощи для завоевания политического господства, не могла не дать ему⁴⁶, — трудящиеся обязаны только себе и никому больше.

Демократический правопорядок — нужно ли доказывать, что он принадлежит к числу этих ценностей? — предполагает определенность закрепленных правом общественных отношений. Чем — при прочих равных — выше эта определенность, тем более демократичен правопорядок. Это происходит потому, что в буржуазном государстве собственность господствует⁴⁷ в сфере не только имущественных отношений, но и отношений между властью и подвластными. В условиях законности она охраняет буржуазию от действия ее же собственных законов, а в условиях беззакония — от произвола власти. Кто же тогда нуждается здесь в защите со стороны закона? Если мы вспомним слова Энгельса: пролетариат «не может требовать, чтобы буржуазия перестала быть буржуазией, но он несомненно может требовать, чтобы она последовательно проводила свои собственные принципы»⁴⁸, то нам, должно быть, не столь уж парадоксальной покажется мысль о том, что в странах капитализма в правовых гарантиях нуждаются в первую очередь трудящиеся: ведь одним из принципов, начертанных на знамени буржуазии в ее борьбе против старых сословий, был принцип «прав человека». Именно поэтому в новой программе Коммунистической партии США выражается убеждение, что «при социализме свободы, провозглашенные Биллем о правах, обретут неизмеримо более глубокое содержание для подавляющего большинства народа...»⁴⁹. Совершенно очевидно, что расширение и углубление гарантий, сформулированных в 1791 году⁵⁰, выражает укрепление демократических институтов, тогда как отход от гарантий, чем бы он ни мотивировался, означает ослабление демократии. В это «чем бы он ни мотивировался», естественно, входят ссылки на необходимость экипировать американскую полицию электронными «кнопками»⁵¹ и правом на электронное подслушивание. Напомним: «ограничение и сдерживание полиции было целью Билля о правах».

Безопасность — отличная вещь, и ради нее и в самом деле можно пожертвовать многим. Но если в ситуации «или — или» предпочесть безопасность гражданским свободам, то безопасности, увы, не будет. Допустим на минуту, что освобожденная от стеснений со стороны закона полиция и в самом деле защитит среднего американца от преступников. Но угрюмый юмор положения заключается в том, что при этом уже не будет закона, который защитил бы среднего американца от самой американской полиции. И не на минуту. Надолго.

⁴⁵ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 30, стр. 93.

⁴⁶ См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 16, стр. 76.

⁴⁷ См. там же, т. 1, стр. 340.

⁴⁸ Там же, т. 16, стр. 76.

⁴⁹ Журнал «США: экономика, политика, идеология», 1971, № 2, стр. 93.

⁵⁰ Год принятия Билля о правах.

⁵¹ Здесь нами допущена вольность: по-английски «оборудовать помещение скрытыми микрофонами» выражается глаголом «to bug»; существительное «bug» означает «клоп».



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ДАНИИЛ ГРАНИН

★

СВЯЩЕННЫЙ ДАР

I

С годами меня все чаще тянет к пушкинским стихам, к пушкинской прозе. И к Пушкину как к человеку. Чем больше выкашшь в подробности его жизни, тем радостней становится от удивительного душевного здоровья, цельности его натуры.

Вот, очевидно, почему меня так задел один давний разговор, случайный летний разговор на берегу моря.

Мы гуляли с Н., одним из лучших наших физиков, и говорили об истории создания атомной бомбы, о трагедии Эйнштейна, подтолкнувшего создание бомбы и бессильно предотвратить Хиросиму.

— Злодейство всегда каким-то образом связано с гением, — сказал Н., — оно следует за ним, как Сальери за Моцартом.

— Как черный человек, — поправил кто-то.

— Нет, черный человек — это не злодейство, — сказал Н. — Это что-то другое — судьба, рок; Моцарт ведь исполняет заказ черного человека, он пишет реквием, он не боится... А я говорю о злодействе.

Он знал наизусть «Моцарта и Сальери». Он прочел нам последнюю сцену, и выяснилось, как все мы по-разному ее понимаем.

Что же, гений и злодейство — совместны или несовместны? Дал ли Пушкин окончательный ответ? А как он сам считал?

Среди нас были и филологи и историки, но все равно мы слушали не их, а Н. Несмотря на всю его самоуверенность, категоричность. Тощий и быстрый, он шагал впереди, размахивая руками. Цветные камешки пляжа летели из-под его подошв. Мы шли за ним и почтительно подбирали его фразы. Ощущение необычности исходило от него. Трудно даже объяснить, в чем тут дело. Может быть, в том, что он единственный, кто имел право судить о гениях.

Молодые физики в загретых джинсах жаждали самоутверждения. Они требовали определить, что такое гений.

— В естественных науках, — сказал Н., — это человек, умеющий видеть мир не много иным. Тот же Эйнштейн. Он просто иначе взглянул на давно известные вещи.

Весьма просто. Соблазнительно просто. Но Н. знал Эйнштейна. И еще он знал, как делалась бомба. Слова его запомнились. Перечитывая «Моцарта и Сальери», я вспомнил тот случайный разговор. Моцарт и Пушкин соединились с Эйнштейном, Оппенгеймером, Ландау, Капицей. Хиросима соединилась с Сальери. Реквием Моцарта звучал над печами Освенцима.

— Но вот Ферми, великий Ферми, — сказал Н., — он, в сущности, не противился уничтожению Хиросимы.

— Ферми — это живой человек, — сказал кто-то из физиков, — а Сальери — идея.

Ему возразили. Я уже не помню точно фраз и не хочу сочинять диалог, спорили о том, кто Сальери для Пушкина. Противник, злодей, которого он ненавидит, разоблачает, как он делал, например, с Булгариным, или же это воплощение иного отношения

к искусству? Можно ли вообще в этом смысле связывать искусство и науку? А что, если для Пушкина Моцарт и Сальери — это Пушкин и Пушкин, то есть борение двух начал, и прочая, прочая?..

От этого случайного горячего спора осталось ощущение неожиданности. Неожиданным было, как много сложных проблем возбуждает маленькая пушкинская трагедия. И то, как много можно понять из нее о нравственных требованиях Пушкина, о его отношении к искусству...

Злодейство было для меня всегда очевидно и бесспорно. Злодейством был немецкий мотоциклист. В блестящей черной коже, в черном шлеме он мчался на черном мотоцикле по солнечному проселку. Мы лежали в кювете. Перед нами были теплые желтеющие поля, синее небо, вдали низкие берега нашей Луги, притихшая деревня, и оттуда неся грохочущий черный мотоцикл. Винтовка дрожала в моих руках... Разумеется, я не думал ни о Пушкине, ни о Сальери. Это пришло куда позже, тогда надо было стрелять.

...Особенно меня занимал конец, последние слова Сальери:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные. Неправда:
А Бонаротти? Или это сказка
Тупой, бессмысленной голпы — и не был
Убийцею создатель Ватикана?

Вопрос звучал безответно. Он досаждал, точно разговор, прерванный на самом важном месте.

Может, эта вещь не кончена? Но в примечаниях было сказано, что кончена 26 октября 1830 года, напечатана в 1832 году и даже поставлена в театре. И насчет Бонаротти там тоже пояснялось: оказывается, существовало предание, что, когда Микеланджело хотел натурально изобразить Христа, он не посовестился распять одного юношу и воспроизвести его мучения. Далее там было написано: «Отравленная душа Сальери безоглядно верит клевете. Еще бы — ему так нужен этот оправдывающий его пример. Он, как и Микеланджело в легенде, художник-убийца, убийца ради искусства. Здесь вернейший ключ к пониманию «Моцарта и Сальери» — этой глубочайшей трагедии зависти».

Итак, трагедия окончена, и имелся к ней ключ, но и этот ключ не помогал: совместны они — гений и злодейство?

Я возвращался к началу, я учился трудному искусству читать Пушкина. Просто-та его обманчива. Иногда мне казалось, что я нашел ответ, но всякий раз новые вопросы озадачивали меня.

Могут ли гении совершать злодеяния? Может ли злодей-убийца Сальери быть гением, оставаться гением? Оттого, что он отравитель, разве музыка его стала хуже? Что же, злодейство доказывает, что Сальери не гений? Но Микеланджело, бесспорно гений, мог ли он совершить убийство? Во имя искусства? Имеет на это право или оправдание гений? И опять: что такое гений?

Для каждого писателя Пушкин — удивительный пример нестареющего мастерства. Через эту маленькую трагедию хотелось хотя бы в какой-то мере понять этот секрет.

У Пушкина гений — Дельвиг: «Дельвиг милый... навек от нас утекший гений», Державин обладает порывами истинного гения. Для Пушкина гений сохраняет древний смысл души, ее творческую крылатость. Гений — не только степень таланта, но и свойство его — некое нравственное начало, добрый дух.

Слово «гений» для меня обычно было связано с великими созданиями, изобретениями, открытиями. Конечно, в законе относительности нет ничего ни нравственного, ни безнравственного. Наверное, тут следует разделить — открытие может быть гениальным, но гений не только само открытие. В пушкинском Моцарте гениальность его музыки соединена с личностью, с его добротой, доверчивостью, щедростью. Он готов восторгаться всем хорошим, что есть у Сальери. Он свободен от зависти. Он открыт и простодушен. Не потому, что он такой хороший, скорее потому, что он богат, ему

бы успеть раздать то, что он имеет, то, чем наделила его природа. Такие, как он, могут быть самолюбивы, тщеславны, мрачны,— но завидовать? Чему? Никто не может делать того, что делает он. Конечно, наиболее точно этому соответствует натура Моцарта.

Из всей галереи гениев человечества — ученых, поэтов, художников, мыслителей — Пушкин выбрал именно Моцарта. Выбор, проразительный своей безошибочностью, я бы сказал — единственностью. Слава Моцарта за последний век обрела особый характер, словно бы предугаданный Пушкиным. «Моцартианство» — ныне привычное определение гения, творящего легко и вдохновенно, обозначение «божественного дара», «вдохновения свыше». Гений Моцарта исключителен — он весь не труд, а озарение, он символ того таинственного наития, которое свободно, без усилия изливается абсолютным совершенством. До сих пор музыка Моцарта остается в этом смысле, может, наиболее загадочным созданием.

Моцарт наиболее чисто олицетворяет тот дар, который ненавиден Сальери.

Проще всего было объяснить ненависть завистью. О зависти твердит сам Сальери. Посредственность завидует гению, поэтому ненавидит гения и убивает его. Но Сальери-завистник не интересен ни Пушкину, ни нам. Зависть Сальери скрыта, он прячет ее от самого себя. И так искусно, что это и впрямь уже не зависть. Так ли уж важен для зависти вопрос о гении и злодействе? А ведь вопрос этот не риторический — это мука, ужас самого Сальери.

Если единственный ключ — зависть, то все легко отмыкается, внутри должно оказаться лишь злобное ничтожество, трус, боящийся правды о себе. Ну, пусть не трус, допустим, по-своему сильный, страстный, пусть даже великий в своем злодействе.

Но разве Сальери — лишь завистник? Он смолоду признает чужой гений, он учится у великих, преклоняется перед ними, понимая прошлые свои заблуждения.

...Когда великий Глюк
Явился и открыл нам новы тайны
(Глубокие, пленительные тайны),
Не бросил ли я все, что прежде знал,
Что так любил, чему так жарко верил,
И не пошел ли бодро вслед за ним
Взропотно, как тот, кто заблуждался
И встречным послан в сторону иную?

Подражание — еще не признак посредственности. Многие начинали с подражания Сальери был свободен от зависти, это помогало ему, и сейчас, зрелым мастером, он умеет наслаждаться трудами и успехами друзей. Слезы восторга вызывает у него музыка Моцарта.

Зависть всегда жаждет найти недостаток, чтобы обесценить противника. Зависти надо как-то оправдать себя. Это Фаддей Булгарин после доносов на Пушкина пишет в рецензии на седьмую главу «Онегина»: «Ни одной мысли в этой водянистой VII главе, ни одного чувствования, ни одной картины, достойной воззрения! Совершенное падение...»

Впрочем, и зависть Булгарина — не просто зависть бездарности к гению, и для нее есть свое объяснение. Булгарин и Сальери странным образом помогли мне понять один другого.

«Завистник, который мог освистать Дон Жуана,— пишет Пушкин,— мог отравить его творца».

Стоит попробовать точно определить чувства Сальери, и начинает действовать принцип неопределенности, как в физике. Частица оказывается волной. Она и частица, она и волна. Она здесь лишь в прошлом. Невозможно одновременно определить ее место и импульс.

Наступает момент, когда Сальери сам себя определяет как завистника, но как только это происходит, он уже другой.

Сальери велик не завистью. И не одна зависть им движет. Ибо он отнюдь не бесталанен. Жизнь Сальери — это подвиг. Жизнь его героична. Вопрос о гении и злодействе подвергает сомнению задачу, которую решал Сальери всю свою жизнь.

Может ли человек стать гением?..

Стать, достичь трудом, силой своего разума, того, что считается божественным даром? Сальери считал, что — да, может. Человек может все. Сальери верил во всепобеждающее могущество человеческой воли, цели, алгебры, науки...

Он родился «с любовью к искусству». Это не талант, в нем не было того, что заставляет с детства безотчетно творить, сочинять. Творчество у Сальери — не потребность, не способ самовыражения, осуществления себя, для него это скорее выбор профессии, цель, и идет он к ней расчетливо, последовательно:

...Труден первый шаг
И скучен первый путь. Преодолея
Я ранние невзгоды. Ремесло
Поставил я подножием искусству;
Я сделался ремесленник: перстам
Придал послушную, сухую беглость
И верность уху. Звуки умертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.
Я стал творить...

Он не желает покоряться извечному закону случая, капризу свыше. Почему провидение одних наделяет чудесными способностями, а других обездоливает? За что? Чем заслужили счастливицы этот подарок? Гениальность достается кому попало, отнюдь не достойным. Нет, не может быть оправданий такой несправедливости. Разве может быть справедливой лотерея, которую устраивает создатель? Даже не лотерея, а прихоть. Какая же правда в прихоти? Нет правды на земле, но правды нет и выше! Творец не прав, он свершает свой выбор не по законам справедливости, и Сальери восстает: он не желает смириться, он бросает вызов судьбе, провидению, богу, кому угодно.

Он восстановит справедливость сам, своими силами, своим трудом. Он достигнет!

Ему не нужна милость всевышнего. Раз правды нет нигде, то надеяться остается лишь на себя.

Им движет не честолюбие, а любовь к искусству, к музыке.

Во имя чего ему надо стать гением? Это другой вопрос. Когда-нибудь и этот вопрос возникнет перед ним. Но сейчас ему важно — как достичь. Сейчас его цель — достичь. Он добьется того, чем обделила его природа. И он добивается.

Усиленным, напряженным постоянством
Я наконец в искусстве безграничном
Достигнул степени высокой...

Жизнь его стала подвижнической. Он аскетически отрекся от всех радостей, подчинил все свои страсти, силы одной цели. Он жил ради одной, но пламенной страсти к музыке.

Молодость Сальери, зрелость, вся его жизнь возникла для меня как целеустремленная, в каком-то смысле идеальная прямая.

Таким представлялся мне идеал ученого. Настойчивость и ясное понимание, чего ты хочешь. Шлиман десятилетним мальчиком дает себе слово найти, откопать остатки древней Трои. И подчиняет всю свою жизнь этой задаче. Фарадей семь лет подряд пытался обнаружить, порождается ли магнетизмом электрический ток. Он не знал отвлечений от любимой, поставленной перед собой цели — «работать, заканчивать, опубликовать». Одержимость своей идеей — вот, как мне казалось, отличительная черта истинно великого ученого.

Сальери тоже одержим. Но идея у него особая — стать творцом. Способность творить ему не была дана, он добывал ее, вырабатывал...

Что-то величественное, даже героичное есть в этом противоборстве человека с Природой, с ее приговором. Может быть, это первый образ человека, не желающего подчиниться извечному закону неба.

Это не слепой бунт, это восстание Разума, вернее Расчета, Разума машинного, вооруженного алгеброй логики, железной рассудочностью, правилами.

...Звуки мертвив,
Музыку я разъял, как труп. Поверил
Я алгеброй гармонию. Тогда
Уже дерзнул, в науке искушенный,
Предаться неге творческой мечты.

Вполне современно. Так же как сегодня занимаются математическим анализом музыки, чтобы построить программу, следуя которой машина сможет сочинить музыку. Работают над этим не композиторы, а математики. Они пробуют учесть вдохновение, чувствительность гения, подробности жизни. Для этого вводится элемент случайности — «метод Монте-Карло». Они изучают правила, находят параметры, алгоритм синтеза. Подобно Сальери, они «поверяют алгеброй гармонию» тональной музыки Баха, Глюка, Гайдна, того же Моцарта, вырабатывают гармонический план и т. п.

Такие опыты проводят ныне во многих лабораториях. Но то математики, им интересно уточнить некоторые законы эвристики.

Сальери же ищет правила, по которым он сможет творить; это правила не арифметики, а алгебры, ему мало сочинять — ему нужно научиться создавать великое, то, что создают гении. Механизм гениального, своего рода философский камень; он ищет секрет, как делается божественная музыка.

В наше время, задавшись такой целью, он мог бы стать выдающимся кибернетиком. Законы Сальери, «лаборатория машинной музыки имени А. Сальери».

Но и композитором он стал выдающимся. Слава ему улыбнулась. Музыка его нашла признание. Я говорю о пушкинском Сальери. Напрасно его превратили в некий символ посредственности. Моцарт — гений, Сальери — посредственность, и вся трагедия — это столкновение гения с посредственностью. Если Сальери — посредственность, в чем же его трагедия? Тогда все становится уголовной историей одного убийства. Грубый контраст, система да — нет, черное — белое никогда не создают в искусстве характеров, тем более трагических.

Сальери — злодей, убийца, но Сальери и жертва своей любви к искусству. Зависть сплетена в его душе с любовью страстной, испуганной. Безжизненная логика иссушила его, но он страдает в этой пустыне.

Он добрался до вершин искусства, стал великим музыкантом. Обязан этим он исключительно себе, своему трудолюбию, требовательности, силе воли, если хотите, мужеству настоящего художника.

Нередко, просидев в безмолвной келье
Два, три дня, позабыв и сон и пищу,
Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рожденны,
Пылая, с легким дымом исчезали.

Когда Гоголь сжег вторую часть «Мертвых душ», то эта вторая, сожженная, часть подтвердила его гений. Она значила — и значит — в нашей литературе немало.

Сожженные труды Сальери — не доказательство его гения, но разве посредственность способна на такое? Меру наивысшую прикладывал Сальери к своим трудам. Цель, которую он поставил себе, была дерзновенной, и он шел к ней бескомпромиссно, не щадя себя.

Усилия его достойны восхищения, и результат их грандиозен. В глазах людей, для самого Моцарта, Сальери — избранник счастливый, гений, как и Моцарт. Сам Моцарт твердит в счастливые минуты мотив Сальери из «Тарара». Моцарт вовсе не думает льстить: упоминание об этом вырывается произвольно. Для окружающих Сальери — один из посвященных. Если бы они знали, что он сам сотворил себя, что это не самородок, а камень, превращенный в золото, не чудо, а наука, не дар, а труд. Кто знает, может быть, и впрямь Сальери имеет право на большее уважение, чем Моцарт, которому гениальность досталась даром?

II

Итак, Человек победил, боги повержены. Но не смеются ли боги?

Цель, поставленная Сальерн, и то, как он ее достиг, вызывает сочувствие, и не может не вызывать сочувствия у каждого человека.

Разумеется, в юности мы тоже знали, что станем великими учеными. путешественниками, — не важно кем, важно великими, мы должны были совершить что-то значительное. Мы тоже искали примеры, читали жизнеописания разных гениев, рассчитывая вызнать тайну того, как это происходит. Как они становились... По сути, это был тоже сальеризм — тайная мечта разгадать секрет гениальности. Все мы побывали в шкуре Сальери. С годами уяснялось, что, несмотря на наше решение, сие от нас не зависит, и все же иногда честолюбие взрывалось — почему другие, почему Чкалов, Циолковский, Чехов, а не я? Казалось, все отдал бы, чтобы сравняться.

Было даже ощущение обиды, как будто тебя обманули. Ведь еще в школе нам твердили: все гениальные люди добились успеха своим трудом, усердием. Цитировали изречения авторитетов. Каждый авторитет предлагал свой вариант, и все выглядело так заманчиво утешающе.

Бюффон утверждал: «Гений не что иное, как дар терпения».

Терпение? Да ради такого дела — сколько угодно!

«Гениальность зависит главным образом от энергии». Это Арнолд. Кто такой Арнолд? Мэтью Арнолд, английский поэт, ну, он, вероятно, знает.

«Всякое произведение гения неизбежно является результатом энтузиазма» — Исаак Дизраэли. Тоже серьезный господин. Масса возможностей.

Сальери мог бы тоже преподавать немало советов. Прочсть курс: «Как стать гениальным». Вернее: «Как я, Сальери, стал гениальным».

Это вам не совет физика Н.: «Видеть мир немного иначе». Это целая наука. Ею издавна владели алхимики разных искусств. Они ловко разлагали на составляющие понятие гения. Выясняли его формулу. Колдовали, подменяя неуловимое доступными любому честолюбцу качествами: трудолюбие, память, внимание, наблюдательность...

Призывали на помощь психологию, физиологию, вплоть до кибернетики. С присущей молодой науке самоуверенностью, кибернетика сначала сразу установила, что гений не что иное, как способность отбора, быстрота отбора решений.

Верующие старались. Торопились отбирать решения, добросовестно переписывали, трудились, изучали жизнь, искали важные, актуальные темы, были терпеливы, энергичны, весьма энергичны. Толстой переписывал «Войну и мир» восемь раз. Восемь? Они готовы были переписывать десять, двадцать раз.

Секрет гения пробовали и так и этак. Подсчитывали извилины. Обмеряли мозг. Изучали родословную, черновики, влияние солнечных пятен... При подсчетах после всех взвешиваний и перегонок что-то всякий раз не сходилось. Реторта была вроде герметична, но что-то улетучивалось. Философского камня не получалось. Гений раздражал своей неуловимостью, нездешним происхождением. К живущим слова «гений», даже «талант» старались не применять. Понятия эти были ненаучны. Их нельзя было вычислить и обнаружить в осадке.

Было бы славно определять гениев по размеру шляп. Или по количеству напечатанного. Навести какой-то порядок. Допустим, отбирать их в раннем возрасте, по тестам, чтобы выводить коэффициент умственного развития.

...Во времена Пушкина имелось множество экспертов, знающих, как создавать талантливое и великое. Лучшие специалисты работали в цензуре и в III отделении.

Писателям рекомендовали — преданность монарху, народность, воспевание побед русского оружия. Прописывались точные рецепты, их заверяли Бенкендорф, Уваров, сам Николай I.

Требования их полны искренности. Они не только охранители, они эстетики. Они знают, как сделать лучше, талантливей, ярче, доходчивей, в общем, они знают как.

«Я считаю, что цель г. Пушкина была бы выполнена, если б с нужным очише-

нием переделал комедию свою в историческую повесть или роман наподобие Вальтер Скотта», — пишет резолюцию о «Борисе Годунове» Николай.

Сочиняли же по законам этих предписаний другие писатели, тот же Фаддей Булгарин охотно сочинил роман «наподобие Вальтер Скотта». И получилось. Докажите, что не получилось. Например, роман «Иван Выжигин» имел успех, какой не имела ни одна вещь Пушкина. Какие тиражи! И нарасхват.

Что касается содержания, то давних времен критики с восторгом могли бы написать, что роман Булгарина (позволю себе такое предположение) «...дает суждения не только обыкновенной жизни, но и жизни гражданской и административной. Герой Булгарина, рожденный в низших слоях общества, терпит немало притеснений, и тем не менее в нем торжествует вера в силу справедливости. Перед читателем открывается критическая картина всех сословий. Здесь и крестьяне, и высшие чиновники, и национальные окраины, и отъявленные злодеи воровского мира. Бесстрашно и гневно автор обличает взяточников и казнокрадов. Здоровые силы общества достойно представляют такие люди, как капитан-исправник Штыков. Нелегкая борьба его являет поучительный пример служения отечеству. Оберегатель устоев и принципов, он заслуженно получает повышение — прекрасное доказательство истинной карьеры лучших наших администраторов. А как умело обрисовано положение русской деревни. С одной стороны, запущенное хозяйство Глаздурина, чей произвол и невежество разорили крестьян, а с другой, цветущее хозяйство Россиянинова, который на тех же землях, с помощью разумных забот и науки, привел своих людей к благоденствию. Не случайно, что и в семейной жизни Россиянинов — образец высокой нравственности. Несмотря на некоторую идилличность, образ его воплощает идеал нашего помещика. В романе легко угадываются некоторые известные лица. Это придает чтению особую злободневность и свидетельствует о смелости автора. Бесчисленную пользу обещает это сочинение для блага империи и воспитания народного чувства».

«Иван Выжигин» — показательный образец романа, сконструированного по законам арифметики. В нем пунктуально сосчитано все положительное и отрицательное. Восхваление соразмерено с критикой. На каждого отрицательного героя, на каждого злодея есть свои положительные противовесы. В любой части баланс сходится.

«...Что может быть нравственнее сочинений г. Булгарина? — писал Пушкин. — Из них мы ясно узнаем: сколь непохвально лгать, красть, предаваться пьянству, картежной игре и тому под.». Ей-богу, как образчик, как первое сооружение такого рода, роман не так уж плох. Ничуть не хуже многих последующих изделий этого типа.

А почему роман получился? Не потому, что писатель обладает каким-то талантом или гением, а потому, что у него есть качества, действительно необходимые писателю. Качества эти сам Булгарин свел в четкую формулу. По ней не любой, не первый попавшийся может овладеть литературным ремеслом.

Писатели, по Булгарину, это — владеющие языком, начитанные, знающие Россию и ее потребности и способные «распространить, изложить, украсить всякую заданную тему...».

Формула, как видите, продуманная, каждый член ее обязателен. Наиболее важное подчеркнуто Булгариным — заданная тема. Распространить — то есть облечь в сюжет, в действующие лица; изложить — то есть язык, стиль; украсить — ну это пейзажи, портреты, детали...

Таких литераторов, предупреждает он в той же своей записке «О цензуре в России и о книгопечатании вообще», мало. Большинство были гуляки праздные, свободные и беспечные поэты, слагающие свои песни по вдохновению, по зову совести и музыки и прочих неуправляемых субстанций.

Ремесло — вот что было нужно. Побольше ремесла, квалифицированных ремесленников, делателей, готовых мастерить на любую заданную царем тему. К середине XIX века их появляется все больше... Разных, по-разному пришедших к своему ремеслу.

Рядом с историей великой русской литературы творилась, варилась история литературы Казенной, Заданной, Восхваляющей, Охранительной. Еще ее называли Лакейской, Рептильной, Полицейской

III

Ремесло необходимо художнику. Сальери знает цену ремеслу, не стыдится своего ремесленнического умения. Ремесло для него основа, метод его работы.

...Ремесло
Поставил я подножием искусству.

Что можно выстроить на этом подножии? Какую нагрузку оно выдержит? Достаточно ли прочен этот материал? Может ли искусство быть основанным на ремесле? Эти полторы строчки ставят немало вопросов.

У Сальери ремесло — его метод, его технология. Да только ли у него... Странно, что куда понятней моцартовское, пушкинское, то есть недоступное, а не сальериевское и даже не свое собственное ремесло — когда муза не шепчет на ухо и слова не бегут сами. Сальериевская художническая жизнь — это совсем иное, не моцартовское, состояние, и муки иные, и радости. И ведь что интересно, всегда есть тайная надежда, что результат-то может оказаться тот же. Соната или стих — как они получились? Написались сразу или же терпеливо перебирались созвучия, вариант за вариантом? Тому, кто пришел на концерт, тому, кто читает стихи, — ему наплевать, сколько времени трудился автор, как это происходило. Ему важен результат, и то г. Рассказ хороший — автор победил. Может, и впрямь в созданном не отличить вдохновения от ремесла...

Впрочем, так противопоставлять нельзя. Ремесло Сальери имеет свои взлеты. Его умение, умноженное на одержимость, на самоотверженность, награждается восторгом и слезами вдохновения. Инерция ремесла, значит, тоже способна рождать вдохновение.

Сам Пушкин знал необходимость ремесла для профессиональной литературной работы. Ремесло — это опыт, сноровка, приемы мастера, которыми приходится пользоваться в повседневной работе. Часы вдохновения — редкость. Вдохновение — праздник мастера. А будни литературного труда на девять десятых состоят из поисков слов, отбора, правки, переделок. Даже Пушкин, даже Лермонтов работали порой мучительно тяжело.

«...мой роман — сплошное отчаяние: я перерыл всю душу, чтобы добыть из нее все, что только способно обратиться в ненависть...» — пишет Лермонтов.

У Гоголя порой кажется, что гений его весь словно держится на ремесле, на поисках деталей, точности описаний. Он писал Шевыреву: «Итак, если над первой частью («Мертвых душ». — Д. Г.) я просидел так долго, рассуди сам, сколько должен просидеть я над второй. Это правда, что я могу теперь работать увереннее, тверже, осмотрительнее, благодаря тем подвигам, которые я предпринимал к воспитанию моему и которых тоже никто не заметил. Например, никто не знал, для чего я производил переделки моих прежних пьес, тогда как я производил их, основываясь на разумении самого себя, на устройстве головы своей. Я видел, что на этом одном я мог только навывкнуть, производить плотное создание, сущное, твердое, освобожденное от излишеств и неумеренности, вполне ясное и совершенное в высокой трезвости духа... Я, разумеется, могу теперь двигать работу далеко успешнее и быстрее, чем прежде...»

Профессионализм необходим и гению. Плохо, когда, кроме ремесла, ничего другого нет, но плохо, когда талант не обладает ремеслом. Беда многих больших поэтов, да и музыкантов была и есть в отсутствии ремесла.

В те чудотворные дни болдинской осени вдохновение не покидало Пушкина. Он полон «тяжким пламенным недугом», стихи, пьесы рождаются сами собой, и «мысли в голове волнуются в отваге».

16 октября — «Моя родословная».

17 октября — «Заклинание».

20 октября — окончена «Метель».

23 октября — окончен «Скупой рыцарь».

26 октября — окончен «Моцарт и Сальери».

Это часть списка, только за десять дней.

Подъем его гения был необычаен. Это было высшее выражение «моцартианства» — безудержного полета и размаха вдохновения. Но и в эти часы пиршества духа Пуш-

кин отдает должное ремеслу-труженику, которое еще недавно служило ему подспорьем. Сальери живет, существует в его душе, соседствуя с Моцартом. Оба сосуществуют, казалось бы, непримиримые, крайние и в то же время так дополняющие друг друга.

IV

Кем был для Пушкина Сальери? Вкладывал ли он в этот характер личное, пережитое, свои отношения (но к кому?), свое обличение (но кого)?

По-видимому, трудно утверждать, что Пушкин в этой трагедии имеет в виду кого-либо из современников. Была ли какая иная, может, более скрытая связь этой трагедии с жизнью Пушкина? Не знаю, но то, что происходило в 1830 году — история борьбы Пушкина с Булгариным, — как-то соприкоснулось для меня с тем, что происходит в трагедии. Это те круги чувств, сравнений, мыслей, которые раскрываются при чтении трагедии.

Сальери велик — Булгарин мелок, Сальери боготворит искусство — Булгарин торгует им бессовестно и корыстно, Сальери способен убить — Булгарин написать донос.

Пушкин относится к Сальери с интересом, сатанинская философия Сальери — достойный противник; Булгарина Пушкин презирает.

Прямые сопоставления тут невозможны. Но роль Булгарина в пушкинской судьбе, особенно в те годы, когда писалась трагедия, была зловещей. Он видится если не убийцей, то одним из тех, кто неотступно травил и преследовал поэта.

Булгарин существовал для меня лишь в связи с Пушкиным.

Сальери остался в истории благодаря легенде, связавшей его имя убийцы-отравителя с именем Моцарта. Не будь легенды, Сальери уцелел бы сам по себе, как известный в свое время композитор, автор таких-то популярных произведений. Легенда стерла его заслуги. Историки спорят лишь о подлинности легенды. Со времен Сальери музыканты мира, словно составив заговор, почти не исполняют вещей Сальери. Он убил Моцарта, но и Моцарт убил его.

Булгарин сохранился лишь как враг Пушкина, идейный его противник. Так же как Бенкендорф, фон Фок, Дубельт... Увешанные орденами, звездами, они считали себя вершителями истории. Судьбы людей они во всяком случае вершили. Могли ли они помышлять, что в памяти они уцелеют благодаря легкомысленному поэту, крамольному рифмоплету, которого они травили, выслеживали? Бенкендорф, граф, генерал-от-кавалерии, шеф жандармов, начальник III отделения собственной его величества канцелярии, командующий императорской главной квартирой, отныне вспоминается лишь как «тот, который преследовал Пушкина».

Булгарин же, изничтоженный, высмеянный пушкинскими фельетонами и эпиграммами, остался для нас как полицейский доносчик, автор злобных рецензий на Пушкина, Видок Фиглярин, рептильный журналист. Да еще издатель «Северной пчелы». Сведения мои были самые примитивные, в размере примечаний петитом к пушкинскому собранию сочинений.

Известность Булгарина не соответствует знаниям о нем. Нечто вроде Малюты Скуратова, бабы-яги, Аракчеева — в общем, имя нарицательное. О Булгарине слышал каждый сколько-нибудь интересовавшийся Пушкиным, он стал олицетворением фискальства, продажности, он завистник, злобный ругатель всего передового, прогрессивного — словом, вместилище низостей.

За всем этим исчезла личность Булгарина, то есть нечто более сложное, многообразное, чем условный злодей. Вспоминалось его предательство, описанное в «Кюхле» Тынянова... Портрет в воспоминаниях Панаевой:

«Черты его лица были вообще непривлекательны, а гнойные, воспаленные глаза, огромный рост и вся фигура производили неприятное впечатление. Голос у него был грубый, отрывистый; говорил он нескладно, как бы заикался на словах».

Рассказывали, пишет далее Панаева, «что Булгарин в своей семейной жизни был точно чужой, как хозяин дома не имел никакого значения, сидел всегда у себя в кабинете. Его жена немка и ее тетка распорядились по своему произволу домом, детьми, деньгами. Булгарину давалась ничтожная сумма на карманные расходы, а все доходы от газеты от него отбирались. Булгарин тщательно скрывал от жены свои мел-

кне доходы, получаемые от фруктовых магазиннов, лавочек и винных погребов, восхваляемых им в своей газете».

Все это тоже явно предубежденно. Подобный Булгарин — схематический образ подлнца, у которого все гнусно, начиная от его мыслей, образа жизни и вплоть до внешности — образ этот передавался от поколения к поколению все более избавленным от каких-либо противоречий. Нам он достался в виде карикатуры, назидательным олицетворением мерзости николаевской эпохи, каким его представляли Белинский, Герцен, Некрасов.

Когда я захотел узнать подробности о жизни Булгарина, я удивился тому, как мало специальных работ о Булгарине. Упоминают его бесчисленно, но почти никто (кроме М. Лемке) не занимался им самим. Словно и тут существует заговор отвращения.

Мемуары, исследования пушкинистов содержат множество отдельных фактов из жизни Булгарина. Сложить из них законченный портрет нелегко. Некоторые поступки выпирают, не укладываются в заданную однолинейную систему подлости.

Ночью 14 декабря 1825 года Булгарин пришел к Рылееву. Огромный, страшный для заговорщиков день кончился. Восстание было разгромлено. Рылеев жил в доме Русско-Американской компании, где он служил правителем канцелярии. Дом этот сохранился. Он стоит на набережной Мойки. Из окон виден Синий мост, спина памятника Николаю I. Тогда он был не памятником, а царем, кончался первый день его царствования. В нескольких шагах, на Сенатской площади, горели костры, блстели пушки. Полицейские вваливали на сани трупы. Цепи часовых перекликались вдоль сената, вдоль Зимнего. Вozы с убитыми тянулись к Неве, в проруби спускали заоченелые тела. Окна ближних к Петровской площади домов были выбиты при стрельбе. В темноте приглушенно стучали молотки, раздавались стоны, окрики. Фонарщики не зажигали фонарей.

Какой крюк проделал Булгарин, пока добрался до квартиры Рылеева? Он бывал здесь часто. Он дружил с Рылеевым. Когда-то они слыли приятелями. Потом рассорились, и Булгарин старался примириться. По-своему он любил Рылеева. И остальных — братьев Бестужевых, Кюхельбекера, Тургеневых. Они печатали его рассказы в своем альманахе «Полярная звезда». Конечно, для Булгарина, только начинавшего литературную карьеру, было важно оказаться в одном альманахе с Жуковским, Пушкиным, Дельвигом, Баратынским, Грибоедовым — все лучшее литературы двадцатых годов было там представлено.

«Его и в то время терпели только как шута балаганного, балагура и площадного остряка — Александр Бестужев бывал у него очень часто, но уже вовсе не из-за его прекрасных глаз», — писал М. Семеновский.

Никто из декабристов в ту пору не считал Булгарина доносчиком, в какой-то мере они доверяли ему, и когда в квартире Рылеева распевали революционные песни, хриплый голос Булгарина звучал громче всех.

Впрочем, и это можно считать уликой. Недаром его не вызывали на следствие по делу декабристов. Каховский показывал, что часто встречал Булгарина у Рылеева, но замечал, что в нем всегда сомневались.

Первые рассказы его ужасны, литературно беспомощны. Язык их — пользуясь выражением Пушкина — язык камердинера профессора Тредьяковского. Единственно, что там любопытно — циничность рассказчика. Никак не спрятать, не заглушить «дух его сочинений». Тот самый «дух», о котором вспоминал Н. Бестужев: «Булгарина я любил как собеседника; часто с ним бранивался за дурные его наклонности в журналистике и некоторых частных сношениях с людьми; некоторые статейки его хвалил, но вообще дух его сочинений решительно мне не нравился...»

Но, может, и в самом деле какая-то часть души Булгарина тянулась безрасчетно к отчаянным поручикам. И сочувствовал проектам, и революционные идеи были ему милы. И тут же, вернувшись ночью домой, он писал свои верноподанные проекты Милорадовичу. Утром бежал на поклон — магничким, руничам. А по дороге, встретив Рылеева, лобызался с ним — и все от души, нараспашку... Понимал ли он себя — кто же он, с кем? Бывают такие натуры путанные, вроде и с теми они заодно, и с этими, всюду поддакивают, всюду приняты. Конечно, все можно объяснить по-иному: Булгарин страстно жаждал выбиться в люди. Любыми способами, любым путем. Прошлое

его незавидно. В Петербурге он человек ниоткуда. Ему нужны связи, нужны покровители. Он заискивает перед Аракчеевым и Шишковым. Его «Северная пчела» безудержно льстит властям... Однако и либералы были в силе. Они главенствовали в литературе. Булгарин, «человек деловой и расторопный» (Греч), подлаживается и к ним. И это можно объяснить. Но через несколько часов он совершит бесспорную подлость. И то, что происходит сейчас, и то, что было, все станет двусмысленным.

Итак, теперь Фаддеев Булгарин стоит перед дверью квартиры Рылеева. Что привело его сюда? Страх, растерянность? Хотел ли он убедиться, что у заговорщиков нет никаких надежд? Живы они? Что с ними? Не схватят ли его сейчас? В квартире, может быть, уже полиция. Она действительно появилась через час. Приехал обер-полицеймейстер, предъявил приказ об аресте....

Булгарин дернул ручку колокольчика. Слуга провел его в комнату. За столом сидели Рылеев, Штейнгель, Бестужев, еще несколько человек. Шумел самовар. Пили чай.

Позже, рассказывая об этом Гречу, он ужаснулся обыденности их поведения. Он ожидал чего угодно, но не этого преспокойного чаепития. Достоверность воспоминаний всегда подтверждают нелепые, казалось бы, невысказанные подробности.

Рылеев встал из-за стола, вывел Булгарина в переднюю.

— Тебе здесь не место. Ты будешь жив, ступай домой.

Несколько недель тому назад, разозленный холуйством булгаринской «Северной пчелы», Рылеев в этой же квартире крикнул ему: «Когда случится революция, мы тебе на «Северной пчеле» голову отрубим». Вспоминались ли им сейчас эти слова?

Через несколько месяцев не Булгарин, а Рылеев будет казнен.

«Ты будешь жив, ступай домой». Он остался жив. Он пошел домой. В своих воспоминаниях он старался забыть этот вечер. Человек, наверное, никогда не может предсказать, что именно из его жизни окажется интересным для потомков, тем более решающим. Булгарин стыдился непонятного самому себе порыва. К тому времени, когда он будет писать воспоминания, все безотчетное будет в нем вытравлено.

Дверь захлопнулась. Он вышел на набережную. Громада Исаакия, недостроенного. В лесах, чернела впереди, нависая невысказанной своей высотой над двухэтажными домишками.

Захлопнулась дверь в прошлое. Он остался наедине с быстро растущим страхом.

Через несколько часов по требованию полиции он подробно и точно описал приемы разыскиваемого Кюхельбекера.

V

История русской реакции богата и поучительна. У нее были свои традиции, опыт, теории, свои герои со времен Малюты Скуратова и вплоть до Каткова, до Шульгина.

Тот же Растопчин — яростный защитник рабства. Или Аракчеев, этот ефрейтор, мечтавший превратить Россию в огромную казарму. Или иезуит Жозеф де Местр, один из фанатичных апостолов реакции, оракул петербургских салонов, «Вольтер наизнанку», как его называли. Невежество было его культом. Он воспевал палача как представителя божественного правосудия на земле. Он пламенно клеймил все университеты и лицеи, которые «угрожают России ужасным злом».

«Наука,— писал он в своих страстных памфлетах,— постоянно подвергает государство опасности, постоянно стремится доставить государственные должности людям ничтожным без имени и богатства...»

Это сегодня их высказывания кажутся дикими. Для своего времени они были серьезными противниками революции и прогресса. Любимыми заклинаниями они пытались остановить Россию, ослабить ее духовную мощь.

У каждого были свои проекты. Каразин, например, доказывал Александру I необходимость образования для крепостных, разумеется, не для развития их, а для «воспитания в них чувства пассивности и рабской зависимости». Каразин не просто душегубитель-крепостник. Харьковский помещик Каразин был человек образованный, мало того—

ученый. Он разрабатывает оригинальный проект использования атмосферного электричества. И в это же время он пишет другой всеобъемлющий проект — по учреждению системы доносов, искоренения вольнодумства, укрепления монархии.

Что только не делалось, чтобы задержать просвещение, русскую науку!

Тот же де Местр главные свои усилия обращает против естествознания: «Библии совершенно достаточно, чтобы знать, каким образом произошла Вселенная». Правительство должно «стеснять науку разными способами, а именно: 1) не объявляя ее необходимой вообще, ни для каких должностей гражданских или военных; 2) требуя только познаний, существенно необходимых для известных должностей, например, математики для инженеров и т. п.; 3) уничтожая всякое публичное преподавание естественной... как, например, история, география, метафизика, мораль, политика и проч.; 4) никоим образом не оказывая покровительства распространению знаний в низших слоях народа и даже стесняя (не надо только, чтобы это было заметно) всякое предприятие этого рода...».

В 1819 году в Казанский университет приехал для ревизии Магницкий, рыхлый, бледный молодой чиновник с лицом старой девы. Начал он с того, что выбросил из библиотеки Вольтера, затем приказал сжечь все остальные вольнодумные сочинения, а затем вообще потребовал у начальства публично разрушить университет. Его не отозвали, не посадили в сумасшедший дом. Нисколько. Магницкого назначили попечителем Казанского университета. И там он принялся учинять свои знаменитые реформы. Собственноручно он пишет для преподавателей строжайшие инструкции:

«Профессор физики обязан во все продолжение курса своего указывать на премудрость божию и ограниченность наших чувств и орудий для познания окружающих нас чудес». «Профессор истории Российской покажет, что отечество наше в истинном просвещении упредило многие современные государства». Преподаватель политических наук должен прежде всего, внушать студентам чувства покорности и повинности...

Инструкции и принципы Магницкого быстро распростирались и на другие университеты. Рунич, попечитель Петербургского университета, устраивает суд над профессорами, изгоняет таких замечательных ученых, как Арсеньев, Герман, обвиняя их в безбожии и революционности. Реакционеры воспряли и стали увольнять лучших профессоров университетов Москвы, Харькова, Дерпта.

Происходит это в двадцатые годы, в годы бурного расцвета физики. В Европе публикуются замечательные работы Араго, Дэви, Ампера, Карно, Ламарка. Закладываются основы новой биологии, термодинамики, электрофизики, химии. Да и в России, тут же на берегу Невы, идут знаменитые работы по электрофизике Василия Петрова, Власова, затем Шиллинга, в Дерпте — Паррота, позже Якоби, Ленца.

Как могла среди этих воплей, угроз, преследований существовать русская наука, не только существовать, но и добиваться результатов мирового класса, даже первенствовать в некоторых областях? Мы все же недооцениваем силы отечественной науки, мы часто судим о ее достижениях, не задумываясь об условиях, в которых работали ученые. Мы лишь сопоставляем по датам с тем, что происходило на Западе. Но стоит представить себе, что стало бы с Английским королевским обществом, если бы там хозяйничали руничи, магницкие, шишковые, уваровы.

Дайте Василию Петрову такую лабораторию, как у Г. Дэви, такие средства, научную среду, пусть он встретится с Ампером, Араго, обсудит, проверит, тогда бы гений его действительно мог развернуться, создать куда больше, тогда и можно было бы сравнивать.

Идеи реакции развивались.

Через несколько лет после инструкции Магницкого указания зазвучали иначе. Историки сравнивали уже не с Западом, а с прошлым.

«Прошедшее России удивительно, ее настоящее более чем великолепно, что же касается ее будущего, то оно выше всего, что только может представить себе самое смелое воображение...» Слова эти принадлежат Бенкендорфу.

На смену выступают новые герои реакции, и среди них Фаддей Булгарин.

VI

...Его не трогали, арестовывали остальных, ему оставалось лишь бояться. Страх разьедал его. Милорадович, петербургский генерал-губернатор, которому Булгарин писал всевозможные записки о цензуре и укреплении власти, был убит 14 декабря, и некому было заступиться, подтвердить благонамеренность.

«Тон общества менялся наглазно,— вспоминал Герцен,— быстрое нравственное падение служило печальным доказательством, как мало развито было между русскими аристократами чувство личного достоинства. Никто (кроме женщин) не смел показать участия, произнести теплого слова о родных, о друзьях, которым еще вчера жали руку, но которые за ночь были взяты. Напротив, являлись дикие фанатики рабства: одни из подлости, а другие хуже — бескорыстно».

У Булгарина началось со страха, затем пришла подлость, корысть, а затем и бескорыстие, бескорыстная подлость. Он подает проект за проектом. Поскольку общественное мнение уничтожить невозможно, правительство должно им управлять, доказывает он, и лучше всего это делать посредством книгопечатания. Но как? Булгарин разделяет читающих на несколько групп и для каждой группы разрабатывает свои средства воздействия.

Увы, писателей, готовых писать на заданную царем тему, мало, поэтому их следует не раздражать, а привлекать «ласковым обхождением и снятием запрещения писать о безделицах, например о театре и т. п.».

Словно бы и всерьез, и словно бы с глумлением, и не понять, над кем ерничает: «Нашу публику можно совершенно покорить, увлечь, привязать к трону одной только тенью свободы в мнениях насчет некоторых мер и проектов правительства».

Что касается грамотных мещан и нижнего сословия, то для них годится «магический жезл» — м а т у ш к а Р о с с и я...

Ах, если бы к нему, Булгарину, прислушались, дали б ему право распоряжаться, уж он бы достиг. Желание оправдаться, заслужить доверие переходит в неподдельное возмущение тупыми чиновниками, так бездарно служащими царю.

«...вместо того, чтобы запретить писать против правительства, цензура запрещает писать о правительстве и в пользу оно го. Всякая статья, где стоит слово правительство, министр, губернатор, директор, запрещена вперед, что бы она ни заключала... Один писатель при взгляде на гранитные колоссальные колонны Исаакиевского храма восклицает: «Это, кажется, столпы могущества России!» Цензура вымарала с замечанием, что столпы России суть министры».

После казни декабристов он пишет записку «Нечто с Царскосельском лицее и о духе оно го», касающуюся непосредственно Пушкина. Сочинение это поразительно по сочетанию лжи и точности, клеветы и наблюдательности. Чего стоит заголовки разделов: «Что значит лицейский дух. Откуда и как он произошел. Какие его последствия и влияния на общество. Средства к другому направлению юных умов...»

Булгарин обличает лицейский дух за то, что этот дух «обязывает» молодежь «поричать насмешливо все поступки особ, занимающих значительные места, все меры правительства, знать наизусть или сам быть сочинителем эпиграмм, пасквилей и песен, предосудительных на русском языке... Пророчество перемен, хула всех мер или презрительное молчание, когда хватят что-нибудь, суть отличительные черты сих господ в обществе. В е р н о п о д а н н ы й значит укоризну на их языке, е в р о п е е ц и л и б е р а л — почетные названия...»

С эрудицией осведомителя Булгарин разбирает пагубную роль Новикова, Тургенева, порядки в Царскосельском лицее, вред «Арзамаса», общества, которое, «покровительствуя Пушкина и других лицейских юношей, раздуло без умысла искры и превратило их в пламень».

И далее предлагает ряд мер для истребления лицейского духа. Надо отдать должное Булгарину — на фоне николаевских «идеологов» мысль его выделяется блеском демагогии, гибкостью. Он далеко обошел своих наставников, примитивных «гасителей» типа Магницкого — Рунича. Булгаринские «исследования» производили впечатление на николаевскую камарилью...

VII

Сальери ненавидит Моцарта. Но за что? Сальери убивает Моцарта. И опять же — за что?

Казалось бы, Сальери достиг того, о чем мечтал. Он добился славы, признания, он одолел Природу. Тайное тайных открылось ему — секрет создания прекрасного. Его убежденность победила. Он создал себя — осуществив то, что проповедовал Гельвеций еще в XVIII веке: «То, чем мы являемся, мы обязаны воспитанию: большинство людей должны приписывать посредственность своего разума не убедительной причине собственного несовершенства, но воспитанию и обстоятельствам».

И тут вдруг перед Сальери-победителем разверзлась пропасть. Когда уже все преодолено, завоевано, возникает препятствие непонятное, непосильное анализу, неподвластное ни труду, ни терпению: оно отделяет его от Моцарта, как мертвое от живого. Сколь ни искусно сделан робот, оказывается, все же это не человек. Моцарт недостижим. Это иное качество, иное состояние. И, что самое ужасное для Сальери, это качество не поддается вычислению. Сальери может научиться поражать цель еще более метко. Но Моцарт поражает невидимую цель. Сальери может высчитать движение звезд сколь угодно точно. Моцарт открывает новые звезды. Сальери знает, чего он хочет, — у Моцарта получается непредвиденное.

Сальери властвует над своим даром, он может направлять его, совершенствовать, — дар Моцарта властвует над ним самим. Пользуясь выражением Шумана: талант работает, гений творит, Моцарт порой не способен выразить, сформулировать то, что он делает. Прислушайтесь, как сбивчиво, невнятно пытается он передать замысел новой вещи:

Представить себе... кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе;
Влюбленного — не слишком, а слегка —
С красотой, или с другом — хоть с тобой,
Я весел... Вдруг: виденье гробовое,
Незапный мрак или что-нибудь такое...

Лепет его откровенно беспомощен. Да ему это не важно. Перо гения, как говорил Гёте, более умно, нежели он сам.

Поэтому сам Моцарт не в силах был бы объяснить, помочь Сальери открыть свой секрет.

Боги смеются. Борьба Сальери кончилась поражением, Сальери низвергнут, уже не ученик, а мастер, истративший годы, силы, надежды, и, как мастер, он понял всю разницу между собой и Моцартом.

Несправедливость восторжествовала.

Несправедливость вдвойне, ибо мало того, что повержен он, Сальери, служивший искусству беззаветно, но кто же избранник, кто победил? Гуляка праздный. Легкомысленный, пустой, не боготворящий искусство, недостойный своего дара.

Такова первая статья обвинения.

Знакомые попреки — гуляка праздный. Игрок. Повеса.

«Присоединяю к моему посланию письмо нашего пресловутого Пушкина. Эти строки великолепно его характеризуют в легкомыслии, во всей беззаботной ветренности. К несчастью, это человек не думающий ни о чем, но готовый на все. Лишь минутное настроение руководит им в действиях», — писал Бенкендорфу фон Фок, наслаждаясь своим прелестным бисерным почерком и чувством превосходства и презрения.

Вскрывая письма Пушкина, он сообщает еще определеннее: «Пушкин, сочинитель, был вытребован в Москву. Выезжая из Пскова, он написал своему близкому другу и школьному товарищу Дельвигу письмо, извещая его об этой новости и прося его прислать ему денег с тем, чтобы употребить их на кугежи и шампанское. Этот господин известен всем за мудрствователя в полном смысле этого слова, который проповедует последовательный эгоизм с презрением к людям, ненависть к чувствам, как и к добродетелям, наконец — деятельное стремление к тому, чтобы доставлять себе житейские наслаждения ценою всего самого священного. Это честолюбец, пожираемый жаждою вождлений. и как примечают, имеет столь скверную голсову, что

его необходимо будет проучить при первом удобном случае...» В глазах того общества Пушкин не слыл тружеником. Он не получил ни достойных званий, не добился положения.

Наверно, все свои обвинения Сальери мог адресовать Пушкину.

Булгарин и булгарины тоже могли бы повторить слова Сальери. Но свои обвинения Булгарин писал в III отделение, поэтому он добавлял и многое другое.

А когда в «Литературной газете» появилась критика булгаринского «Дмитрия Самозванца», Булгарин, приписав ее Пушкину, разразился уже ничем не сдерживаемой публичной руганью. 11 марта 1830 года он печатает в «Северной пчеле» пасквильный «Анекдот», где Пушкин у него (не названный по имени, но всем было понятно, кого он имел в виду) — «природный француз, служащий усерднее Бахусу и Плутусу, нежели Музам, который в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины, у которого сердце холодное и немое существо, как устрица, а голова — род побрякушек, набитый гремучими рифмами, где не зародилась ни одна идея; который, подобно иступленным в басне Пильпая, бросающим камнями в небеса, бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтоб позволили ему нарядиться в шитый кафтан, который марает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах, и у которого одно господствующее чувство — сутность».

В этой брани взбесившегося Булгарина вопиют, перебивают друг друга — доносчик, завистник, торгош, почувывший угрозу своим доходам. Булгаринские обвинения: «природный француз», «служащий усерднее Бахусу» — смыкаются с определениями фон Фока:

«Ни одной истины», «ни одного возвышенного чувства», «бросает рифмами во все священное».

Картежник.

Вольнодумец.

То, что ходило в тайных донесениях, в пакетах, запечатанных сургучными печатями, прорвалось у Булгарина. Проговорился. Не хватает лишь заключения фон Фока: «Проучить его при первом удобном случае», все же остальное вполне смыкается с мнениями руководителя III отделения: доставляет себе житейские наслаждения «ценою всего самого священного», «бросает рифмами во все священное», «служит Бахусу», «ни одной полезной истины», «картежник».

Опять же выходит сальериевский «гуляка праздный», да еще «вольнодумец», да еще «плут».

Булгаринский пасквиль как бы обнаружил, обнародовал ненависть к Пушкину всего жандармского начальства. Роль Сальери выполняет здесь не только Булгарин, а и фон Фок, и многие другие.

А Пушкин считал фон Фока добрейшим, милейшим человеком. Он принимал его обходительную ласковость с той же доверчивостью, как Моцарт принял стакан вина от Сальери.

У Булгарина своя ненависть. Он не просто рупор жандармской николаевской России. Но об этом позже. Сейчас же примечательно другое — бесстыдство, цинизм, с которым он приписывает собственные качества Пушкину.

«...тишком ползает у ног сильных», — это пишет Булгарин, жизнь которого состоит из самого беззастенчивого холопства. Он, который пресмыкался перед Аракчеевым, Бенкендорфом, Фоком, Дубельтом, перед кем угодно. И как пресмыкался — истово. Он с умилением называет себя Дубельту Фаддеем Дубельтовичем, он пишет ему:

«Отец командир! Я не знаю, как вас называть! Милостивый государь и ваше превосходительство — все это так далеко от сердца, все это так изношено, что любимому душою человеку — эти условные знаки вовсе не идут! А я люблю и уважаю вас точно душевно! Ваша доброта, ваше снисхождение, ваша деликатность со мною — совершенно поработили меня, и нет той жертвы, на которую бы я ни решился, чтоб голько доказать вам мою привязанность!»

Мучила ли когда-нибудь Булгарина совесть за клевету и грязь, которыми он чернил гения России? Представлял ли он величину Пушкина и то, каким он, Булгарин, окажется перед будущими поколениями?.. А если бы и представлял — остановило бы

это его? Вопросы наивные и бесполезные. Нам всегда кажется, что болгарины, бенкендорфы, дантесы мучаются, совесть их грызет и «мальчики кровавые в глазах». Мы утешаем себя воображаемым возмездием. В том-то и хитрость, что творят они свои злодейства не как злодейства, а как суд, как защиту. Они уверены, или уверяют себя, что они осуществляют возмездие, они обвиняют, они защищают и защищаются.

Булгарин оставался верен себе до конца. Он продолжал писать доносы на Белинского, Некрасова, он никогда не раскаивался, не предавался сомнениям, не мучил себя вопросами о злодействе. Любую мерзость, совершенную им, он приписывал своим противникам. С изощренностью он уверяет всех и самого себя, что это не его качества, а это Пушкин, это Надеждин, это другие:

«Замечено искони веков, что лучшее средство погубить человека, которого опасаются, есть клевета, облаченная в одежду сплетней...»

Это его, Булгарина, оказывается, опасается Пушкин и губит так. Булгарин упрекает Пушкина в корыстолюбии. В том, что Пушкина снедает честолюбие. И даже в том, что Пушкин творчески несамостоятелен: «Привык искать ошибок в других и вследствие этого не видит собственных».

Технику намеков, зашифрованных, упрятанных в аллегории, Булгарин разработал мастерски. Иногда работы пушкинистов над болгаринскими текстами напоминают скрупулезный труд следователя. Раньше я как-то не представлял глубины и точности исследований наших лучших пушкинистов. И тем не менее роль Булгарина в пушкинской судьбе остается во многом еще не выясненной. Может быть, она была куда более роковой, чем нам кажется.

Итак, Моцарт в глазах Сальери — виновен.

Виновен в том, что священный дар, бессмертный,

...не в награду
Любви горячей, самоотверженья,
Трудов, усердия, молений послан —
А озаряет голову безумца,
Гуляки праздного?..

Статья вторая обвинения. Что дал искусству Моцарт? Полезно ли его искусство? Может ли он, Сальери, великий музыкант, мастер, следовать Моцарту, использовать добытое им?

Что пользы, если Моцарт будет жив
И новой высоты еще достигнет?
Подымет ли он тем искусство? Нет...

Следовать Моцарту нельзя. Потому что он творит не по законам музыки, а в нарушение их. Раскрыть тайну своего гения он не в силах. Следовательно, он бесполезен.

Полезен Сальери, даже Булгарин, Кукольник, Загоскин куда полезнее, чем Пушкин. Для черни, для швейцарской черни. Не нравственность, а нравоучение им надобно было, не идеалы, а восхваления.

...Тебе бы пользы все — на вес
Кумир ты ценишь Бельведерский,
Ты пользы, пользы в нем не зришь.

Надежность была нужна. А посредственность — она надежна.

Моцарт вреден, ибо музыка его не вдохновляет таких, как Сальери, а убивает их. Это он, Моцарт, убийца.

Виновен? Да.

Статья третья.

Моцарт не просто бесполезен, бесполезность его опасна.

Что пользы в нем? Как некий херувим,
Он несколько занес нам песен райских,
Чтоб, возмутив бескрылое желанье
В нас, чадах праха, после улететь!
Так улетай же! чем скорей, тем лучше.

Зов волшебной флейты музыканта вызывает у людей смутное и тягостное ощущение собственной бескрылости. Бескрылое желание — непосильное, мучительное — приводит лишь к страданию. Высоты, куда призывает их моцартовский гений, заставляют острее чувствовать себя «чадом праха». Человек из земли вышел и в землю уходит, для чего ж искать смысл и какой может быть смысл. Да еще если бога нет. Искусство дано для наслаждения. Помочь человеку забыться, утешить, сострадать. Зачем Моцарт возмущает души, растревляет, он искушает напрасно, как лермонтовский Демон, его музыка лишь бесплодно терзает, оставляя человека среди мерзостей жизни, измученного ненужными, бесполезными желаниями.

Виновен? Да.

Через полвека Великий Инквизитор Достоевского снова изгонит Христа, доказав необходимость изгнания. И, в частности, опять же соображениями пользы. Полезно то, что достижимо: «Клянусь, человек слабее и ниже создан, чем ты о нем думал! Может ли, может ли он исполнить то, что и ты? Столь уважая его, ты поступил, как бы перестав ему сострадать, потому что слишком много от него и потребовал...»

Великий Инквизитор еще раз вернется к той же мысли, вернее, продолжит ее: «Чем виновата слабая душа, что не в силах вместить столь страшных даров?»

А Верховенский в «Бесах», тот напрямик, не стесняясь, обещал: «...мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство... Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе».

Сам по себе Моцарт — гуляка праздный — безвреден. Он виновен, он обречен, потому что он гений. Его приговаривают к смерти как гения.

Гений возбуждал против себя заговор королей, священников, придворных и просто болгаринных и сальери. Его уничтожали ядом, ссылкой, ложью, наградами, лестью. Гений был опасен тем, что открывал истину. А истина, говорил Пушкин, неподвластна царям.

Моцарт должен погибнуть. Он обречен. Черный человек уже заказал реквием, и Моцарт написал его еще до встречи с Сальери.

По всем статьям Моцарт виновен. Сальери осудил его, он выяснил его вину, но кто, кто должен привести приговор в исполнение? Имеет ли Сальери на это право?

Одно дело судить, обвинять — другое дело казнить. Не без колебаний и мучений Сальери решается на это.

Как бы там ни было, ему надо преступить человеческий закон. Не так-то просто лишить жизни. И, что еще страшнее для него, погубить свою душу, обречь ее на вечные муки.

Впив отравленное вино, Моцарт садится за фортепьяно. Он исполняет последнее свое творение, больше никогда и ничего уже он не создаст. Горечь расставания с жизнью звучит в заукошной обедне, которую он справляет над собой.

Реквием отпевает, скорбит и над жизнью Сальери. Моцарт играет реквием не только себе, должному через несколько часов умереть. Сальери тоже обречен. Реквием решил и его судьбу. Душа его погибла. Он должен проститься с прошлой жизнью. По-разному оба они были привязаны к ней, она дарила им радости и вдохновение...

Может, где-то здесь разгадка того неожиданного и поразительного, что происходит в эти минуты с Сальери. Он плачет. Любого можно было ожидать, но слезы... И тотчас же ясно, что только так разрешаются в нем ужас, отчаянье, зависть, восторг, жалость. Сколько их, мучительных чувств, столкнулось сейчас в его душе. Слезы его — очищающие. Убил и очистился! Впервые он плачет так, такими слезами.

Эти слезы

Впервые лью: и больно и приятно,
Как будто тяжкий совершил я долг,
Как будто нож целебный мне отсек
Страдавший член!..

Долг — он выполняет долг, он жертва долга. По крайней мере он так понимает свой долг. Будь черный человек не предчувствие Моцарта, а действительный убийца, Сальери не уступил бы ему права уничтожить Моцарта. Всеми трудами своей жизни

Сальери заслужил свершить этот подвиг. Не для себя он убивает — для пользы, которую он, Сальери, лучше всех различает. Он преступает во имя защиты искусства и нынешнего и будущего, он спасает людей от ненужных страданий...

Нет правды на земле, и выше тоже нет правды. Нет надежды, что всевидящий покарает виновного. Сальери вынужден свершить это сам. Он принимает на себя страдание, он будет слыть злодеем, и не только слыть, и на самом деле это злодейство, пусть во имя долга, все равно злодейство.

Где-то под всем этим тлеет, наверное, и зависть. И всякие требования пользы — от зависти, и гуляка — от зависти, и восхищение и слезы — от зависти. И даже его злодейство — оно и для зависти злодейство, потому что он уничтожает то, чему завидует, он лишает себя своей сладкой и мучительной зависти. Это герой не мольтеровской, а шекспировской страсти.

Посредственность всегда завидовала таланту. Зависть к недостижимому становится ненавистью. Чтоб не обнаружить себя, посредственность шумела, била себя в грудь, она заботилась об искусстве, она — первый критик и хулитель... На самом же деле раздел литературных страстей прежде всего проходил между талантом и посредственностью. На одной стороне Пушкин, Вяземский, Дельвиг, на другой Булгарин, Греч, Кукольник... У таланта и у посредственности разные цели в искусстве.

До сих пор логика выручала Сальери, заменяя совесть. Теперь он дошел до той точки, до предела, где логика помочь не в силах, она отступает, обнажая характер. Перед нами возникает структура мышления, особый тип сознания, сальериевский тип.

Он готов пожертвовать своей человечностью, готов страдать, стать злодеем — во имя чего? Раскольникову надо было проверить свою теорию, Сальери не собирается проверять: в нем нет сомнений. Он должен очистить ее, удалить то, что не согласуется с ней и угрожает гибелью всем жрецам, служителям, всем Сальери. Искусство Моцарта нарушает законы, опровергает пользу, нравственность — значит, оно опасно, ненужно, значит, удалить, отсечь, ампутировать. Как бы ни было больно.

Льет слезы, мучается и убивает. Он злодей рыдающий, сознающий свое злодейство. Он взваливает его на себя, как крест. Это не слепой фанатик и не палач-чиновник — это мученик своего злодейства.

Великий Инквизитор тоже страдает, решив отправить Христа на костер. Но Великий Инквизитор казнит бога-Христа, не имея бога. Для Сальери божество — Моцарт. Сальери — высший судья, и убивает он, спасая не веру, а теорию, схему, вычисленную им, логическую догму искусства. Он спасает себя от Бога, ибо Моцарт для него божество, явление нездешнее, чудо. Сальери начинал свою жизнь музыканта с того, что убивал звуки и препарировал труп музыки. Он начинает с убийства и кончает убийством.

VIII

Христос в «Легенде» молча поцеловал Великого Инквизитора, ни словом не ответил, не возразив.

Моцарт, казалось бы, тоже ничем не мог бы возразить, тем более опровергнуть неумолимую логику Сальери. Логика — не его стихия, защищаться от обвинений он не станет. Он свободен от них той тайной свободой гения, о которой мечтал Пушкин.

Веленью божию, о муза, будь послушна,
Обиды не страшась, не требуя венца,
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспаривай глупца.

Муза! Да, муза, но не художник. Сам Моцарт — человек со всеми слабостями, страстями, в заботах суетного света. Он не чужд суеты, и окружающий мир, и Сальери — реальность для него. Он от мира сего, вовсе не посланец небес, просто законы борьбы для него другие. Логике злодейства он может противопоставить другое — свою веру в художника. И он противопоставляет. Он, Моцарт, утверждает:

...А гений и злодейство
Две вещи несовместные Не правда ль?

Слова его — возражение всем доводам Сальери. Они предостерегают. В них нет доказательств. Они — нравственная программа Моцарта. В них вера и угроза. Выбейте между злодейством и гениальностью. Моцарт не сумел бы опровергнуть логику Сальери, но и Сальери сражен словами Моцарта.

Однажды Анна Андреевна Ахматова спросила меня: «Можете вы вообразить, что Пушкин убил Дантеса? Остался бы он для вас тем же Пушкиным?»

Перестановка показалась мне невыносимой. Я сжился с трагической судьбой Пушкина. Обелиск у Черной речки, на месте дуэли; квартира-музей и там красный сафьяновый диван, на котором умирал Пушкин, подробности последних суток его жизни — это с детства стало неотъемлемым и непоправимым.

Я не мог представить себе мертвого Дантеса и Пушкина невредимого, уезжающего на санях домой. То есть представить можно и это, но дальше воображение отказывало.

А, собственно, почему? Пушкина убивали, но разве он был покорной жертвой, беспомощной мишенью? Нет, он умирал с оружием в руках, отстреливаясь...

Он упал, выронив пистолет в снег. Секунданты бросились к нему. Дантес тоже. Пушкин остановил его, сказав по-французски:

— Подождите! Я чувствую достаточно сил, чтобы сделать свой выстрел!

Дантес подал ему другой пистолет. Полулежа, Пушкин приподнялся, «целился в Дантеса в продолжение двух минут и выстрелил так метко, что если бы Дантес не держал руку поднятой, то непременно был бы убит...». «Геккерн упал, но его сбита с ног только сильная контузия... Пушкин, увидя его падающего, бросил вверх пистолет и закричал:

— Браво!

Между тем кровь лила из раны»¹.

Пушкин стрелял в Дантеса, в злодейство. Он погиб в бою, воином, сражаясь...

Вряд ли кто еще так, как Пушкин, мечтал о покое и воле. «Ты царь, живи один». Живи один, отвергая суету, пренебрегая насмешками, клеветой... Но жил он до последнего своего часа бойцом. Это он писал:

«...Я не принадлежу к числу тех незапоминаемых литераторов, которые, публично друг друга обругав, обнимаются потом всенародно. Нет: рассердясь единожды, сержусь я долго и утихаю не прежде, как истощив весь запас оскорбительных примечаний, обиняков, заграничных анекдотов и тому подобного».

«Не узнавать себя в пасквиле безымянном, но явно направленном, было бы малодушием. Тот, о котором напечатает, что человек такого-то звания, таких-то лет, таких-то примет — крадет, например, платки из карманов — все-таки должен отозваться и вступить за себя, конечно, не из уважения к газетчику, но из уважения к публике. Что за аристократическая гордость позволять всякому негодю швырять в вас грязью».

«Писатели, известные у нас под именем аристократов, ввели обыкновение, весьма вредное литературе: не отвечать на критику».

Он отвечал ударом на удар. И Булгарину он не спускал ни одного выпада. Он отвечал эпиграммами, пародиями, критическими статьями. Это было для него не только делом чести, но делом защиты литературы. Возможности Пушкина были стеснены. Опальный поэт, поднадзорный, постоянно преследуемый цензурой, окруженный шпионами, он сражался в неравных условиях. Булгарин был не один. Греч, Надеждин, Сенковский, Полевой, Каченовский — так или иначе объединялись против Пушкина.

И в стане друзей не всегда понимали Пушкина; холодно, а порой пренебрежительно встречали лучшие его вещи. Тот же Вяземский признавался Тургеневу, что поэт Козлов вызывает больше чувств и мыслей, чем Пушкин.

«Вероятно, трагедия моя не будет иметь никакого успеха, — пишет Пушкин в 1830 году. — Журналы на меня озлоблены. Для публики я уже не имею главной привлекательности: молодости и новизны литературного имени...»

Порой кажется, что Моцарт и Сальери — это Пушкин и литературная Россия того времени. А Булгарин лишь символ, маска, за которой скрывались и многие другие, «сволочь нашей литературы», по выражению Пушкина. Не хочется ни в малейшей сте-

¹ В. В. Вересаев. Пушкин в жизни. Вып. IV. «Недра». М. 1927, стр. 119.

пени оправдывать Булгарина, но многое, очевидно, впоследствии удобно было приписывать ему, списывать на него, превратить его в свалку всех нечистот, позорных поступков тех лет.

Булгарин был деятель наиболее откровенный, запальчивый, неразборчивый в средствах, отчасти и сам зависимый, подчиненный тем силам, которые он представлял.

Перед Пушкиным стояла задача не простая — надо было ответить на гнусный «Анекдот» Булгарина, не опускаясь до перебранки. Защититься, но достойно. Нельзя же было всерьез возражать на обвинения пасквиля. Пушкин понимал опасность Булгарина, особенно для себя, должного соблюдать правила полицейского режима. Чуть что, его любезно и холодно предупреждали о «ложных шагах». Слог руководителей III отделения, не в пример Булгарину, отличался крайней любезностью.

Булгаринский «Анекдот», кроме всего прочего, угрожал женитьбе Пушкина: и без того репутация его в глазах Гончаровых была не блестящей.

Пушкин вынужден обратиться к Бенкендорфу, он пишет ему о своем положении: «Оно так непрочное, что каждую минуту я чувствую себя накануне несчастья, которого я не могу ни предвидеть, ни избежать» — и далее: «Г-н Булгарин, который, по его словам, пользуется у вас влиянием, сделался одним из наиболее жестоких моих врагов — из-за критической статьи, которую он приписал мне. После гнусной статьи, которую он напечатал обо мне, я считаю его способным на все».

В его положении крайне сложно было найти форму ответа Булгарину так, чтобы изобличить и обезвредить человека, опекаемого III отделением.

Решение Пушкина было неожиданным и смелым. В 1829 году в Париже вышли четырехтомные записки начальника парижской тайной полиции Видока. Пушкин пишет на них как бы рецензию: «О записках Видока». Каждая строчка рецензии имела в виду биографию Булгарина, факты, известные тогда всей литературной общечеловечности. Было ясно, что Видок — это Булгарин.

Полицейский сыщик — вот кто Булгарин, и он судит о нравственности, о литературе, он строчит пасквили, и он же охраняет мораль! Пушкин прямо заявляет: подлинная физиономия Булгарина — автора нравственных романов, издателя, литератора — состоит в том, что он тайный сотрудник полиции, доносчик.

Пушкин шел на рожон, ибо речь шла не о мелком шпике, а о наперснике Бенкендорфа, известно, что Бенкендорф незадолго до этого защищал Булгарина даже перед Николаем. За спиной Булгарина стояли могущественные покровители, да и сам Булгарин имел в своем распоряжении распространеннейшую, «почти официальную» «Северную пчелу».

Когда Пушкин принес Погодину свою статью, тот испугался печатать ее в своем «Московском вестнике».

Пушкин «давал статью о Видоке, — пишет Погодин, — и догадался, что мне не хочется помещать ее (о доносах и о фискальстве Булгарина), и взял».

В том-то и штука, не самого Булгарина боялись — Булгарина в лицо называли подлоем, били его, и, очевидно, не редко. Декабрист Демьян Искрицкий, который был сослан, очевидно, по доносу Булгарина, перед своим арестом избил Булгарина. Греч, который описывает этот случай, замечает: «На другой день явился ко мне Булгарин в синих очках, которые носил после всякого подобного побоища...»

Боялись III отделения. В доносах, в связи с III отделением подозревали Булгарина давно, говорили об этом вслух, но лишь Пушкин первый публично, печатно не побоялся обнародовать и заклеить его как человека, «живущего ежедневными донесениями», как шпиона.

Никакие другие разоблачения и характеристики в статье о «Видоке» не смутили Погодина: его остановило главное — «о доносах и фискальстве Булгарина», — он понимал, что это вызов III отделению.

Статья «О записках Видока» появилась 16 апреля 1830 года в «Литературной газете». Эта статья и последующие фельетоны и эпиграммы нанесли Булгарину удары, от которых он, по словам Дельвига, даже «поглупел».

«О записках Видока», затем «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов» (август 1831 года), а затем «Несколько слов о мизинце г. Булгарина

и о прочем» (сентябрь 1831 года), три эти фельетона или памфлета,— шедевры полемиической литературы России.

«Представьте себе человека без имени и пристанища, «живущего ежедневными несениями, женатого на одной из тех несчастных, за которыми по своему званию обязан он иметь присмотр...»— так начинается статья «О записках Видока».

Жена Булгарина известна была довольно широко как особа, выражаясь языком того времени, «отноду не строгого поведения», из тех, кто содержал публичные дома на Мещанской улице.

А. Бестужев в свое время часто посещал Булгарина «вовсе не ради милых глазок последнего». Как пишет его брат, жена и теща помыкали Булгариним, третиговали его, по мере своих сил уравнивая зло, причиняемое русской литературе отцом семейства.

«Видок в своих записках именуется патриотом, коренным французом (un bon français), как будто Видок может иметь какое-нибудь отечество!»

Булгарин был поляк. Он служил в русской армии. Затем он стал служить Наполеону во время войны с Россией. Сейчас он служил Николаю. Единственно, кому он не служил — это Польше, своему народу.

Года не прошло после пушкинских слов, как Булгарину высочайше поручено было составить текст сообщения о начале польского восстания, затем текст прокламаций. Бенкендорф предлагает ему отправиться в Варшаву русским правительственным агентом для умирения умов. В «Северной пчеле» Булгарин изображает восстание как «дело рук бешеных демагогов».

«Он уверяет, что служил в военной службе...»

В 1811 году, уволенный с русской военной службы за темные дела, Булгарин бежит в Варшаву, оттуда во Францию и участвует в походе 1812 года против России. В 1814 году, взятый в плен, он был пригнан в Россию.

В своем фельетоне «Несколько слов о мизинце г. Булгарина» Пушкин объявляет план своего романа «Настоящий Выжигин» — сатирическую схему биографии Булгарина.

Признаться, пушкинские наименования глав романа и возбудили мой интерес к биографии Булгарина. Каждый заголовок — штрих убийственного портрета. Извны булгаринской жизни становятся у Пушкина обличающим профилем целой эпохи. Булгаринский «Иван Выжигин» — всего лишь беспомощное подражание плутовским романам, куда интереснее подлинная история его автора; вот где настоящий роман: и взлеты, и падения, и авантурные похождения истинного плута, вот где, оказывается, настоящий Выжигин!

Вряд ли Пушкин всерьез собирался писать подобный роман, но материал для такого романа был налицо. Пушкин выявил этот материал, скомпоновал его, обнаружил. Заманчивая возможность такого романа до сих пор пленяет лихостью пушкинских заголовков, крепко слаженной канвой романа, а главное — документальной точностью фактов: «Глава III: Драка в кабаке. Ваше благородие! Дайте опохмелиться! Глава IV: Дружба с Евсеем. Фризовая шинель. Кража. Бегство»...

Очевидно, подполковник Спечинский рассказывал Пушкину некоторые подробности жизни Булгарина в Ревеле. За пьянство Булгарина разжаловали в рядовые, он опустился, попрошайничал, сошелся со слугой Спечинского Евсеем, украл у него шинель, пропил ее и был на этом пойман. Тут-то и происходит бегство — он бежит. Бежит во французскую армию и в 1812 году в корпусе маршала Удино сражается под Полоцком с русскими войсками.

Итак, это знали и помнили.

По тогдашним законам чести, Булгарин заслуживал всяческого общественного презрения. Однако он был не из тех, кого смущают подобные препятствия. Он сумел перебороть мнение света, снискать расположение в разных кругах. Бесстыдство составляло его жизненную силу. Не зная латыни, он издает «Оды Горация», присваивая себе комментарий Ежевского. Он ловко втерся к Аракчееву. Затем к Руничу — попечителю Петербургского университета. В 1822 году Рунич хлопочет за Булгарина, поддерживая его журнал «Северный архив». А вскоре тот же Рунич добивается разрешения для Булгарина и Греча издавать «Северную пчелу». К этому времени Булгарин сговорился с

Гречем о сотрудничестве. Энергия этого недавно безвестного человека колоссальна. Шутник, балагур, он оставляет впечатление безобидного малого. Он угодничает, прислуживает, льстит, выступает с различными проектами, затевает многотомное описание России, пишет о театре, об истории, о политике, о торговле. Он переводит, издает, рекламирует, организовывает рецензии, занимается историей войны 1812 года. Ему во что бы то ни стало надо пробиться, выбиться в люди. Российский вариант Растиньяка. Борьба обычными средствами — например, запугать его — невозможно. Он не из тех, кто боится оскорбления или пистолетов. Он отказался от дуэли с Дельвигом, заявив, что «на своем веку видел крови больше, чем Дельвиг чернил». Трусость делала его неуязвимым и бесстрашным.

Есть какое-то внутреннее сходство биографий Булгарина, Магницкого, Рунича и им подобных.

Магницкий, например, начинал как соратник Сперанского, разделяя его прогрессивные устремления, а затем, после падения Сперанского, перешел в услужение к Аракчееву. Бывший либерал с легкостью становится крайним обскурантом.

Конец карьеры Магницкого тоже типичен. Через несколько лет его хозяйничанья в Казанском университете было обнаружено разложение студенчества, падение преподавания, нравственности и пр. Но это еще полбеды, это бы простили. Главное же, раскрыта была громадная, даже по тем временам, растрата казенных денег.

Примерно то же произошло и у Рунича в Петербургском университете: растрата казенных сумм, присвоение имущества, взятки. Пришлось и его изгонять. А ведь оба были вроде фанатичные мракобесы, казалось бы, пекутся не за страх, а за совесть. Лишь бы искоренить. И тут же в карман лезут.

И Булгарин и Греч ревностно защищали устои, а втихаря драли натурой с купцов, с хозяев ресторанов, с лавочников за восхваление их заведений и товаров — всю промышляли своей газетой: кто не платил, отказывался — тех поносили, ругали.

Почему-то самодержавие никак не могло найти себе честных апологетов. Большая часть этих правоверных, этих ревнителей, гонителей оказывалась хапугами, растратчиками, лихоимцами.

«Он нагло хвастается дружбою умерших известных людей, находившихся в сношении с ним (кто молод не бывал? а Видок человек услужливый, деловой)», — писал Пушкин.

Хвастался Булгарин дружбою с декабристами, и с Грибоедовым, и с Крыловым, и со Сперанским. Истина у него причудливо, а может, и искусно сплетена с беззастенчивой ложью. Рылеева, как известно, он любил, и дружба была, и Грибоедова он подлинно любил, Грибоедов завещал именно ему рукопись «Горя от ума».

Но и тех, кто его презирал и ненавидел, он после их смерти также включил в число друзей, благо мертвые беззащитны, не опровергнут, не возражат. «Иных уж нет, а те — далече».

...«Те» брели по этапу из Читы в Петровский завод. Шел дождь. Была холодина. На привале Михаил Бестужев читал вслух газету — статью Булгарина с описанием петергофского праздника. Ну что ж, Булгарин остался тем же Булгариним. Это было той же осенью тридцатого года. Они давно уже раскусили Булгарина: Александр Бестужев отзывался о Булгарине и Грече как о торгашах, у которых «душа повита на гривеннике». Он писал Полевому: «По радости, с какой печатают они в «Пчеле» историю Видоков-досмотрщиков, не мудрено угадать в них химическое сродство с этими наростами политического тела».

Фраза Пушкина о том, что Видок хвастается дружбой умерших известных людей, оказалась печально пророческой. Спустя десять лет после гибели Пушкина Булгарин и его не постеснялся присоединить к своим друзьям. Он продолжал украшать свою репутацию. Булгаринское мародерство — явление характерное. Великие люди после смерти становились добычей своих врагов. Недавние хулители писали чувствительные некрологи, воспоминания, признавали заслуги, оказывается, что именно с ними покойный делился своими замыслами и горестями.

...Ветер и мокрый снег разогнали скудную похоронную процессию, что следовала за гробом Моцарта. Друзья один за другим отставали, покидали похоронные дроги.

В конце концов остался один человек. Это был Антонио Сальери — он единственный проводил покойника до городских ворот Вены. Реальный Сальери, придворный венский музыкант, был в этот час как никогда близок к пушкинскому Сальери.

Вряд ли Булгарин останется последним провожатым похоронной колесницы, но надгробную речь он охотно произнесет, и слеза будет звенеть в его голзе. Он не будет каяться и бить себя в грудь. Что за сила неудержимо тянет их к тому, кого они убивали? Они становятся в почетный караул, лица их благочестивы и скорбны, а глаза ясны и чисты. Они уверены, что никто не смеет их прогнать. Лучше всех других они используют эту смерть.

Сразу после похорон они принимались за работу.

Усопшего гения надо приспособить, привести в вид соответствующий. Изготавливали приятные портреты и трогательные поучительные биографии. Вычеркивали ненужное, неуместное. Выстраивали из цитат каноны и догмы прочные, как тюремные своды.

В фельетоне «О записках Видока» Пушкин прямо обвиняет, изобличает Булгарина в том, что, пользуясь своим положением осведомителя, он политически расправляется с теми, кто осмеливается критиковать его произведения.

«Он приходит в бешенство, читая неблагоклонный отзыв журналистов о его слоге (слог г-на Видока!). Он при сем случае пишет на своих врагов доносы, обвиняет их в безнравственности и вольнодумстве и толкует (не в шутку) о благородстве чувств и независимости мнений...»

Методы булгаринской литературной борьбы, приемы его полемики, способы защиты своих романов предстали перед всеми.

Пушкин заключает статью вопросом: не должна ли власть обратить внимание «на соблазн нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотрений законодательства»?

Этим кончается статья о Видоке, и начинается открытая непримиримая борьба Пушкина с булгаринщиной, с «гречами-разбойниками», с теми, кого он называл «свободочью нашей литературы».

IX

Можно подумать, что Пушкин, доказав: Булгарин — злодей, далее доказывает, что он, Булгарин, не гений. Нужно ли это было доказывать? Для Пушкина булгаринский роман — вещь литературно слабая. Но это для Пушкина. Личная ненависть и презрение к этому клеветнику, доносчику не ослепляла Пушкина. Он беспристрастно отмечал читательский успех Булгарина.

И тут Пушкин ставит вопрос, имеющий общее непреходящее значение:

«Скажут, что критика должна единственно заниматься произведениями, имеющими видимое достоинство; не думаю. Иное сочинение само по себе ничтожно, но замечательно по своему успеху или влиянию; и в сем отношении нравственные наблюдения важнее наблюдений литературных. В прошлом году напечатано несколько книг (между прочими «Иван Выжигин»), о коих критика могла бы сказать много поучительного и любопытного. Но где же они были разобраны, пояснены?»

Вскоре он снова возвращается к тому же: «...Иван Выжигин, бесспорно, более всех достоин был внимания по своему чрезвычайному успеху. Два издания разошлись менее чем в один год; третье готовится. Г. Киреевский произносит ему строгий и резкий приговор, не изъясняя, однако ж, удовлетворительно неимоверного успеха нравственно-сатирического романа г. Булгарина».

Сам Булгарин жалуется Бенкендорфу, что враги бранят его роман без доказательства.

Говоря о неимоверном успехе, Пушкин не преувеличивал — он, как всегда, точен.

Первое издание «Ивана Выжигина» выходит в марте 1829 года. Через неделю уже было присуплено ко второму изданию. За короткое время распродано было семь тысяч экземпляров — количество, огромное по тем временам. Булгарин выпускает продолжение: «Петр Выжигин». Начинаются подражания. Выходит «Новый Выжигин»

Гурьянова, «Дети Выжигина», «Смерть Выжигина» Орлова, «Русский Жиль Блаз» Си-
мони

«Куда ни придешь, везде говорят о «Иване Выжигине», но редко с похвалой; куда ни взглянешь — в гостиных, в дамских кабинетах, везде увидишь «Ивана Выжигина»...» (из письма Мещерской Дмитриеву).

Пушкин призывает критику исследовать нравственные причины успеха этой посредственной, румяной литературы. Учинить критику, литературный разгром такого романа, как «Иван Выжигин», нехитрое дело. Важнее понять, почему, откуда возникает потребность в подобном чтении: отсутствие ли это вкуса, состояние ли это общества, не способного, не желающего тревожить себя мучительными проблемами истинной литературы.

С тех пор немало быстрых и ложных успехов, подобных «Выжигину», знала наша литература, и всякий раз возникал тот же пушкинский вопрос, та же потребность нравственных наблюдений.

Пушкину навязывали систему, подобную сальериевской,— логическую, заданную, систему прямых нравоучений, систему пользы русскому самодержавию.

Х

Той болдинской осенью, в те дни, когда Пушкин заканчивает «Моцарта и Сальери», Булгарин сдает в печать двенадцатый (!) том собрания своих сочинений. Пушкин давно не печатается, редко, время от времени, появляются его стихи. Пушкин был в опале, утверждали, что он исписался, читающей публикой забыт.

На взгляд обывателя той поры, Булгарин имел полное право чувствовать свое превосходство над Пушкиным, и в голову не могло прийти, каким кощунством это будет выглядеть спустя немного лет.

Он имел право негодовать на этих проклятых аристократов литературы, которые молились на Пушкина. Почему он, Булгарин, со всем его успехом и славой, для них бесталаннейший ремесленник? Конечно, сам-то он, Булгарин, знал, что Пушкин — явление исключительное, знал и не желал знать, признавал, и отрекался, и возмущался, а затем возненавидел самой лютой из всех ненавистей, потому что она была безотчетна, самому себе нельзя было признаться в ее причинах. Осознать свою посредственность для него было бы непереносимо.

«У наших доморожденных Вальтер-Скоттов, Гете, Байронсв, Джонсонов и Аристофанов главный порок в Выжигине тот, что он продается, а не тлеет на полках вместе с их бессмертными творениями».

Вот, например, чем он пытается успокоить себя, объяснить, разоблачить — завистью! Все переворачивается. Завистники преследуют Булгарина. Греч вытупает на его защиту, он возмущен несправедливостью. «Непостижимо, до каких нелепостей может дойти подстрекаемая завистью посредственность, когда она берется судить об истинном даровании».

Кто ж эти завистники? Да прежде всего они не русские люди. Пушкин — «поэт-француз», затем в следующем пасквиле — «поэт-мулат», предок которого был куплен в одном из портов «за бутылку рома».

Для Пушкина-то как раз не имело значения, что Булгарин поляк:

Не то беда, что ты поляк:
Костюшко лях, Мицкевич лях!
Пожалуй, будь себе татарин —
И тут не вижу я стыда,
Будь жид — и это не беда;
Беда, что ты Видок Фиглярин.

Вот в чем Пушкин обвинял его. Вот что в его глазах есть порок.

Между прочим, прозвище Фиглярин, как отмечает Лемке, впервые дано было Булгарину Вяземским еще в эпиграмме 1827 года:

Фиглярин хочет слыть хорошим журналистом,
 Фиглярин хочет быть лихим кавалеристом,
 Не обличу его в лганье;
 Но на коне сидит он журналистом,
 В журнале рубит смысл лихим кавалеристом
 И выезжает на вранье.

Пушкин не стеснялся заимствовать. И был прав. Под его пером чужие слова обретали новую, может вечную, жизнь.

Надо отдать должное — Булгарин парировал удар с иезуитской ловкостью. Эпиграмма Пушкина ходила по рукам. Булгарин берет и публикует ее в «Сыне отечества», заменив последнюю строку:

Беда, что ты Фаддей Булгарин.

Получился злобный глупый стишок. Эпиграмма была убита, обезврежена. Дельвиг просит разрешения напечатать подлинный текст. Дело доходит до Николая. Примечательно, с какой дотошностью Николай влезал во все перипетии литературной жизни того времени. Можно подумать, что он не доверял даже Бенкендорфу. Он сам вмешивался в любую мелочь. По его указанию цензура отказала Дельвигу в просьбе.

Тогда Пушкин пишет новую эпиграмму:

Не то беда, Авдей Флюгарин,
 Что родом ты не русский барин,
 Что на Парнасе ты цыган,
 Что в свете ты Видок Фиглярин:
 Беда, что скучен твой роман.

Пушкину не до Булгарина: он готовится к женитьбе. Но Булгарин, кое-как оправясь от ударов, опять нападает, опять все переиначив, подтасовав, опять под видом анекдота о «каком-то поэте», подражателе Байрону, который, происходя от мулата, стал доказывать, что один из предков его негритянский принц. И даже про шкипера, некогда купившего этого негра за бутылку рома.

Спустя лишь месяца два в Болдине, за несколько дней до «Моцарта и Сальери», Пушкин пишет ответ — «Моя родословная». Стихи его, конечно, не были напечатаны. Николай I, как обычно, советовал Пушкину отвечать на нападки презрением и не распространять стихи.

Второй вариант пушкинской эпиграммы уязвил Булгарина, может, сильнее первого:

Беда, что скучен твой роман.

Пушкин ударил в самое болезненное место. Честолюбие мучало Булгарина сильнее всех прочих чувств. Жажду признания не утолял успех на книжном рынке и даже при дворе. Ему надо было признание среды литераторов, и не всяких, а именно этих проклятых аристократешек, которых он презирал, на которых доносил, которых травил в своей газете.

Со своими критиками он расправлялся любыми средствами. Испытанный прием — обвинить противников в посягательстве на существующий порядок. Критика приводила его в бешенство, он забывал осторожность, кидался в бой, не выбирая выражений, ослепленный ненавистью.

В декабре 1829 года, когда Булгарин готовил к печати своего «Дмитрия Самозванца», вышел роман Загоскина «Юрий Милославский» и сразу получил успех, о нем заговорили даже при дворе. Булгарин в ярости обрушился на соперника, подряд в трех номерах «Северной пчелы» изничтожая роман. Николай, которому понравился «Юрий Милославский», приказал Бенкендорфу унять Булгарина. Получив от фон Фока замечание и предупреждение, Булгарин пишет строптивное объяснение, прикрывая свои истинные интересы, разумеется, чуть ли не государственными интересами:

«Позвольте испросить наставления, какими правилами должны мы руководствоваться в критике? «Северная пчела», по программе, должны критиковать новые книги, замечать в них хорошее и указывать на дурное, чтобы юноши псучались, авторы избега-

ли ошибок в слогe и языке, а публика забавлялась. Наша публика, как всякая другая, требует умственных занятий...»

«...Это наше правило подкреплять критики примерами и выписками из разбираемой книги, критиковать всегда с доказательствами.

Тому ли я подвергаюсь в течение десяти лет? Будучи преследуем в литературной и гражданской жизни двумя литературными партиями и сонмом злоупотребителей, я подвергаюсь в журналах жесточайшей брани и личностям. Бранят, ругают сочинения мои без всяких доказательств и вредят мне везде, как могут. Правда, что благосклонность публики и уважение благомыслящих людей с лихвою вознаграждают меня за эти неприятности, но еще никто не вступился за меня за то, что меня бранят в журналах».

На этом Булгарин не остановился. Он закусил удила. Через несколько дней, несмотря на высочайший запрет, он все же напечатал новую статью против Загоскина, не называя его по имени. Николай потребовал принять решительные меры. Булгарин и Греч были арестованы и посажены на гауптвахту.

Через несколько часов их, конечно, выпустили. Спустя месяц вышел «Дмитрий Самозванец»; в знак примирения, прощения Булгарин получил от Николая бриллиантовый перстень.

Нет, он не был столь уж покорен. По-всеми он тоже боролся с цензурой, хотя часто в этой борьбе цензура выглядит симпатичней и прогрессивней Булгарина. Без страха кидается он в бой с самим всемогущим Уваровым. И более того!..

Ему нечего бояться, когда он упрекает Уварова в покровительстве неблагонамеренным (так уж совпало, что неблагонамеренными были те, кто мешал Булгарину), в либерализме. С этой вершины он мог обстреливать кого угодно, хоть председателя петербургского цензурного комитета князя Волконского — и князь поощряет вредные тенденции... Голос Булгарина нарастал: министр преступно бездействует, требуя следственной комиссии, я там обличу «Отечественные записки», я защитник веры и престола! Я и царя не испугаюсь! Если государь мне не внемлет, обращусь за границу, к прусскому королю, чтобы помог защитить священную особу государя и его русского царства! «Я не позволю, чтобы на меня, как на собаку, надевали намордник!» — взрывается он, отбросив все хитрости и политиканство.

Надоело. Даже ему душно и тошно от идиотизма царских чиновников, которым он должен служить. Страдания Видока, умного реакционера, верного пса, — они тоже, оказывается, существуют. В свете его презирали открыто, издевались в бесчисленных эпиграммах, фельетонах, памфлетах. Кто только не высмеивал его — Лермонтов, Гоголь, Белинский, Некрасов, Герцен, Вяземский... И хозяева с ним обращались свысока. А то и просто как с лакеем, с дворовым. Орлов мог оттащить его за ухо. Дубельт поставит в угол.

Чего ради он столько унижался, терпел? Чего он добился? Его доносы, его верность в итоге не снискали ему любви тех, кому он так долго и преданно служил. Это было несправедливо. Мир к нему был несправедлив.

Ах, как превратно толковали его поведение, да и всю его жизнь!

После окончания войны с французами, после того, как пленных пригнали в Россию и объявили амнистию, ему пришлось начинать (это под тридцать-то лет!) жизнь заново. Он прибыл в Петербург, не имея ни связей, ни денег, одну лишь запятнанную биографию. Дядя его поручил ему вести процесс с графом Тышкевичем и Парчевским, «или, собственно, два процесса, — как пишет Греч, — один с Парчевским против Тышкевича, другой с Тышкевичем против Парчевского». Греч не шадит своего приятеля.

«Для достижения своей цели он (Булгарин) употреблял все возможные средства: с утра до вечера таскался по сенаторским и обер-прокурорским передним, навещал секретарей и стряпчих, кормил и подкупал их, привозил игрушки и лакомства их детям, подарки женам и любовницам».

В доме Греча он познакомился с Бестужевыми, Рылевым, Грибоедовым, Тургеневыми, Батенковым; все они были по сравнению с ним баловнями судьбы — образованная обеспеченная молодежь, блистающая талантом, родословной, чинами и званиями.

«Потеряв возможность продолжать с успехом военную службу, он пошел в стряпчих; видя, что можно приобрести литературную известность, а с нею и состояние, он, на-

конец, взялся за нее, руководствуясь на каждом из тех попрощай правилами — достигнуть цели жизни, т. е. удовлетворения тщеславию и любостыжанию».

Попробовали бы все эти «аристократы» очутиться на его месте, чего бы они добились. А он достиг! Он сумел стать одним из самых популярных писателей России.

К 1845 году, за двадцать пять лет работы, он был уже автором тридцати двух томов романов, повестей, очерков, рассказов. Да еще шесть томов сочинения «Россия в историческом, статистическом, географическом и литературном отношениях». Это не считая пятидесяти шести томов журнала «Северный архив», восьмидесяти томов «Северной пчелы» и многочисленных его проспектов, докладных записок в III отделение.

Кто еще столько наработал? Если мерить гения работоспособностью, то он мог считать себя чуть ли не крупнейшим литератором. Он, Булгарин, создал первую частную русскую газету, сделал ее одной из популярнейших. Знали бы, сколько ему это стоило, сколько он должен был вымалывать, прислуживать, унижаться. Но иначе в этих условиях разве чего-нибудь добьешься? Никто другой не сумел бы пробить этих трусливых, бездарных чиновников. Да, ему нужны были покровители, он выбрал Бенкендорфа, он выбрал III отделение, за все надо платить. Зато он мог хоть как-то отстаивать свое мнение от глупостей цензуры, от Уварова. Он был первым, пожалуй, российским профессионалом-газетчиком, журналистом и принял все тяготы и невзгоды, которые достаются первому. Прошлое его жены закрыло ему доступ в свет. Он женился на ней, не боясь осложнить свое и без того непрочное положение, это был подвиг любви, а в него кидали грязью. А чем отблагодарила его семья? Его тиранили, ему не было жизни из-за тещи, да жена его, он знал, неверна ему.

Л. Ордынский, которого Булгарин устроил секретарем к Бенкендорфу, не только не помогал Булгарину, а, наоборот, стал помыкать им, по словам Греча, «водворился у него в доме и стал хозяйничать и командовать, как у себя. Булгарин не смел пикнуть и предоставил ему делать, что угодно. До каких пределов простиралась эта уступчивость, по совести сказать не могу».

Его называли доносчиком, а он сохранил архив казненного Рылеева, он защищал память Сперанского и за это получил нагоняй от царя.

Друг его, давний, лучший друг — Николай Иванович Греч, и тот конфузливо открещивался от своего напарника: «Этот пачкун и мерзавец ссорит меня со всеми передовыми людьми, марает меня своим товариществом, но что делать, он человек деловой, расторопный!» Да, деловой, а как иначе было прожить? Благодаря ему, между прочим, и благоденствовал Греч.

Все, что он имел — славу, положение, деньги, — он добился сам, своим горбом. Он сделал себя, он стал талантливым.

Б. Городецкий приводит любопытнейшее место из статьи Булгарина. Булгарин сравнивает «грамотного труженика» (имея в виду себя) с «полуграмотным поэтом»: «Вот как мало надобно полуграмотному для достижения того наслаждения, которое грамотный приобретает тяжкими трудами и пожертвованьем трех четвертей своей жизни!»

Трудами, тяжкими трудами достиг он и превзошел.

Впрочем, мизантропия натуре его не свойственна. Ненависть его всегда конкретна. И с верностью и постоянством обращена к лучшему, что есть в русской литературе.

«Некрасов — самый отчаянный коммунист, стоит прочесть его стихи и прозу, чтобы удостовериться в этом», — пишет он в одном из своих доносов.

В дни похорон Гоголя он пишет, как бы подытоживая многолетние свои нападки на «Ревизора», на «Мертвые души»:

«Статья в пятом нумере «Москвитянина» о кончине Гоголя напечатана на четырех страницах, окаймленных траурным бордюром. Ни о смерти Державина, ни о смерти Карамзина, Дмитриева, Грибоедова и всех вообще светил русской словесности русские журналы не печатались с черной каймой. Все самое меньшее подробности болезни человека сообщены М. П. Погодиным, как будто дело шло о великом муже, благодетеле человечества или о страшном Атилле, который наполнял мир славою своего имени. Если почтенный М. П. Погодин удивляется Гоголю, то чему же он не удивляется, полагая, что он так же знаком с иностранной словесностью, как с русской историей?»

Ему уже было шестьдесят три года. Он был так же крепок, говорлив, франговат. Доспелся бело-розовый жир, серебристо светилась седоватая щетина, блестели лакированные полусапожки, ничего иноземного, он тщательно изображал русофила, русака. Бриллиантовые перстни — награды обожаемого монарха — лучились на его толстеньких пальцах, и ордена, ордена... Прочная слава окружала его если не нимбом, то панцирем. Никакие угрызения совести не мучили его. Он оставался жизнелюбом.

«...А шуткарь! Честное слово шуткарь! — вспоминает журналист Буркашев. — Вчера это были мы с ним, с Кукольниковом и со всей честно нашей компанией у М. Ольхина на крестинах. Господи боже мой! Шампанского Фаддей чуть не ушат выпил и почти всю джонку опустошил; а потом сегодня поутру, уж часу так в восьмом, послал за устрицами да за белою померанцевой ради опохмеления. И как рукой сняло! Молодец! Застал давеча за работой: строгий!»

О чем думал он, читая, допустим, «Моцарта и Сальери»? Приходило ли ему в голову сравнение?.. Вопрос, конечно, наивный, нелепый. Уж его, Булгарина, был устроен так, что скорее он признал бы себя в Моцарте, чем в Сальери.

Среди множества драм у Кукольника есть драматическая фантазия «Доменикино». Это про итальянского художника Доменикино Цампиери, якобы затравленного, даже отравленного завистниками. А возглавляет завистников злобный интриган художник Ланфранко. Так вот оказывается, что себя Кукольник считал Доменикино, а под Ланфранко имел в виду Пушкина. В дневнике он пишет (1836 год!):

«Не хотел бы я жить ужасной жизнью Цампиери... но если того требуют судьбы искусства: да будет! Уже в большой мере судьбы наши сходствуют: нам не удалось найти почитателей наших талантов, а только приятелей, любящих в нас людей, с тайной холодностью к нашим способностям; вражда сохудожников с примесью клеветы; и у меня есть свой Ланфранко — Пушкин... Забавные сближения, но они по чувству моему справедливы».

Он убежден, что потомство будет на его стороне.

А мы судим его и ему подобных нашей любовью к Пушкину. И не можем простить Булгарина главным образом из-за Пушкина. Мы не можем простить Сальери, мы не можем простить общество, которое отправило в ссылку Шевченко, Чернышевского, Достоевского, тем, кто погубил Ван-Гога, обрек на нищету Рембрандта, Модильяни, тем, кто мучил Галилея.

Я не могу никогда простить Мартынова, хотя он никакой не злодей, он честно дрался на дуэли.

Нам мало любить, нам найти несправедливость необходимо.

Может быть, это и правильно, может быть, это и есть высший суд, о котором сказал Лермонтов:

Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;
Он не доступен звону злата,
И мысли, и дела он знает наперед...

XI

Чем отличается гений от негения? Грань тут неуловимая. Нащупать ее современникам нелегко. Голос, который диктует Моцарту божественные созвучия, не слышен окружающим. Для них и Моцарт и Сальери одинаковы: оба всем своим существом чувствуют силу гармонии, оба страстно любят искусство, могут ценить его, оба жрецы прекрасного, избранные служить своему делу. По-разному они понимают свое служение, ну и что ж, разность эта может быть несходством их художественных натур. Один сух, рационалистичен, другой эмоционален; один может быть Бахом, другой — Гайдном; одного признают сразу, другого — попозже, лет через сто: гении и должны быть разными.

Подняв стакан с ядом, Моцарт провозглашает:

...за искренний союз,
Связующий Моцарта и Сальери,
Двух сыновей гармонии.

Никто из сидящих в трактире не знает, что яд брошен. Оба стакана одинаковы, оба музыканта известны, любимы всеми. До этой минуты оба — и Моцарт и Сальери — для нас, как и для Моцарта, были равноправные сыновья гармонии.

Но теперь гений отделился, яд разделил их.

Отравленное вино расторгло союз. Последняя реакция, последнее средство отделить подлинный гений от мнимого — это нравственное испытание. Злодейство открыло истинную, темную сущность Сальери. Маска сорвана.

Сущность открывается и самому Сальери. Вместе с ядом начинает действовать и логическая схема: гений для Моцарта не может быть злодеем, а так как Моцарт сам гений, беспорядный гений, то, следовательно, он имеет право судить, и, значит, Сальери не гений...

Если гений и злодейство совместимы, то в чем же назначение гения? Творить зло? Неужели для этого дается божественный дар? А что можно другое творить, если правды нет нигде? Ни правды, ни справедливости. Но гений несет правду, истину, красоту, добро. Значит, они есть...

Нравственное начало становится пробой гения. И человечество отбирает для себя лишь тех, кто несет это нравственное начало.

Одно из последних стихотворений Пушкина — «Памятник» — как бы его завещание, где он утверждает высшее назначение поэта. В чем оно состоит?

И долго буду тем любезен я народу,
 Что чувства добрые в нем лирой пробуждал,
 Что в мой жестокий век восславил я свободу
 И милость к падшим призывал.

Пушкин переосмыслил для себя державинский «Памятник». Все так же, как и у Державина, и все иначе, и в этом иначе и есть собственное пушкинское понимание смысла жизни его гения.

У Державина поэт обязан

Истину царям с улыбкой говорить.

Для Пушкина важнее «милость к падшим» призывать.

Любовь, доброта, милость, милосердие, то есть милость сердца, бойца за свободу и справедливость — вот чем для него измеряется заслуга гения перед народом.

Образ Эйнштейна существует для людей независимо от его работ. Большинство знает Эйнштейна-человека. Духовный облик этого человека, его душевное величие, и красоту, и трагедию. Жизнь Фарадея, и жизнь Менделеева, и жизнь Жюлио-Кюри, и Вавилова, и Нансена, и Ломоносова, и Толстого действуют на поколения сильнее, чем содержание работ Фарадея или работ Ломоносова. Периодическая таблица элементов отделилась от Менделеева, стала объективным законом, а история жизни Менделеева, облик его существуют независимо — примером служения науке, истине. Школьные законы Архимеда могли и забыться — что-то насчет тела, опущенного в жидкость, Архимед это открыл или Паскаль, не все ли равно. Но прекрасна и поучительна легенда о радости открытия, то, как Архимед бежал по улицам Сиракуз с криком «Эврика!», и наши деды, и мы задумывались над легендой о его гибели.

И даже Пушкин пребывает для меня зачастую помимо своих стихов. Как человек, нет, скорее как удивительный праздник русской природы, веселое и гармоничное воплощение гениальности, от которой светлее становится на душе.

Казалось бы, ему я мог все простить. Что значит злодейство по сравнению с тем благом, какое он дарит человечеству?

Но в том-то сложность, и невероятность, и красота, что для Пушкина не существует подобных вопросов. Он судит гения высшей требовательностью. Нет и речи о том, чтобы прощать. Он спрашивает не о том, можно ли простить гению злодейство. Он спрашивает, совместны ли они вообще? Можно ли представить их соединенными в одном человеке, в одной душе?

Может ли быть, что и Пушкину это не было ясно до конца, до самого категорического предела?

Убийца Моцарта должен был бы вызывать гнев, отвращение, презрение. А этого нет. Пусть Сальери — трагическая фигура, пусть великий злодей, но ведь не чувствуется у Пушкина ненависти к нему.

В каждом упоминании о Булгарине у Пушкина видно возмущение, насмешка, злость, глумление; даже не зная ничего о Булгарине, лишь по пушкинским эпиграммам и фельетонам начинаешь ненавидеть Видока. У Пушкина не было Сальери — у него был всего лишь Булгарин и булгарины. Художническая борьба была опакошена подлостями, доносами, ввергнута в мясорубку без соблюдения правил чести.

Я вспомнил тот давний спор на берегу моря: что, если Моцарт и Сальери были для Пушкина — Пушкин и Пушкин?

То есть в том смысле, что обе эти силы, оба эти начала он находил в себе и они боролись, волновали, мучали его. И если Моцарт был ему ближе, понятнее, то с тем большей пристальностью он вглядывался в Сальери, выслушивал его голос.

То, что Пушкин может быть Моцартом, это как бы само собой разумеется. Конечно, Сальери у Пушкина — это не трагедия самого Пушкина, это, очевидно, другое понимание искусства, другой подход к нему. Это те противоречия, которые одолевались. Из этого рождается решение, выбор, каждое решение — результат выбора, а каждый выбор — это потеря: решая, всегда что-то теряешь. Моцарт и Сальери предстают как вечная борьба между соображениями пользы, расчета — и безотчетного вдохновения, когда душа изливается свободно, не сдерживаемая трезвым рассудком. Между желанием все разложить, логически понять, взвесить законы и невозможностью это сделать. Между той частью души, которой в мечтах подвластны все чувства, слова, образы, звуки, и той, что не в силах выразить себя точными словами, звуками, красками. Это еще и зависть, живущая в душе художника, и стыд перед этой завистью. Может быть, несовместность эта вовсе не означает, что они не могут существовать вместе. Может, она значит совсем иное — что они пребывают в борьбе, и в этой борьбе гений побеждает, он должен победить, в этом его испытание, в этом его проверка.

Ловкие и соблазнительные эти рассуждения относились скорее к другим примерам нашего спора. Пушкин, как никто, умел и мог выразить себя точно. В этом отражалась цельность его натуры.

Для Сальери нет правды нигде. Для Пушкина правда есть. Он творит суд над злодейством по законам этой правды, истины, суд над убийцами Пушкина.

Его суд над Сальери выше гнева и ненависти. Он может жалеть Сальери, но не может простить его; Сальери не уголовный убийца, Сальери убивает по делу, из соображений искусства, — это злодейство в искусстве и значит предательство искусства, которое служит добру, правде, свободе... Предательству нет пощады.

Пушкин ни минуты не сомневается, в нем тот же гений, что и в Моцарте, и, подобно Моцарту, он не может допустить совместность гения и злодейства.

Для Пушкина искусство может создаваться только человеком, соблюдающим высшие требования нравственности. Нельзя служить искусству и убивать, как угодно убивать, — гения, гениальное.

Пушкин оставляет Сальери жить и мучаться, потому что Сальери и Моцарт несовместны. Он понимает трагичность гения, трагичность собственной судьбы, но отступить нельзя, невозможно.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

АЛЕКСАНДР ОВЧАРЕНКО

★

СНОВА НА РЕЙНЕ

В 1971 году весна в ФРГ наступила раньше обычного. В Майнце-на-Рейне, куда мы приехали в конце марта, цвела форсайя, горели красными и желтыми огнями тюльпаны, набирали цвет жасмин, черемуха, сирень, вишня. А когда две недели спустя наша делегация отправилась в поездку по юго-западной части Федеративной Республики, розовато-белый цвет стал преобладающим: цвели вишни, магнолии, японская сакура, китайская айва, распускаясь сирень.

Интеллигентские круги, в которых нам пришлось возвращаться по преимуществу, тоже переживали пору цветения... иллюзий.

— Мы все стали брандтистами,— сказал профессор Вальтер Бодеманн, три года назад доказывавший мне, что Вилли Брандту вряд ли удастся прийти к власти.

— Что значит быть брандтистом?

— Значит открыто поддерживать политику нашего нынешнего канцлера.

— В восточном вопросе?

— Нет, в целом, а в восточном вопросе в особенности. Успех его поездки в Москву, подписание договора от 12 августа 1970 года между СССР и ФРГ мы рассматриваем как самую крупную победу демократических сил нашей страны за последнюю четверть века. Наконец-то официально признаны ложью утверждения об «угрозе с Востока». Вот вам первый обнадеживающий результат.

Он положил передо мной номер газеты «Франкфуртер рундschau», в котором подробно рассказывалось о недавно состоявшемся во Франкфурте-на-Майне совещании, обсудившем перспективы европейской безопасности. Совещание было создано по инициативе «Группы 200», в которую вошли видные ученые, писатели, политические деятели, профсоюзные лидеры и которая ставит перед собой задачу «способствовать распространению и укреплению в общественном сознании идеи европейской безопасности». В движении прогрессивной общественности участвуют знакомые мне профессора Риддер и Когон, председатель Ассоциации лиц, преследовавшихся при нацизме, доктор Россайнт, председатель Союза немецких писателей Дитер Латманн и многие другие. Выступавшие на совещании профсоюзные и политические деятели (Вальтер Фабиан, Мартин Бангеманн и др.) квалифицировали гонку вооружений как тормоз на пути общественного прогресса. «Теория устрашения», — подчеркивал в основном докладе Мартин Бангеманн, заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) земли Баден-Вюртемберг, — заключает в себе громадную угрозу миру и безопасности именно в Европе, поскольку непосредственно связана с подготовкой к войне».

Однако такого рода событие, как совещание, созданное «Группой 200», — пока редкое явление в общественной жизни ФРГ. Большинство демократически настроенной интеллигенции практическим акциям предпочитает рассуждения о радужных возможностях, открываемых договором. Многие повторяют крылатые слова Вилли Брандта: «Перед нами стоит задача ввести подписанный договор в силу, вдохнуть в него жизнь и превратить его в надежный мост мира и понимания». Говорят о расширении туризма, об усилении научно-технического, культур-

ного обмена. Только коммунисты сформулировали конкретную программу действий, связанную с реализацией договора.

— Ожесточенное сопротивление ультраправых сил Московскому договору, — сказал член президиума ГКП товарищ Вилли Гернс, — убедительно свидетельствует о том, что этот договор представляет собой нечто большее, нежели клочок бумаги. Никто так не заинтересован в укреплении мира в Европе, как трудящиеся слои. Если Федеративной Республике никто не угрожает (а Договор подтверждает, что разговоры об «угрозе с Востока» — грубая антикоммунистическая ложь), то можно осуществить предложение Германской коммунистической партии (ГКП) о сокращении военных расходов на 15 процентов ежегодно, то есть вдвое на протяжении четырех лет. Высвободившиеся средства можно было бы использовать в сфере просвещения, направить на развитие здравоохранения и транспорта, на строительство дешевых жилищ, на уменьшение налогового обложения трудящихся и на другие мероприятия в интересах трудового населения. Развитие тесных экономических и технических контактов с бескризисной экономикой Советского Союза и других социалистических стран создает новые возможности для борьбы рабочих и служащих за гарантированные рабочие места и повышение благосостояния. Одновременно этот Договор создает более благоприятные исходные позиции для борьбы с антикоммунизмом.

Как показала наша тридцатидвухдневная поездка по стране, значение Московского договора для оздоровления общей атмосферы в ФРГ уже и сегодня трудно переоценить. Мне довелось выступать с лекциями, проводить беседы-диспуты в университетах и институтах Майнца, Фрейбурга, Франкфурта, Мюнхена, Гейдельберга, Маннгейма (все в землях, где правят не социал-демократы, а ХДС). И всякий раз упоминание о Договоре, о перспективах, открываемых его ратификацией, встречалось одобрительными аплодисментами большинства. Однако, публикуя отчеты об этих выступлениях, официальные органы печати опускали абзацы о Договоре.

Как бы то ни было, остается бесспорным, что ныне в ФРГ неизмеримо возрос интерес к СССР, к советской культуре, к русскому языку, ко всему, что происходит в нашей стране. Любопытная деталь: даже в таких городах, как Майнц, Фрейбург, Мюнхен, Нюрнберг, «Правду» с отчетом о заседаниях XXIV съезда КПСС нельзя было достать уже через два часа после ее поступления в вокзальные киоски.

За всю поездку по ФРГ, изобиловавшую интересными встречами и острыми спорами со студентами, учеными, писателями, профессиональными переводчиками, в сущности, произошло всего два инцидента, да и то незначительных. Во Фрейбурге один из участников диспута попытался обвинить СССР в антисемитизме, но получил отпор со стороны самих немцев. В Мюнхене два участника беседы в Институте языка и перевода начали задавать провокационные вопросы о нашей внутренней политике, но тоже были осмеяны при самом активном участии большинства пригласивших нас студентов. Так что ректор института доктор Лане поспешил прекратить беседу вообще.

Еще более знаменателен сам факт проведения семинара по русскому языку в городе Майнце-на-Рейне. Это столица земли Рейнланд-Пфальц, «черной земли», как ее называют: здесь у власти стоят христианские демократы. Вообще это одна из прочных цитаделей консерватизма. Здесь даже студенты до самого последнего времени не бунтовали. Здесь почти не привились мини-жюпы. На узеньких, кривых средневековых улочках старой части города то тут, то там видишь монахов и монахинь в черных одеяниях и белых накидках. Они любят ходить по брусчатке мостовой, а не по узеньким тротуарам. Ходят по двое, по трое. Над городом несется перезвон колоколов. В соборе и в многочисленных церквях поют религиозные хоры. Церковное пение можно услышать и по местному радио. Нередко оно доносится из окон домов.

Вот в этом-то городе в самый канун пасхи начал свою работу семинар преподавателей русского языка в немецких гимназиях, переводчиков, а также сту-

дентов местного университета (Гутенбергского), избравших своей будущей специальностью славистику. Почти две недели в столице «черной земли» звучала русская речь. В работе семинара приняла участие делегация советских ученых.

В университетском городе для занятий семинара не нашлось подходящего гражданского здания. Семинар работал в принадлежащем местному евангелическому обществу Кетлер-хаузе — отличном здании, рассчитанном святыми отцами на улавливание человеческих душ. Одетый в цивильное платье, в модную здесь белую «водолазку», очень вежливый повелитель дома, художавый человек с испытанным лицом святого, говорил нам:

— В нынешнее мятущееся время люди должны иметь дома, в которых безопасно говорить о чем угодно. Таков наш дом.

Кетлер-хауз действительно создан для удовлетворения разнообразных желаний правоверного христианства. Здесь можно вкусно пообедать. Можно почитать газету, купить книгу или целую библиотеку книг, посвященных самым животрепещущим проблемам, например проблеме гуманизма или положению так называемых гастарбайтеров (иностранных рабочих в ФРГ). Можно встретиться с духовником... Многое можно в этом доме...

В свободное от семинара время я при самой активной помощи немецких ученых проходил в Майнце-на-Рейне своеобразный курс «Основные архитектурные стили и их модификация в искусстве»: соборы и церкви, а также богатейший музей города позволяют овладеть знанием этой области в кратчайшие сроки, наглядно постигнуть специфику и особенности всех основных стилей, начиная с романского.

Особая достопримечательность города — знаменитый музей Иоганна Гутенберга. С 1962 года он размещается в новом, кстати, очень уютном доме, расположенном рядом со старым, 1616 года, зданием. Много часов провел я здесь, постигая на редкостных экспонатах, как произошло графическое отделение звука от слова, как зародился первый алфавит, рассматривая старинные манускрипты, «арабески», «свитки», «складки» — древнейшие прообразы книг, рукописные фолианты X—XIII веков, атласы, в частности географическую карту земли 1482 года.

В старом, всеветно известном по многочисленным открыткам и литографиям красном здании музея ныне находится уникальная библиотека: музей следит за развитием книжного дела во всем мире. Мы пополнили его коллекцию только что вышедшей книгой Маяковского.

К старому зданию музея Иоганна Гутенберга примыкает пятиэтажное желтоватое здание с надписью «Altdeutschen Weinstube», выше — барельеф с изображением австрийского императора, под ним убористым шрифтом сообщается, что в этом доме останавливался кайзер Иосиф Австрийский, когда в 1777 году ехал навестить свою сестру Марию-Антуанетту. Для истории это, конечно, событие чрезвычайное. А вот тот факт, что в соседнем доме жил Гёте, написавший кое-что и о Майнце, до сих пор не отмечен ни памятной доской, ни даже простым упоминанием в справочниках, которыми здесь вас вооружают.

Против Майнца, на той стороне Рейна, находится курортный город Висбаден. По склонам гор, в стыке образующих своеобразную чашу, он сбегает к реке, упираясь крылом в небольшой городок Кастль, который ныне превратился в один из районов Висбадена. Мы пересекаем мост через Рейн и едем по Висбадену. Город радуется чистотой своих улиц, обилием белых зданий, что не так-то часто встречается на Рейне, притягивает зеленью парков и аллей. У красивого городского театра нас встречает Франц Шиллер с раскрытой книгой в руках. В ФРГ это, кажется, один из немногих театров, защищающий и развивающий лучшие традиции классического искусства. На двух его превосходных сценах ставятся мировые шедевры. В день нашего приезда шел балет «Лебединое озеро» Чайковского, на следующие дни были объявлены «Ромео и Джульетта» Прокофьева, «Макбет» Верди, «Женитьба Фигаро» Моцарта, «Зигфрид» Вагнера,

«Богема» Пуччини... Какой контраст с кинотеатрами города, в которых в тот же день шли фильмы «Смерть из Темзы», «Траш» и подобные, сопровождаемые надписями «Порно», «Эротико» и «Суперсекс»!

Немецкий ученый-славист сообщил, что в Висбадене похоронен известный переводчик русской литературы Фридрих Боденштедт. Он вспомнил также, что здесь произошли события, описанные в романе «Игрок» Достоевского.

Разумеется, хотелось увидеть дома, в которых здесь жил в 1862, 1863 и в 1865 годах Достоевский. Но с нами не было гида, а приобретенные тут же путеводители не сообщали на этот счет никаких сведений. Я знал, что в 1862 году в Висбадене лечился Ф. И. Тютчев, что в 1873 году сюда заезжал, здесь где-то продолжал работу над поэмой «Кому на Руси жить хорошо» Некрасов. Но где здесь? На этот вопрос нам никто не мог ответить. Совершенно случайно натолкнулись на отель, в котором останавливался И. Тургенев, приехавший в 1876 году в город для встречи и переговоров с дочерью А. С. Пушкина (графиней Н. А. Меринберг). Он приобрел у графини письма А. С. Пушкина к жене. Позже с предисловием И. Тургенева эти письма появились в журнале «Вестник Европы».

Во Франкфурте-на-Майне я был дважды, с волнением осматривал дом, в котором родился Гёте и в котором он написал «Страдания молодого Вертера». Ничто так не приблизит к вам величайшего писателя, как вот это небольшое потемневшее ореховое бюро, за которым в течение тридцати дней был создан бессмертный роман, сделаны первые наброски к грандиозному творению, известные под названием «Прафауст»: и вот эти часы на лестнице, подаренные будущему писателю, когда он был еще ребенком. Но мое ощущение счастья было бы полнее, если бы удалось увидеть во Франкфурте-на-Майне здания, где жили или останавливались проездом и другие великие писатели, среди них — Гоголь, Тютчев, Лев Толстой, Тургенев. К сожалению, об этом никто из организаторов нашей поездки не знал.

Четырежды — два раза на поезде, два на автомобиле — я проехал вдоль Рейна, проплыл по нему на пароходе. Странно: гремят железнодорожные составы, шумит бесконечный поток автомобилей, проплывают один за другим огромные пассажирские пароходы, бороздят темную воду бесконечно длинные баржи, а ты почти ничего этого не видишь и не слышишь. Взор твой прикован к неповторимому ландшафту: сбгающие в Рейн горы покрыты виноградниками, а у самых вершин виднеются бесчисленные замки, соревнующиеся между собой не только в оригинальности, но и в стремлении взобраться как можно выше. И все кажется, что вот сейчас из легкой дымки появится молодой Гёте, каким он изображен на рисунке К. Лафатера или на портрете Г. Крауса. Таким он, пройдя от Гисена до Эмса по берегу реки Лан, вышел здесь где-то к старому Рейну и замер, упиваясь открывшейся перед ним красотой. Потом взял лодку и поплыл один, не уставая восхищаться живописностью Оберланштейна, великолепием и величию замка Эренбрейтштейн. От Таля до Майнца он плыл на яхте со знакомой ему семьей Мерке... На склоне лет он напишет об этом путешествии в книге «Из моей жизни. Поэзия и правда»: «На досуге мы наслаждались бесконечным разнообразием берегов, которые, при стоявшей тогда великолепной погоде, с часу на час становились все прекраснее и, меняясь, словно бы приобретали еще большее величие и прелесть. Называя имена такие, как Рейнфельс, Сен-Гоар, Бахарак, Бинген, Эльфельд и Биберих, я могу только пожелать, чтобы каждому из моих читателей дано было счастье вспоминать об этих краях»¹.

Мы тоже наслаждались красотой рейнских берегов. Мне приходилось уже бывать в этих местах раньше, приходилось проезжать и вдоль впадающих в Рейн рек Неккар, Лан, Мозель. И я снова повторял вслух стихи другого великого немецкого писателя, которого в свои студенческие годы считал самым честным, самым свободомыслящим, самым независимым из всех немецких писателей и о котором тогда написал свою первую работу:

¹ Иоганн Вольфганг Гёте. Из моей жизни. Поэзия и правда. М «Художественная литература». 1969, стр. 407.

Земли блаженные! Нет здесь холма без лозы виноградной..
Радостно моют в водах свои ноги горящие горы,
Главы их нежат венки мхов и зеленых ветвей,
И, точно дети на плечи седого высокого деда,
Лезут по склонам глухим замки и хижины вверх.

Мы радовались также тому, что эту красоту видели Белинский, Гоголь, Толстой, Тургенев.

В Гейдельберге мы остановились в отеле «Голландский двор», выходящем окнами на Неккар. К отелю непосредственно примыкает четырехэтажное здание, в котором помещается знаменитый ресторанчик «Золотая щука». Здесь любили бывать выдающиеся писатели. Силуэты их помещены на стене справа от входа: К. Брентано, Л. Уланд, Г. Шваб, Г. Келлер, Ф. Гельдерлин, И. В. Гёте, Ф. Гебель, А. Арним, Н. Ленау, В. Ауэрбах... А вот силуэтов И. Тургенева, Ф. Тютчева, братьев Аксаковых, тоже захаживавших сюда, нет.

Многое можно было бы сказать еще на эту тему. Но я, чтобы не быть несправедливым к Висбадену, давшему тему для разговора, отмечу истинное гостеприимство его коренных жителей. Когда солидная фрау, дежурившая в зале, где больные пьют целебную воду, узнала, что я из СССР и специально пришел осмотреть места, посещавшиеся знаменитыми русскими писателями, она предложила мне отведать воды из двадцати семи его целебных источников бесплатно — щедрость по немецким понятиям необычайная! В главном игорном доме у входа в залы с рулетками нас остановил суровый лысый привратник. Он сказал, что впустить нас не может, так как мы одеты не по форме (обязателен черный костюм, а еще лучше — фрак). Мои спутники оба стали объяснять привратнику цель нашего приезда. Он слушал их недоверчиво, потом обратился ко мне:

— Ничему хорошему, господин профессор, вы здесь не научитесь!

Я рассмеялся и ответил, что приехал в ФРГ не для того, чтобы играть. Он подобрел, протянул мне на память комплект игральных карт, разрешил понаблюдать за игрой со стороны:

— Только из уважения к тому, что вы не играете.

В Баден-Баден мы приехали из Карлсруэ. Уже на полпути местность резко изменилась. Вместо бесконечных зеленых квадратиков, засеянных пшеницей и другими злаками, появились холмы, увалы, небольшие рощицы и лесочки. Потом потянулись цепочки гор. Они все смелее подходили к ним справа и слева, пока не встретились. В средостении их и находится Баден-Баден. Он красиво оправлен в темное горное ожерелье: налево, направо и прямо горы, покрытые хвойными лесами. Центральная магистраль проходит почти по берегу небольшой реки, разрезающей городок надвое, по ту сторону вытянулась Лихтенталераллее с газонами, живописными лужайками, фонтанами. В обе стороны от центральной улицы и Аллеи взбегают на горы узенькие улочки двух-, трехэтажных домов. Все погружено в зелень.

Наш автобус останавливается недалеко от Лихтенталераллее.

— Это город, в котором умирают богачи, — сообщил нам доктор социологии В. Бонач.

«Умирующие» сидят на лавочках, гуляют по аллеям, катаются в старинных фаэтонах, запряженных парой, ездят верхом на белых рысаках или на пони в маленьких тележках, слушают музыку в открытых театрах, наконец, спешат к рулеткам. По их внешнему виду не заметно, чтоб они умирали. Напротив, всем своим видом они демонстрируют благополучие и самодовольство. Несмотря на двадцатипятиградусную жару, многие женщины прогуливаются в норковых шапках, каракулевых шубах. Слышны почти все языки мира. Видны люди всех цветов кожи. Здесь лечат ревматизмы миллионеры со всех концов земли. Говорят, вода, которую пил еще император Антоний Каракалла, помогает и при затрудненном дыхании. Здесь лечатся. И здесь подводят итоги жизни главным образом люди, отдавшие все силы наживе. Они идут старичок со старухой. Их жизнь заканчивается. Но в глазах не страх, а надменность: у нас миллионы

С доктором социологии идем к Центральному железнодорожному вокзалу, расположенному почти у самого въезда в город. Я рассказываю, что в 1857 году, наверное, вот через эту дверь, вот по этой дороге проследовал в город Лев Толстой. К сожалению, мой собеседник о пребывании Толстого в Баден-Бадене слышит впервые. Неизвестно ему и то, что сюда к Льву Николаевичу приезжал Тургенев. Толстой страшно обрадовался, ибо, по словам Тургенева, сидел в Бадене как в омуте и совсем потерялся. Дал Тургеневу почитать только что законченный рассказ «Люцерн». Рассказ не из самых сильных у Толстого. Но Тургеневу он позволил написать пророческие слова о Толстом: «Он, как Геркулес, находится на перепутье; дай бог ему пойти по хорошей дороге». Напутствие оказалось счастливым. Из Баден-Бадена Толстой уехал во Франкфурт. Больше он здесь не бывал. Для Тургенева же через несколько лет этот город стал почти родным. С 1862 года, когда здесь поселилась Полина Виардо со всей своей семьей, Тургенев жил в этом городе по несколько месяцев почти ежегодно. Сначала на Амалиенштрассе, потом на Шиллерштрассе, а в 1866 году построил собственный дом на Тиргартенштрассе. Вот только не помню номера домов, хотя перед самой поездкой сюда заглядывал в летопись жизни писателя. Здесь Тургенев написал рассказы «Призраки», «Довольно», здесь обдумывал роман «Дым». Здесь выдал замуж свою дочь Полину. Сам писатель вел здесь, по его собственным словам, уединенную, почти под землей сокрытую жизнь. В одном из писем он объяснял это примерно так: «Тут хорошо: зелено, солнечно, светло, красиво. Много русских, но всё — высшего ранга и потому низшего сорта, что и заставляет меня избегать их». Не помню точно, но, кажется, здесь Тургенев встречался с Некрасовым, с Щедриным. Щедрин лечился в Баден-Бадене от ревматизма. Приехал он вот в такое же время. Лечение пошло на пользу. Через несколько недель он уже стал не только передвигаться свободно, но и бродить по окрестностям. Вообще же он вел здесь тоже замкнутый образ жизни, а в одном из писем назвал Баден-Баден «благовонной дырой». Это не помешало ему написать здесь знаменитый «Сон в летнюю ночь», продолжать работу над циклом «Благонамеренные речи», начать цикл «Культурные люди» и выдающееся произведение мировой сатиры — роман «Господа Головлевы»...

Обо всем этом рассказал я в Баден-Бадене доктору социологии. Пораженный собственной неосведомленностью, он в ближайшем киоске скупил справочники и стал лихорадочно отыскивать в них хоть какие-либо указания на то, о чем только что услышал. Но нашел всего одну фразу: «По Лихтенталераллее гуляли Наполеон III, королева Виктория, Бисмарк...»

Как я уже сказал, память моя не удержала номера домов, в которых жили Тургенев, Щедрин. Поэтому мы довольствовались тем, что медленно прошли по улицам, видевшим Толстого, Тургенева, Щедрина, Писемского. «Тут хорошо», — снова повторил я слова Тургенева. Они пробудили другие: «Зелени пропасть, дурья старые, тенистые, изумрудным мохом покрытые».

— Это кто так сказал? — спросил доктор социологии.

— Это написал Тургенев!

— Как будто о сегодняшнем дне написал.

— Еще лучше он писал романы, — сказал я, не скрывая своего разочарования.

Дело в том, что организаторы нашей поездки по ФРГ, выбирая города для посещения, кажется, совсем забыли о Толстом, Достоевском, Щедрина. Но подчеркивая культурно-образовательный аспект поездки советской делегации, они несколько раз напоминали мне: «В Баден-Бадене работает международная выставка картин Сальвадора Дали».

Ну что ж, посмотрим, что противопоставляет этот мир нашим классикам. Говоря «этот мир», имею в виду, что Баден-Баден и сегодня остается фешенебельным курортом, куда съезжаются некоронованные власти многих стран. Это ради них свезли сюда со всех музеев картины одного из самых воинствующих художников-модернистов. Сальвадора Дали. Если не ошибаюсь, сейчас ему под

семьдесят. В автобиографической книге «Интимная жизнь Сальвадора Дали» он не без бравады писал, что его мировоззрение формировалось на основе философии греческих софистов, иезуитской мысли Испании, обоснованной святым Игнатием Лойолой, и диалектики Гегеля. Так ли это или не так, но как для художника для Сальвадора Дали характерно решительное отрицание реализма, деструкция всего и вся, искусственная усложненность, патологический эротизм. Художник яростно сокрушает принцип причинности, логику, утверждая мистику, всемогущество подсознания.

Говорят, что одну из своих лекций в Париже Сальвадор Дали начал так: «Мы, Пикассо и я, пришли из Испании, чтобы обмануть вас, бросив вам кусок с надписью «истина». Он же сказал о своем политическом антиподе: «Пикассо хочет быть коммунистом. Но остается нашим королем». Художник умолчал, однако, о том, что сам довел до абсурда многие подлинные достижения своих предшественников, не исключая и Пикассо.

Самое же главное, что скрывается за всем этим, может быть выражено старой канцелярской формулой: «И никаких революций!» Более того, по его собственному признанию, ужас и отвращение ко всякого рода революциям носит у него почти болезненную форму. Он один из немногих в мире искусства, кто столь бесстыдно выставляет напоказ свой антикоммунизм, кто открыто солидаризировался с Гитлером, к кому благосклонен Франко, кто исповедует расизм, мечтает о возврате всего человечества к средневековью. Он и модернизм критикует справа.

В изображении Сальвадора Дали современный мир выглядит безнадежно раздробленным, погружающимся во мрак, бессмысленным по самой своей сущности, лишенным светлых перспектив. Полный упадок сил. Умственная несостоятельность. Какое-то лирическое слабоумие. Непреодолимость инстинктов. Безумие извращений. Гиперэстетизированное оригинальничание. Абсолютное бесстыдство капризов. Словом, мир и человек — как сумма извращений. И все это тем ужаснее, что художник действительно обладает недюжинным талантом, в совершенстве владеет кистью, он отличный рисовальщик, умеет сделать изображаемое почти физически ощутимым («Мадонна»).

Картины у Сальвадора Дали, как правило, небольшие по размерам. Они размещены в центральной галерее Баден-Бадена: на первом этаже — ранние, на втором — поздние. У самого входа нас встречает мастерски написанное полотно, на котором изображено нечто вроде поставленной на ребро, обломанной серой плиты в сплошных дырах-промоинах. У самого края ее синей краской нарисовано маленькое, лысое, с выпученными глазами и заросшим лицом, с обнаженными клыками чудовище, нечто среднее между сатиром и крокодилом. На самом острие плиты такая же маленькая синяя головка существа тоже с глазами навывкат. Вся плита исписана двумя многократно повторенными словами «та теге», давшими название и всей картине — «Мои желания».

В соседнем зале — «Венера Милосская» с выдвинутыми ящичками, великий образ, созерцающий который в Лувре, плакал Генрих Гейне, обезображен дурацкими ящичками, выдвинутыми из груди, головы...

Рядом отлично написанная вальяжная женщина в бордовом, у нее породистое лицо, на голове высокая меховая шапка. Женщина всматривается в собственное изображение. Вернее, напротив нее сидит... она же, но шапка на ней горит каким-то черным огнем, вместо лица — серые стесы, вместо роскошной груди — клочки меха. Картина называется «Меланхолия».

Но больше всего на выставке картин, отражающих уродство мира сего, буйство его «подсознательных» стихий, бредовые явления, эротические выверты («Шесть карандашных рисунков для Казановы» и др.). Здесь половой инстинкт возведен в эстетику, смерть — в любовь, страдание — в религию. Сам автор как-то определил художественный метод этих произведений как параноико-критический. Здесь мир, время, пространство — все разломано или разламывается, исчерпано или исчерпывается, все в катастрофе: растекающиеся часы, тонущее в ненависти лицо человека, горящий жираф, внутренне умерший прежде наступления физи-

ческой смерти Фрейд. Это трудно назвать искусством. Но какой это благодатный материал для ученого-социолога, для политика, для каждого, кто интересуется проблемой исчерпанности индивидуалистического мира. И воистину жалеешь несомненный талант, загубленный уходящим миром, которому художник сознательно стремится служить.

Однако у мира, терзающего Сальвадора Дали и, в свою очередь, терзаемого Сальвадором Дали, если судить по ФРГ, пока что «видимость самая геройская», как сказал бы лукавый старец из «На дне». В стране наблюдается мощная деловая активность. Магазины забиты товарами. Производительность труда сравнительно высокая. Вся черная работа выполняется гастарбайтерами, которых в стране по официальным данным два, а по неофициальным — почти три миллиона (испанцы, португальцы, турки, греки, итальянцы, югославы, алжирцы...). Гастарбайтеры убирают мусор, моют тротуары и мостовые, чинят мосты и прокладывают дороги, работают грузчиками, выносят из цехов ящики с готовой продукцией, подвозят уголь и руду к домам. Живут они чаще всего на окраинах городов, в трущобах. В одну из таких трущоб под Майнцем меня по ошибке завез доктор богословия Мартин Шютц. И сам испугался:

— Наклоните голову, господин профессор, вам не надо это видеть. У меня будут неприятности из-за того, что я повез вас этой дорогой. Но они забыли, что другая закрыта.

Я все же не последовал совету доктора богословия — вылез из машины и пошел вдоль серых, облезлых домов барачного типа. В них нет элементарных удобств. Дети играют прямо на тротуарах. Расположенный недалеко химический завод извергает не только тучи желтого дыма, но и такое зловоние, что сразу начинает першить в горле. Удивился, что дети не идут играть на Рейн, протекающий невдалеке. Прошел к нему и — оторопел: оказалось, что черная, как мазут, речная вода мертва и смердит. Пересиливая себя, двинулся к жилищам гастарбайтеров. Проходя по улицам, заметил, что здесь много всякого рода забегаловок, «увеселительных мест» самого низкого пошиба, на каждом углу продаются газеты, журналы, открытки, ослепляющие голым женским телом. В книжных магазинах — целые «марксистские библиотеки», включающие в себя работы К. Каутского, Ф. Адлера, Л. Троцкого, Мао Цзэ-дуна...

— У нас не только свобода слова, но и свобода печати, — пытаюсь исправить положение, гордо сказал Мартин Шютц, когда я рассматривал витрину с книгами.

Две недели спустя, совершив длительную поездку по южной части ФРГ на машине, а затем почти повторив маршрут ее на поезде, я вернулся в Майнц, чтобы прочесть в университете имени Гутенберга прощальную лекцию. После нее состоялся ужин. С наслаждением потягивая мозельское вино, мой старый знакомый профессор Вальтер Бодеманн вел солидный философский разговор.

— Теперь уже ни один умный человек в мире, — говорил он, — не сомневается в том, что Карл Маркс был величайшим философом, конгениальным Гегелем, чью диалектику он не просто заимствовал, но освободил от непоследовательности и несостоятельных форм выражения, которыми она страдала у Гегеля. Он развил также идею труда как всеразрешающей силы и как единственной реальной сферы человеческого сущностного выражения. Я полностью принимаю эти идеи, но, разумеется, не в трансформации их некоторыми позднейшими учениками. Впрочем, учение Маркса не во всем подтвердилось. Сегодня мы можем сказать, что соревнование с вами в самой главной области — в области производительности труда (а ее считал решающей и Ленин) — выиграла мы.

— Кто это вы?

— Наша система государственно-регулируемого свободного предпринимательства. Мы удовлетворяем человеческое желание «обладать» (которое признавал Маркс) лучше, чем вы. Практически у нас человек имеет возможность удовлетворить свой инстинкт обладания полностью. Наш народ не знает, что такое нищета, голод, холод.

— Говорят, что у вас больше миллиона бездомных и бродяг,— они тоже не знают, что такое нищета, голод, холод?

— Но они не работают!

— Не могут работать. А сотни тысяч безработных тоже не знают, что такое нищета, голод, холод?

— При желании безработица у нас легко может быть ликвидирована. Достаточно отказать иностранцам.

— Вы можете обойтись без их рабского труда?

— Не понимаю вас, господин профессор.

— А я вас, господин профессор. Не далее как вчера канцлер Вилли Брандт осудил проявления дискриминации, пренебрежительного отношения со стороны немцев к гастарбайтерам, заявив, что без их труда страна обойтись никак не может. Он не сказал главного: достигнутое здесь изобилие основывается не только на высокой механизированности труда, широком внедрении в производственный процесс средств автоматизации, но и в значительной мере на изматывающей интенсификации, то есть на эксплуатации труда рабочих вообще, гастарбайтеров, этих «свободных рабов», в особенности. Вы, господин Бодемани, не только профессор русской литературы. Я видел ваши статьи о Марксе и Энгельсе, в которых намекается, что идея классового боя, как ее понимали наши учителя, исчерпала себя. Только что вы сказали об инстинкте (чувстве?) обладания, сославшись на Маркса. У вас есть работы о Ленине и Плеханове. Затронув проблему производительности труда, вы скрытно цитировали Ленина. В отличие от вас я не рискую сейчас цитировать. Но мне кажется, что ваше истолкование Маркса и Ленина несколько догматично. Когда вы говорили об инстинкте (чувстве?) обладания, свойственном человеку, вы, мне думается, забыли оговориться, что Маркс осуждал общество, в котором многообразие человеческих чувств сводится к одному, в общем-то примитивному чувству обладания-потребления, когда чувство обладания отчуждает все другие чувства. Точно так же когда Ленин говорил о решающем значении производительности труда, он, как я понимаю это, не любой труд имел в виду, а труд, одновременно раскрепощающий человека, обогащающий его, расширяющий его связи с миром, с человечеством, а не отчуждающий его от них. Ваша страна завалена товарами. Вы лихорадочно ищете рынки сбыта. Все больше товаров продаете в рассрочку. Но не кажется ли вам, господин профессор, что именно вещные отношения становятся у вас всеильными, господствуют над человеком, поработают, подавляют и опустошают его? Можете ли вы со спокойной совестью сегодня сказать, что, накопив горы вещей, вы вместе с тем не допустили господства вещных отношений над индивидами, господства, подавляющего индивидуальность случайности? Удалось ли вам преодолеть страшные последствия разделения труда, в связи с которым — помните? — еще Шиллер сказал: «Вечно прикованный к отдельному обрывку целого, человек сам становится обрывком...»? Освобождают ли накопленные в вашей стране горы вещей рабочего от иссушающей неуверенности в завтрашнем дне? И наконец, что есть ваше богатство как таковое? Не развращает ли оно людей? Не развязывает ли в них стихию? Поймите нас правильно. Мы не против материального благополучия. Мы за максимальное удовлетворение материальных потребностей человека. Мы за то, чтобы у нас было полное изобилие. Только что закончившийся съезд нашей партии записал это в своих директивах как первоочередную задачу. Но, как я понимаю наши задачи, богатство — отнюдь не самоцель и не конечный пункт нашего развития. Оно необходимо нам постольку, поскольку может способствовать главному — всестороннему развитию человечности в человеке, единственно остающемся высшей нашей целью. Где-то у Маркса есть примерно такие слова: «Чему должно служить подлинное богатство, как не полному, всестороннему обеспечению господства человека над всеми стихиями природы, как той, которая окружает его, так и его собственной природы? Что такое настоящее богатство, как не средство совершенного выявления творческих потенций человека, являющегося самоцелью человеческого бытия, развития всех человеческих сил как таковых безотносительно к какому бы то

ни было заранее установленному масштабу? Чем иным является богатство, как не воспроизведением человеком себя не в какой-либо одной только возможности, но во всей целостности, находящейся в абсолютном движении становления?» Не ручаюсь, что цитирую дословно. Но за точность смысла ручаюсь. Можете ли вы, господин профессор, утверждать, что именно таким богатством располагает ваша страна?

— Сказать, что оно полностью таково, нельзя. Однако при всей специфике нашего общества оно представляет большие возможности для развития индивидуумов.

— Видимо, это и заставляет таких писателей, как Беккет или Ионеско, кричать об угрозе бездуховности, о чудовищном разрастании «матери» в ущерб «духу» в вашем мире?

— И в вашем.

— Ну, в нашем они не жили и судят о нем понаслышке.

— Конечно, у них есть для этого основания. Но будете ли вы возражать, что закон классовой борьбы у нас если не прекратил свое действие вовсе, то давно не проявляет себя? Все больше трудящихся входят в наблюдательные советы предприятий, превращая идею социального партнерства в реальность. У нас быстро исчезают классовые и сословные перегородки. Нередки случаи, когда сын рабочего женится на дочери богача, а сын миллионера на дочери бауэра, владелец бензоколонки становится миллионером. Сегодня у нас любой человек может поступить в университет.

— Если у него имеются деньги.

— И без денег. Специальная правительственная комиссия, в которую входят профессоры и представители деловых кругов, назначает стипендии. Скажу вам по секрету: стипендии предоставляются прежде всего детям рабочих и крестьян. Разумеется, в первую очередь — самым способным.

— Дальновидно!

— Простите, господин профессор, не понял.

— Чего же тут непонятного? Фактически правители вашей страны проявляют дальновидность, ничего не теряя при этом. Еще рассказывали, что будто бы после завершения образования у вас человек, получавший стипендию, обязан выплатить ее по частям. Говоря же о дальновидности, имею в виду нестареющую мысль: «Чем более способен господствующий класс принимать в свою среду самых выдающихся людей из угнетенных классов, тем прочнее и опаснее его господство». Что же касается классовой борьбы, то не кажется ли вам, что изменились формы ее, что она уходит в глубины, чтобы, набравшись сил, затем проявиться с размахом, не уступающим тому, что мы наблюдали в мае 1968 года во Франции?

— Шутите, господин профессор?

— Не я шучу, а история шутит. Чем вы объясняете, например, тот факт, что в ФРГ все чаще наблюдаются внутренние разломы богатых семей? Если не ошибаюсь, из семьи одного из самых богатых людей Германии, чья фамилия постоянно мелькает на витринах магазинов, ушла дочь? И не только ушла, но стала активной коммунисткой? Вчера я беседовал несколько часов со студенткой, которая тоже ушла из дому. Ее отец из родовитой семьи. Чем это объясняется?

— Извечным конфликтом между отцами и детьми.

— Вы уверены, что у вас такой конфликт не имеет социальной основы? В частности, позволяет ли богатство, которым вы похваляетесь, быть богаче духовно, тоньше душевно?

— Нет, этого я не буду утверждать. Но тут дело не столько в социальном, сколько в эпохальном. Это уже трагедия века. Никто ни во что не верит. Не удается найти идею, способную не только зажечь, но и возвысить людей.

— И вам лично тоже не удается?

— На мой взгляд, сейчас самая плодотворная позиция — позиция критического отношения ко всему, что предлагается людям в области духа.

— Пусть молодые люди разбивают головы о стену, а мы будем пить мозельское и говорить о неразумности того и.ти иного их шага?

- У них нет никакой положительной программы.
- Так помогите им найти ее. «Надо вовремя развешивать пеленки, чтобы они успели высохнуть» — так, кажется, гласит немецкая пословица?
- А что бы вы предложили?
- Многое.
- Коротко?
- Коммунизм.
- Это старо. И кроме того, необходимо нечто, воспринимаемое больше чувством, нежели разумом. Вы можете превратить коммунизм в новую религию?
- Зачем же? Я думаю, в своей подлинной научности коммунизм, как «необходимая форма и энергический принцип ближайшего будущего», как *«действительное»* движение, которое уничтожает теперешнее состояние», как предварительное условие для превращения всей жизни в творчество, способен и будет двигать миллионами.

Но тут мой оппонент прекратил спор вопросами:

- Не кажется ли вам, что мы забыли о своей профессии? И я не успел спросить, успешной ли была ваша поездка по ФРГ? Каковы ваши впечатления?
- Благодарю вас. Впечатлений много. С удовольствием поделюсь ими. Тем более что они могут быть восприняты и как своеобразный ответ самой действительности на все то, что вы мне сейчас пытались внушить.

О красоте Гейдельберга, о его замечательном университете, одном из самых старых не только в Германии, но и во всей Европе, написано много — я вряд ли способен сказать что-либо оригинальное. Красоту его мы стали чувствовать, еще когда приближались к городу по живописной впадине вдоль реки Неккар. Все буйствовало в цветении. Все было погружено в белый или розовый цвет.

Было часов семь вечера. Мои спутники решили немного отдохнуть с дороги. Я тоже вначале последовал их примеру. Затем передумал и направился в город один. В вестибюле ко мне подошла невысокая худенькая девушка лет двадцати--двадцати двух, сказала, что учится в университете на славистическом отделении. И назвала себя: Каролина фон К. Я попросил ее показать мне город, подняться к замку. Она охотно согласилась.

— Обратите внимание на надписи, — сказала Каролина, когда мы вышли на улицу. Стены многих домов пестрят свежими лозунгами: «Прекратить войну во Вьетнаме!», «Никсон—убийца!», «Вон оккупационные войска из ФРГ!», «Смерть греческим полковникам-фашистам!»

— Инициатива коммунистов?

— Студентов, — ответила Каролина. — А вот здесь обычно собирались местные наркоманы. Полиция закрыла этот дом.

— У вас много пишут в газетах о вреде наркотиков. За свое недолгое пребывание я три раза слышал также проповеди в церквах, направленные против наркомании. Она приобрела угрожающие размеры?

— Это одна из самых больших проблем сейчас. Молодежь тянется к гашишу, марихуане. Мы произвели социологическое исследование: на первом месте подростки от двенадцати до пятнадцати лет, затем юноши до двадцати лет. Установлено, что чаще всего это единственный ребенок в семье. У них есть все, кроме целей. Целей никаких нет. Не может же быть целью посещение школы? Тем более что и в школах теперь учителя заискивают перед учениками. К этому прибавьте страшное одиночество, какое только возможно в немецких домах и школах. У нас с детства приучают молчать обо всем, что происходит, о чем говорится дома. А это приводит к тому, что мы почти не знаем, что такое школьная дружба. Семьи же живут страшно обособленно. Внешне все обстоит как будто бы благополучно. Соседи здороваются друг с другом, сослуживцы перекидываются любезными фразами. Но — не больше этого. Кстати, когда говорят, что жажда половой распущенности или что-то подобное заставляет нас, студентов, бунтовать, не верьте этому. Погоня наших родителей за благополучием, бессмысливающая

человеческое существование, страшное одиночество и отсутствие у нашего общества каких-либо позитивных идеалов — вот что сделало нас, студентов, бунтарями. И не только нас. Бунтовать начинают гимназисты, школьники.

Мы стояли у древнего замка, только что закончив осматривать одно из его строений в стиле раннего Возрождения. Потом с восьмидесятиметровой высоты любовались городом, медленно охватываемым сетью огней.

— Вон наш университет, — показала Каролина.

— Четыреста лет тому назад он являлся центром гуманизма — философии титанов.

— Они-то знали, зачем пришли в мир и что должны делать, — продолжала она. — Но даже они вряд ли ответили бы, зачем и как должны жить мы. Вы знаете, это тяжелый вопрос. И очень страшно, когда он впервые встает перед тобой. Я жила в обеспеченной семье. У меня было все. Я могла позволить себе обедать в любых ресторанах, купить все, что мне нравится, поехать в любую страну. И вдруг однажды я спросила себя: зачем я живу и что даст мне будущее? Зачем мне жить дальше? Что даст мне жизнь по сравнению с тем, что я уже имею? Вы даже не догадываетесь, какие страшные мысли вслед за тем стали приходиться мне в голову. Однажды... Нет, не буду рассказывать. В семье меня готовили только к замужеству. И никто не интересовался, о чем я думаю, к чему стремлюсь и как отношусь к тому, чем живут родители, другие люди. Отец мой не только предприниматель. Он был крупным землевладельцем. Основные его владения находились на территории ГДР. Когда советские войска приближались к Берлину, он бежал сюда. И вот четверть века живет ненавистью. И хотя у нас все есть, он твердит: «Вот когда...» И ни разу не спросил, а нужны ли мне его имения. Разве мне требуется больше свежего воздуха, чем любому другому человеку? Или я способна съесть три обеда вместо одного? И буду ли я счастлива, зная, что ради моего благополучия вырежут людей, которые хотят, чтобы было хорошо другим? Разве можно быть счастливым, зная, что множество людей в ФРГ и сегодня не могут пользоваться благами прогресса? Я сама видела, как выбрасывали на улицу женщину, у которой восемь детей, за то, что она не внесла квартирной платы. Дети ее живут так плохо, что их считают дефективными. Когда же я сказала об этом отцу и маме, они замахали на меня руками, закричали, что я качусь на дно. Они не только не могли, но и не желали понять, что у нас есть много собственных психологических, моральных, всемирных, космических проблем. Справиться с этими проблемами самостоятельно я не могла... Кончилось все тем, что я ушла из дому.

— Вы нашли позитивную цель?

— Не знаю, господин профессор. Кажется, пока нет. Но я активно участвую в студенческом движении, изучаю русский язык, занимаюсь социологией, и это приносит мне чувство некоторого удовлетворения. Позитивная же программа нашего движения пока очень абстрактная: переделать всю жизнь. Нет, не разрушить, а переделать все. Начать с воспитания. Сблизить детей и тем спасти их от одиночества. Сблизиться самим и тем спастись от одиночества. Да, вы правы, мы споткнулись об индивидуализм, усугубленный самоцельным благополучием. Он превращается в гнетущую, иссушающую силу. Мы же хотим быть людьми, общаться, спорить, а не жить так, как живут наши родители, которые даже с самыми близкими людьми не бывают откровенными. Я не раз наблюдала, как мой отец, моя мать говорили приходившим к нам в дом людям совсем не то, что думали. Мы не хотим этого, боремся против фарисейства, лицемерия. Вот мы живем сейчас коммуной, вчетвером: две девушки и два парня. Родители — в ужасе. Отец ругается. Мать плачет. И оба без конца возмущаются нашей безнравственностью. Между тем ничего безнравственного в коммуне нет: мы дружим, спорим, помогаем друг другу, не допускаем полового разврата. Когда есть великая цель, безнравственность немыслима, не правда ли? Вскоре наши парни закончат учебу и уедут в Берлин. Теперь решено действовать группами. Наши парни врачи. Они намерены поехать группой человек пять—семь в одну клинику, чтобы хватило сил по-новому поставить все дело и не стать жертвой бюрократов. Очень сильны у нас бюро-

краты. Чуть что — и уже скомпрометировали прогрессивно настроенного человека. Вот почему мы намерены отныне идти группами в детские сады, в гимназии, в библиотеки, в государственные учреждения... Так бюрократам трудно будет нас осилить. Говорите, все равно осилит или приспособит? Тогда что же нам делать? Нам, женщинам, — продолжала Каролина, — особенно трудно. Я писала работу на тему «Как раскрепостить женщину?». Пользовалась материалом вашего опыта: социологическими, юридическими данными, художественной литературой. Поверьте, я не хочу остаться, как это у вас называется? — да, я не хочу остаться синим чулком. Но я хочу быть общественным человеком. Как это совместить? — И вдруг в упор спросила: — Вы считаете, что в вашей стране эта проблема разрешена полностью?

— Нет, пока не полностью. Я считаю, что мы дали нашим женщинам все, забыв освободить их кое от чего. Но мы не прекращаем усилий в этой области...

— Я знаю, что у вас строится все больше детских садов, школ, интернатов, лесных школ... У нас же совсем другое... — И, помолчав, сказала: — Видимо, не переделав всего, этой проблемы не решишь...

Среди лиц, сопровождающих меня в Гейдельберге, предельно сдержан Зигфрид Миске. Он, как здесь принято говорить, занимается на одиннадцатом семестре, то есть студент, в самое ближайшее время заканчивающий университет. Невысокий худощавый человек с грустными, задумчивыми глазами.

За обедом я заметил, что Зигфрид выбрал самое дешевое блюдо, хотя платить за все предстояло не ему. На мой шуточный вопрос он ответил:

— Привычка. Жить у нас не так легко, как пишут в газетах. Отец мой погиб на фронте. За него я получаю пенсию пятьсот марок, а официальный прожиточный минимум у нас пятьсот пятьдесят марок. Из этой пенсии я больше половины плачу за комнату. Общежитие получают меньше десяти процентов студентов. Я не попал в их число. Комнату же здесь снять очень трудно. Дешевле ста марок в месяц вообще невозможно. Если же достанете, то это будет не комната, а конура без всяких удобств. Представляете, как трудно приходится студенту, который получает стипендию триста марок. Он лишен возможности посещать театр, купить нужную книгу.

На следующий день я спросил, почему не видно Зигфрида. Руководившая нашим приемом доктор Хильдегард Шнейдер ответила:

— Занят. К тому же нам показалось, что он утомляет вас своей навязчивостью.

В Мюнхене бушуют политические страсти. В начале апреля так называемый Немецкий народный союз (Deutsche Volkunion), ныне пытающийся объединить все консервативные элементы страны, решил устроить смотр своих сил. Чтобы провести демонстрацию, требуется разрешение обер-бургомистра. Такое разрешение Ганс Й. Фогель, обер-бургомистр Мюнхена, социал-демократ по своей партийной принадлежности, выдать отказался, заявив: «В Мюнхене уже вырос в свое время один Гитлер. Этого довольно. Второго Гитлера мы не хотим». Тогда «фолькс-унионисты» решили провести демонстрацию без разрешения. Доктор Фогель обратился к демократическим силам города с призывом ответить контрманифестацией. Тысячи людей устремились к месту, где собирались фольксуннионисты, и не только сорвали их акцию, но и основательно намяли бока недобитым нацистам. И вот уже который день реакционная пресса негодует. Руководитель DVU некий доктор Фрей печатает открытые письма, обвиняя обер-бургомистра в нарушении... принципов демократии и в использовании деспотических методов.

В Мюнхене, у самого въезда в город, строится олимпийская деревня. Очередные Олимпийские состязания состоятся здесь. Все перекопано.

Мюнхен — не только крупнейший в ФРГ деловой центр. Фактически здесь определяется политика государства в целом.

Здесь горы богатств. Но ни в одном немецком городе я не видел столько

пьяниц, как в Мюнхене. Часов с семи вечера они устраивают на улицах пьяные дебоши.

И ни в одном немецком городе я не видел столько стариков, которые просят милостыню. Их немало и в Майнце. Там они сидят на центральных улицах. Здесь нищие просят милостыню и на окраинах.

В Мюнхене стою на тротуаре напротив нашего отеля и наблюдаю, как съезжаются гости в кабаре «Фемина». Здесь они не идут в кабаре, а приезжают. Это не обычный ночной ресторан с эстрадой. Это кабаре, в котором выступает ансамбль нагих женщин. Одна извивается в танце на широком столе, другая на соседнем столике делает мостик, третья ставит себе на живот бутылку с вином, четвертая... Потом они исполняют общий танец. Вы можете наблюдать это, уплатив всего несколько марок. А чтобы не истратить деньги даром, вы можете предварительно посмотреть, что вам предстоит увидеть, на фотовитрине у входа в кабаре.

И вот я наблюдаю, как участницы ансамбля в семь часов вечера прибывают в сопровождении не то мужей, не то сутенеров «на работу». Одна — высокая, черноволосая, в длинном модном пальто — минут десять о чем-то говорит с прилично одетым мужчиной. Ее сын, человечек лет пяти, как две капли воды похожий на мать, беззаботно бегаёт по тротуару. Кончив разговаривать, мужчина взял его за ручку и повел к машине. Дама провожала их глазами, пока машина не скрылась за поворотом. Я осмелился спросить:

— Ваши?

— Сын и муж! — ответила она.

К сожалению, именно в эту минуту загорелся зеленый свет, она устремилась на другую сторону улицы и, не оглянувшись, скрылась за дверью кабаре.

А я не мог поверить, что это она, жена и мать, запечатлена в бесстыдном танце на витрине. Вспомнился эпизод с Паулой Менотти, описанный Горьким в «Деле Артамоновых». Загулявшие нижегородские купцы везут на себе черный рояль с лежащей на крышке его голой женщиной, как сказано в романе, страшной бесстыдством наготы своей. Она лежит вверх грудью, подложив под голову руки. Затем лениво отклеивается от крышки рояля, распрямляется во весь рост, закидывает длинные черные волосы свои за плечи и начинает петь, кружась в каком-то пошлом танце. Когда она убежала, полупьяные купцы закричали, завывали, хлопая ладошами, хватая друг друга: «Чаруса!», «Омут естества!!!»

Подумать только, Европе потребовалось почти сто лет для того, чтобы дойти наконец до нравов и вкусов полудикого нижегородского купечества!

Не заметно, чтобы кого-либо это возмущало. Как-то утром толстая фрау долго рассматривала фотовитрину кабаре «Фемина». То же делал юноша лет двадцати. Потом они повернулись, посмотрели друг на друга и заспешили каждый по своему делу.

Не слышно протестов и против того, что сотни газет и журналов ежедневно состязаются между собой в обнажении женщины, грязнят источник жизни и красоты человеческой.

Даже многие прогрессивные газеты и журналы сегодня не решаются выходить в свет без сопровождения нагих женщин. Более того, по мнению многих редакторов, перед чтением каждой статьи и после одного необходим вдохновляющий допинг в виде созерцания голой женщины. Вот почему, скажем, на обложке седьмого номера журнала «Конкрет» вы видите нагую женщину и множество не более одетых на страницах его.

Ведь вот как гигантски шагает человечество вперед! Когда-то древние греки показали красоту женщины, красоту ее груди, питающей человечество. Нагота греческих скульптур до сих пор не вызывает у людей ничего, кроме благоговения. Теперь же, лишая священности женскую наготу, некто стремится принизить человека до зверя, до похотливого животного.

В Мюнхене — очередная сенсация. Вернее сказать, с нашей точки зрения сенсация. Здесь же никто не рассматривает так событие, о котором я хочу рас-

сказать. Здесь привыкли к таким событиям. Здесь это бытовое явление. О нем пишут все газеты. Не только прогрессивные. О нем пишут и газеты Шпрингера, обычно рисующие действительность ФРГ как землю обетованную... Однако читатели относятся к сообщению с поразительным спокойствием. Купив газету, человек задерживается на описании его чуть дольше, чем на других. Дольше потому, что на газетной полосе оно занимает место в десять раз больше, чем все другие. Да еще фотографии с крупными надписями: «Последний снимок, на котором несчастные братья стоят перед фотоаппаратом вместе», «Падчерица Христина. Отчим называл ее «мой маленький черный ангел». Но эти надписи оттесняются на второй план главной, набранной самым крупным шрифтом:

**Он женился на жене
своего брата
и
застрелил ее**

**Погибла также 16-летняя
дочь
Она как раз
полюбила юношу**

Жили-были два брата. Старшего звали Зигфридом, младшего Гуго. Фамилия — Бенневитцы. Старший брат, честный семьянин, отец двух детей, взял в семью своего младшего брата Гуго, которому стало трудно жить, помог ему получить специальность слесаря, а затем устроил на работу. И вдруг Гуго повезло: в короткий срок из помощника слесаря он превратился в удачливого руководителя отдела по продаже автомашин, разбогател и... совершенно изменился. С этих пор в личной жизни он не признавал никаких сдерживающих начал. Богач, он стал оказывать помощь старшему брату, поехал с его женой и детьми в Италию в отпуск. Зигфрид сначала ни о чем не догадывался. Прозрение наступило только после того, как жена с детьми ушла к Гуго. Последний очень заботился о детях, и они полюбили его. Особенно нежно он относился к своей приемной дочери. Он всячески баловал ее, называл «мой маленький черный ангел». Позже Христина не раз говорила подружкам, что дядя-отчим как-то странно ведет себя с ней, а мать ни о чем не подозревает. Трагедия разразилась, когда Христина влюбилась в Йохена Э. После того как дядя-отчим узнал об этом, его отношения с племянницей-падчерицей начали быстро обостряться. Позавчера Христина наотрез отказалась отправиться с матерью и Гуго в очередную поездку. Полиция подозревает, что в семье произошел сильный скандал. Ночью Гуго прокрался в комнату приемной дочери... Все кончилось тем, что он задушил ее в постели. Потом бросился в спальню и застрелил жену. Позвонив своему коллеге по работе Вернеру Б., он сказал сдержанным голосом: «Я только что совершил большую глупость, а теперь совершаю другую». Сел на свой «БМВ» и со скоростью сто семьдесят километров в час врезался на прямой дороге в одиноко стоявшее дерево. Полиция констатировала сознательное самоубийство. В трех километрах от места катастрофы она, полиция, нашла застреленную собаку. Это был пудель, принадлежавший Гуго Бенневитцу. В свою последнюю поездку он захватил и любимого кота. Кот погиб вместе с хозяином. Единственный оставшийся в живых член этой семьи — брат Христины Готфрид Бенневитц, солдат бундесвера. Когда ему сообщили по телефону о случившемся, он оторопело сказал:

— Das ist doch nicht möglich!²

Невообразимо? Невозможно? Почему же это почти никого не удивило?

Впрочем, слова «nicht möglich», «unmöglich» я слышал часто. В последний раз — перед отъездом из ФРГ, когда спросил у профессора социологии Артура Шольца, верно ли, что рабочие готовятся провести 1 мая мощную демонстрацию.

— Это невозможно, — сказал он, — у нас нет причин для подобной акции.

А ровно через неделю после нашего отъезда корреспондент агентства печати «Новости» В. Ломейко прислал из Германии корреспонденцию настолько интересную, что я позволю себе привести из нее обширнейшую цитату:

«Смело, товарищи, в ногу!» На центральных улицах Дюссельдорфа гремит

² Все это просто невозможно! (Нем.)

медь рабочих оркестров. На редкость погожий день. Праздничные колонны трудящихся. Идут рабочие, служащие, ученики с промышленных предприятий, студенты, дети, видно, что многие вышли семьями. Настроение торжественное, приподнятое.

— Курт, а ведь здорово, что мы опять вышли на улицу!

Я иду рядом по кромке тротуара и слышу, как переговариваются в колонне двое мужчин. Они несут большой транспарант, на котором написано: «Профсоюз «Друк унд папир» — профсоюз типографских рабочих. Расширить права на участие в управлении, ограничить рост прибылей!»

— Ты прав, Ганс, такого давно уже не было.

Они смотрят друг на друга, на товарищей, идущих рядом, на полицейских, стоящих на перекрестках, на прохожих, высыпающих на тротуары. «Смело, товарищи, в ногу!» — подхватывают они вполголоса могучую мелодию.

«За демократию и социальный прогресс!», «Против реакции и войны!», «Против картеля правых сил!», «За скорейшую ратификацию Московского и Варшавского договоров!», «Прекратить грязную войну во Вьетнаме!»

Нет, прочитать все просто невозможно. Ряды колонн проходят мимо, пронося лозунги и требования рабочего класса, демократов Западной Германии.

Чем характерен был нынешний Первомай в Западной Германии? Прежде всего тем, что впервые за последние четыре года в Дюссельдорфе, Эссене, Кёльне, Дортмунде, Бохуме, во многих других городах страны демонстрации трудящихся приняли подлинно массовый характер. Причем их размах и активность участников поразили не только союзы предпринимателей, но и правых руководителей социал-реформистских профсоюзов.

Нынешний Первомай стал Первомаем рабочих демонстраций. В Дюссельдорфе, в Эссене, Кёльне, где мне удалось побывать на митингах и демонстрациях, рабочие — коммунисты, социал-демократы, профсоюзные работники говорили: «Мы снова вышли на улицы! И мы снова почувствовали силу рабочей солидарности!»

— Мы давно предлагали социал-демократам провести совместный митинг, — говорит мне профсоюзный руководитель, горняк из Эссена Манфред Гётцель. — Но они ссылались на решение своего руководства, запрещающее единые действия коммунистов и социал-демократов. И вот 30 апреля они приходят к нам и говорят: «Городской зал «Заальбау» великоват для нас одних...» Мы обратились к рабочим с призывом.

Манфред не может скрыть радостного возбуждения.

— На это стоило посмотреть. Несколько тысяч человек. Зал был забит до отказа. Но мало этого — после митинга все участники вышли на демонстрацию. Это большое дело для Эссена. В 1931 году в «Заальбау» выступал Тельман. Сегодня борьба за права трудящихся продолжается.

Первомайские демонстрации трудящихся свидетельствуют: социальный мир в ФРГ — миф, классовые противоречия были и остаются. Выдвинутая западно-германскими коммунистами задача борьбы «против крупного капитала, за мир, демократию и прогресс» нашла поддержку среди значительных слоев рабочего класса.

Первомайские демонстрации трудящихся достигли особого размаха в Рурской области. Здесь, в рабочем сердце страны, сильнее всего ощущаются плоды социальной несправедливости. За последние годы закрылось 30 шахт, из оставшихся 51 в ближайшее время будет закрыта еще 21.

— Коммунисты высоко несут знамя пролетарской солидарности с народами, борющимися за свою свободу и независимость. Мы заявляем о нашей решительной поддержке справедливой борьбы народов Индокитая. Вместе с протестующими американцами мы требуем: «США, убирайтесь из Вьетнама! Позор агрессии! Позор империализму!»

На трибуне председатель Германской коммунистической партии товарищ Курт Бахман. Самый крупный зал Эссена «Груга-халле», вмещающий две тысячи человек, переполнен. Рабочие, по зову своей партии пришедшие на первомайский митинг, выражают гневный протест против американской агрессии, против чело-

веконенавистнической политики империализма» («За рубежом», № 19, стр. 7—8).

Нюрнберг встретил нас холодной погодой. Приехали же мы сюда, чтобы посетить выставку картин Альбрехта Дюрера, посмотреть двести уцелевших его рисунков, выполненных пером, грифелем и кистью, поклониться дому, где пятьсот лет тому назад в семье чеканщика по золоту родился величайший художник, человек-титан, имя которого по праву ставится рядом с именами Коперника и Колумба. «Спустя 442 года после смерти, — писал известный журнал «Шпигель», — Дюрер остается одним из величайших представителей немецкого искусства, художником, творчество которого не потеряло связи с народом». В Мюнхене нам показали ни с чем не сравнимый его диптих «Четыре апостола» с незабываемой фигурой апостола Павла — воплощением силы и страсти всепроникающего разума. Откровенно сказать, ради одного этого стоило приехать в ФРГ. Это так же ошеломляет, как «Джиоконда» Леонардо да Винчи и «Мадонна» Рафаэля. Видели мы и знаменитый автопортрет. Об остальных картинах Дюрера нам сказали, что они отправлены в Нюрнберг. И мы устремились за ними вслед. Признаться, мне хотелось также в Нюрнберге постоять у памятника «истинному мастеру поэзии», который всю жизнь тачал отличные сапоги и сочинял превосходные стихи. Я рано и навсегда запомнил его слова: «Искусство и народ процветают и возвышаются вместе, так полагаю я, Ганс Сакс!»

Мы всё успели. Хватило времени также на то, чтобы осмотреть не только церковь святого Себальдуса, так понравившуюся когда-то Тургеневу, но и пройти вдоль всей крепостной стены, окружающей старую часть города.

Покидая Нюрнберг, я попросил шофера немного изменить маршрут и проехать к тому месту, с которым связана самая страшная страница в истории Германии. Через несколько минут мы уже стояли у огромного дворца, напоминающего неудачную попытку скопировать Колизей. Здесь собирались каждый сентябрь руководители и функционеры гитлеровской партии на свои съезды. Теперь здание заброшено, превращено в складское помещение, а в нескольких комнатах обосновался Нюрнбергский симфонический оркестр (студия звукозаписи). Расположенный за прудом стадион тоже заброшен. Все поросло не только «травой забвенья», но и самым настоящим бурьяном, непривычно для Германии засыпано мусором. Бесчисленные каменные и бетонированные ступени трибун ободраны, кое-где бетон начинает рассыпаться. Между ступенями пробивается трава. На угловых башнях черные чаши покрылись толстым слоем пыли (во время фашистских шабашей в них полыхало пламя).

Однако это место забыто не всеми. Вот и сегодня недалеко от стадиона — сотни две машин, а их владельцы бродят по полю, всматриваются в лже-Колизей, отыскивают глазами возвышение на стадионе, с которого когда-то пророчествовал Гитлер. Недалеко от нас толстый, выше среднего роста немец лет шестидесяти, одетый в модную куртку и широкие, генеральского покроя брюки, объясняет коренастому белокурому юноше лет двадцати двух, что «здесь делалась история». Не стесняясь проходящих, он почти кричит:

— Вон оттуда говорил фюрер. Здесь я слышал его воодушевленные речи. А здесь стояли партайгеноссен. Здесь шелестела крыльями судьба. Колонны проходили вдоль трибун. Я видел вот этими глазами, как маршировала история.

Он все больше воодушевляется, резко жестикулирует. Мне интересно узнать, что он скажет еще: не так давно в ФРГ даже гитлеровцы не решались вслух высказывать симпатии к Гитлеру. Но не хочется упустить и другого, высокого худаго немца лет семидесяти пяти, который медленно бредет через стадион. Прошу одну из спутниц спросить у него: «Что здесь было раньше?»

Потом она мне рассказала:

— Не останавливаясь и не спросив, кто я, он очень тихо сказал: «На этом стадионе проходили манифестации нацистов». Я сказала: «Только что один господин утверждал, что здесь делали историю и здесь пролетала сама судьба». Он тем же тихим, бесцветным голосом ответил: «Здесь делали историю, в результате

которой мои сыновья лежат в земле России, жена умерла от тоски по ним, а я доживаю свой век в одиночестве. Uppmögelich».

Как я уже говорил, вслед за поездкой по стране на машине мне пришлось почти повторить ее на поезде, на этот раз одному. Здесь путешествуешь сидя: в каждом купе два трехместных дивана. И вот что меня поразило: даже когда в купе едут шесть человек — три справа, три слева, лицами друг к другу, — они всю дорогу молчат. Входя, здороваются и затем всю дорогу, глядя друг другу в лицо, разглядывая друг друга, молчат. Но уходя, желают остающимся счастливого пути. Так в первом классе, так и во втором.

Только однажды, по дороге из Майнца в Кёльн, произошло чрезвычайное событие. Контролер, закончив проверку билетов, спросил: «Вы едете на похороны?» И — ушел. Боже мой, что тут началось! Все пять дам, ехавшие со мной в купе, заговорили одновременно. Они удивлялись, возмущались и, в конце концов, сошлись на том, что контролер либо не в себе, либо выпил лишнего. Поинтересовались они и моим мнением. Я ответил:

— Пожалуй, это так, если кто-нибудь не усомнится, что не в себе мы с вами.

Доктор Гюнтер Вебер, с которым мы встречались на международных конференциях, узнав, что я нахожусь в Констанце, заехал за мной в отель и увез к себе. Он снимает двухэтажный домик недалеко от города, платит восемьсот марок в месяц (почти половина его зарплаты). Приехав к нему, застали его жену Ильзу за посадкой цветов. Познакомились. Я принялся помогать этой изящной голубоглазой женщине. Наша беседа приняла совсем непринужденный характер, когда выяснилось, что Ильза почти свободно говорит по-русски.

На следующий день было воскресенье, и я не смог отказаться от их предложения посетить вместе с ними прекрасные острова Майнау и Райхенау на Бодензее. Я запомнил эти острова со школьной скамьи, когда «мы проходили церковные соборы, реформацию», помнил, что на одном из них судили Яна Гуса, и поэтому принял предложение с благодарностью. Мы провели чудесный день. Прощаясь со мною, доктор Вебер и его жена сказали, что придут на мою лекцию во Фрейбург. И действительно, через неделю мы встретились там. После лекции я пригласил их на ужин, поставив на стол «московскую». Доктор Вебер чувствовал себя в ударе, рассказывал смешные истории из университетской и современной политической жизни. Затем, перейдя к серьезным темам, заговорил об отсутствии в мире идей, которые бы вдохновляли людей так, как одно время их вдохновляло христианство, а потом... марксизм.

— Вы считаете, что марксизм исчерпал себя, идея коммунизма потеряла силу? — спросил я.

— Их обессилили сами коммунисты своими раздорами, — ответил он. — Посмотрите, между вами нет взаимопонимания даже в самых общих вопросах.

— Вы, господин доктор, кажется, не заметили такого события, как XXIV съезд КПСС, — съязвил я. — Познакомьтесь с его материалами, в частности с выступлениями представителей зарубежных партий, подавляющего большинства партий...

Но прежде чем он собрался мне ответить, произошло то, чего ни я, ни он не ожидали. В разговор включилась Ильза. С каким-то клокоцущим гневом она сказала:

— Почему ваши войска стоят в ГДР и тем мешают нашему объединению? По какому праву вы столь пристально следите за всем, что происходит здесь у нас?

— По праву, фрау Вебер, народа, потерявшего в прошлой войне двадцать миллионов человек единственно по вине Германии. По праву, фрау Вебер, народа, спасшего невосполнимой ценой страданий, горя, слез, крови человечество от истребления.

— До каких пор вы будете напоминать об этом?

— До тех пор, фрау Вебер, пока будут болеть раны на теле человечества.

До тех пор, фрау Вебер, пока отсюда будет исходить хоть малейшая угроза человечеству.

— А вы в той войне были лучше? Вы убили моего отца. Вы выгнали нас из дома, лишив имущества, заставив меня всю жизнь везти тяжкий воз. Я с утра до ночи убираю, стираю, мою, варю вот этими руками. А я могла бы не делать всего этого, если бы не вы. Как я вас ненавижу, с какой...

— Дура, напилась! — закричал доктор Вебер и зажал ей рот рукой, не дав договорить.

Я попросил доктора Вебера позволить нам закончить разговор и, не дожидаясь разрешения, спросил:

— Фрау Вебер, где мы убили вашего отца?

— Под Новгородом.

— А почему, фрау Вебер, он оказался под Новгородом? Мы его приглашали в гости?

— Его заставил Гитлер.

— Ваш отец с пулеметом-пистолетом шел по нашей земле. У него пулемет-пистолет, а у меня — трехлинейка. У него было девяносто девять из ста шансов убить меня. У меня всего один шанс из ста, что я защищусь от него. И я убил его. Но убил, к сожалению, после того, как он успел на моей земле убить моего брата, моих друзей. Не один, не два, а почти все друзья моего детства, фрау Вебер, были убиты в той войне немцами.

— Меня все это не касается. Вы убили моего отца.

— За то, что он убивал нас.

— Он не был виноват. Его заставил Гитлер.

— Гитлер не нажимал за него на гашетку.

— Вы были варварами в той войне.

— Не буду пользоваться вашей системой доказательств. Скажу так: я своими глазами видел то, что творили на нашей земле фашисты. По сравнению с ними варвары были невинными младенцами. И если все-таки ныне я приезжаю сюда, то только потому, что не считаю всех немцев и на все времена фашистами. Верю, что здоровые силы вопреки таким, как вы, возьмут здесь верх.

Может, не со всеми подробностями и без пояснений, необходимых советскому читателю, я рассказал то, о чем написано на предыдущих страницах, профессору Вальтеру Бодеманну. Лицо его омрачалось все сильнее. Наконец он прервал меня:

— Выходит, вы ничего хорошего не нашли в нашей стране, если не считать природы. Красивая природа и хаотическое общество?

— Не совсем так. Вернее было бы сказать, что я не обнаружил той земли обетованной, какой вы представили мне вашу страну. Что же касается хорошего, то его я не пропустил. Я мало разбираюсь в организации производственного процесса на фабриках и заводах, но даже мне видно, что тут у вас есть чему поучиться. Мне понравилось, в каком порядке у вас леса, как берегут зеленые насаждения. Но об этом я писал и три года тому назад. Моя область — культура, искусство, наука, уточню, литературная наука. И тут я нашел материал не только для споров с профессором Чижевским или с профессором Леттенбауэром. Вот, например, в Майнце меня обрадовал просеминариум, которым в 1969/70 учебном году руководил доктор Рольф-Дитер Клюге. Просеминариум назывался «Интерпретация текстов советских писателей». До сих пор в ФРГ, США, Англии нередко советскую литературу сводили к Белому, Ремизову, Замятину, Мандельштаму, Пильняку, Пастернаку, Бабелю. В просеминариуме же доктора Клюге интерес вызвали только двое из этих писателей. Зато в нем советскую литературу представляли «Мать» Горького и «Двенадцать» Блока, поэмы Маяковского, «Цемент» Гладкова, «Как закалялась сталь» Островского, «Нашествие» Леонова. «Василий Теркин» Твардовского, «Судьба человека» Шолохова, проза Паустовского. Для начала — неплохо. Доктор Клюге сказал мне, что считает научным исторический, а не субъективистский подход к советской лите-

ратуре. Он признался также, что существенные коррективы в отбор произведений, изучавшихся в просеминариуме, внесли сами студенты. Это они настояли на специальном изучении повести «Мать». Неожиданностью для доктора Клюге явился и необычайный успех у студентов «Судьбы человека» Шолохова. И я считаю, что это обнадеживающее явление.

Как уже говорилось, нас обижало, что в предоставленных нам справочниках не упоминалось об известных русских писателях, музыкантах, ученых, политических деятелях. Тем незабвеннее впечатление от посещения Баденвайлера. Нас сразу же взял в плен этот городок, раскинувшийся по склону невысокой горной гряды. Центр занят лечебным парком. Скамейки, диваны, шезлонги. Сидят, лежат, бродят по-летнему одетые люди, больные, лечащие ревматизм, туберкулез. Над парком — улица, заставленная роскошными отелями, лечебницами, купальными бассейнами.

Ищем дом, вернее, дома, в которых жил Чехов, — за трехнедельное пребывание здесь он переезжал дважды. Ничего не найдя, огорченные, сидим в парке. Вспоминаю слова Чехова, написанные чуть ли не на второй день после приезда сюда: «Badenweiler — хорошее местечко, теплое, зеленое, удобное для жизни, производящее впечатление гор, дешевое, но, наверное, уже через два дня я удеру отсюда со скуки».

Решаем прибегнуть к самому простому, но до сих пор не дававшему эффекта способу: спросить у местных жителей, где жил Чехов. Предлагаю обратиться к человеку в белом халате, который руководит ремонтом дома. Отдав последние распоряжения, он ведет нас к расположенному у самого парка отелю, так и называющемуся Parkhotel. На балконе второго этажа справа табличка с надписью по-немецки: «Здесь жил Антон Чехов в июле 1904». В июле 1904-го? Значит, здесь он провел последние две недели своей жизни? Отсюда заказывал себе билет на обратный путь в Россию, хотя и не верил, что изработавшееся сердце поправилось. Стояла невыносимая жара. Можно представить себе, что это значит, если сегодня 28 градусов по Цельсию, а дышать нечем. Ольга Леонардовна в тот роковой день уехала во Фрейбург заказать Антону Павловичу летний костюм. Он ждал ее, сидя, быть может, вон на той лавочке. А ночью случился тяжелый сердечный приступ. На следующую ночь приступ повторился. Еще день спустя писатель почувствовал себя лучше, даже импровизировал юмористический рассказ. Глубокой ночью попросил бокал шампанского и выпил его с удовольствием. «Давно я не пил шампанского», — сказал он. А еще через несколько минут шепнул доктору Швереру «ich sterbe» и тихо заснул навсегда. Вот здесь, в этом небольшом номере на втором этаже.

Спускаемся в парк. В самом центре его, под огромным вечнозеленым деревом — небольшой красноватый камень. На нем высечено по-немецки:

**Замечательному
Человеку и Врачу
Великому
Писателю
Антону П.
Чехову
род. 29.1.1860
ум. 15.7.1904
в Баденвайлере**

Сопровождающий нас человек в белом халате говорит:

— Когда захватили власть фашисты, мы спрятали этот камень. И только после окончания войны снова вернули его на место. Для нас это означало, что с фашизмом покончено.

И исчез так неожиданно, что мы не узнали даже его фамилии. Кто-то сказал нам, что он художник.

В Санкт-Блазиене лечился Горький, страдавший острой формой туберкулеза легких. Этот горный курорт на самом юге Шварцвальда ему рекомендовал профессор Краус. Горький в самом начале декабря 1921 года с сыном Максимом и его женой Надеждой проехал через Карлсруэ в Шварцвальд и поселился в Санкт-Блазиене, небольшом местечке в горной расщелине, прижатом к речушке придвинувшимися с двух сторон черными горами. Черные они потому, что одеты в хвойные леса (отсюда название обширной территории — Schwarzwald, черный лес). В самом центре Санкт-Блазиена — мост через речку; на той стороне — отель «Клостергоф», а за ним, чуть в сторону, массивная, с мощной колоннадой и еще более массивным круглым куполом церковь в стиле барокко. Говорят, строил ее французский архитектор в XVII веке. По взгорью — домики стоящие особняком в зелени. На террасе одного из них набирались сил Горький и его сын (приехавший сюда с острым переутомлением и дистрофией). Горькому очень понравился Санкт-Блазиен. В письме к В. И. Ленину он рассказывал: «Место красивое. Горы, лес, много белок и дроздов, а также разной мелкой птицы».

То было трудное время. Свиристствовала инфляция. Буйствовали реваншисты. Трагизм положения Горький чувствовал особенно остро. 19 января 1922 года он получил от «Общества друзей Гёте» из Франкфурта-на-Майне просьбу написать несколько строк для «Недели Гёте». Через пять дней Горький исполнил эту просьбу. Рассказывая о своих впечатлениях, он писал:

«Я живу на земле Европы, а эта земля еще не впитала в себя кровь миллионов людей, и уже снова встает над нею грозный призрак кровавой бойни.

По этой прекрасной, обильной творчеством земле ползают миллионы изувеченных войною и грезят о беспощадной мести.

Все ярче разгорается вражда. И всюду шипят змеи мщения. Европе грозит гибель в крови и хаосе...

Если существует Дьявол или какой-то другой творец бессмысленного зла, — он, торжествуя, хохочет.

И если где-то во Вселенной носятся тени наших великих людей — Дьявол говорит их ареопагу:

— Посмотрите на землю, — вы напрасно творили великое!

И тени Тацита, Данте, Гиббона и Вольтера, прекрасного Шиллера и великого Гёте, тени всех величайших художников слова, кисти, звука, великомучеников, которые создали идеи гуманизма и чудеса науки, — все они, слушая злой смех Дьявола, — грустно думают:

— Да, мы напрасно творили великое!»

В противовес этому Горький выступал с идеей всемерного развития культурных и экономических связей между нашими народами. «Ну-с, — полушутя писал он В. И. Ленину, — ходят ко мне немцы разных возрастов и профессий и все говорят о необходимости русско-германского союза. Я этому союзу сочувствую и убеждаю их на русском языке — обсоуживайтесь скорее!» Он писал статьи, воззвания, письма, выпустил вместе с Гауптманом и Ф. Нансенем брошюру «Rußland und die Welt».

Горький прожил четыре месяца в Санкт-Блазиене. Он приехал сюда обесиленный от туберкулеза и... полный жажды работать, работать... «Мне лично — скука неведома», — признавался он. Здесь им была начата книга «Среди интеллигенции». От нее до нас дошли произведения «Время Короленко», «В. Г. Короленко», «Сторож», «О Михайловском». Здесь он много читал. Здесь заново проходил по дорогам России, постигая ее путь к Октябрю. И здесь — лечился. Была зима. Декабрь. «Здесь выпало много снега, — почти метр, — стоят морозы 10—15°, — писал он одному из своих друзей, — а солнце великолепно греет, и можно гулять в одной фуфайке, так здесь и гуляют чахоточные. Пейзаж очень хороший и довольно оригинален: в снегу журчат ручьи, но среди ослепительно белой равнины — стремительно течет черная речонка Альп, везде замерзлы огромные сосульки льда, очень интересен водопад, архитектура зданий — в снегу — тоже весьма своеобразна».

С тех пор прошло полвека. Санкт-Блазиен почти не изменился. Мы исходили его вдоль и поперек за несколько часов. Но никто не мог сказать нам с определенностью, где останавливался и жил Горький.

Фрейбург я посетил дважды. Первый раз приехал всего на несколько часов, чтобы осмотреть прославленный собор Мюнстер, а также договориться о встрече с людьми, которые знали Горького, когда он лечился здесь в 1923 году. Профессор В. Леттенбауэр провел меня в Городской архив, чтобы показать подлинные документы о пребывании Горького во Фрейбурге. Затем мы возвратились в центр города, чтобы осмотреть Мюнстер. Этим величественным строением из красного песчаника восхищался Горький. Если не ошибаюсь, собор — из самых старых во всей Германии. Во всяком случае, это единственный собор, начатый и законченный в средние (XIII—XIV) века, а поэтому выдержанный в едином стиле поздней германской готики. Особенно впечатляет венчающая его ажурная башня-колокольня высотой, кажется, 116 метров. Медленно поднимаемся по винтовой лестнице. 100 ступеней... 200 ступеней... Еще ступени. Вот и площадка, на которой расположены старинные часы и 16 колоколов. Самый древний — Христус, 1258 года, — весит 450 пудов; рядом — Гозанна, 300 пудов. Преодолеваем еще десятка два или три уже совсем невыносимо крутых ступеней и оказываемся на площадке, поддерживающей купол башни собора. Отсюда как на ладони виден весь город. Он — в чаще. Склоны гор, куда ни глянешь, в виноградниках. А за ними — темные гребешки лесов.

В этот город и приехал лечиться Горький в 1923 году. 7 июня он поселился в особняке-пансионе Кубург. Это — в самой отдаленной окрестности Фрейбурга, которая называется Гюнтерсталь и отделена от города выступом горной гряды. Когда-то здесь был монастырь. Сразу за пансионом начинается лес, над которым почти всегда курится туман. Горький поселился на втором этаже. Обедал в общей столовой, выходявшей окнами в сад. За садом был теннисный корт. Теперь на его месте выстроено новое здание. Особняк сохранился в чуть перестроенном виде. Здесь помещается местная радиостудия. Под окнами журчит речка, загнанная в каменный желоб. Ее журчание слушали Альберт Швейцер, Эдмунд Гуссерль (похороненный в трех шагах отсюда) и многие другие известные люди. Под ее журчанье Горький заканчивал работу над книгой «Заметки из дневника. Воспоминания», переписывался с Лениным, Ролланом, Уэллсом, Шоу, Голсуорси, Элленсом, вел беседы с учеными из Фрейбургского университета. Изредка на трамвае, который ходит и до сих пор, он ездил в город. В письме к одному из своих знакомых Горький сообщал: «Проживу в Гюнтерстале июнь — июль. Здесь очень дождливо (холодно), но все-таки хорошо! Фрейбург меня очаровал. Сколько в нем хорошей, вкусной старины и как заботливо, любовно относятся к ней немцы. Всюду чувствуется гордость людей своим прошлым, своей историей...»

Судя по документам, показанным мне в Городском архиве Фрейбурга, Горький жил в пансионе «Кюбург» (Kuburg) один. Изредка его навещали здесь сын Максим и невестка. В июле 1923 года Горький писал Е. П. Пешковой: «Длинное твое письмо из Варшавы Максим получил, показал мне, хотел ответить, но, увлеченный игрою с китайцами в теннис, — не успел ответить. Обыграл позорно всех китайцевских чемпионов и сегодня в час 30 уехал». Через месяц, 6 августа, уехал в Берлин и сам Горький. Но уже 7 сентября того же года снова вернулся в Гюнтерсталь, на этот раз с сыном, невесткой, секретарем и старым другом — художником Ракицким. Они поселились на Дорфштрассе, 5, где прожили до 13 ноября 1923 года.

Здесь Горький работал над книгой «Рассказы 1922—1924 годов». Видимо, здесь же он вернулся к роману «Дело Артамоновых». «Бешено работаю», — признавался он в письме к С. Цвейгу. Сюда к нему приезжали К. Станиславский, А. Толстой, С. Ольденбург.

Еще живы люди, которые тогда встречались с Горьким. Один из них — профессор Д. И. Чижевский, ставший впоследствии одним из самых упорных наших

противников. Родился он в Феодосии, учился в Петербургском университете, в «голодный год» выехал лечиться в Германию, да так с тех пор и остался «невозвращенцем». Много раз впоследствии он предавал нас анафеме, будучи профессором славистики в Германии, потом в США и снова в Германии. Мы встретились в Гейдельберге. Ему 78 лет. Он сам заговорил о своих сокурсниках, ныне звездах первой величины в советской науке. Он сердился, высмеивая их, но... не мог скрыть своей зависти к ним. Он ругал напрапалу немецких русистов, начиная с В. Леттенбауэра и кончая Р. Клюге, пока не дошел до изнеможения. Потом совсем другим голосом, ровным и достойным профессора, стал рассказывать:

— Вы знаете, конечно, что я был знаком с Горьким. Когда он приехал в Гюнтерсталь, ему нужен был переводчик. Горький... это был удивительный человек. Бесспорно, очень одаренный, очень талантливый. Здесь тогда он писал и кое-что читал нам о странных людях. Его тогда интересовали странные типы. Много из того, что он рассказывал, осталось ненаписанным. Помню, однажды он изумительно читал о поджигателе. Обвиняют милого, тихого парня лет двадцати в поджогах, свидетели показывают против него, а он молчит. Толстый мужик-свидетель рассказывает: еду из ночного, а на гумне соседа как фукнет. Обвиняемый вскакивает и кричит: «Врешь! Что ты знаешь? Чать не сразу фукает. Сначала червячки ползут во все стороны, красные червячки». Изумительно верно умел Горький находить такие детали. У меня было собрание его сочинений, которое выходило здесь, с надписью Горького. Поражал он меня и артистичностью своей натуры: у него менялись даже вид, внешность в зависимости от того, о чем шла речь. Он был оптимистом культуры, был уверен, что наука все может или, вернее, сможет. Как-то вышла здесь шарлатанская книга о психоэнергии. Горький прочел ее и всерьез стал нас уверять, что возможно такое: сидят люди, к ним входит человек и силою своей психоэнергии заставляет делать то, что хочет. Потом Горький сам смеялся над этим своим увлечением. Но оптимистом культуры, науки оставался до конца. К сожалению, наши отношения прервались.

Господину Александру Креслингу тоже далеко за семьдесят. Но он бодр, деятелен. Дезертировав, по его утверждению, из армии Юденича, он, выходец из семьи русских дипломатов, навсегда поселился в Германии — родине своих предков. И вот уже полвека руководит русским хором во Фрейбургском университете. Хор этот широко известен в Западной Германии: часто совершает гастрольные поездки по стране, записывается на граммофонные пластинки. Вот одна из его программ: «Коробочка», «Исходила младенька», «Жарко свечи горят», «Павушка», «На горе», «Реченька», «А баю, баю», «Колыбель», «Разлука», «Егорий Храбрый», «Талан», «Ах, чтобы без ветру», «Веют ветры», «Господи, не дай врагам», «Помилуй нас, боже», «Мы нищая братия», «Василей и святая пятница», «Благообразный Иосиф», «Взирайте с прилежанием» и «Блаженны мертвые».

Александр Креслинг, седой человек с потерявшими голубизну глазами, за стаканом легкого баденского вина рассказал мне «свою жисть», перескакивая с предмета на предмет, что-то пропуская, чего-то не договаривая. Привожу здесь ту часть его рассказа, которая касается Горького. Она не расходится с известными документами, а дополняет их.

— В 1923 году... Почему-то мне кажется, что это было в феврале... Но Леттенбауэр, Светлана и другие наши филологи уверяют, что это не могло произойти раньше лета... В мае, говорят они... Так вот, я получил записку от Степуна, моего знакомого писателя. (Он умер лет шесть тому назад. Его родственники где-то в Мюнхене. У них должна находиться его переписка с Горьким.) Он просил меня подыскать во Фрейбурге дом для Горького. Степун сообщал, что Горький готов платить за аренду сто долларов в месяц. Сто долларов! По тем временам чудовищной инфляции марки это была баснословная сумма. Один доллар стоил больше ста тысяч марок. За сто долларов можно было купить дом. Я бросился искать. Нашел на Дорфштрассе, иять. Но сказал хозяйке, что она будет получать двадцать пять долларов. Она была счастлива. Когда же узнала, что жить будет Горький, перепугалась. Очень боялись тогда слова «большевик». Ее пришлось уго-

варивать, пока она снова согласилась. Шло время, а Горький не приезжал. Как-то же было мое удивление, когда однажды мой хороший знакомый первоклассный теннисист Томилин сказал мне, что играл в теннис с Максимом Пешковым, сыном Горького. Оказывается, Горький уже жил здесь, а я ничего не знал. Оказывается, независимо от меня сюда приезжал Максим Пешков и договорился, что его отец будет жить в Kurburg'e. Я попросил Томилину: «Познакомьте же меня с ним!» Но знакомство на этот раз не состоялось. Горький через несколько дней уехал из Kurburg'a то ли в Берлин, то ли в Сааров.

Он встает, подходит к бюро, достает какую-то бумагу, потом возвращается, удобно усаживается в кресло и продолжает:

— Вскоре я снова получил просьбу от Степуна подыскать квартиру для Горького. Оказывается, Горький специально хотел лечиться у врача Карла Брёуля. На этот раз я встречал Горького на вокзале. Были заказаны два автомобиля. Горький и я ехали в первой машине по Eisenbahnstraße, за нами шла вторая машина, в которой сидели Максим и его жена (Горький почему-то звал его Стариком, а невестку Тимошей). Горький очень любил Тимошу, как-то своеобразно относился к ней, при всех гладил ее по плечу и по голове. Она была обаятельнейшей хозяйкой в его доме. Еще был у него друг и секретарь, он же художник, Ракицкий. Приезжал из Москвы еще один литературный секретарь. Но он мне не понравился. Неприятный какой-то человек. Так вот, Горький дал мне расписание своего дня и сказал, чтобы я приходил в любой день. Приходил я к ним обычно в два часа. Ну почему мне кажется, что это было ранней весной?.. После обеда члены семьи Горького отдыхали. А он ежедневно, в любую погоду, гулял. Почему-то мне кажется, что все это было в феврале? Быть может, потому, что было холодно, часто шли дожди? Горький никогда днем не спал, но непременно гулял. Гуляя, он расспрашивал меня, что пишут в немецких газетах о Ленине, о напе, о России. Это был необычайный человек, Горький.

Он снова встает, подходит к бюро, достает какую-то бумагу. Потом возвращается к столу, еще удобнее усаживается в кресло и продолжает:

— Меня он поразил сразу, когда входили во двор дома, снятого мною на Дорфштрассе, пять. Хозяйка купила собаку. Купила она ее у полицейского. Полицейский сказал, что собака должна жить на дворе, ее должен кормить один и тот же человек и он же должен на ночь спускать ее с цепи. Хозяйка так и поступала в течение полутора лет. И ее собака была одной из самых злых в Гюнтерстале. Когда мы вошли во двор, собака стала яростно рваться с цепи. Но Горький направился прямо к ней со словами: «Ну, чего же ты яришься? Ты же понимаешь по-русски...» И, к нашему ужасу, взял ее одной рукой за холку, а другую положил ей в пасть. Собака заскулила, потом положила лапы ему на плечи, лизнула в лицо. С тех пор Горький не только сам кормил ее, спускал с цепи, но даже гулял. Мне он сказал, что еще в детстве, в Нижнем, у него были самые дружеские отношения со всяким зверьем. На Дорфштрассе был у Горького и любимый кот. За домом, через дорогу, жил генерал Клотц. Его сыновья разводили кроликов. И вот с каких-то пор любимый кот Горького повадился охотиться за кроликами. Младший сын генерала однажды выстрелил в кота и убил его наповал. Когда три дня спустя упорно разыскивавший своего кота Горький обнаружил в кустах труп, он взъярился. Решив, что животное погибло от руки самого генерала, вырвал из ограды кол и бросился с ним к дому убийцы. Генерал принес извинения (потом он повторил их в письменной форме), увел Горького в свою библиотеку. «Если бы я знал, что это ваша кошка,— говорил он Горькому,— я сам бы отнес ей всех кроликов». Оказалось, что генерал не только имел в библиотеке все книги Горького, но и внимательно читал их. Читал Толстого, Достоевского. Они беседовали по несколько часов. Но забыть своего кота Горький не мог.

Он наполняет бокалы вином. Потом долго смотрит в окно. Уже за полночь. На улицах гаснут огни.

— Я приходил к Горькому почти ежедневно в течение недели. Он не раз жаловался на недостаток книг (во Фрейбурге их у него была маленькая полочка, остальные находились в Берлине). Мы приносили ему книги из личной библиоте-

ки Чижевского, с которым, кстати, тогда и познакомились, доставали в университете. Во время гулянья говорили обо всем, но чаще всего о Ленине. Тогда газеты были полны сообщений о его болезни. Горький беспокоился, что же произойдет, если Ленин умрет. Он часто вспоминал о каких-то своих спорах с Лениным в 1917 году, говоря: «С Лениным у меня произошло недоразумение». — «Недоразумение, Алексей Максимович?» — «Нет, недоразумение. Недоразумение — это когда с двух сторон вина. В наших же расхождениях виноват был я». Горький вообще любил играть словами, поворачивать их не той стороной, к которой мы привыкли. И вечно был обременен бесчисленными заботами. Почти каждый раз, когда я уходил, он давал мне пачку писем, чтобы по дороге я опустил их в почтовый ящик. Нередко ругал Луначарского или Литвинова: «Просил. Обещали. Ничего не сделали»; ругал их за Блока.

Прервав нить повествования, он стал выяснять у меня, что же на самом деле было с Блоком, затем, сказав: «Кажется, он сильно голодал, но не уезжал из России», вернулся к рассказу:

— После шести или восьми встреч я стал приходить к Горькому не в два, как обычно, а после четырех... Мой знакомый Дмитриевский вел в университете подготовительные курсы русского языка. Неожиданно ему из Ланца поступило предложение поехать переводчиком с делегацией немецких предпринимателей в Россию. Чтобы не потерять с таким трудом полученное место в университете, он попросил меня временно заменить его. Я согласился, но почему-то боялся сказать об этом Горькому. Боялся — и все. Тогда Горький сам спросил: «Что случилось?» Наконец узнав о курсах, стал шутить: «Завтра же приедем на занятия. Вот уж посмеемся!» И, к моему ужасу, на другой день приехал на курсы в университет. Занимался я так: раздавал всем списки слов, написанных столбиками, объяснял значение каждого слова, затем всем классом повторяли слова вслух, а в заключение составляли из написанных слов немудрящие фразы вроде: «Здравствуйте, Варвара Васильевна!» В тот день я раздал вот эти столбики:

разговор	брат
веселый	опять
весело	сколько? (как много?)
здравствуй(те)	столько? (так много?)
здоровый	горе
здравый	завтрак, завтракать
Как поживаешь (те)?	обед, обедать
душа	ужин, ужинать
душенька	езде
отличный	неужели?
отлично	чудак
голубь	чудо
голубушка	чудный
голубчик	чудной
так себе	ни гу-гу
	тоже

Он передал мне листочек со словами и продолжал:

— Горький сидел рядом с двумя женщинами, что-то объясняя им, лукаво посмеиваясь. Затем переписал себе слова, в этот раз предложенные мною. Возвращаясь на трамвае в Гюнтерсталь, всю дорогу о чем-то думал, молчал. Когда же приехали, сел за стол и написал вот этот

«Разговор
(не очень веселый)

- Варвара Андреевна, дорогая, здравствуйте! Как вы поживаете?
- Татьяна Александровна, душечка, спасибо, отлично! А вы?

— Ах, голубушка, так себе, так себе! Знаете, мой брат Коля опять столько, столько курит! Такое горе! Он не завтракает, он не обедает и не ужинает, — он только курит, всегда и везде!

— Что вы говорите, душа моя! Да неужели это правда? Моя тетушка Софья Сергеевна уже говорила, что Николай Александрович опять так много курит, но я не знала, верить ли.

— Ах, если б я только знала, что делать, как быть! Наш доктор Альфред Гугович... — вы знаете Альфреда Гуговича? Немец он, такой чудак! По-русски он ни гу-гу не понимает! Да, он тоже говорит, что было бы лучше, если бы Коленька поменьше курил. Но Николаша не понимает, что там доктор по-немецки говорит. Ну, это еще ничего, что он не понимает, если бы он только немного поменьше курил!»

Креслинг передал мне текст «Разговора» и продолжал:

— В тот же день Горький подарил мне не очень хороший, но лучше тогда не было, учебник русского языка для нерусских, сделав надпись. «Учись и учи» — и обведя ее восьмеркой, положенной на ребро: ∞. Так что получалось: «Учись и учи!» и «Учи и учись!». Я же говорил, что он любил игру слов!

Шел уже второй час ночи. Но для рассказчика время, казалось, не существовало:

— Русская колония студентов тогда насчитывала здесь человек двенадцать — пятнадцать. В основном — из белоэмигрантов. Горький относился к ним недоверчиво. Изредка кое-кого приглашал к себе, но неохотно. И вдруг как-то сказал мне: «Забери всех русских и приведи». А когда мы пришли к нему, он начал рассказывать. Рассказывал около часа. Рассказывал незабываемо. По-моему, потом все это вошло в «Мои университеты». Все были в восторге. Через две-три недели мы собрались снова. Он прочел то же самое по рукописи, и все были разочарованы. Один из присутствующих сказал: «Как вы удивительно рассказывали это в прошлый раз!» Горький ужасно огорчился, даже обиделся. И все-таки надо признать, что рассказывал он гораздо, гораздо лучше, чем потом получалось на бумаге.

Тут он первый раз засмеялся от души, снова разлил вино и продолжал по-светлевшим голосом:

— Второй раз Горький обиделся, когда мы состязались в знании русских народных песен. За свою жизнь я записал две тысячи песен. В свое время студентом бывал на Мезени, Пинеге, собирал и записывал. У моего отца в имении работало человек восемьдесят с Мезени. Я дружил с ними, пел с ними песни обрядовые, лирические, похоронные, всякие. Как-то Горький спросил: «Сколько ты знаешь песен?» — «Пятьсот!» — «Ну, уж так и пятьсот? Скажем лучше так: я знаю четырехста, а ты триста!» На другой день стали с ним перебирать, я начал со свадебных. Спел ему свои, почти четырехста, а он мне свои, но только семьдесят или восемьдесят. Огорчился он, щелкал пальцами: «А вот эту... ну, вот...» Вспомнить же не мог. Зато среди тех, которые вспомнил, были удивительные и такие, которые я слышал только от него. Пел он приятным, хотя и хрипловатым голосом. Когда воодушевлялся, пел удивительно. Мне он потом еще раз специально напел несколько. Среди них и вот эту:

Ах, что без ветру мысли мои разнесло,
Ах, что без ветру разнесло
По зеленым полям, ах, полям,
По зеленым полям, по зеленым да лугам,
Ах, что без ветру разнесло,
Кто бы, кто горяшку, ах, помог?

Он воспроизвел тут же мотив, продемонстрировал инструментовку.

— Горький подробно объяснял мне, как должен петь подголосок, как басы.. А еще у него был удивительный дар пародирования. Однажды он изобразил, как старая актриса ведет на сцене партию Ольги, — мы чуть не умерли от смеха. Когда его спрашивали об эпизоде с Шалапиным, он отшучивался: «Куда уж мне до него!» Шалапин же на мой вопрос с серьезным видом ответил: «Ну, конечно же, его приняли, а меня нет!»

Хотя повествование длилось уже не один час, голос рассказчика не слабел: — Перед отъездом из Фрейбурга Горький попросил пригласить всех русских на прощальный вечер. Он состоялся в ресторане недалеко от того места, где остановились сейчас вы. Были щи, пельмени, водка. На вечере присутствовало человек пятнадцать, среди них я, Чижевский с женой, студенты. Хотя Горький не очень им доверял, приглашены были все. Возвращались с вечера по центральной улице. Шли гурьбой прямо по мостовой. «Давайте споем!», — сказал Горький и запел. Мы подхватили. Вы видели колодец, который стоит в центре. Мы трижды обошли вокруг него и с песнями пошли дальше. Из-под арки Мартинтора (ворота башни) вышел полицейский: «Господа, потише!» Но Горький взял его за лацкан мундира и пропел: «Немного нас, но мы сла-а-а-вяне!» Полицейский растерялся, стал извиняться, повторяя: «Пожалуйста, пожалуйста, но тише!» Горький рассмеялся и сказал: «Смотри, полицейский, а понял. Понял и запомнит!» Вот и все. Что же еще?.. К Чижевскому относился недоверчиво, часто спрашивал: «Сегодня Дмитрий Иванович говорил мне... Что это значит?» Чижевский уже тогда увлекался чертами, лешими, рассказывал всякие небылицы, уверял, что сам видел, слышал... Вот и все. Жаль, что я тогда ничего не записывал. И теперь не могу восстановить содержание наших бесед. Удержались в памяти какие-то жалкие обрывки фраз... Ключки воспоминаний.

И словно увял. Я взглянул на него и удивился. При первой встрече он мне показался шире в плечах, величавее. А теперь передо мной сидел маленький старичок. Глаза его не светились огнем. Он вертел в руках пустой бокал.

Можно было бы привести и еще немало фактов, свидетельствующих о том, что наша земля, наша страна, наша культура, наш общественный строй, наша жизнь, наши люди, наш образ мыслей не дают покоя многим в ФРГ, не оставляют равнодушными представителей самых различных классов, сословий, социальных групп... После второго приезда Вилли Брандта в СССР и успешных переговоров его с Л. И. Брежневым этот интерес, несомненно, усилился. И все изучают нас. Почти в каждом из восемнадцати университетов ФРГ имеются славистические отделения. Они привлекают внимание все большего числа студентов. Изучают русский язык, русскую литературу, историю, экономику, социологию, много уделяют внимания краеведению. В беседах со мною руководители славистических отделений заявляли, что стремятся теперь к тому, чтобы их студенты знали подлинные ценности, признанные таковыми в СССР, ибо искренне верят в возможность добрых взаимоотношений между нашими народами.

Трудно сказать, только ли культурные, научные интересы движут теми, кто возглавляет славистические отделения в немецких университетах. На прощальном обеде, который был дан в честь нашей делегации магистратом города Дортмунда, мой старый друг доктор Деннигхауз сказал: «Роковая ошибка Германии в том, что ее на протяжении столетий убеждали в необходимости завоевать Россию. Мы выдвигаем другую задачу: изучить Россию». Несмотря на двусмысленность, эта формула вызвала острые споры немцев, присутствовавших на обеде. В результате же общения с официальными представителями всевозможных обществ и управлений, занимающихся в ФРГ культурными связями с СССР, у меня не сложилось впечатления, будто они всеми силами и прежде всего стремятся к тому, чтобы максимально удовлетворить интерес к нашей стране, к русскому языку, к советской культуре, с новой силой вспыхнувший у народа ФРГ. Это должно побудить нас использовать все средства и пути для того, чтобы помочь демократическим слоям капиталистических стран узнать настоящую правду о нашей стране, о советском народе, о его жизни. Это наш интернациональный долг.

Март---апрель 1971.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

«ВЕТКА САКУРЫ» В ЯПОНИИ

Одновременно три японских издательства — «Токума», «Синтё» и «Иомиури», прекрасно осведомленные о планах друг друга, выпустили в начале мая 1971 года книгу В. Овчинникова «Ветка сакуры» (впервые она была опубликована в «Новом мире» №№ 2, 3 за 1970 год) — случай в условиях жесткой конкуренции беспрецедентный. Но, как показали последующие события, расчет предпринимателей был верен — все три издания разошлись в первые же дни после выхода.

Множество откликов, появившихся на страницах японской прессы, объясняют причины успеха книги.

«Автор точно и образно описывает внутренний мир японца, культуру и экономику нашей страны» (газета «Киото симбун»). «Вопрос, систематически исследуемый автором, — это сложный дуализм японца. Это японец, который носит улыбку на лице и плачет в душе; это вежливость японской речи, доведенная до уровня абстрактного искусства. Это учтивость в личной жизни и грубость на улице; это священная вершина Фудзи и куча мусора на ней; это девушка, которая танцует шейк и соглашается на брак по сватовству» (газета «Асахи»). «Когда автор говорит о чем-то непонятном для иностранцев, он так глубоко понимает суть дела, что даже мы, японцы, не можем не согласиться с ним... Как он умудрился докопаться до таких вещей! — невольно удивляемся и улыбаемся мы» (газета «Комэй симбун»).

Журнал «Тоёо Кэйдзай» пишет, что В. Овчинникову помогло разобраться во многих проблемах японской жизни «...глубокое знание культуры Востока». На это же обращает внимание и газета «Тосе симбун»: «Ветка сакуры»... — вдумчивое толкование Японии человеком, прожившим в стране семь лет. Для японцев книга эта — зеркало, которое позволяет нам критически взглянуть на самих себя».

Журнал «Дзицуге но Нихон» отмечает широту, с которой В. Овчинникову удалось охватить разнообразные стороны современной японской действительности: «Эта книга — подлинная энциклопедия Японии». В «Ветке сакуры», говорится в рецензии, «...ценна и справедлива критика современной японской культуры». А еженедельник «Сюкан бунсюн» подчеркивает, что в книге В. Овчинникова чувствуется дружественное отношение автора к народу Японии: «...на каждой странице книги чувствуется доброжелательность, широта души и теплота, с которой советский человек смотрит на Японию». В связи с этим газета «Киотё симбун» приходит к выводу: «Книга «Ветка сакуры» имеет большое значение для углубления взаимопонимания между нашими народами».

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

К 150-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского

Ю. КАРЯКИН

★

ПЕРЕЧИТЫВАЯ ДОСТОЕВСКОГО...

«Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь... Вот главная черта моего характера, может быть деятельности».

Ф. М. Достоевский.

Слова эпитафии (запись 1873 года) кажутся поначалу поразительными, неожиданными, даже невозможными в устах Достоевского. Думаешь невольно, что они могли принадлежать кому угодно, но только не ему, — Пушкину, Уитмену, Вийону.

Но чем больше вдумываешься в них, чем больше сопоставляешь их с жизнью его и творчеством, тем яснее видишь в них то, без чего нет его реализма «в высшем смысле». Это — жизньлюбие, самая простая и самая сложная вещь на свете. И это качество — жизньлюбие, но жизньлюбие несмотря ни на что, вернее вопреки всему, что видишь в жизни тяжелого и глупого, некрасивого и низкого, жизньлюбие тем большее, чем глубже и острее видишь все это, — это качество, как никакое другое, объединяет людей. Объединяет мужеством видения зла и мужеством сопротивления ему.

Эта мысль о любви к «жизни для жизни» оказывается постоянной, всегдашней, укрепляющейся с годами мыслью Достоевского.

Вот его письмо к брату 22 декабря 1849 года после отмены смертного приговора по делу петрашевцев: «Никогда еще таких обильных и здоровых запасов духовной жизни не кипело во мне, как теперь... Жизнь — дар, жизнь — счастье, каждая минута могла быть веком счастья... Брат! Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохранию дух мой и сердце в чистоте».

Вот спустя десять лет, возвращаясь из ссылки, он пишет: «Я верю, что еще не кончилась моя жизнь, и не хочу умирать».

Вот еще через шесть лет, в 1865 году, потеряв жену, брата и друга, преследуемый кредиторами, ежедневно ожидающий эпилептических припадков, он признается: «И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое... О, друг мой, я охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтоб только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, т. е. из нужды, наскоро... А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошачья живучесть».

«Да здравствует солнце! Да здравствует жизнь!» — таков заветный, чисто пушкинский, хотя лишь отчасти реализованный замысел «Идиота».

«Жизнь хороша, и надо сделать так, чтоб это мог подтвердить всякий», — записывает он в 1876 году.

Меньше чем за год до смерти он приносит свою «Речь о Пушкине». Самый мрачный наш гений преклоняется перед самым светлым.

Что такое все это? Неужели все это случайности? Не слишком ли их много?

Да, на всех своих фотографиях, портретах Достоевский выглядит как узник собственных противоречий, как человек, которого, кажется, просто невозможно представить себе смеющимся (хотя иногда на

лице его промелькнет горькая или желчная усмешка).

Но пусть порой не мог он выбраться из тех глубин, в которые проникал, не мог разрешить те противоречия, которые обнажал, но проникал он в эти глубины, обнажал он эти противоречия именно в поисках выхода, во имя жизни.

Юбилей Достоевского — случай не для славословия художника, а для размышления над вопросами, поставленными им с такой остротой и глубиной, как никем из писателей до него и очень мало кем после него. (Вообще юбилей Достоевского — в отличие, например, от юбилеев Пушкина — меньше всего похожи на праздники.)

Нынешний юбилей, несомненно, выявит более определенно тот спектр цветов, который наблюдается в течение уже вековой борьбы вокруг наследия художника. Конечно, выступят те, кто, подобно одним, «бесноватым», персонажам Достоевского, мечтает «потушить всякого гения в младенчестве», чей идеал — «горы сровнять», кто вслед за Петром Верховенским из «Бесов» хотел бы уже не только вырвать язык Цицерону, выколоть глаза Копернику, побить камнями Шекспира, но и запретить и сжечь самого Достоевского (как это и делается в нынешнем Китае). Выступят и те, кто, подобно другим, «подпольным», его персонажам, будет заниматься самокопанием и самобичеванием (почему-то обязательно публично). Кто, славя «учителя» и «пророка», будет разыгрывать вариации на тему — «все к худшему в этом худшем из миров». И кто, разумеется, останется бесчувственным к его неистребимой жажде «живой жизни», к его иступленным поискам «человека в человеке», к пушкинскому началу в его творчестве. Выступят и те, кто давно и недобросовестно пытается превратить гениального еретика в скучного религиозного резонера. Выступят и такие, кто из глубоко трагичных и поучительнейших отношений Достоевского с социализмом и революцией снова пожелает извлечь политический капитал. Цели здесь будут определять средства, а результаты прояснят цели.

Но, главное, юбилей выявит силу тех, кому действительно дороги ценности мировой культуры, кто стремится познать Достоевского во всей небывалой сложности, остроте и глубине терзавших его противоречий. Цели, средства и результаты окажутся связанными между собой и здесь.

Все это так. Но у нас есть и немало причин для беспокойства. И не в том ли состоит одна из них, что Достоевского охотнее «интерпретируют», чем стараются понять?

Конечно, чтение и перечитывание Достоевского, слава богу, всегда будет в известной мере делом субъективным. Конечно, можно и падо радоваться также обилию точек зрения на Достоевского исследователей и сценаристов, режиссеров и актеров, художников и музыкантов. Но если неповторимая субъективность восприятия превращается в произвол, если «интерпретация» выступает вместо объективного понимания, тогда неминуемо возникает вопрос о границах субъективности, о дозволенных и недозволенных пределах «интерпретации». Разные музыканты по-разному слышат и исполняют Бетховена, но если бы Гилельс исполнял его не «по нотам», мы знали бы Гилельса, а не Бетховена.

Конечно, мы не можем читать Достоевского не полемически, но читать полемически мы должны понятого Достоевского, а не просто «интерпретированного». Говорят, можно полемически слушать и мессу Баха. Но если ради полемики мы отбросим негодные нам ее части или, хуже того, перепишем заново религиозные ее тексты на атеистические, что останется от Баха? Не является ли главнейшим условием идеологической полемики с художником наиболее точное исполнение его произведений, тем более точное, чем острее мы полемизируем?

Попытаемся здесь перечитать лишь один роман Достоевского — «Преступление и наказание». Такой выбор продиктован тем, что этот роман сегодня — едва ли не самый известный из романов русской и мировой классики. С него началась мировая слава Достоевского. Он явился этапным, решающим в жизни и творчестве художника. Он больше всех других произведений Достоевского экранизирован, театрализован, иллюстрирован. И наконец, кроме гигантской армии его «добровольных» читателей, кроме сотен его исследователей, сценарных «переводчиков» и иллюстраторов, появилось и увеличивается еще большее число людей, которые обязаны его читать и знать: вот уже пятый год, как «Преступление и наказание» введено в обязательную программу наших девятых классов, и ежегодно десятки тысяч учите-

лей преподают, а миллионы учеников «сдают» Достоевского по «Преступлению и наказанию». И кто знает, какое значение будет иметь эта школа нравственного воспитания для тех подростков, из которых, по выражению Достоевского, «созидаются поколения»?¹

«ПРЕСТУПЛЕНИЕ? КАКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ?»

«Уже выздоравливая, он вспомнил свои сны, когда еще лежал в жару и бреду».

Сопоставление «начал» и «концов» романа, первых страниц с последними разом проясняет масштабы, время и смысл действия. И тогда вдруг понимаешь, почему роман немислим без Эпилога, почему преступление начинается не с убийства и кончается не признанием в полицейской конторе, почему признание — это еще не раскаяние, а скорее даже — антираскаяние. Почему сильнее всего мучается Раскольников не муками большой совести, а своей «уязвленной гордостью». Почему не две недели, а два года длится действие, а потом уходит в какую-то тревожную бесконечность, в какое-то будущее, возможно — гибельное, возможно — спасительное. И почему, наконец, судьба петербургского студента из Столярного переулка переживается как своя собственная судьба и как судьба человечества.

Преступление начинается с «проклятой мечты» Раскольникова, осенившей его ночью, «как солнце», начинается с его статьи о «двух разрядах» людей — «высшем» и «низшем», со статьи, написанной в каморке, похожей на гроб: «Первая, юная, горячая проба пера. Дым, туман, струна звенит в тумане... В бессонные ночи и в иступлении она замышлялась, с подыманием и стуканьем сердца, с энтузиазмом подавленным, а опасен этот подавленный энтузиазм в молодежи» (слова Порфирия).

¹ Данная статья — часть работы о Достоевском. Мысль, положенная в ее основу, развивалась в статьях, опубликованных в «Вопросах литературы» (1971, № 7), в «Науке и религии» (1971, № 10), в послесловии к «Преступлению и наказанию» («Художественная литература», 1971) и др. Чтобы как-то сохранить цельность мысли, я вынужден был кое в чем повторяться, но старался свести повторы до минимума. — Ю. К.

Завершается же оно бредовыми снами. Раскольникову «грзилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язвы, идущей из глубины Азии на Европу... Появились какие-то новые трихины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшествовали... Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром. Не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе... В городах целый день били в набат: созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге... Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали, начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод. Все и всё погибало. Язва росла и подвигалась дальше...»

«Струна в тумане» зазвучала всемирным набатом. Написанное пером доделывается топором, и «проба пера» оборачивается светопреставлением.

Но роман заканчивается пробуждением Раскольникова. И вместо гроба-каморки, вместо ночного бреда возникает образ бескрайней степи, облитой солнцем.

Не подсказывает ли Достоевский будущим сценаристам и постановщикам романа, что каждую его сцену надо строить и играть как предчувствие последних снов Раскольникова, но и одновременно — как предчувствие возможности спасительного пробуждения? Ни одна из коллизий романа не может быть понята без ориентации на Эпилог, если, конечно, «слушать» и «исполнять» то, что написал Достоевский.

Можно так представить себе начало постановки «Преступления и наказания» в театре или в кино.

Титром (или голосом диктора) обозначается: «Одиннадцатый день после убийства». Раскольников произносит: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил».

Следующий кадр или картина: «Через пять месяцев». Суд. Прокурор: «...Принимая во внимание добровольную явку преступника с полной повинной и чистосердечное раскаяние его, осудить Раскольни-

кова Родиона Романовича к каторжным работам на срок в восемь лет».

И еще одна картина: «Через полтора года». Острог. Раскольников: «Преступление? Какое преступление? Совесть моя спокойна. Чем, чем мысль моя была глупее других мыслей и теорий? Промах, простой промах, который со всяким мог случиться. В одном раскаиваюсь, в одном единственном,— в том, что признался!»...

Во всяком случае, кажется, что такое начало соответствовало бы духу и даже букве романа, что такой «прицел» (если он и будет скрыт) разбил бы тот стереотип, который, к сожалению, вкоренился во многих читателей и зрителей: будто явка с повинной и есть раскаяние, будто Эпилог — это ненужный привесок и лучше бы его и не было.

Какие же намерения вели Раскольникова в ад?

По-видимому, самые добрые. Раскольников говорит сестре: «Я сам хотел добра людям и сделал бы сотни, тысячи добрых дел вместо одной этой глупости, даже не глупости, а просто неловкости, так как вся эта мысль была вовсе не так глупа, как теперь она кажется, при неудаче.. (при неудаче все кажется глупо!). Эту глупостью я хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримо, сравнительно, пользой».

Раскольникову, как и Ивану Карамазову, «не надобно миллионов, а надо скорее мысль разрешить». Но какую мысль? Как «разрешить»? — вот в чем вопрос.

«Свобода и власть, а главное власть! Над всюю дрожашею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Это мое тебе напутствие!» — бросает Раскольников Соне (?!), обещая разъяснить это «напутствие» позже.

Вот это разъяснение: «Соня, у меня сердце злое, ты это заметь: этим можно многое объяснить... Вот что: я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... Я... я захотел осмелиться и убил... я только осмелиться захотел, Соня, вот вся причина!» Оказывается, он жаждал попасть в число тех «пророков», которым «все дозволено»: «Кто много посмеет, тот у них и прав. Кто на большее может плюнуть, тот у них и законодатель, а кто больше всех может посметь, тот и всех правее!.. Не для того, чтобы матери по-

мочь, я убил — вздор! Не для того я убил, чтобы, получив средства и власть, сделаться благодетелем человечества. Вздор! Я просто убил; для себя убил, для себя одного: а там стал ли бы я чьим-нибудь благодетелем или всю жизнь, как паук, ловил бы всех в паутину и из всех живые соки высасывал, мне, в ту минуту, все равно должно было быть!.. И не деньги, главное, нужны мне были, Соня, когда я убил; не столько деньги нужны были, как другое... Мне другое надо было узнать, другое толкало меня под руки: мне надо было узнать тогда, и поскорей узнать, вошь ли я, как все, или человек? Смогу ли я переступить, или не смогу!.. Тварь ли я дрожащая, или право имею...»

«Не столько деньги нужны были», — проговаривается Раскольников. Проговорка не случайная. Без денег, без «вульгарных» денег, без буквального «капиталу» тоже ведь шага не сделаешь ко «всему капиталу», к власти. Прав Порфирий: «Ну, какой какой-нибудь муж али юноша вообразит, что он Ликург али Магомет... — будущий, разумеется, — да и давай устранять к тому все препятствия... Предстоит, дескать, далекий поход, а в походе деньги нужны... ну и начнет доставать себе для похода... знаете?»

Неотразим и другой вопрос Порфирия — как отличать «обыкновенных» от «необыкновенных»? Действительно, люди передерутся уже из-за одного этого права попасть в «высший» разряд. К тому же среди «необыкновенных» всегда найдутся любители попасть в еще более «необыкновенные» и так далее.

Художник выявляет ответственность человека не только за преступные результаты его действий, не только за преступные средства, но, главное, за преступность помыслов.

Сведя все преступление Раскольникова к убийству, художник не достиг бы главного — максимального сопереживания читателя, не растревожил, не обжег бы его душу, не заставил бы его вдруг обратить взор внутрь себя самого, а наоборот — укрепил бы его в самодовольном и холодном сознании своей непричастности к содеянному другим.

«И о тебе эта история рассказывает», как бы говорит Достоевский читателю, о тебе, если есть в тебе неправота целей,

скрываемая самообманом, если боишься ты точного, адекватного самосознания.

Нет в преступлении Раскольникова никакой правой цели, есть цель неправая. Цель здесь не оправдывает, а определяет средства и результаты. А средства и результаты выявляют подлинную цель. Негодные средства для высокой цели — это еще ошибка, пусть непоправимая. Неправые цели, неправые мотивы — вот в чем прежде всего преступление, по Достоевскому. Он открывает тайную корысть видимого бескорыстия.

Раскольников мог бы сказать о себе словами героя «Сна смешного человека»: «Знаю только, что причиной грехопадения был я». Герой этот сравнивает себя со «скверной трихиной», с «атомом чумы, заражающей целые государства», а в итоге: «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее, — те же последние сны Раскольникова, только еще более кошмарные.

И «миллионы» Ивана Карамазова, ненужные ему, как и Раскольникову, — суть гроши по сравнению с идеей «все позволено», с идеей «крови по совести». Да к тому же идея эта тоже не бесплатно осуществляется — и для ее реализации деньги нужны, если не миллионы, так тысячи.

«СЛАБЕНЬКИЕ» И «ПРЕМУДРЫЕ»

«И нет никаких преград!»

Ни единого поступка, ни единого слова Раскольникова нельзя понять, если все время не иметь в виду то, что все время же ему и присуще, — его «проклятую мечту». Она подчиняет себе и деформирует все его чувства и мысли, слова и поступки.

Вот Раскольников после «пробы» слушает Мармеладова. Слушает долго — наверное, около часа. Слушает молча, безжалостно (однако на дрывно-безжалостно). Думает, заставляя себя думать — о своем: как «переступить черту», особенно после «пробы», после тоекратного мармеладовского: «Некуда больше идти!» Это, мол, для мармеладовых некуда, а он-то знает куда идти, и вся мармеладовская история для него здесь не больше чем еще один аргумент за окончательный выбор (пока для него все подтверждает правоту этого выбора). Пусть Мармеладов корчится, как раздав-

ленный червяк. Он для этого и предназначен. Он — из «материала», он — для «унавоживания». Раскольников — иное, он — из «высшего» разряда.

Но Мармеладов, в сущности, по-своему бунтует именно против теории «двух разрядов», бунтует рабски, жалко, но бунтует: «А пожалеет нас тот, кто всех пожалел и кто всех и вся понимал, он единственный, он и судия... И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смиренных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его, но приходите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлешь?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...»

«Премудрые» — это ведь и есть «высший» разряд в раскольниковской «арифметике» (они и подобны тем «премудрым» из «Сна смешного человека», которые истребляют всех «непремудрых»).

Отведя Мармеладова домой (положив, впрочем, неприметно на окошко мармеладовской комнаты остатки своих денег — для «непремудрых!»), Раскольников говорит себе: «Ай да Соня! Какой колодезь, однакож, сумели выкопать! и пользуются! Вот ведь пользуются же! И привыкли. Поплакали, и привыкли. Ко всему-то подлец-человек привыкает!» И тут же он загадочно добавляет: «Ну, а коли я соврал... коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род, то есть, человеческий, то значит, что остальное все — предрассудки, одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть!..»

О чем это он? Все о том же. «Подлецы» — привыкают. Но «весь род» человеческий не из одних «подлецов» состоит, а на «два разряда» делится, а раз так, то не буду «привыкать» и «переступлю», потому что я — из «высшего» разряда, я — не «подлец», я — «премудрый».

А кто такие «подлецы»? У Раскольникова здесь знаменательнейшая проговорка. Это же и есть те «слабенькие», о которых говорил Мармеладов.

Проговорка и здесь не случайна. Это смешение «слабеньких» с «подлецами», это

незаметное переименование первых во вторых является многообещающим и зловещим. Оно лишь вариант смещения «низшего» разряда со «вшами», с «тварями дрожащими». Оно знаменует переход Раскольникова от мечты делать «добро людям» (она была у него и где-то осталась) к «проклятой мечте» взять власть над «тварями дрожащими», взять ее поскорее, и уже не для этих «тварей», а лишь для себя...

«ПРОЦЕНТ!»

«Да пусть их переглотают друг друга живьем,— мне-то чего?»

Раскольников только что прочитал письмо матери. Идет на бульвар. В голове — «та идея», и уже не в виде мечты, «а в каком-то новом, грозном и совсем неизвестном ему виде». В голове — сестра, Свидригайлов... Вдруг замечает пьяную девочку лет шестнадцати, а может быть, только пятнадцати. Вокруг нее кружит какой-то франт. «Дело было понятное».

Все, что творилось в сознании Раскольникова, обращается вовне, и нет для него, как почти всегда, никакой разницы между тем и другим. «Эй вы, Свидригайлов! Вам чего тут надо? — крикнул он, сжимая кулаки и смеясь своими запенившимися от злости губами». («Свидригайловым» он называет незнакомца, и называет точно. Слово репетируется встреча с настоящим Свидригайловым.)

Вмешивается городской. Раскольников умоляет его: «Вот, смотрите... кто ее знает, из каких, а не похоже, чтоб по ремеслу. Вернее же всего где-нибудь напоили и обманули... в первый раз... понимаете? да так и пустили на улицу. Посмотрите, как разорвано платье, посмотрите, как оно надето: ведь ее одевали, а не сама она одевалась, да и одевали-то неумелые руки, мужские. Это видно... Как бы нам ему не дать?» Он сует городскому последние двадцать копеек, а тот сетует: «Ах, как разврат-то ноне пошел!.. А пожалуй, что из благородных будет, из бедных каких...»

«В эту минуту как будто что-то ужалило Раскольникова: в один миг его как будто перевернуло. «Послушайте, эй! — закричал он вслед усачу. — Оставьте! Чего вам? Бросьте! Пусть его позабавится... Вам-то чего?» Городской, конечно, не в состоянии

понять такую «диалектику», а Раскольников смеется ему в глаза... «Э-эх! — проговорил служивый, махнув рукой, и пошел вслед за франтом и за девочкой, вероятно, приняв Раскольникова или за помешанного, или за что-нибудь еще хуже». А Раскольников злобно говорит себе: «Двадцать копеек мои унес... Ну пусть и с того тоже возьмет, да и отпустит с ним девочку, тем и кончится... И чего я ввязался тут помогать! Ну мне ль помогать! Имею ль я право помогать? Да пусть их переглотают друг друга живьем,— мне-то чего?»

Но через мгновение: «Бедная девочка!»

А еще через секунду: «Тыфу! А пусть! Это, говорят, так и следует. Такой процент, говорят, должен уходить каждый год куда-то... к черту, должно быть, чтоб остальных освежать и им не мешать».

Снова мгновенное превращение. Но не последнее: «„Процент!“ Славные, право, у них эти словечки: они такие успокоительные, научные. Сказано: процент, стало быть, и тревожиться нечего. Вот если бы другое слово, ну тогда... было бы, может быть, беспокойнее... А что коль и Дунечка как-нибудь в процент попадет!.. Не в тот, так в другой?»

Перед нами абсолютно два разных человека, с разными целями, диктующими и свои средства. Превращение происходит молниеносно. И — не простое превращение, а ломка, предвосхищающая страшный ответ на страшный вопрос: а случись на месте Лизаветы эта девочка? Ведь это же, в сущности, все равно, кто случится. И Лизавета могла оказаться на месте этой девочки и была, наверно. И Соня могла, и Поленька.

Эта маленькая, незаметная, почти микроскопическая сценка содержит в себе, как почти всегда у Достоевского, все то, что уже было, и все то, что еще будет.

«НЕЧАЯННОЕ УБИЙСТВО»

«Бедная Лизавета! Зачем она тут подвернулась!.. Странно, однакож, почему я об ней почти не думаю, точно и не убивал?»

Раскольников не думает о Лизавете прежде всего потому, что это для него слишком страшно.

Он объясняет убийство Лизаветы «нечаянностью». Суд принял еще во внимание «ипо-

хондрическое состояние» преступника. Но если «нечаянно», да еще в момент аффекта, то вроде бы и раздумывать нечего.

Однако: к какому разряду у Раскольникова относится Лизавета? Кажется, ясно — к «низшему». «Нового слова» она, разумеется, сказать не в состоянии. Значит, ею можно пренебречь, то есть, в частности, убить? Нет, скажет Раскольников. Ну, а если «пренебречь» лишь для того, чтобы произнести «новое слово»? Очевидно, да, «смотря, впрочем, по размерам» этого слова. Но ведь его «новое слово» как раз необходимых «размеров». Значит, убийство это, хотя и случайное, непредвиденное, произошло все-таки закономерно, «по теории». Если ее не убивать, то «нового слова» ведь, пожалуй, никто и не узнает.

Еще вопрос: а если бы на месте Лизаветы очутилась Соня? Убил бы? Лизавету он хоть знал (все-таки рубашки ему чинила, слышал, что у нее добрая улыбка, что ее старуха заедает), а Соню в то время и в глаза не видывал, хотя и слышал о ней. Или сначала, прежде чем решить ее судьбу, стал бы у нее «знаки» проверять — «обыкновенная» она или «необыкновенная»? Вопрос этот для него давно решен (как ему кажется).

Когда Раскольников помог спасти Соню от Лужина, он сказал себе: «Ну-тка, Софья Семеновна, посмотрим, что вы станете теперь говорить!» Ему кажется, что он получил новое доказательство правоты своей теории, и он даже надеется, что Соня с ним согласится: «Представьте себе, Соня, что вы знали бы все намерения Лужина заранее, знали бы (то есть наверно), что через них погибла бы совсем Катерина Ивановна, да и дети; вы тоже, впридачу (так как вы себя ни за что считаете, так, впридачу). Полечка также... потому ей та же дорога. Ну-с, так вот: если бы вдруг все это теперь на ваше решение отдали: тому или тем жить на свете, то есть Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне? то как бы вы решили: кому из них умереть? Я вас спрашиваю». Вопрос хитрый, казуистический, иезуитский.

Но вместо вопроса Соне — «Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне?» — Раскольников мог бы задать другой вопрос — и не Соне, а самому себе: ему ли «новое слово» сказать, или умирать Лизавете? Вопрос этот в реальной жизни стоял еще проще: ему ли

жить на каторге (за первое убийство), или ей умирать? Он получил бы двадцать лет каторги, зато она осталась бы жить. Но сработала «арифметика», и он, мгновенно «подсчитав» (давно «подсчитав»), решил, что лучше ей умереть, чем ему идти на каторгу. «Трихина» сделала свое дело.

Теория «двух разрядов» — даже не обоснование преступления, а уже само преступление. Она с самого начала решает и предрешает один вопрос — кому жить, кому не жить.

Если введен критерий «двух разрядов», то главное дело уже сделано. Остальное — приложится. Старуха по этому критерию лишь с а м а я бесполезная, с а м а я вредная «вошь».

Раскольников не случайно убил Лизавету, он лишь случайно не убил Соню.

И все же — а вдруг в это мгновение у Раскольникова «работали» не «теория», не «подсчеты», а просто «инстинкты»?

Конечно, «инстинкты» были. Бывали они и потом, например в конторе, когда Раскольников убедился, что на него нет подозрений в убийстве: «Торжество самосохранения, спасение от давешней опасности — вот что наполняло в эту минуту все его существо, без предвидения, без анализа, без будущих загадываний и отгадываний, без сомнений и без вопросов. Это была минута полной, непосредственной, чисто животной радости». Не раз он еще проявлял эту «хитрость» и «радость». Все это так. Но о чем это говорит? Не о том ли только, что идеи «арифметики» соответствуют таким инстинктам и дают им волю? Можно тот же вопрос поставить иначе: а случись на месте Лизаветы мать или сестра... Убил бы?

Инстинкты инстинктами, болезнь болезнью (даже все преступление, всю статью можно «списать» по болезни). Но припомним слова Порфирия — «зачем же, батюшка, в болезни-то, да в бреду все такие именно грезы мерещатся, а не прочие? Могли ведь быть и прочие-с?» А что касается матери, то есть допущения того, чтобы она оказалась на месте Лизаветы, то она и на своем месте свое получила, другим только способом.

Заочный, абстрактный список людей «двух разрядов» (список, который, конечно же, составляют только «необыкновенные») неизбежно презирается на деле в очень конкретный список, название которому — проскрипции.

«Я НЕ ТЕБЕ ПОКЛОНИЛСЯ...»

«И вдруг странное, неожиданное ощущение какой-то едкой ненависти к Соне прошло по его сердцу».

Ненависть к Соне? К «вечной Сонечке»? К «тихой» Соне, спасающей Раскольникова и готовой идти за ним на край света? Это поражает, кажется сначала необъяснимым, потом — патологичным. Здесь и есть патология, но только — особого рода.

После слов о «едкой ненависти» читаем: «Как бы удивясь и испугавшись сам этого ощущения, он вдруг поднял голову и пристально поглядел на нее; но он встретил на себе беспокойный и до муки заботливый взгляд ее; тут была любовь; ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то; он принял одно чувство за другое».

Что можно, что нужно ожидать от «необыкновенного» человека, пришедшего за помощью к «обыкновенному»? Он будет поминутно презирать себя за «слабость» и ненавидеть другого за свое «унижение». Чего больше всего боится «высший» разряд, когда открывается перед «низшим»? «Позора» своего больше всего боится. «Позора» прежде всего в своих собственных глазах: не выдержал, мол, Наполеон несостоявшийся...

Моменты ненависти к Соне отсюда понятны. Но откуда о с о б а я ненависть, «неожиданная» даже для самого Раскольникова? Что все-таки ожидал он увидеть в ее глазах?

Достоевский открывает здесь новую грань в характере человека, одержимого гордыней. У этого человека — мания подозрительности. Ему мерещится, что все только и мечтают о том, чтобы его «унизить», вычеркнуть из списка «высшего» разряда. Для такого человека вся жизнь — непримиримая борьба самолюбий, борьба, где искренность, откровенность — это лишь простительная «слабость», которой тут же кто-то должен воспользоваться. И он, такой человек, всем и каждому приписывает подобное же представление о жизни, а потому и не только сам себя презирает за свою «слабость», но больше всего боится, что и другие будут его презирать. «Логика» здесь поразительная, им самим не замечаемая: он, «избранный», «необыкновенный», всем, в том числе и «обыкновенным», приписывает свои черты, выявляя таким парадоксальным обра-

зом внутреннюю ложь своей теории и несостоятельность своих претензий.

Но неужели Раскольников и Соню подзревает во всем этом? Неужели он и ее боится? Да, именно так.

Достоевский точно «рассчитал», когда — после чего и перед чем — должно было появиться это «неожиданное ощущение едкой ненависти» (не «рассчитал», вернее, а открыл). Не случайно ощущение это возникло как раз в самый последний момент перед страшным для Раскольникова признанием в убийстве. Оно, это ощущение, и должно было спасти его от признания. Если бы он увидел в глазах Сони малейший намек на то, что ожидал увидеть, он ни за что бы не признался ей, но: «Тут была любовь; ненависть его исчезла, как призрак. Это было не то; он принял одно чувство за другое. Это только значило, что та минута пришла».

Не случайно это ощущение возникло сразу же после того, как Соня отказалась принять его логику («Лужину ли жить и делать мерзости, или умирать Катерине Ивановне?»). Он ведь надеялся, что она его поддержит, что она и ношу его на себя возьмет, да еще с ним во всем и согласится. А она — вдруг не соглашается. Но для человека, одержимого желанием во что бы то ни стало быть правым, одно из самых унижительных состояний, это когда его хитроумные силлогизмы разбиваются элементарной логикой жизни. Соня — и вдруг опровергает такого мыслителя... Кто не согласен с ним, тот, стало быть, собирается его унизить. Отсюда — взрыв подозрительности, превратившейся в ненависть. Но Соня согласиться с ним не может, однако и унижать его не собирается, любит его и ношу его нести готова. «Ненависть его исчезла, как призрак».

Но уже после того, как он признался в убийстве, прежняя подозрительность вдруг вспыхнула в нем: «И что тебе, что тебе... ну что тебе в том, если б я и сознался сейчас, что дурно сделал? Ну что тебе в этом глупом торжестве надо мною? Ах, Соня, для того ли я пришел к тебе теперь!» Вот оно, главное слово — «глупое торжество». Вот какое чувство выискивал он в ее глазах и боялся найти. Да, да, больше всего он боится «глупого торжества» над собой даже со стороны Сони! На «торжество» (конечно, не «глупое») имеет право только сам один.

Соня всего пять недель назад вышла на панель. Раскольников только что совершил преступление. Линии их жизни пересеклись в самой критической для них точке. Их души соприкоснулись именно в тот момент, когда они еще обнажены для боли, своей и чужой, еще не привыкли к ней, не оступели. Раскольников отдает себе полный отчет в значимости этого совпадения. Поэтому он и выбрал Соню еще заранее, но выбрал — для себя.

И вот, даже придя к Соне в первый раз (придя ради себя, а не ради нее), Раскольников сразу же начинает пытаться ее: «Не каждый день получаете-то?» Вопрос совершенно в духе «подпольного человека».

«С Полечкой, наверно, то же самое будет», — добивает он Соню. «Нет! нет! Не может быть, нет! — как отчаянная, громко вскрикнула Соня, как будто ее вдруг ножом ранили. — Бог, бог такого ужаса не допустит!

— Других допускает же.

— Нет, нет! Ее бог защитит, бог! — повторила она, не помня себя.

— Да, может, и бога-то совсем нет... — с каким-то даже злорадством ответил Раскольников, засмеялся и посмотрел на нее. Здесь могут одинаково вознегодовать и верующий и атеист.

Соня рыдает. «Прошло минут пять. Он все ходил взад и вперед молча и не взглядывая на нее. Наконец, подошел к ней, глаза его сверкали. Он взял ее обеими руками за плечи и прямо посмотрел в ее плачущее лицо. Взгляд его был сухой, воспаленный, острый, губы его сильно вздрагивали... Вдруг он весь быстро наклонился и, припав к полу, поцеловал ее ногу...

— Что вы, что вы это? Передо мной!

— Я не тебе поклонился, я всему страданию человеческому поклонился, — как-то дико произнес он и отошел к окну».

Не перед собой ли еще больше всего продолжает поклоняться Раскольников?

Без прежних жестоких вопросов, задаваемых злобным тоном, без этого «не тебе» вся сцена была бы возвышенной, но с лишком возвышенной, была бы, в сущности, приторной, не выражающей всего Раскольникова.

Это далеко еще не то коленопреклонение перед той же Соней, которое будет в конце романа, когда снимется это страшное противоречие (не тебе, а всем). Когда вообще не понадобится слов.

Но до Эпилога далеко, а пока Раскольников еще много раз будет говорить: «Э-эх,

люди мы разные! Не пара. И зачем, зачем я пришел! Никогда не прошу себе этого!» Он еще почувствует, что, «может быть, действительно возненавидит Соню, и именно теперь, когда сделал ее несчастнее». И это уже после коленопреклонения перед всем страданием человеческим!

Он еще будет думать по пути в контору: «Люблю, что ли, я ее? Ведь нет, нет? Ведь вот отогнал ее теперь, как собаку. Крестов, что ли, мне в самом деле от нее понадобилось? О, как низко упал я! Нет, — мне слез ее надобно было, мне испуг ее видеть надобно было, смотреть, как сердце ее болит и терзается! Надо было хоть обо что-нибудь зацепиться, помедлить, на человека посмотреть! И я смел так на себя надеяться, так мечтать о себе, нищий я, ничтожный я, подлец, подлец!»

И хотя здесь уже чувствуется возможность другого исхода, но он еще долго, даже на каторге, будет мучить Соню. Он и там будет еще «стыдиться».

«Но пред кем? Пред Соней? Соня боялась его, и пред нею ли было ему стыдиться?»

А что же? Он стыдился даже и пред Соней, которую мучил за это своим презрительным и грубым обращением. Но не бритой головы и кандалов он стыдился: его гордость была сильно уязвлена; он и заболел от уязвленной гордости... Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби».

Вот что означало — «Не тебе, а всему страданию...».

«ТЫ УБИВЕЦ»

«— Виноват...

— В чем?

— В злобных мыслях».

Достоевский докапывается до подлинных помыслов Раскольникова. Помыслы-то эти и оказываются преступными. Он развивает эту идею и «от противного» — образом «человека из-под земли».

Это не пушкинский «черный человек», заказывающий Моцарту Реквием, и не лер-

монтовский Неизвестный из «Маскарада». Он реальнее, обыденнее, а потому, быть может, пострашнее обонх. Он был «одет в чем-то вроде халата, в жилетке и очень походил издали на бабу. Голова его в засаленной фуражке свешивалась вниз, да и весь он был точно сгорбленный. Дряблое, морщинистое лицо его показывало за пятьдесят: маленькие заплывшие глазки глядели угрюмо, строго и с неудовольствием».

Мещанин разыскивал Раскольниковца и, не застав того, вышел. Какая-то сила бросает Раскольниковца следом. Они идут рядом, но сначала молча... «Убийца!» — говорит вдруг мещанин «тихим, но ясным и отчетливым голосом». Похолодевший и вдруг ослабевший Раскольников проходит молча, как прикованный, рядом с мещанином еще сотню шагов, потом бормочет: «Да что вы... кто... кто убийца?..» И слышит: «Ты убийца»...

«Кто он? Кто этот вышедший из-под земли человек?.. Он видел все, это несомненно... Почему он только теперь выходит из-под полу? И как мог он видеть, — разве это возможно?»

Но никакой мистики нет. «Мещаниншишка, — разъянит потом Порфирий, — пьет, мерзавец, горькую и слишком даже известен». Он видел, как Раскольников пришел на место убийства, слышал, как тот спрашивал «про кровь» («Обидно мне стало, что втуне оставили и за пьяного вас почли. И так обидно, что сна решился»). Бывает у последних, завязтых пьяниц удивительная, а в сущности, просто объяснимая проницательность. Сами с большой совестью, они очень чутки на подобных им. Не только и не столько о деле догадался «мещаниншишка» с заплывшими от пьянства глазками, сколько чувства Раскольниковца прочитал. А у Раскольниковца тогда все было написано на лице. Он был превосходной открытой мишенью...

Но главное — в развязке. После одного, провалившегося, «сюрприза», приготовленного Порфирием, Раскольниковца ждал еще один.

«Только что он хотел отворить дверь, как вдруг она стала отворяться сама. Он задрожал и отскочил назад. Дверь отворялась медленно и тихо, и вдруг показалась фигура — вчерашнего человека из-под земли... — Что вам? — спросил помертвевший Раскольников.

Человек помолчал и вдруг глубоко, чуть

не до земли, поклонился ему. По крайней мере тронул землю перстом правой руки.

— Что вы? — вскричал Раскольников.

— Виноват, — тихо произнес человек.

— В чем?

— В злых мыслях».

Человек просит у другого человека прощения только за свои «злые мысли». И у кого? У того, чьи мысли позлобнее да и чье дело-то уже сделано. И один у другого просит прощения, а этот другой отвечает: «Бог простит». А этот другой чувствует себя «более чем когда-нибудь бодро»: «Теперь мы еще поборемся».

«ОНА ИЛИ УМРЕТ, ИЛИ СОЙДЕТ С УМА»

«Даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало».

А случись все-таки (пусть один шанс из миллиона) на месте Лизаветы мать или сестра... Убил бы? Неужели и в этом случае «сработали» бы «инстинкты самосохранения»? А если бы не «сработали», значит, в теории поправка нужна — для родственников исключение?

Идеи обладают страшной силой и неуловимой логикой. Если все люди делятся на «два разряда», то можно их сначала деликатно именовать как «высший» и «низший», можно даже сказать, что слово «низший» не должно «унижать» (так Раскольников и говорит). Но, повторим, какие бы при этом слова ни употреблять, никуда не уйдешь от того факта, что все разделены на «собственно людей» и «не-людей», что разделением этим даруется или отнимается право на жизнь. Можно испугаться этой логики, но отменить ее нельзя.

Раскольников непоследователен, когда пугается прямо определить по означенному виду насекомых и Соню, и Лизавету, и сестру, и, главное, мать. Но почему, если хочешь окончательно проверить свою «избранность», и не начать прямо с матери? «Кто больше всех может посметь, тот и всех правее!»

А могла ли жизнь поменять всех людей местами, могла ли она перетасовать все разряды? Могла ли на месте процентщицы оказаться мать, а на месте матери — процентщица? Что тогда?

Тогда, мог бы ответить Раскольников, другие должны были поступить так, как у

него не хватило духу до конца поступить. И он, в сущности, так и отвечает: «Конечно... даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны бы были быть казнены при самых первых своих шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы, а я не вынес, и, стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг».

Сын, который должен убить для «самопроверки» мать, сын, который должен жалеть, что не сумел сделать этого,— таков неумолимый итог внутренней логики, заключенной в «проклятой мечте». Но, конечно, осознать это в полной мере для Раскольникова — самоубийство. Поэтому-то он больше всего и боится это сознавать. И хотя он сам предсказывает, что мать «или умрет, или сойдет с ума», однако когда Соня сообщила ему страшную весть, что, к удивлению ее, даже и известие о смерти матери на него как бы не очень сильно подействовало, по крайней мере так показалось ей с наружного вида». Он инстинктивно и не должен думать о матери (как прежде о Лизавете), потому что эта мысль для него — не выноси ма.

Раскольников должен, по своей теории, отступить от тех, за кого страдает. Должен презирать, ненавидеть и убивать тех, кого любит. Он не может этого вынести.

«ВЫ И САМИ ПОРЯДОЧНЫЙ ЦИНИК»

«Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушенок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку!»

Ненависть Раскольникова к Лужину и Свидригайлову, казалось бы, безусловно должна быть поставлена ему «во спасение». Но так ли уж и безусловно?

Раскольников узнает свое в Свидригайлове, поэтому и сильнее ненавидит его (хотя поэтому же и тянется к нему).

Но не свое ли угадывает он и в Лужине? Странное дело: хотя Лужину нужны «миллионы», а Раскольникову — лишь «мысль разрешить», «мысль» эта и «миллионы» покупаются одной и той же ценой, платят за них одни и те же — «слабенькие». Убив Лизавету, Раскольников, в сущности, доделал дело процентщицы. И Лужин ока-

зывается не врагом Раскольникова, а его социальным соперником, пусть противным, бездарным, но соперником, который самим фактом своего существования окарикирует теорию самого Раскольникова, выявляя ее сущность. Это-то и бесит больше всего Раскольникова.

И оказывается — для того чтобы ненавидеть и презирать даже таких людей, как Лужин и Свидригайлов, чтобы бороться с ними, надо еще иметь право на ненависть и презрение, надо иметь моральное право на такую борьбу. Раскольников, как убийца, как человек, обуянный тщеславием, такого права не имеет, теряет его. Он в любой момент может получить убийственный вопрос: «А сам каков?»

Характерно: надрывно уверяя себя в своей правоте, Раскольников все время нападает на других. Один раз, уже после убийства, он напал и на Свидригайлова: «Марфу-то Петровну вы тоже, говорят, уходили?» Свидригайлов еще не знал, что это вопрос убийцы. Но когда Раскольников попытался еще раз напасть на Свидригайлова, патетически обвинив того в подслушивании, он получил вполне резонный ответ: «Если же убеждены, что у дверей нельзя подслушивать, а старушенок можно лущить чем попало, в свое удовольствие, так уезжайте куда-нибудь поскорее в Америку!» Свидригайлов с тем же резонном имел право сказать Раскольникову: «Вы и сами порядочный циник. Материал по крайней мере заключаете в себе огромный. Сознать много можете, много... ну да вы и делать-то много можете». И уже перед самоубийством он еще раз думает о том же: «А шельма, однакож, этот Раскольников! Много на себе перегащил. Большою шельмой может быть со временем, когда вздор повыскочит, а теперь слиш ком уж жить ему хочется! Насчет этого пункта этот народ — подлецы».

И можно представить, как Свидригайлов и с того света, во сне, в бредовом сознании Раскольникова, мог спросить с присущей ему дьявольщиной: маменьку-то кто уходил, «первенец»? Ее-то по какому разряду списал, «Родя, бесценный Родя»? Подслушивать нельзя...

Но разве Лужин не мог с таким же точно правом сказать Раскольникову: убеждены, что подкладывать Соне деньги нельзя, а убивать и грабить можно?

И тоже легко представить себе его искреннюю и страшную радость, когда он узнает, кто убил.

Он еще больше, наверно, будет радоваться, этот Лужин, радоваться и ханжески горевать, когда узнаёт, отчего сошла с ума и умерла мать Раскольников. Он не убивал, как Раскольников, не растлевал, как Свидригайлов, он не кончит самоубийством и тем более — раскаянием. Но он, может быть, страшнее и того и другого, поопаснее в своей непробиваемости, в своей недоступности ничему человеческому, в своей будничной, кропотливой, «позитивной» работе, в своем неутомимом карабкании по лестнице карьеры, он — деловитее, из таких и выходят «хозяева жизни»...

А чем отличается будущее, как представляет его себе Свидригайлов, от того будущего, как его видит в своих снах Раскольников? У одного — только мельче и гаже — «банька» с пауками, у другого — больше и «эпичнее» — всеобщая «вековечная война». Один говорит о будущем с мрачной циничной усмешкой, другой — с мрачным же вдохновением. Но у обоих это будущее — могильное и бесчеловечное. «И неужели, неужели вам ничего не представляется утешительнее и справедливее этого!» — восклицает Раскольников по поводу свидригайловской «баньки». Но эти же самые слова можно повторить и ему по поводу его здравницы в честь «вековечной войны» (в первом разговоре с Порфирием).

И чем отличается лужинское будущее от раскольниковского? О снах Лужина мы ничего не знаем, но о реальных делах его — слишком хорошо. «Доведите до последствий, что вы давеча проповедовали, и выйдет, что людей можно резать», — разоблачает Раскольников Лужина. Но у самого Раскольникова резня людей, «кровь по совети» — даже не следствие, а лишь исходный пункт.

Раскольников, по своей теории, должен любить тех, кого ненавидит, должен быть союзником своих врагов. Вынести этого он тоже не может.

«У ИЕЗУИТОВ НАУЧИМСЯ»

«Казуистика его выточилась, как бритва».

В Раскольникове все время происходит столкновение светлых волн «полной и могучей жизни» с темными «трихинными» волнами. В итоге — сложнейшая их интерференция. В итоге — в о д о в о р о г, в который

он погружается с восторгом. Тонет, думая, что спасается: «Не умерла еще моя жизнь вместе с старою старухой! Царство ей небесное и — довольно, матушка, пора на покой! Царство рассудка и света теперь... и воли и силы... и посмотрим теперь! Померяемся теперь! — прибавил он заносчиво, как бы обращаясь к какой-то темной силе и вызывая ее. — А ведь я уже соглашался жить на аршине прострачества!...»

Сопоставим все слова о раздвоенности Раскольникова: «Два противоположные характера поочередно сменяются...», «В один миг его как будто перевернуло...», «Уже в следующую минуту это становился не тот человек, что был в предыдущую». В чем же смысл этого раскола, смысл, которого сам Раскольников еще не понимает?

В душе Раскольникова сосуществуют и борются два мотива, но только кажется, что оба эти мотива — мотивы преступления. На самом же деле происходит борьба мотивов за преступление и против него. Не в том дело, по Достоевскому, как обосновывать преступление, а в том, допустимо ли обосновывать его как бы то ни было.

«Два характера» — две цели, но их борьба скрывается и деформируется самообманом.

Без такого звена, как самообман, сложнейшая структура сознания Раскольникова непостижима.

У Раскольникова, как ни парадоксально, — искреннейшее лицемерие. Первый, кого он обманывает, это он сам. Сначала он от самого себя скрывает неправоту своих целей в преступлении. «Казуистика его, — пишет Достоевский, — выточилась, как бритва». В нем работает хитрейший механизм самообмана.

Основное назначение «казуистики» — придумать «отговорки», «надуть себя», чтобы «веселее всех жить», то есть чтобы успокоить совесть. Это успокоение и достигается переименованием, переименованием преступления в «не-преступление», даже в подвиг.

Непереименованное преступление — непереименовано, переименованное — даже вдохновляет.

Теория Раскольникова не просто несоциалистична, она — антисоциалистична. Во-первых, Раскольников прямо выступает против социалистов, несущих «кирпичик на всеобщее счастье». А во-вторых, и его «казуистика» насчет целей и средств не имеет

ничего общего, например, с социализмом Герцена («Дурные средства непременно должны отразиться в результатах»), не говоря уже о Марксе («Цель, для которой требуются неправо́ые средства, не есть правая цель»²).

Неразрешимые острейшие жизненные противоречия отражаются в его сознании еще более остро и противоречиво. Запутанное в жизни оказывается еще более запутанным в голове. Вопрос для него приобрел предельно извращенную форму: или гений — или «вошь», или преступление — «или отказать от жизни совсем, послушно принять судьбу как она есть, раз навсегда, и задушить в себе все, отказавшись от всякого права действовать, жить и любить!».

«Преступление и наказание» — глубоко социальный роман. Здесь художник не перерезал ни одного сосуда, ни одного капилляра, по которым циркулирует отравленная миром кровь, кровь, отравляющая мозг человека, его сердце, его мысли и чувства.

Этот роман — суд не только над Раскольниковым, но и над миром, рождающим раскольниковых, заражающим их не только своими средствами, но и своими целями, а еще — и своим самообманом.

«НЕ НАВЕК? ВЕДЬ ЕЩЕ НЕ НАВЕК?»

«Хоть вы и несчастны будете, но все-таки знайте, что сын ваш любит вас теперь больше себя».

Сцена прощания с матерью написана рукой того же художника, что и сцены свиданий Раскольникова с Соней, с Порфирием, со Свидригайловым. Перед нами — вечный образ матери, страдающей за грехи сына, искупающей эти грехи, спасающей его и гибнущей из-за него же.

«Пульхерия Александровна сначала онемела от радостного изумления; потом схватила его за руку и потащила в комнату.

— Ну, вот и ты! — начала она, запинаясь от радости. — Не сердись на меня, Родя, что я тебя так глупо встречаю, со слезами: это я смеюсь, а не плачу. Ты думаешь, я плачу? Нет, это я радуюсь, а уж у меня глупая привычка такая: слезы текут. Это у

меня со смерти твоего отца, от всего плачу...»

Раскольников задает ей вопрос, без ответа на который не может жить:

«Маменька, что бы ни случилось, что бы вы обо мне ни услышали, что бы вам обо мне ни сказали, будете ли вы любить меня так, как теперь?»

И он слышит ответ, который может дать только мать:

«Родя, Родя, что с тобой? Да как же ты об этом спрашивать можешь! Да кто про тебя что-нибудь скажет? Да я и не поверю никому, кто бы ко мне ни пришел, просто прогоню».

И тут он произносит слова, которые и станут, быть может, залогом его спасения:

«Я пришел вас уверить, что я вас всегда любил... я пришел вам сказать прямо, что хоть вы и несчастны будете, но все-таки знайте, что сын ваш любит вас теперь больше себя и что все, что вы думали про меня, что я жесток и не люблю вас, все это была неправда. Вас я никогда не перестану любить... Ну, и довольно...»

«Теперь любит...» Раньше он не мог так сказать. Раньше этого не было. Это «теперь» куплено самой дорогой ценой. Оно — его главное открытие.

Последние слова матери — страшный вопль и отчаяния, и надежды, и прощания навсегда, прощания, в которое она не может, не хочет верить: «Не навек?. Ведь еще не навек? Ведь ты придешь, завтра придешь?»

— Приду, приду, прощайте.

Он вырвался наконец».

В Эпиллоге Достоевский нарочито сухо, протокольно сообщает, как безумная мать ходила по Петербургу со статьей сына, со статьей, из-за которой она потеряла рассудок, из-за которой — умрет. После всего, что уже известно о Раскольникове, о его статье, о матери, эта сухость, эта протокольность и есть подлинно художественное решение. Неужели Достоевский не мог подробно, ярко, «громко» выписать эту сцену — не менее подробно и ярко, не менее «громко», чем сцену сумасшествия Катерины Ивановны? Но две такие сцены в одном романе ослабили, заглушили бы друг друга. Контраст же между проклятиями Катерины Ивановны и нешумной, блаженной радостью матери, контраст этих сцен — оглушительной и тихой — усиливает их обе.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 65.

«ЗАЧЕМ ОН ТОГДА СЕБЯ НЕ УБИЛ?»

«Только бы жить, жить и жить. Как бы ни жить, — только жить!.. Подлец человек! И подлец тот, кто его за это подлецом называет».

В Эпilogue читаем: «Он страдал тоже от мысли: зачем он тогда себя не убил? Зачем он стоял тогда над рекой и предпочел явку с повинной? Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти?.. Он скорее допускал тут одну только тупую тяжесть инстинкта, которую не ему было порвать и через которую он опять-таки был не в силах перешагнуть (за слабостью и ничтожностью)...»

Убить себя он хотел больше всего из-за стыда: Наполеоном не сделался. Мотив невысокий, к тому же смешной.

Не убил себя, считает он, из-за «тупой тяжести инстинкта», из-за «ничтожности». Мотив тоже не лучше прежнего.

Итак: борьба мотивов, каждый из которых — хуже другого. Положение безвыходное. И хотя полтора года на каторге он твердит себе, что совесть его «спокойна», однако не чувствовать себя «подлецом» не может. Подло убить себя. Подло и не убить. Унизительна смерть, унизительна и жизнь. Тупик.

Да, тупик, но только — в извращенном сознании. Это извращенное сознание является, конечно, реальным, настолько реальным, что Раскольников не в силах вынести его. Эта реальность — при таком накале внутренней борьбы — не может не проявиться и физически. Отсюда — долгая болезнь на каторге. (А перед этим — трехдневное беспамятство, обмороки, каждый из которых происходит абсолютно достоверно, «по медицине», — и в смысле момента, и в смысле симптомов. Но «медицина» незаметна и не только не разрушает художественности, но усиливает ее.)

Оставаясь в круге такого извращенного сознания, нельзя найти никаких других выходов, кроме двух. Они даже не ищутся, а находятся сами собой, находятся неизбежно. Первый — все-таки смерть, все-таки самоубийство как сдача, капитуляция перед невыносимой тяжестью, невыносимой духовно и физически. Второй — сумасшествие. Здесь тоже неотвратимый взрыв духовных и физических сил и тоже — смерть, пусть «только» духовная. Цинизм, самооб-

ман — лишь отсрочка того или иного конца.

Подлинный выход в том, чтобы разорвать круг извращенного сознания.

Что в нем извращено? Извращены мотивы и самоубийства, и отказа от самоубийства. Представления о жизни и смерти об оценке себя и людей, о возможном и невозможном, о подлости и неподлости. Все извращено. Все переименовано.

Что такое попытка Раскольникова на самоубийство в действительности, объективно, попытка, подлинного смысла которой он еще не осознает? Это — не что иное как последнее, решающее опровержение внутренней ложности его теории, это — выявление и опровержение его неправых целей. Будь эта теория верна, будь эти цели правыми, Раскольников хотел бы жить, а если бы даже ему и пришлось умереть, то это была бы другая смерть — не та, которую он искал в Неве. Эта смерть, несмотря на свой трагизм, была бы все-таки просветлена сознанием своей правоты.

Что такое отказ Раскольникова от самоубийства в действительности, объективно, опять-таки пока неосознанно? Это — решающее доказательство существования и в нем целей высоких, способных одолеть цели неправые, доказательство того, что есть в нем и живые силы, способные одолеть силы смертоносные. Он хочет жить потому, что еще может жить, может любить людей ради них самих, а не только ради себя, потому что есть люди, которые любят его, верят в него.

Раскольников употребляет слова «жизнь», «смерть», «подлость», «справедливость» в смысле, прямо противоположном их истинному смыслу. Он думает, что прав. Но чувствует, предчувствует он уже иное — свою неправоту. Иногда, моментами, он ее и сознает. За одной, извращенной, реальностью его сознания и действий скрывается другая, более глубокая, истинная реальность. Его теория — шторы, из-за которых он ее не видит и не хочет видеть. Точнее сказать: здесь само «зрение» испорчено, сами «глаза» с изъяном, «хрусталик» поврежден. Раскольников смотрит и — не видит. Но иногда, мгновениями, мир открывается перед ним таким, каков он есть на самом деле. Иногда его сознание пронзает вдруг обжигающий луч света, но тут же Раскольников снова погружается в безысходную тьму, в которой снова все перепутывается, а мелькнувшая было истина кажется обманчивым призраком.

«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ РАСКАЯНИЕ»

«Ишь нахлестался!»

Раскольников является в полицию примерно на одиннадцатый день после убийства. «На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинною, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние». Суд поверил ему и даже смягчил приговор.

Короткий путь в полицейскую контору словно повторяет весь предыдущий долгий путь Раскольникова. В одном часе этом словно сконцентрировались все последние дни его жизни.

Всю ночь накануне явки он бродил вдоль Невы, всю эту ночь он переживал не муки раскаяния, а муки выбора — между унижительным для него признанием и самоубийством от унижительного же стыда.

Прощание с матерью кончается раскаянием, но каким? «Довольно, маменька,— сказал Раскольников, глубоко раскаяваясь, что вздумал прийти».

Сестре он говорит: «Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя». Та возражает: «Разве ты, идучи на страдание, не смываешь уже половину свое преступление?» «Преступление? Какое преступление? — вскричал он вдруг в каком-то внезапном бешенстве.—...Не думаю я о нем и смывать его не думаю. И что мне тычут со всех сторон: «Преступление, преступление!» Только теперь вижу ясно всю нелепость моего малодушия, теперь, как уж решился идти на этот ненужный стыд! Просто от низости и бездарности моей решаюсь да разве еще из выгоды, как предлагал этот... Порфирий!.. Я и первого шага не выдержал, потому что я — подлец! Вот в чем все и дело! И все-таки вашим взглядом не стану смотреть: если бы мне удалось, то меня бы увенчали, а теперь в капкан!»

Победителя, мол, не судят, и лишь побежденный — не прав... Не понимает он еще, что его поражение — это поражение его «проклятой мечты», его теории, его неправых целей. Не понимает, что поражение это — возможность победы, победы целей правых. Не понимает, что человек простить себя сам не может.

Расставшись с сестрой, он говорит: «А любопытно, неужели в эти будущие пятнадцать — двадцать лет так уже смирится душа моя, что я с благовоением буду хныкать пред людьми, называя себя ко всякому слову разбойником? Да, именно, именно! Для этого-то они и ссылают меня теперь,

этого-то им и надобно... Вот они снуют все по улице взад и вперед, и ведь всякий-то из них подлец и разбойник уже по натуре своей; хуже того — идиот! А попробуй обойти меня ссылкой, и все они взбесятся от благородного негодования. О, как я их всех ненавижу!» Хорошенькое начало для «чистосердечного раскаяния»... Он злобно пародирует свое будущее раскаяние, чтобы тем вернее избежать его.

Он отправляется в полицейскую контору, злобный и фанфаронящий перед собой, снова и снова сомневающийся: «Да так ли, так ли все это?..— неужели нельзя еще остановиться и опять все переправить... и не ходить?»

И после этого, через десять — пятнадцать минут, должна произойти идилическая сцена «чистосердечного раскаяния»? Она чуть было и не произошла — и даже раньше. Чуть было...

«Он вдруг вспомнил слова Сони: «Поди на перекресток, поклонись народу, поцелуй землю, потому что ты и пред ней согрешил, и скажи всему миру вслух: «Я убийца!» Он весь задрожал, припомнив это. И до того уже задавила его безвыходная тоска и тревога всего этого времени, но особенно последних часов, что он так и ринулся в возможность этого цельного, нового, полного ощущения. Каким-то припадком оно к нему вдруг подступило: загорелось в душе одною искрой и вдруг, как огонь, охватило всего. Все разом в нем размягчилось, и хлынули слезы. Как стоял, так и упал он на землю... Он стал на колени среди площади, поклонился до земли и поцеловал эту грязную землю с наслаждением и счастьем. Он встал и поклонился в другой раз».

Неужели Достоевский так завершит всю эту борьбу? Не слишком ли уж красиво? И не слишком ли дешево добывается все-народное прощение?

Но Достоевский остается Достоевским, Раскольников — Раскольниковым, а жизнь — жизнью:

«— Ишь нахлестался! — заметил подле него один парень.

Раздался смех.

— Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург и его грунт лобызает,— прибавил какой-то пьяненький из мешан.

— Парнишка еще молодой! — повернул третий.

— Из благородных! — заметил кто-то солидным голосом.

— Ноне их не разберешь, кто благородный, кто нет?.

Трудно судить, «замкнулась» ли последняя реплика у Раскольников, привыкшего уже во всем видеть особый, символический смысл, привыкшего «выворачивать» свои и чужие слова, — трудно судить, «замкнулась» ли эта реплика на его теорию о «необыкновенных» и «обыкновенных» или на замечание Порфирия: «Чем же бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных. При рождении, что ль, знаки такие есть?» Могла и «замкнуться» (пусть неосознанно). Но одно несомненно: все безобразие реальной ситуации, все эти крики не могли не всколыхнуть с новой силой все его старые опасения насчет «подлецов», «разбойников», «идиотов» с их «указующими пальцами» и «выпученными буркалами», с их «глупыми зверскими харями».

Так и произошло: «Все эти отклики и разговоры сдержали Раскольника и слова «я убил», может быть («может быть!» — Ю. К.) готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем».

Его поклон на Сенной площади³ — от тоски, от безвыходности, от нечеловеческой усталости, а не от раскаяния, хотя в поклоне этом можно (и надо) видеть возможность раскаяния будущего. Сцена всенародного покаяния на площади не получилась, потому что не было еще самого покаяния, потому что оно еще не вышло. Народ — смеется над ним⁴. Получилось не разрешение трагедии, а, в сущности, превращение ее в фарс, но в фарс с глубоким смыслом, в фарс, еще раз обнажающий пропасть между ним и народом. Он получил пока (и заслужил) всенародное осмеяние, а не прощение. Это — осмеяние не святых чувств (до которых еще далеко), а воздаяние по заслугам. Это — демонстрация хамства толпы, а угаданная художником и мастерски выраженная им интуиция народа на правду и на неправду.

Когда Раскольников отправляется на «пробу», одержимый своей идеей, он слышит насмешливый крик пьяного: «Эй, ты, немецкий шляпник!» На следующий день,

³ «Площадь — символ всенародности» (М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1963, стр. 227).

⁴ «Народ... отнесся к покаянию Раскольникова как к пародии» (В. Кирпотин. Разочарование и крушение Родиона Раскольникова. М. 1970, стр. 435).

когда он еще больше укрепился в этой идее, Настасья «так и покатила со смеху», услышав слова о его «работе», о его «думанье». И наконец, когда он преклоняет колени на Сенной, опять «раздался смех». Смех преследует его от начала до конца, даже во сне, когда он повторно убивает старуху, а она — смеется над ним, и где-то в спальне тоже смеются люди. М. Бахтин так пишет об этом сне: «Перед нами образ развенчивающего всенародного осмеяния... короля-самозванца»⁵.

Вот с какими мыслями Раскольников входит в контору: «Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтоб оправиться и чтобы войти человеком. «А для чего? зачем? — подумал он вдруг, осмыслив свое движение. — Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше!.. Пить, так пить все разом...».

Он наталкивается на поручика Пороха. «М-мае п-пачтенье! — вскричал вдруг знакомый голос.

Раскольников задрожал. Пред ним стоял Порох... «Это сама судьба, — подумал Раскольников, — почему он тут?»

«Судьба» расскажет ему о гражданстве и человечности, о литературе и художественности, о своей жене и записках Левингстона, о недопустимости девицам лечить мужчин («Хе! хе! Лезут в академию, учатся анатомии; ну, скажите, я вот заболел, ну позову ли я девицу лечить себя? Хе! хе!»). Но, главное, конечно, о своем уме: «Шляпа — ну что, например, значит шляпа? Шляпа есть блин, я ее у Циммермана куплю; но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается — этого уж я не куплю-с!» И вдруг Раскольников слышит, что вчера застрелился какой-то «джентльмен» по фамилии Свидригайлов.

«Раскольников вздрогнул,

— Свидригайлов! Свидригайлов застрелился! — вскричал он... Раскольников почувствовал, что на него как бы что-то упало и его придавило». И он — выходит из конторы!

Что на него «упало» и «придавило»? Именно весть о самоубийстве Свидригайлова, который еще только вчера спрашивал издательски: «Ну, застрелитесь; что, аль не хочется?» Который только вчера сказал: «Сознаюсь в непростительной слабости, но что делать: боюсь смерти и не люблю, когда говорят о ней». Который несколько дней на-

⁵ М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М. 1963, стр. 227.

зад на вопрос Раскольников, в какой это американский «вояж» он собирается, ответил: «Ну, это вопрос обширный... А если б знали вы, однакож, об чем спрашиваете!»... И вот Свидригайлов — застрелился! Вот какой «вояж»! Вот какая «Америка»! И это слышит Раскольников, который уже давно сам вынашивал мысль о самоубийстве, которого Порфирий просил «на всякий случай» оставить «две строчечки», который только что всю ночь простоял над Невой и который час назад говорил Дуне: «А ты не думаешь, сестра, что я просто струсил воды?» Вот что на него «упало» и «придавило». Свидригайлов, мол, змог, а я... И Раскольников выходит. Зачем? Мы не знаем. Умереть? Спротивляться? Он, наверное, и сам не знает.

Раскольников выходит и.. наталкивается на Сою. Та стояла «бледная, вся помертвевшая... и дико, дико на него посмотрела. Он остановился перед нею. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и повернул наверх, опять в контору».

И после всего этого ожидать, что он сейчас раскается и возродится!

Это было бы верхом художественной, психологической недостоверности и даже, если угодно, физической недостоверности.

Раскольников в это мгновение предельно устал — и духовно и физически. Он весь выдохся. И он произносит «тихо, с расстановками, но внятно»: «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил».

В этих словах не содержится ничего, кроме вынужденного признания смертельно усталого, загнанного человека. И в этих словах содержится все. Вся предшествующая борьба «снялась» в них и на время погасла. Как в белом цвете не видны другие цвета, так и здесь. Но все другие цвета есть здесь, конечно, и они еще вывяжутся. Впереди еще полтора года внутренней борьбы.

«УБИТЬ ТЕБЯ НАДО»

«Казалось, он и они были разных наций».

Признание Раскольникова в полицейской конторе, как выяснится в Эпilogue, чревато новым преступлением. На каторге он раскался лишь в том, что признался

Пропасть между ним и другими людьми (каторжными) расширилась и стала непроходимой: «Казалось, он и они были разных наций... Его даже стали под конец ненавидеть — почему? Он не знал того». Следом за всенародным осмеянием на Сенной площади — ненависть народа. И выдержка его перед разъяренными убийцами — последняя и безнадежная попытка красиво выйти из игры, хотя бы с видимостью своей правоты. Но выдержка эта — одновременно и признание неправоты: пусть он не убил себя сам, но смерти он не бежит, так как смерть может оказаться избавлением от мучивших его вопросов. Героизм его здесь — в сущности, пародийный, фарсовый, трагикомический героизм: его «мечта» по самой своей природе требует для своей защиты позы, пусть героической позы. Но вся сцена в целом — глубоко трагическая, обнажающая пропасть между ним и народом. На его «проклятой мечте» — проклятие народное.

Достоевский (в отличие от Пушкина) очень хотел видеть в русском народе «народ-богоносец» и судом народным судить Раскольникова почти буквально как божьим судом (вряд ли случайно сцена расправы над Раскольниковым происходит в церкви во время богослужения. Церковь, собор, как и площадь, для Достоевского — символ всенародности, «соборности»). Но, во-первых, идеализации народа в романе не получилось: народ представлен и в своей темноте, забитости, озверении, и в своем неистребимом инстинкте правды. А во-вторых, народ судит Раскольникова, повторяем, не столько за безбожие, сколько за бесчеловечие его «проклятой мечты», которую он излучал и на каторге, особенно тогда, когда «с отвращением» брал робко протянутую ему руку Сони (и все это — на глазах каторжных).

Сцены осмеяния Раскольникова народом и расправы над ним по своей лаконичности и художественной силе, по своему смыслу напоминают пушкинские сцены из «Бориса Годунова», где мужики для того, чтобы принять участие в плаче-мольбе, обращенной к царю Борису, собираются натереть глаза луком или намочить слюнями и где «народ безмолвствует» при воцарении Лжедмитрия.

Все «случайные» реплики, которые слышит Раскольников от прохожих, от Настасьи, от Сони, от каторжных («Эй, ты, немецкий шляпник!», «Почто ничего не делаешь?», «А тебе бы сразу весь капитал?», «Это кровь в тебе кричит», «Убивать-то? Убивать-то пра-

во имеете?», «Ты убивец!». «Ишь нахлестался!», «Грунт лобызает», «Ты барин! Ты безбожник! Ты в бога не веруешь! Убить тебя надо!»), все эти реплики нарастают и сливаются в один развивающийся лейтмотив: народный суд над его идеей.

Но как все изменилось, когда Раскольников уже не оттолкнул, как всегда, робко протянутую руку Сони, когда молча отрекся от своей «проклятой мечты».

«В этот день ему даже показалось, что как будто все каторжные, бывшие враги его, уже глядели на него иначе. Он даже сам заговаривал с ними, и ему отвечали ласково. Он припомнил теперь это, но ведь так и должно было быть: разве не должно теперь все измениться?»

И все эти картины—осмеяние на Сенной площади, едва не свершенное убийство на каторге и внезапный перелом в отношении к Раскольникову со стороны «бывших врагов его» — и есть развитие Достоевским пушкинской темы «судьба человеческая, судьба народная», и есть развитие мысли о взаимообусловленности и нерасторжимости этих судеб.

«А ТЕБЕ БЫ СРАЗУ ВЕСЬ КАПИТАЛ?»

«Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека».

И еще раз сопоставим начало и конец романа.

Настасья спрашивает Раскольникова, почему он не дает уроки. «За детей медью платят. Что на копейки сделаешь?» — говорит тот «с неохотой, как бы отвечая собственным мыслям».

— А тебе бы сразу весь капитал?

Он странно посмотрел на нее.

— Да, весь капитал,— твердо отвечал он, помолчав».

И вот — последние строки романа:

«Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим будущим подвигом».

Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новой, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа,— но перешедший рассказ наш окончен».

Достоевский трижды повторяет: «постепенно». Не содержится ли в этой «постепенности» ответ на нетерпеливое желание получить «весь капитал», и непременно «сразу»?

Во многих его героях жила «жажда скорого подвига», жила утопическая и умилительная мечта «в один день, в один час все устроить», мечта, сменявшая отчаяние, а в сущности — рожденная этим же отчаянием, а потому родственная ему.

Даже об Алеше Карамазове Достоевский писал: «Он был юноша отчасти уже нашего последнего времени, то есть честный по природе своей, требующий правды, ищущий ее и верующий в нее, а уверовав, требующий немедленного участия в ней всею силой души своей, требующий скорого подвига, с непременным желанием хотя бы всем пожертвовать для этого подвига, даже жизнью. Хотя, к несчастью, не понимают эти юноши, что жертва жизнью есть, может быть, самая легчайшая из всех жертв во множестве таких случаев и что пожертвовать, например, из своей кипучей юностью жизни пять-шесть лет на трудное, тяжелое учение, на науку, хотя бы для того только, чтобы удесятерить в себе силы для служения той же правде и тому же подвигу, который излюбил и который предложил себе совершить,— такая жертва сплошь да рядом для многих из них почти совсем и не по силам. Алеша избрал лишь противоположную всем дорогу, но с тою же жаждой скорого подвига». Эта «жажда скорого подвига» во имя человечества жила вначале и в Раскольникове, она не случайно и сменилась на время жаждой получить «весь капитал сразу», она не изжита еще в нем даже после раскаяния.

Достоевский писал: «По-моему, одно: осмыслить и прочувствовать можно даже и верно и разом, но сделаться человеком нельзя разом, а надо выделаться в человека. Тут дисциплина. Вот эту-то неустанную дисциплину над собой и отвергают иные наши современные мыслители... Мало того. Мыслители провозглашают общие законы, то есть такие правила, что все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки, только бы эти правила наступили. Да если б идеал этот и возможен был, то с него сделаны бы ни людьми не осуществились бы никакие правила, даже самые очевидные. Вот в этой-то неустанной дисциплине и непрерывной работе самому над собой и мог бы проявиться наш гражданин» («Дневник писателя»).

Это высказывание требует прояснения. Кто такие эти «иные мыслители», с которыми Достоевский ведет борьбу? Разумеется, это прежде всего современные ему социалисты. Но только лишь часть из них подпадает под его критику, которую он хотел бы сделать универсально антисоциалистической.

Не подходит под эту критику революционер и социалист Герцен, тот Герцен, который, будучи революционером и социалистом, выступал против бездумной революционности, компрометирующей и социализм и революцию. Тот Герцен, который уже знал, что «великие перевороты не делаются разнуждыванием дурных страстей», что «взять неразвитие силой невозможно». Тот Герцен, который «воспитал в себе отвращение к крови, если она лется без решительной крайности» (это воспитание было тоже неотъемлемой частью его диалектики как «алгебры революции»). Который призывал отречься от «абортных освобождений». Который не хуже Достоевского понимал «недоделанность» людей, в том числе и многих идеологов: «Я нигде не вижу свободных людей, и я кричу: стой! — начнем с того, чтобы освободить себя». Как видим, речь тоже идет о «выделке» и «самовыделке», но только — революционеров, социалистов.

Мимо цели бил Достоевский, если он имел в виду и Чернышевского. Того Чернышевского, который, смеясь над христианской идеализацией «народа-богоносца», предупреждал и от идеализации революционной. Того Чернышевского, который, оставаясь до последних дней своих трезвым революционером и страстным мыслителем-социалистом, учил пониманию и преодолению рокового сочетания, выраженного словами Монтеня: «Между нами говоря, мне всегда приходилось наблюдать своеобразное сочетание сверхнебесных теорий и подземных нравов».

И надо ли говорить, что Достоевский своими словами о «недоделанности» массы людей и о торопящихся мыслителях не опровергал, а подтверждал Салтыкова-Щедрина? Автор «Истории одного города» и «Пошехонской старины» сам бы мог рассказать Достоевскому такое, что уже тот оказался бы в числе этих торопящихся мыслителей. Чего-чего, а знания действительности Щедрина хватало с избытком — настолько, что порой это знание приводило его в отчаяние. Его язвительный смех рожден теми же причинами, что и плач Достоевского. Сатира одного отрезвляла не меньше, чем трагедия

другого. Иллюзий насчет того, что «все вдруг сделаются счастливыми, безо всякой выделки», было у него не больше, чем у Достоевского.

Достоевский мог знать эти мысли. Вернее — не мог их не знать. А потому его критика, поскольку она направлена в адрес таких социалистов, удручающе необъективна и недобросовестна. Принципиально расходясь с ними в одних вопросах, он предвзято переносит эти расхождения чуть ли не на все вопросы. Его ослепляет та самая нетерпимость, которую он так больно переживал и остро разоблачал, когда видел ее у других и когда она затрагивала его самого.

И скажем еще об одном человеке, мысли которого на этот раз Достоевский скорее и не мог знать (но, судя по всему, и не посчитался бы с ними из-за своей нетерпимости, если бы даже их и знал). Они принадлежат двадцатипятилетнему Марксу, который выступил как раз против мыслителей, подобных тем, о которых говорил шестидесятилетний Достоевский: «До сих пор философы имели в своем письменном столе разрешение всех загадок, и глухому непосвященному миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить жареных рябчиков абсолютной науки»⁶. Молодой революционер и мыслитель начинает как раз с вопроса о соотношении теории и масс: «Теория становится материальной силой, как только она овладевает массами. Теория способна овладеть массами, когда она доказывает *ad hominem*, а доказывает она *ad hominem*, когда становится радикальной... Теория осуществляется в каждом народе всегда лишь постольку, поскольку она является осуществлением его потребностей... Станут ли теоретические потребности непосредственно практическими потребностями? Недостаточно, чтобы мысль стремилась к воплощению в действительности, сама действительность должна стремиться к мысли»⁷. Это было написано в 1843 году. В то время Достоевский (ему было 22 года) зачитывался Шиллером, переводил Бальзака, начал вынашивать «Бедных людей». Через шесть лет его ждала каторга. (Он действительно сам был в числе торопящихся мыслителей — утопистов-социалистов.) А в 1880 году он произнесет: «Смирись, гордый человек!» Это заклинание, направленное против революции, реакцион-

⁶ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 379.

⁷ Там же, стр. 422—423.

но. Но как предупреждение, обращенное к людям, являющимся бездельниками и недоучками и мечтающим стать «спасителями», «учителями человечества», к людям, чья гордыня сходна с гордыней Алеко или Раскольникова, оно является отрезвляющим и реалистичным (выражение «гордый человек» Достоевский берет у Пушкина: «Оставь нас, гордый человек» — с такими словами цыгане изгоняют Алеко).

Картина моровой язвы, приснившаяся Раскольникову, заканчивается такими словами: «Спастись во всем мире могли только несколько человек, это были чистые и избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю, но никто и нигде не видал этих людей, никто не слышал их слова и голоса». Конечно, можно видеть в этих словах надежду на чудо непорочного зачатия и рождения «нового рода людей». Но не вернее ли видеть в них как раз беспочвенность, утопизм такой надежды? Достоевский слишком хорошо знал, что «чистыми» люди становятся из «нечистых» и никак иначе. Он слишком сильно желал, чтобы все вошло в «новый род людей», а не одни «избранные», и чтобы вошли они в этот «новый род» здесь, на земле, путем «выделки» и «самовыделки».

Сложнейший механизм этого труда, механизм «выдвигания» человека, изживания самообмана художник особенно глубоко исследует в «Подростке». Аркадий Долгорукий замечает: «Я себя не очень шажу и отлично, где надо, аттестую: я хочу выучиться говорить правду... Главное, мне то досадно, что, описывая с таким жаром свои собственные приключения, я тем самым даю повод думать, что я и теперь такой же, каким был тогда. Читатель помнит, впрочем, что я уже не раз восклицал: «О, если б можно было переменить прежнее и начать совершенно вновь!» Не мог бы я так восклицать, если бы не переменялся теперь радикально и не стал совсем другим человеком... Кончив же записки и дописав последнюю строчку, я вдруг почувствовал, что перевоспитал себя самого именно процессом припоминания и записывания».

В Раскольникове «процесс припоминания» еще не закончен. «Записывает» за него пока автор.

Финал романа остался открытым. Открытым в том смысле, что герой выведен на новый перекресток и сам должен еще осознать невероятную трудность «выделки» и челове-

ка и человечества. И в том еще смысле, что Достоевский-художник так и не решился вручить Раскольникову крест вместо топора.

В «Преступлении и наказании» Достоевский верен своему принципу: «Вся действительность не исчерпывается насущным, ибо огромную свою часть заключает в нем в виде еще подсудного, невысказанного будущего Слова...»

Другие я понятия имею о действительности и реализме, чем наши реалисты и критики. Ихним реализмом сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь, а мы пророчили даже факты. Случалось».

Он берет различные идеи и, как семена, высевает их в умы и сердца людей и смотрит, какой урожай может из этого получиться, но главное — что будет не столько с идеей, сколько с человеком, по каким законам «идея» взаимодействует с «душой».

«АЛИ ЕСТЬ ЗАКОН?»

«— Ну-с, а насчет его совести-то?»

— У кого есть она, тот страдай, коль сознает ошибку. Это и наказание ему,— опричь карти».

Совесть, по Достоевскому, это такое осознание своих мыслей и чувств, как будто о них знают все, как будто всё, что происходит с человеком, происходит на виду у всех, как будто самое тайное становится явным. Это — внутреннее осознание человеком своего единства, своего родства со всеми людьми, дальними и близкими, умершими и даже еще не родившимися, осознание своей ответственности перед ними. Это — осознание себя в неразрывной связи со всем единым родом человеческим. Это — самоконтроль, критерием и ориентиром которого и является такая связь. Единство людей реально распалось, «рознь» между ними усиливается. Но усиливается одновременно и потребность в этом единстве, в его восстановлении. Усиливается и неприятие «розни». Сознает все это человек прежде всего через свои связи с близкими, родными ему людьми, через связи со своим народом. И если «переступивший» человек начинает мучаться вопросом, а что скажут о нем близкие, родные, то вопрос этот перерастает и в другой: а что скажут о нем люди вообще, все люди? Вот почему Раскольников не может видеть мать и сестру, выгоняет их, объ-

являет, что больше к ним не явится. Вот почему восклицает: «О, если б я был один». Вот почему он чувствует себя так, как будто «ножницами отрезал» себя от всех людей. И не потому ли он ощущает себя как бы находящимся на «другой планете»? Не потому ли о «другой планете» думает и герой «Сна смешного человека»? И не потому ли Иван Карамазов, «глубокая совесть», заканчивает безумием?

Черт, двойник Ивана, говорит: «Совесть! Что совесть? Я сам ее делаю. Зачем же я мучаюсь? По привычке. По всемирной человеческой привычке за семь тысяч лет. Так отвыкнем и будем боги». Раскольников хочет — и не может «сам делать совесть». Хочет — и не может «отвыкнуть» от нее.

Совесть — это вековая «человеческая привычка», это неизжитое, хотя и вытравляемое, воспоминание о прежнем, утраченном родовом единстве людей. Это — боль от такой потери и надежда все восстановить. Отчаиваясь в возможности этого восстановления, Достоевский пытается преодолеть свое отчаяние через религию, через бога, через посредника. Интимные связи между людьми разорваны и разрываются, люди могут ничего и не узнать о «переступившем» человеке, и тогда роль этих несуществующих людей, которые могли бы и должны знать о нем, и выполняет бог...

Но, как это ни парадоксально, Достоевский, отвергая самую возможность существования гуманистической нравственности на атеистических основаниях, необычайно сильно выразил объективную потребность именно в такой нравственности.

На первый взгляд совесть — это самое асоциальное слово, самое расплывчатое понятие, тем более что понятие это извращено как, может быть, никакое другое. Но не потому ли оно так извращено, что по природе своей является едва ли не самым социальным? Оно же коммунистично по своей природе. И не отсюда ли неистребимость этого слова, неопределенного, неуловимого и тем не менее самого живучего? Не отсюда ли инстинктивная вражда к нему со стороны всех «переступающих», не отсюда ли их ненависть к нему, их страх перед ним — в сущности, подлинно социальная ненависть и подлинно социальный страх? Не отсюда ли и все сделки с совестью, все эти переименования преступления в «не-преступление»?

Нет абстрактной истины, и нет абстрактной совести. Совесть, как и истина, конкрет-

на. И как таковая она определяется объективно, социально, исторически. Достоевский отрицал это — и не раз, но парадокс в том, что своими произведениями, как правило, он это именно и доказывал.

И за всеми абстрактными апелляциями Достоевского к совести, за всем его этическим максимализмом скрыто стремление познать законы человеческого поведения, не зависимые от воли и сознания человека, потребность овладеть этими законами, законами самих чувств, воли и сознания.

«Али есть в нас закон природы, которого не знаем мы и который кричит в нас», — пишет в черновиках Достоевский о смысле сна, в котором Раскольников перед убийством видит себя мальчиком. «Сострадание есть главнейший и, может быть, единственный закон бытия всего человечества», — читаем в «Идиоте».

Как никто из художников, Достоевский восставал против подчинения живого человека мертвым законам. Как никто, стремился проникнуть в законы «живой жизни». И ни у кого слово «закон» не было столь ненавистным и столь излюбленным, столь часто встречающимся словом.

Если сделать подборку его высказываний на этот счет, то нельзя не заметить: он все время говорит о разных законах, «положительных» и «отрицательных», законах «разрушения» и «сохранения», то считая их равноправными, то протестуя против законов «разрушения» и объявляя «нормальными» лишь законы «сохранения».

Объективность законов нравственности, есть она или нет? есть эти законы или их нет? — вот над какой реальной проблемой заставляет задуматься Достоевский.

Он предчувствует существование таких законов, которые «кричат» против убийства и самоубийства человека и человечества, таких законов, которые превратились в вековую «привычку» и от которых нельзя «отвыкнуть» безнаказанно. И здесь, как нигде, его искусство сближается с наукой. И по науке важнейший признак объективности того или иного закона заключается в том, что если не считаться с этим законом, то он так или иначе, рано или поздно, прямо или косвенно карает нарушителя, мстит за себя, заставляет признать себя хотя бы через катастрофу.

Объективность законов нравственности как особого типа социальных законов заставляет признать себя под угрозой ката-

строфы всемирной — вот реальное содержание поставленных Достоевским вопросов.

Достоевскому безнравственным казалось объединение людей под угрозой «спасения животишек». Но парадокс в том, что он сам же, как никто из художников до него, выдвинул и действительно предельно обострил альтернативу: либо понять и соблюдать «кричащие» в людях законы, либо нарушение этих законов отомстит за себя гибелью человечеству, как мстит оно отдельному человеку разрушением его личности, болезнями, смертью. Достоевский знал, что ни от каких проповедей глупцы не становятся умнее, а подлецы честнее, и он прибегнул к последнему, решающему доводу: и н а ч е п о г и б н е т е ! Но за этим предельным и отчаянным морализированием скрывается и отказ от морализирования вообще, скрывается потребность объективного познания социально-нравственных отношений, этой, казалось бы, самой неопределенной, самой произвольной, самой субъективной области, — задача, которая может быть решена лишь соединенными усилиями науки и искусства.

«При полном реализме найти в человеке человека» — вот самоцель искусства, по Достоевскому. Но не в том ли, в конечном счете, заключается и цель науки, чтобы при полной объективности «найти в человеке человека»?

Искусство и наука по-разному содействуют одному — выработке адекватного самосознания человека, а самосознание — это ориентация, ориентация не просто в отношении самого себя и для себя, но в отношении к другим, к миру (и лишь тем самым в отношении себя). И если мир — это мир человека, мир людей, их отношений, а не просто внешних вещей, то и «сущность человека не есть абстракт, присущий отдельному индивиду. В своей действительности она есть совокупность всех общественных отношений... Человек — не вне мира ютя-

щееся существо. Человек — это мир человека...»⁸. И без научного мировоззрения, пронизывающего чувства, мысли, а главное — действия, точное самосознание, точная ориентация человека в мире — недостижимы.

Никакая «совесть» без «ума» и никакой «ум» без «совести» не способны понять и преобразовать мир. Никакая тоска по «справедливости», никакое негодование против «несправедливости» не могут заменить этого понимания и этого преобразования. Такая тоска и такое негодование неоспоримо ценны и сами по себе, но в особенности они ценны как стимул для этого понимания и преобразования, а не как замена тому и другому.

* * *

Всемирная слава Достоевского беспримерна, но пусть паролем этой славы будет его «билет», который он возвращал и богам и идолам, будет глубинный поиск «человека в человеке», поиск «невысказанного будущего Слова», будет его непримиримость ко всякому самообману, его смертонеприятие и жажда «живой жизни», будет надежда преодолеть «рознь» и собрать «человека вместе», будет его выстраданное убеждение: «Несмотря на все утраты, я люблю жизнь горячо, люблю жизнь для жизни и, серьезно, все еще собираюсь начать мою жизнь...» Пусть паролем этой славы будут и его слова, вечно тревожащие людей: «Мы, может быть, видим Шекспира, а он ездит в извозчиках, может быть, это Рафаэль, а он — в кузнецах, этот актер, а он пашет землю. Неужели только маленькая верхушечка людей проявляется, а остальные гибнут!..»

В словах этих — не прекраснородушный, а трезвый и глубокий мировоззренческий гуманизм и демократизм. Такие люди, как Достоевский, и «проявляются» для того, чтобы «проявились» все.

⁸ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 3, стр. 3. (Разрядка моя. — Ю. К.)



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Ю. Друнина. Только раз присягают солдаты.— **К. Щербанов.** Ожидания и свершения.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Б. Бочков. Социализм и соревнование.— **О. Смирнов.** Перед Вольшой войной...

Литература и искусство

ТОЛЬКО РАЗ ПРИСЯГАЮТ СОЛДАТЫ

Сергей Орлов. Избранное. В двух книгах. Л. «Художественная литература». 1971.
Книга первая. 302 стр. Книга вторая. 254 стр.

Давным-давно, еще до войны, Центральный дом художественного воспитания детей объявил конкурс на лучшее стихотворение. Победителем оказался некий старшеклассник.

Его стихотворение покорило и меня предельной краткостью, непринужденной образностью, добрым юмором и какой-то удивительной солнечностью:

В жару растенья никнут,
Бегут от солнца в тень.
Одна лишь чушка-тыква
На солнце целый день.

Лежит рядочком с брюквой
И кажется, вот-вот
От счастья громко хрюкнет
И хвостиком махнет.

Кто бы мог тогда подумать, что из уст того же жизнерадостного мальчика всего через три-четыре года вырвутся и пойдут греметь по России такие скорбные и торжественные строки:

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой,
Без званий и наград...

Теперь стихи эти известны всем, они стали не только поэтическими позывными Сер-

гея Орлова, но и вечным нерукотворным памятником тем, кто не вернулся с войны.

За такие стихи нужно было дорого заплатить, их не придумаешь «из головы».

И поэт заплатил сполна. Он пришел с войны, обожженный ею не только в переносном, но и в прямом смысле слова,— танкист Орлов дважды горел в своем тяжелом КВ.

Дважды горел! Только тот, кто хоть раз бывал в танке во время боя, может до конца понять значение этих слов. Мы, медики, предпочитали лучше уж оставаться на броне, чем лезть в тесную железную ловушку.

Внутри нее стоит такой грохот, что и не разберешь, когда бьешь ты, а когда — по тебе. Машина каждую минуту тяжело проваливается в очередную воронку, траншею, яму, а кажется — все, подбили... Стреляющий танк наполняется пороховым дымом, думаешь — горим...

А как они горели, эти «коробочки», как горели! Вот уж не предполагала, что сталь может так вспыхивать!

...Почувствуй на миг,
Как огонь полыхал,
Как патроны рвались и снаряды,
Как руками без кожи
Защелку искал командир.

Как механик упал,
 Рычаги обнимая,
 Как радист из ДТ
 По угрюмому лесу пунктир
 Прочертил,
 Даже мертвый
 Крючок пулемета сжимая.

Орлову повезло — он выбрался из горящего танка. Повезло и советской поэзии.

Мы знаем, сколько жизней унесла война, мы знаем сколько погибло, но разве можем мы знать, кто погиб, каких ученых и каких художников потеряла страна!

Молча спят под бронзовую сенью
 Памятников в скверах городских
 Циолковский наш и наш Есенин,
 Не раскрывши замыслов своих...

Орлову действительно здорово повезло. Ему повезло, как и всему поколению молодых поэтов, пришедших на фронт прямо со школьной или студенческой скамьи.

Нам помогла собственная юность: будь мы немного постарше, будь мы уже профессиональными литераторами, нас послали бы во фронтовую газету или, в лучшем случае, в дивизионку. Мы делали бы, конечно, нужнее и почетнее дело, но не прошли бы окопной школы, не побывали бы в шкуре бойца переднего края.

Пользу окопной школы прекрасно понимал правофланговый молодой фронтовой поэзии Семен Гудзенко:

Но если снова воевать...
 Таков уже закон:
 пускай меня пошлют опять
 в стрелковый батальон.

Быть под началом у старшин
 хотя бы треть пути,
 потом могу я с тех вершин
 в поэзию сойти.

Не треть, не половину — весь свой солдатский путь Сергей Орлов прошел бойцом переднего края.

Поэтическая формула Пастернака «Тут кончается искусство и дышит почва и судьба» к фронтовику не подходит. У Орлова все как раз и начиналось с судьбы. Все дышит судьбой. Судьбой, совпавшей с народной и потому близкой каждому. Характерной для своего времени и потому типичной. Трагической и счастливой. Завидной судьбой.

Именно в судьбе или, иначе, в биографии — богатство Орлова, богатство молодых поэтов-фронтовиков.

Кто не знает пастернаковского: «Нельзя

не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту»? Кто из настоящих серьезных поэтов не стремился к этой особенной, мудрой простоте?

А к Сергею Орлову она пришла не «к концу», а в самом начале. Может быть потому, что за четыре года войны он прожил несколько жизней.

И в эту «неслыханную простоту» Орлов впал отнюдь не «как в ересь». Наоборот, во времена великого горя народного было бы ересью и кощунством писать иначе...

Листаю сборник, беру первые попавшиеся строки:

Прилечь бы на траве сожженной,
 Хоть на обочине, в пыли,
 Уснуть, не сняв комбинезона,
 Из рта не выплюнув земли...

Зарисовка? Да. Но сколько стоит за нею!

Каждое слово здесь как бы объемно, оно имеет цвет и вкус. Чувствую мертвый запах гари, вижу черную траву, ощушаю безмерную, нечеловеческую усталость от самого тяжкого на свете — ратного — труда.

Что (кроме таланта, естественно) помогло поэту добиться такого воздействия на читателя?

Наверное, только одно — необыкновенный накал чувств, тот накал, без которого мертво любое, даже отлично «сделанное» стихотворение...

Краткость, пресловутая сестра таланта, верно шла за поэтом по фронтовым дорогам. Всего восемь, двенадцать, шестнадцать строк и — яркая картина, которую не спутаешь с картинами других мастеров, четкая, своеобразная, законченная поэтическая мысль. Впрочем, Орлову удастся сделать это и в четырех строках:

Проверь мотор и люк открой:
 Пускай машина остывает.
 Мы все перенесем с тобой —
 Мы люди, а она стальная.

И опять такая пронзительная правда в этих сдержанных строках, что мне, читателю, не столь уж важно, можно ли считать рифмами слова «стальная» и «остывает». И заметила-то я это только сейчас, перепечатывая стихи, хотя знаю их наизусть много лет.

Не этим ли — удивительной способностью брать в эмоциональный плен — художник отличается от ремесленника, поэт от версификатора?

«Пусть нам теперь завидуют поэты: мы все сложили в жизни, что могли», — писал

в сорок пятую танкист Орлов. Но поэт Орлов понимал: песня продолжается. И битва продолжается. Великая битва, имя которой — жизнь.

На фронте казалось: после того, что пережито, «на гражданке» будет легко и просто. На самом же деле все оказалось значительно сложнее:

Здесь нет ячеек пулеметных,
Не рвутся мины на пути,
Но там хоть бы устав пехотный,
А здесь не знаешь, как идти.

Не один Орлов, многие молодые поэты-фронтовики поначалу почувствовали себя «на гражданке» неуверенно. Выяснилось, что хотя ты и ветеран, но, в сущности, еще просто мальчишка, не имеющий ни образования, ни профессии.

А право на высокое звание поэта необходимо было подтвердить новыми стихами: на проценты с былой славы не проживешь...

Новое время — новые песни: понятно было желание людей не бередить едва зарубцевавшиеся раны, понятно было их желание забыть о войне.

Газеты и журналы жаждали получить стихи о трудовых буднях страны.

И кому какое дело, что сердца молодых поэтов-фронтовиков еще оставались там — в окопах и землянках переднего края, в пылающих танках и дымящихся самолетах?..

У Орлова появились стихи, называющиеся «Плавучая культбаза», стихи о передовой студентке, о мастерице кружевной артели — «местном соловье», о лесоводе, о заведующей Домом приезжих, о первом тракторе — поэт старается узнать как можно больше.

Конечно, на фронте сквозь узкую черную смотровую щель танка он не мог увидеть так много. Но тогда поэт смотрел на мир, если можно так выразиться, «глазами сердца», теперь порой только «глазами ума»: слишком резок был переход из одной жизни в другую — для того чтобы «акклиматизироваться», требовалось время...

Читая стихи Орлова послевоенных лет, понимаешь, конечно, что написаны они талантливым человеком: спрятать талант так же трудно, как и бездарность...

Но, на мой взгляд, многим стихам этого периода не хватает того эмоционального накала, который буквально обжигал во фронтовых стихах поэта.

Конечно, за фронтовыми стихами стояла яркая и романтическая судьба. Стояли смерть и бессмертие, страдания и подвиги.

И юность — пора, когда человеческая душа особенно ранима, отзывчива и восприимчива. Особенно у художника. Как тут было не появиться эмоциональному накалу!

А теперь демобилизованный танкист, ныне студент Литературного института, переходил на другой режим. И как бы соревновался с самим собой — все его новые стихи невольно сравнивали с фронтовыми.

Было нелегко.

Помогла фронтовая закваска. И не только Орлову — всему поколению.

Кроме таланта, поэт должен обладать и еще одним необходимым качеством, которое я назвала бы «тугоплавкостью» или, проще, отчаянной жизнеспособностью.

Ты должен противостоять и ударам и дарам судьбы — работать, когда тебе плохо, работать, когда тебе хорошо.

Всегда вести себя с одинаковым достоинством.

Не задирать нос, когда тебя возносят, не опускать его, когда тебя разносят или, еще хуже, не замечают...

Всегда оставаться самим собой — не поддаваться на соблазны очередной литературной моды, не гнаться за ложной остротой, не спекулировать на теме, не оправдывать художественную слабость своих стихов их актуальностью, не забывать, что чем больше тема, тем больше и ответственность поэта.

Короче говоря, крепко держаться в поэтическом седле.

А вот этому — умению держаться — наше поколение выучила жестокая окопная школа. Близость смерти заставила понять, что такое настоящие человеческие ценности, и на всю жизнь оградила от таких мелких, но пагубно действующих на творчество «болезней», как тщеславие, зависть, суетливость, карьеризм.

Сколько лет прошло, сколько «новых волн» поднялось и улеглось в поэзии, сколько «звезд» зажигалось и гасло на поэтическом небосклоне, а поэты-фронтовики оставались верны самим себе, своим выстраданным в страде войны принципам, шли каждый своим большаком, терпя поражения и одерживая победы, далеко не всегда поддерживаемые артиллерией критики, не считывая на салюты, весело презирая дешевые фейерверки «сенсаций».

.. Шли годы, сглаживались рубцы и на коже и на сердце — сглаживались, но не исчезали. К Сергею Орлову пришла и любовь, и новое острое восприятие природы, и

раздумья о сложностях бытия, и радость от того, что «в оградах оживают колья и на камнях встают ростки», и тревога от того, что «где-то горны еще гремят, день в крови и пепле багров».

Поэт вновь оказался на переднем крае жизни — этого и не могло не случиться, это вытекало из его характера, из его принципов и убеждений.

В конце 50-х годов у Орлова появляются светлые и, я бы сказала, «вкусные» стихи — вкусные, как тот свежий хлеб, как те «могучие» ши, как та пахучая кружка парного молока, которые он, «сын деревни», воспеваает. Есть в них что-то от солнечных отроческих стихов о тыкке — помните: «И кажется, вот-вот от счастья громко хрюкнет и хвостиком махнет»? Только вместо милой детской наивности — уверенность зрелого мастера, ненавязчивое, естественное, само собой из сюжета вытекающее общение. Вот, например, как пишет он о хлебе:

Рунав просторный засучив по локоть,
Сжимая пальцы в узел кулака,
Его валяют на столе широко
И бьют его с размаху под бока.
...О нем звенит считалка, пляшут дети,
Газеты пишут, и в штормах судебных
Есть мера высших ценностей на свете —
Любовь, как хлеб, и дружба, словно хлеб.

Про этот деревенский цикл можно сказать, что он «весь солнцем проперчен, как пернем» (цитата из стихотворения самого же Орлова «Петр Великий в Вологде»). И стихи о Петре тоже густо проперчены и, я даже бы сказала, просолены:

Ах, либе Анна, либе Анна,
Вдова голландского купца,
Добра, вальяжна и желанна,
Хотя и девочка с лица.

у ней атласы на перине,
Из Амстердама в склянках ром,
Что до утра в царевом чине
Он с Анной делает вдвоем?

Палитра художника разнообразна — грустные, горьки и горды стихи о мамонте, добром гиганте, вдруг увидевшем, что вокруг него копошится одна мелочь:

Жизнь вокруг вершилась непонятная:
Волки, лисы, тигры, барсуки
Жаркими вокруг мелькали пятнами
И друг друга рвали на куски.

...Он пошел от них в пустыню белую,
Как в изгнание, за Полярный круг,
Ничего не прыгало не бегало
И не мельтешило там вокруг.

Сергей Орлов много ездит — не только в пространстве, но и во времени, он много видит — не только «глазами ума», но и «глазами сердца».

С одинаковым интересом я читаю у него и философскую, и любовную, и пейзажную лирику. Всюду свой, «орловский» взгляд на вещи и глубокая внутренняя серьезность при внешней легкости, то есть непринужденности, естественности, благородстве стиха. Благородстве умной простоты...

Некоторые стихи Орлова я читаю с особым интересом. Нет, слово «интерес» здесь неуместно. Я читаю их волнуясь. Я перечитываю их. Они врезаются в память.

Это стихи о войне, написанные теперь. Это война с позиций сегодняшнего дня, война, увиденная глазами современного человека.

Можно сказать и по-другому: это сегодняшний день, увиденный с военных позиций, из идущего в атаку танка, сегодняшний день глазами солдата Великой Отечественной.

Почему я выделяю эти стихи?

Дело здесь не в теме, вернее, не только в том, что она мне близка. Именно благодаря последнему обстоятельству к военным стихам я отношусь особенно ревниво. Раздражает малейшая фальшь, огорчает любая недостоверность чувств.

Я понимаю, что далеко не все читатели со мной в этом согласятся, но я должна это сказать, потому что я так думаю: долгое время та непреложная истина, что фронтовые стихи могут писать только фронтовики, вроде бы не вызывала никаких сомнений. Но сейчас бывает, что от имени участников войны пишут и те, кто знает фронт лишь по книгам и кинофильмам. И хочется сказать такому поэту словами Сергея Орлова из его сильного, пронзительного и мудрого стихотворения «Невская Дубровка»: «И зачем ему, Витьке, за нас нашей памятью мучиться, ах, зачем, все равно у него не получится...»

Этот двадцатилетний курносый Витька, которому поле боя сорок первого года «как нам Куликово, не боле!», вовсе не какой-нибудь оболтус, он славный парень. Просто война для него — только история. «Полон Витька к истории благодарности и уважения», но ему интереснее смотреть «на девочек в брючках. без усталости мчащих велосипеды вдоль древнего поля сражения», чем на шрамы заросших окопов...

Ну что ж: «Наше — нам, юность — юным...»

И, бродя с фронтовым товарищем по Невской Дубровке,

Вспоминает полковник лейтенантское
звание,
Вспоминает о Женьке, санитарке глазастой,
Как она полоскала рубашку свою и рвала,
как ромашку, для раненых,—
И смеется, как будто бы вспомнил о
счастье...

Хочу обратить внимание на последнюю строчку: при чем здесь, кажется, «счастье»? От дивизии осталась всего-навсего одна рота, она отрезана от своих, от тылов. Нельзя эвакуировать раненых, нет медикаментов, нет патронов, нет хлеба. А фашисты продолжают свои попытки выбить вцепившихся в берег Невы пехотинцев. Падают один за другим ребята, «Женька — красавица русая — пулеметом порубана», и вот «от земли отрываются пять солдат с лейтенантом, из роты последние...».

А теперь все это вспоминается как счастье — почему?

Да потому, наверное, что война (освободительная война!) — это не только кровь, страдания и смерть, но еще и высшие взлеты человеческого духа: бескорыстный подвиг, самопожертвование и самое, может быть, прекрасное — фронтовое братство. А человеку свойственно грустить о прекрасном — на то он и человек.

И странная, непонятная для других болезнь — «фронтовая ностальгия» — всю жизнь будет преследовать ветерана, особенно если он из поколения, для которого слово «война» равнозначно слову «юность»...

Полыхает на черном снегу яркий костер—

выплеснутое и подожженное каким-нибудь танкистом «ведро газойля из канистры». К этому костру то и дело подходят ребята, выскочившие на несколько минут из своих обледеневших машин. Курят, молчат, греются, чувствуя тепло не только от пламени, но и от плечей товарищей. «Круг человеческого братства...»

Костер этот никогда не погаснет в памяти Сергея Орлова, им освещена вся жизнь поэта, все его творчество.

Жесткой фронтовой мерой меряет Орлов свои поступки, нет-нет да и оглядываясь на того девятнадцатилетнего лейтенанта, который, «скинув молча полушубок в стужу» и затянув потуже ремень на ватнике, задремывает за собой ледяной люк танка, чтобы снова пойти в бой.

«Как он там, в огне ревушем, верит в мирного далекого меня!» — восклицает поэт.

И страх обмануть светлую веру юного танкиста поддерживает его в минуты слабости:

...Я не лезу в спор, где драться надо,
Не простиет меня мой лейтенант!
...Надо встать, и скинуть полушубок,
И нащупать дырки на ремне.
Встать, пока еще не смолкли трубы
В сердце, как в далекой стороне.

Нет, не смолкли трубы. И никогда не смолкнут. Бой идет. Битва продолжается. Великая битва, имя которой — Жизнь.

И на ее переднем крае — большой русский поэт Сергей Орлов, певец мужества и верности. Вечной, нерушимой верности: «Присягают солдаты раз, только раз присягают солдаты...»

Ю. ДРУНИНА.

★

ОЖИДАНИЯ И СВЕРШЕНИЯ

В л а д и м и р А м л и н с к и й. Музыка на вонзале. Повести и рассказы.
М. «Детская литература». 1970. 304 стр.

Было в нашем литературном обиходе нечто вроде термина «молодая проза»; относилось это к ряду действительно молодых писателей, чьи книги стали появляться в конце 50-х — начале 60-х годов.

Сегодня их так уже не сгруппируешь — и возраст берет свое, и творческие пути разошлись слишком уж очевидно: кто-то все буксовал и буксовал на месте, у кого-то открывался как бы новый взгляд на привычных героев и привычные ситуации, а иные, чувствуя, что подступает внутренняя

исчерпанность, обращались к материалу, не имеющему никакого отношения к их прежним привязанностям. И, скажем, читая сегодня серьезную книгу о Робеспьере, трудно поверить, что автор ее тот самый Анатолий Гладилин, чья «Хроника времен Виктора Подгурского» стала открытием типичного и очень жизненного характера, а некоторые последующие вещи давали основание полагать, что значительных книг этот писатель, возможно, уже не напишет...

Имя Владимира Амлинского тоже назы-

валось в ряду авторов «молодой прозы», но всегда этот писатель стоял несколько особняком. Отчегливая лирико-романтическая интонация рассказов. тяготеющая к героике, но не бодряческая, а размышляющая и грустноватая, сближала писателя не столько с литературными сверстниками, сколько с предшественниками, делала причастным к гайдаровской, пожалуй, традиции в нашей прозе для юношества.

Почти все, что происходило с человеком в рассказах Амлинского, происходило с ним в первый раз — первая бессонница (рассказ «Первая бессонница»), первая любовь («Станция первой любви»), первые столкновения с реальностью книжно-романтических представлений о жизни, первые разочарования и первые победы над собой. Событий в рассказе почти не было, существо их составляло движение лирического подтекста.

«Двое в квартире» — герой возвращается с работы, ему восемнадцать лет, у него плохое настроение. Так, ничего особенного, но вот деть себя некуда, непристроенность какая-то, душевный неуют. То ли спать лечь, то ли погулять пойти, то ли в комнате прибраться — уж очень она тоскливо-грязная. И раздражение оттого, что не можешь справиться с силами и принять даже такое пустячное решение. Сыр черствый, паштет горький, но приходится есть, не сидеть же голодным. А тут еще приятеля встретил, бесконечно упоенного своими волейбольными успехами и принадлежностью к студенчеству. Сам герой в институт не рвался, но вот заскребло что-то и вспомнилось, как тягостны сочувственные взгляды знакомых и их бодрые заверения, что как бы там ни было, а ничего непоправимого не произошло, учебу можно продолжить. «Они хорошие люди, но зачем мне их угловы. Я и так... поступлю в вечернюю школу. Только через год, когда привыкну к производству и не буду так уставать». Еще Галя вышла замуж за другого, за физика. Не вчера и не позавчера это произошло, но именно сегодня непреодолимо захотелось ей позвонить, хотя прекрасно знал, что звонок этот настроения не улучшит. И мама вспомнилась, хотя боль ее смерти уже притуплена временем, утратила начальную остроту.

Все это сопутствует душевной смятенности, усугубляет ее, но причина — не вовне, а внутри героя, она — в первом скорее всего, настоящем и остром недовольстве собой. Не тем, что вместо института — завод

замочных изделий. И не тем, что в соперничестве за Галю оказался побежденным каким-то там взрослым физиком. Нет, герой ощущает недовольство собой как личностью, неотграниченностью, недостаточной еще определенностью ее. Недовольство, которое, пожалуй, не вполне пока осознано, но которое в конечном итоге и рождает душевные усилия, приближающие человека к самому себе, к лучшему, что в нем заложено.

И ничто так не нужно в эту минуту, как простое, деликатное человеческое участие — его и получает герой от соседа по квартире, странноватого старика, который иногда вспоминает, как в гражданскую бежал из хабаровской белогвардейской тюрьмы и пробирался к своим через тайгу в портянках, потому что ботинки сносились. Не слишком, по-видимому, важная состоялась беседа, а «мне стало вдруг весело от мысли, что мне только восемнадцать лет. Засыпая, я подумал о том, что в комнате нужно все-таки устроить уборку». Восемнадцать есть восемнадцать, считай, вся жизнь впереди, многое, чем недоволен, можно переиначить.

Мотив ожидания очень существен в рассказах Амлинского. Ожидания большой любви и большой работы, когда еще ничего, по существу, не достигнуто, но зато нет и заданной обстоятельствами накатанной колеи. Какая там привычная колея — станции и вокзалы, и состояние нестабильности, подвижности, легкости! Одни остаются на перроне, другие уезжают, но отъезд этот не навсегда и взаимоотношения не прерываются паровозным гудком.

«Станция первой любви». Двум мальчикам нравится одна девочка; тому, от чьего лица ведется повествование, кажется, что избранник он. Да так, наверное, и есть поначалу — прогулки, чинные и умные разговоры о литературе. Гришка где-то поблизости, рядом, не с ними. А потом героиня предпочла все-таки Гришку... Это повторяющаяся ситуация у Амлинского — рассказчик и его друг и она, которой друг оказался нужнее, ближе. В «Станции первой любви» такое разрешение взаимоотношений — несколько, быть может, наивная дань честной Гришкиной настойчивости в достижении цели, рыцарской его верности в любви и в дружбе. Тому, что в свои шестнадцать лет он больше многих сверстников успел стать человеком. А тот, кто рядом... «Хватит,— сказал я себе.— Завтра же начну

новую жизнь. Хватит лгать, хватит трепаться. Я тоже буду настоящим, черт возьми, назло им всем».

В рассказе «Музыка на вокзале» прошлое персонажей почти зеркально повторит эту ситуацию, только теперь позади годы. Тот, кто был настойчивее, упорнее (теперь его зовут Сашка Локтев), нашел свое призвание. Он работает главным инженером на крупном среднеазиатском строительстве и, отлучаясь по делам в Москву, быстро начинает тосковать, рваться обратно. Снова перрон, проводы. Сашка Локтев уехал, двое остались. «Нет, нет, нет,— сказал я ей.— У него есть Средняя Азия. У тебя — тот, кто ждет у киоска. У меня — ничего. Как ты думаешь, Лена, что лучше: мало или ничего?»

То же стремление к цельности и тоска по ней, но тоска более глубокая, тревожная, взрослая. Юность с ее красивыми порывами прошла, и уже пора, как Сашка Локтев, находить свою Среднюю Азию, каждому свою, и недостаточно одного хорошего разговора, чтобы вновь увериться: все еще впереди. Нет, что-то и позади уже, и появилась накатанная колея.

Ожидание, надежда, мимолетная юношеская грусть и грусть с примесью горечи — о том, что не сбылось и уже не сбудется,— это настроения книги Амлинского. Писатель умеет не навязывать их, а растворять в повествовании, в самом лексическом строе его — тогда-то и возникают ассоциации, воспоминания, сцепления, и жизнь героев становится вам не посторонней.

Новая книга Амлинского — своего рода избранное того, что он написал за двенадцать лет работы в литературе. Об этом пишет в предисловии к одноименнику Валентин Катаев. «Станция первой любви» открывает цикл рассказов, вошедших в сборник, «Музыка на вокзале» — завершает. Такое построение цикла имеет свой смысл: внутренняя тема писателя именно в последнем рассказе обретает наибольшую зрелость.

А между этими рассказами — другие, причем нередко написанные в более позднее время. Круг мыслей, жизненный круг, в общем, похожий на то, что сперва было открытием, потом иной раз становилось лишь прояснением, уточнением каких-то граней сказанного, — если не пробуксовкой, повтором. Тема обещания, ожидания серьезной, достойной жизни становилась слишком освоенной, тесноватой. Обещание серьезной

жизни... Ну и сама серьезная жизнь — что это? Молодые читатели, к которым прежде всего обращает свои произведения В. Амлинский, вправе были ждать от него ответа на этот вопрос, во всяком случае, попытки ответа, причем более глубокой и конкретной, чем, например, та, что содержится в рассказе «Каролина-Бугаз». Тут, как всегда, есть отличные зарисовки быта, верные подробности. Но соображение о том, что не надо судить о старом друге, которого не видел много лет, по первому впечатлению, что усталое равнодушие может оказаться лишь видимостью, а на самом деле человек верен идеалам юности,— соображение это, право, не может претендовать на свежесть и новизну. И на глубину.

В творчестве молодого писателя должна была, наконец, найти свободный выход та отчетливо героическая интонация, которая давала постоянно о себе знать в штрихах, деталях, отдельных образах, которая прорывалась даже в таком, в общем, вторичном рассказе, как «Чистое сердце горниста».

Несколько лет назад Амлинский написал повесть «Тучи над городом встали». Герой — опять-таки школьник, но обстоятельства жизни иные: Великая Отечественная война, эвакуация. В характере героя писателяского открытия, пожалуй, не было, но вокруг действовали люди, которых у Амлинского мы встречаем впервые.

Нескладный, добрый «классный» со слабыми легкими, бывший видный работник Коммунистического интернационала молодежи, «классный», который добился-таки, чтобы его взяли в ополчение, и через месяц погиб, а перед уходом сказал своему ученику: «Быт тебя заедает, пустяки разные, неурядицы, и сам ты становишься такой бытовой, пустячный. А по роду деятельности ты всякие слова говоришь и цитируешь всяких ученых, революционеров и все твердишь: «Борьба, счастливое будущее, человечество...» Но вдруг — бац! — и началась эта самая борьба. Так словеса и подтверждать надо...»

Отец, крупный ученый-хирург, очень нужный в тылу, который, однако, тоже добился: «Устал я, понимаешь! Устал перел собой оправдываться, себе объяснять, почему мне здесь быть положено, а не там». А сын опустил глаза, потому что вспомнил, как однажды с детской жестокостью чуть сам не спросил отца, почему он не на фронте.

Женщина, которую полюбил отец и которую мальчишка не хотел принимать, приз-

навать, а она ушла, тоже ушла туда и погибла,— и мудреть, менять свое отношение к ней было уже поздно...

Писатель не изменил своему лиризму, своей негромкости, и не сфальшивил, не надорвался: героические характеры оказались ему под силу. Вернее, пока еще не характеры — наброски, контуры их. Повесть «Тучи над городом встали» — вещь во многом переходная. Вскоре выходит повесть «Жизнь Эрнста Шаталова». Это лучшее из того, что пока сделано Амлинским.

В рассказах молодые герои готовили себя к взрослой жизни, примеривались к ней. И вот эта взрослая жизнь, выбрав одного мальчишку из многих, подбросила ему испытание мучительное, страшное. Травма во время игры, болезнь, которую долго не могли определить, постепенное, неостановимое умирание тела. «Вот нам часто учителя говорят: не падайте духом, берите пример с Павки Корчагина, с Маресьева. Но это легко сказать — пример бери... Ведь болезнь накрыла их уже взрослыми. Они уже знали, в чем смысл жизни, а у меня что за спиной...»

Эрнст должен был взрослеть, узнавать этот самый смысл жизни, догадываясь, сколь недолгим будет его пребывание на этой земле. В последние годы только мозг был в его распоряжении, все остальное окончательно вышло из строя. И вот, не имея никакой возможности действовать, он читал книги великих писателей, мыслителей, сопоставлял их с собственной жизнью, которая отпускалась ему такими крохами. Прикованный к постели, постигал значение таких понятий, как любовь к ближнему, милосердие, сострадание. Обострились его интеллект, его нравственное чувство, его чутье к правде и справедливости.

Умирая, Эрнст Шаталов героически создавал себя.

«И я в один прекрасный момент понял совершенно отчетливо, что, может быть, самое главное мужество человека в том, чтобы преодолеть... мелкую трясицу, выбраться из бытовых гнусностей, не поддаваться соблазну мелочной расплаты, карликовой войны, колеечного отчаяния».

Мужество, нравственный подвиг Эрнста Шаталова состояли в том, что он научился молчать в ответ на претензии мелких людей, попрекавших его беспомощностью. В том, что сам он не упрекнул врача, знаменитого профессора, когда оказалось, что

профессорский диагноз, поставленный несколько лет назад, оказался неверным и Эрнста лечили от другой болезни. И в том, что не стал он злым, капризным, не мучал близких своей болезнью, а, напротив, изыскивал способы сделать так, чтоб у них как можно больше времени оставалось на собственные дела и заботы. Мне случилось видеть больших людей, которые находили выход своему отчаянию в мщении за свою беду, в мелком тиранстве окружающих — тиранили, понимая, что все равно никто не посмеет одернуть. Таких людей было жаль пронзительно, жгуче, вы видели, как они страдают, но уважать их не могли...

И в том состоял его подвиг, что он сумел стать необходимым людям, пусть маленькой группе людей, пусть, может быть, только матери и младшему брату, который уже не мог без него. Эрнст оказался для брата педагогом в том смысле, какой он сам вкладывал в это слово: «Если такой человек говорит хорошо, значит, хорошо. Если он выбрал тебе стихи, то настоящие. Значит, сиди и слушай, потому что этот человек не училка, а педагог, личность». И еще: «Заметь, что у этих художников (имеются в виду Сент-Экзюпери и Паустовский.— К. Щ.) присутствует элемент дидактики. Но эта дидактика талантливая и очень искренняя. Это дидактика примера, а не поучения. Это та дидактика, которая повела Яноша Корчака на смерть... Но есть другая дидактика, не упрянтая в волшебство, не окрашенная личным примером, серая, лобовая, и она несет гибель той идее, которую защищает».

Так говорит Эрнст Шаталов, но не заключена ли здесь сущность художественных понсков самого Амлинского? В удавшихся его вещах, в последней повести прежде всего, явственно ощутима эта дидактика — не поучения, а живого примера. Примера яркого, обладающего для современного молодого человека силой нравственной притягательности,— их, этих современных ребят, Амлинский знает, чувствует, что может ускорить их здоровое, верное нравственное формирование.

Думается, сегодня писателю надо увереннее, смелее пользоваться возможностями, которые он открыл в себе, написав «Жизнь Эрнста Шаталова». Это то, что талантливо обещалось, а теперь сбывается. Хорошо, что есть возможность так вот кончить рецензию.

К. ЩЕРБАКОВ.

Политика и наука

СОЦИАЛИЗМ И СОРЕВНОВАНИЕ

- В. Федин и. Социализм и соревнование. М. Политиздат. 1970. 150 стр.
 В. Г. Смольков. Соревнование и коммунизм. Изд. МГУ. 1970. 163 стр.
 Н. Б. Лебедева, О. И. Шкаратан. Очерки истории социалистического соревнования. Лениздат. 1966. 276 стр.

«К числу бессмысли, которые буржуазия охотно распространяет про социализм, принадлежит та, будто социалисты отрицают значение соревнования» — так начал В. И. Ленин главу об организации соревнования в своей работе «Очередные задачи Советской власти»¹. С той поры, как написаны эти строки, прошло более полувека. История окончательно похоронила мышления буржуазных идеологов по поводу того значения, которое приобрело социалистическое соревнование в условиях строительства социализма и коммунизма. Не только у нас, но и в других странах социалистического содружества оно выступает как могучая движущая сила созидания нового общества. По мере развития социализма соревнование приобретает новые черты, становится более глубоким по содержанию, меняет формы в соответствии с требованиями времени.

Высокая оценка этому массовому движению современности дана в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования», опубликованном 5 сентября 1971 года. Центральный Комитет партии подчеркнул, что соревнование всегда служило эффективным методом подъема производительных сил, совершенствования производственных отношений, воспитания трудящихся, привлечения их к управлению производством. Оно рождает в массах трудовой энтузиазм, творчество, выдвигает миллионы передовиков и новаторов производства.

Вместе с тем в постановлении ЦК содержится глубокий анализ недостатков в организации соревнования, указаны пути их преодоления. Отмечались, в частности, нарушения демократических основ соревнования, когда широкие слои рабочих, колхозников, служащих не привлекаются к разработке обязательств и контролю за их выполнением.

Соревнованию нередко сопутствует формализм, когда усилия организаторов на-

правляются не столько на достижение реальных результатов, сколько на соблюдение привычных форм — заключение договоров, принятие обязательств и т. п.

Проблемы повышения эффективности соревнования глубоко волнуют советскую общественность. В периодической печати появляется немало публикаций на эту тему, проводятся конкретные исследования и эксперименты. Ученые размышляют о путях совершенствования соревнования как важнейшего средства привлечения трудящихся к активному участию в управлении производством, в управлении всеми государственными и общественными делами. Этому призваны способствовать и научные публикации, массово-политическая литература. В упомянутом постановлении ЦК КПСС в адрес исследователей и публицистов сделан серьезный упрек: «Недостаточно разрабатываются теоретические проблемы социалистического соревнования, мало освещается практический опыт его организации в литературе и периодической печати...»

В рецензируемых работах сделан некоторый шаг вперед в исследовании данной проблемы, в осмыслении процессов, порожденных соревнованием. Исходя из единой марксистско-ленинской методологии, авторы рассматривают соревнование в различных аспектах и отчасти дополняют друг друга. Если, скажем, «Очерки» Н. Лебедевой и О. Шкаратана насыщены интересными исследовательскими данными, то монография В. Смолькова привлекает попыткой более глубокого проникновения в социальную сущность соревнования.

В каждой из книг нашли подробное изложение основные ленинские идеи о соревновании, о принципах его организации. Авторы со знанием дела пишут о формировании марксистско-ленинского взгляда на роль соревнования в жизни общества. Все это, пожалуй, не нуждается в комментариях. Предметом обсуждения может быть лишь толкование этих идей и принципов применительно к задачам и функциям соревнования в современных условиях. В этом плане каждая из рецензируемых работ содержит

¹ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 190.

немало спорного, противоречивого, а в ряде случаев и вовсе неприемлемого.

Прежде всего авторы существенно ограничивают сферу действия соревнования. Иллюстративным материалом в работе В. Фединина, например, служат лишь коллективы промышленных предприятий. О соревновании работников сельского хозяйства говорится вскользь. И вовсе не анализируется соревнование в сфере обслуживания, в области науки, культуры, управления и т. д. Подобная ограниченность свойственна и «Очеркам» Н. Лебедевой и О. Шкаратана.

Никто, конечно, не отрицает ведущей роли промышленности в развитии народного хозяйства, в создании материально-технической базы коммунизма, в укреплении обороноспособности страны. Но необходимо анализировать и роль соревнования в других отраслях экономики и культуры, поскольку названные работы претендуют на общезначение («Социализм и соревнование»). Тем более что соревнование в этих отраслях — тема, исследованная явно недостаточно.

В. Фединин и В. Смольков правильно подчеркивают, что в основе соревнования лежат ленинские идеи о силе примера, о распространении передового опыта. Однако Ленин говорил не только о производственном опыте (новейшая технология, наиболее рациональные приемы труда и т. д.— кстати, об опыте этого рода в книгах сказано более чем достаточно), но и о лучших образцах хозяйствования, лучших методах организации труда, методах управления производством и всеми государственными, общественными делами. В. И. Ленин неизменно связывал соревнование с привлечением широких масс рабочих и крестьян к управлению, к хозяйствованию, с выдвижением из их среды талантливых практиков-организаторов. Политика ведется через людей, не раз повторял он. И в этом нельзя не видеть главный политический смысл соревнования.

В чем суть распространения передового опыта? Если кто-то (предприятие, хозяйство, коммуна) добился хорошего результата, то смысл соревнования и заключается в том, чтобы сделать этот результат всеобщим достоянием, подтянуть отстающих до уровня передовых. Сила примера, поддерживаемая организаторами соревнования, приобретает во много крат большее воздействие.

Между прочим, сразу же после того, как были выдвинуты основополагающие принципы соревнования, Ленин лично искал и находил примеры для подражания в нашей хозяйственной практике. В своих выступлениях периода марта—апреля—мая 1918 года он неоднократно называет лучшие отрасли промышленности и отдельные предприятия (кожевников, текстильщиков, сахарные заводы). Почему? Потому что там лучше, чем у других, организовано производство, строже налажен учет и контроль, экономически грамотнее решаются хозяйственные вопросы. Сумей каждый коллектив, каждое ведомство поставить дело таким образом — и молодая советская экономика сделает быстрее шаг вперед.

В. И. Ленин внимательно следит за ростками нового в развитии народного хозяйства, в становлении общественного труда, неизменно поддерживает любую полезную инициативу. Общеизвестен факт, когда Владимир Ильич обратил внимание на так называемые «брянские правила»², применение которых на местных заводах способствовало установлению твердого распорядка труда и укреплению дисциплины. Он рекомендовал повсеместно разработать и применить подобные правила.

Вот этого-то организаторского, если можно так выразиться, подхода к проблемам соревнования до обидного мало в рецензируемых работах. В них преобладают описания многочисленных «починов», известных форм соревнования и полученных результатов без достаточного осмысления фактов.

Авторы книг явно теряются, когда заходит речь о роли и месте в соревновании командиров производства. «Особую сложность,— пишут в своих «Очерках» Н. Лебедева и О. Шкаратан,— представляет вопрос об участии в соревновании командиров производства вплоть до директоров заводов. До движения за коммунистический труд проблема эта решалась просто: о руководителе судили по успехам коллектива. Такое же мнение о роли администрации существует и на современном этапе соревнования. И поныне в большинстве случаев руководящие работники не принимают на себя индивидуальные обязательства, выполнение которых ставилось бы под контроль коллектива. Это ошибочная позиция,— всерьез заявляют авторы «Очерков». — Именно для

² См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 348.

поднятия своего авторитета руководители предприятий и учреждений в первую очередь должны брать на себя серьезные обязательства».

Это ли не преклонение перед формой соревнования! Раскрывая смысл соревнования в работе «Очередные задачи Советской власти», В. И. Ленин тут же переходит к вопросу о том, кто призван в первую голову нести ответственность за результаты коллективного труда «...Как можно осторожнее и терпеливее испытывать и распознавать настоящих организаторов, людей с трезвым умом и с практической сметкой, людей, соединяющих преданность социализму с умением без шума (и вопреки суматохе и шуму) налаживать крепкую и дружную совместную работу большого количества людей...»³.

Руководители, организаторы производства, являясь вожаками масс, досконально изучают все детали работы, причины достижений или промахов, и от действий этих вожаков, от их умения организовать труд десятков, сотен, тысяч людей во многом зависит успех дела. Вот почему Ленин прямо призывал: «Надо организовать соревнования практиков-организаторов из рабочих и крестьян друг с другом. Надо бороться против всякого шаблонизирования и попыток установления единообразия сверху, к чему так склонны интеллигенты»⁴.

Дело, как видим, не в том, чтобы директор завода, начальник цеха, руководитель учреждения или колхозный бригадир приняли «индивидуальные обязательства». Дело в том, чтобы взять из многообразия опыта руководящей работы самое нужное, самое ценное и передать его другим. Эта задача сейчас особенно актуальна. Читая и перечитывая последние решения партии, материалы XXIV съезда КПСС, мы вновь и вновь убеждаемся в том, какую огромную роль на современном этапе развития общества играет наука управления, методы руководства, умение организовать общественный труд. Решения партии в этой области опять-таки основываются на прочном фундаменте ленинских идей.

Решающими условиями экономического подъема В. И. Ленин считал: а) развитие крупной машинной индустрии; б) повышение культуры и образование масс; в) укрепление дисциплины рабочих, их умение ра-

ботать, спорость, интенсивность труда, лучшая его организация⁵.

Советское государство достигло большого прогресса в развитии всех ведущих отраслей промышленности, в подготовке квалифицированных кадров рабочих и специалистов, опередив многие развитые капиталистические страны. Однако нельзя еще считать, что задачи, выдвинутые Лениным, решены полностью — особенно та, которая касается коренного улучшения организации труда, умения работать.

Мы многому научились за пятьдесят лет и кое-чему можем поучить и учим других. Но тот, кто бывал на капиталистических предприятиях и фермах, знает, что по уровню организации, производительности труда некоторые из них обгоняют социалистические предприятия и даже отдельные отрасли промышленности или сельского хозяйства.

Нет необходимости преуменьшать или преувеличивать значение этого факта. Частный предприниматель в погоне за прибылью и в страхе перед банкротством нещадно эксплуатирует рабочих и специалистов, пуская в ход самые изощренные методы «выжимания пота». Мы решительные противники подобных методов хозяйствования, социалистический способ производства — самый гуманный из всех предшествовавших ему в истории. Но это вовсе не значит, что мы должны пренебрегать методами научной организации труда — наиболее рациональной расстановки сил, точного определения функций, строгой ответственности за определенный вид работы и т. д. Ленинские высказывания на этот счет достаточно широко известны. Бесспорно, они применимы к тем новейшим достижениям из области хотя бы «инженерной психологии», получившей широкое распространение за последние годы. Разве же опыт и знания советских специалистов в этой области не заслуживают самого тщательного изучения и распространения? Разве это не является предметом соревнования, состязания организаторов производства между собой в целях подтягивания отстающих до уровня передовых?! Можно только недоумевать по поводу того, что актуальнейшие ленинские мысли о соревновании «практиков-организаторов» (теперь у нас уже не практики, а высокообразованные специалисты) не нашли сколь-нибудь обстоятельного отражения в рецензируемых книгах.

³ Там же, стр. 193.

⁴ Там же, т. 35, стр. 203.

⁵ См. там же, т. 36, стр. 187—189.

Здесь уместно напомнить: на первых же порах развития массового соревнования в конце 20-х — начале 30-х годов (об этом говорится в «Очерках» Н. Лебедевой и О. Шкаратана) оно неизбежно должно было войти и действительно вошло в противоречие с низким уровнем организации труда и управления производством. В. В. Куйбышев в своей статье «Социалистический план и творчество масс» (1929) обращал внимание на то, что успех соревнования иногда сводится на нет неполадками в планировании, руководстве. «Добыча угля в результате соревнования повышается, — сообщают из одного каменноугольного района, — несложный уголь горит». Такое отношение к результатам, достигнутым в порядке соревнования, — смертный приговор для всего движения...»⁶.

О подобных явлениях, разумеется, еще рано говорить в прошедшем времени. И ныне довольно фактов, подтверждающих ту мысль, что в организации соревнования необходимо учитывать все сложные взаимосвязи производственной жизни. И исследователи, видимо, должны не ограничиваться одними упоминаниями о «формально-бюрократическом отношении» к соревнованию, а попытаться рассмотреть причины, вникнуть в существо подобных явлений. Более глубокий анализ фактов, несомненно, позволил бы определить ряд тенденций, проявляющихся на современном этапе развития соревнования, дать им научную оценку, обосновать некоторые рекомендации.

Нельзя было не заметить, например, предпринимаемые в практике поиски научно обоснованных критериев для определения результатов соревнования. Отсутствие таких критериев приводило и сейчас еще приводит к тому, что, выполняя и даже перевыполняя взятые обязательства, соревнующиеся в ряде случаев годами топчутся на месте — не достигают необходимых темпов роста производительности труда, выпускают продукцию невысокого качества, плохо организуют обслуживание населения и т. д. Бесспорно, успеху соревнования способствует более яркое и наглядное представление о результатах соревнования по сравнению с безликими и не всегда отражающими суть дела процентами.

Авторы всячески превозносят «многообразие форм и методов» соревнования,

рассматривая это многообразие как что-то чуть ли не самоудовлетворяющее. Но ведь, по мысли Ленина, задача состоит в том, чтобы отобрать из множества форм и методов наиболее ценные, наиболее эффективные. Кстати, на практике множественность разного рода «соревнований» иногда приводит к путанице, к неравномерному, однобокому развитию производства (разве не бывало так: развернули соревнование за экономию материалов — ухудшилось качество продукции; начали движение за увеличение межремонтных пробегов машин — это отрицательно сказалось на состоянии техники). Бывает, искусственно обособляются взаимосвязанные стороны труда — организуется соревнование «за высокие надои молока...», «за культуру на фермах...», «за повышение жирности молока...» и т. д. Но можно ли отделить борьбу за высокое качество продуктов от достижения соответствующей культуры труда? Здесь невольно вновь хочется подчеркнуть ленинскую мысль о соревновании «организаторов народного труда»: они-то как раз и обеспечивают развитие производства в комплексе, в сложной взаимосвязи всех его процессов и результатов. Не случайно во многих производственных коллективах сейчас разработаны и успешно применяются такие методы учета и подведения итогов соревнования, которые позволяют измерять не какую-то одну сторону или часть трудового процесса, а общий, коллективный его результат (например, система учета баллов).

К сожалению, авторы книг явно уклоняются от рассмотрения подобных актуальных и острых вопросов, возникающих в ходе соревнования. Это намного снижает научную и практическую ценность исследования.

Последнее замечание тоже исходит из необходимости преодолеть подобный схематичный, отчасти шаблонный подход к рассматриваемой проблеме. Во всех помеченных трудах соревнование фигурирует как решающее средство развития экономики. Но ни в одной работе, по сути дела, оно не находит отражения как фактор развития политической структуры общества, как фактор развития и укрепления социалистического государства.

Между тем роль и значение соревнования, по мысли Ленина, никогда не ограничивались сферой экономики. Правда, он считал, что «в политической области это

⁶ В. В. Куйбышев Избранные произведения. Госполитиздат, 1958, стр. 139.

гораздо легче поставить, чем в экономической, но для успеха социализма важно именно последнее»⁷.

На словах авторы нигде не отрицают неразрывной связи этих двух ведущих категорий общественного развития (напомним, что политика, по выражению Ленина, есть концентрированное выражение экономики). Однако исследования несут на себе заметный отпечаток непонимания (или неполного, механического понимания) этой диалектической связи, что мало способствует уяснению социальных функций и роли соревнования в социалистическом обществе.

В своем письме «О мерах перехода от буржуазно-кооперативного к пролетарски-коммунистическому снабжению и распределению (февраль 1919 года) В. И. Ленин подчеркивает (содержание вопроса в данном случае не рассматривается; письмо представляет огромный интерес именно методологически, с точки зрения постановки дела, подхода к решению выдвинутой государственной задачи):

«Необходимо

(1) поставить этот вопрос в печати;

(2) вызвать соревнование (подчеркнуто мной.— Б. Б.) всех центральных и местных учреждений Советской власти (особенно Высшего совета народного хозяйства и совнархозов, Компрода и продорганов, Центрального статистического управления и Наркомзема) в решении этой задачи;

(3) поручить кооперативному отделу ВСНХ и всем учреждениям, в § 2 упомянутым, выработать *программу* таких мер и формуляр собирания сведений о подобных мерах и о фактах, позволяющих развить эти меры;

(4) назначить премию за лучшую программу таких мер, за наиболее практичную программу, за самый удобный и осуществимый формуляр и способ собирания сведений об этом»⁸.

Здесь в конкретной форме мы видим воплощение ленинских принципов соревнования (гласности, сравнимости результатов, возможности практического повторения опыта) в применении к сфере государственного строительства, аппарата управления. Суть дела сводится к тому, чтобы работники упомянутых ведомств разработали наиболее разумную и целесообразную про-

грамму действий многочисленных коллективов и наилучшие методы решения выдвинутой задачи.

Другой, не менее поучительный пример относится к области культуры. После обсуждения в Совнаркоме вопроса о положении библиотечного дела В. И. Ленин направил в Народный комиссариат просвещения письмо со своими дополнительными соображениями по этому поводу.

«Библиотечное дело,— писал он,— включающее, конечно, «избы-читальни», всякие читальни и т. п., больше всего требует вызова *соревнования* между отдельными губерниями, группами, читальнями и проч. и т. п.»⁹. Далее Ленин перечисляет конкретные условия соревнования, которые, на его взгляд, были бы приемлемы в библиотечном деле: обращаемость книг в данной библиотеке, посещаемость читальни, обмен книгами и газетами с другими библиотеками, создание каталога, использование воскресений и вечеров, привлечение новых слоев читателей, женщин, детей, нерусских и т. п., удовлетворение справок читателей, простые и практичные способы хранения книг и газет, условия выдачи книг на дом, посылки их по почте и т. д. И в заключение непременно стимул: «За лучшие отчеты и за успехи награждать премиями».

Если сопоставить эти ленинские высказывания с его основополагающими идеями о соревновании, не останется сомнений в том, насколько глубоко и всесторонне трактовал он рассматриваемую проблему. И эта трактовка имела под собой научный фундамент, заложенный еще Марксом и Энгельсом. Они не сковывали свое сознание преходящими соображениями и представлениями, а сосредоточивали внимание на подлинных реальностях бытия. В. Смольков приводит на этот счет целый ряд интересных высказываний. Соревнование, согласно Марксу, основано на человеческом стремлении быть среди лучших; оно отвечает человеческой природе и получит развитие только в обществе, «достойном человечества». О том, что дух соревнования свойствен самой природе человека, не раз говорили многие мыслители эпохи, весьма далекой от наших дней. Интересно в этом отношении высказывание мыслителя XVIII века аббата Габриеля Мабли. «Общество,— писал он,— будет поощрять к соревнованию вознаграждением земледельцев, поля которых бы-

⁷ В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 190.

⁸ Там же, т. 37, стр. 472.

⁹ Там же, стр. 474.

ли бы наиболее плодородными; пастуха, стада которого были бы наиболее здоровыми и плодovitыми; охотника, самого ловкого и наиболее выносливого; ткача, наиболее трудолюбивого; отца семьи, наиболее внимательного к воспитанию в семье гражданских обязанностей, и детей, наиболее послушных на уроках и наиболее старающихся подражать добродетелям отцов».

Однако дух соревнования, свойственный психологической природе человека, реализуется всегда в конкретных социальных условиях. И те специфические черты, которые присущи этому явлению в нашей стране, не могли быть предугаданы хоть сколько-нибудь реально даже самыми смелыми мыслителями далекого прошлого.

★

ПЕРЕД БОЛЬШОЙ ВОЙНОЙ...

Пограничные войска СССР. 1939 — июнь 1941. Сборник документов и материалов. М. «Наука». 1970. 815 стр.

Несколько лет назад издательство «Наука» выпустило в свет сборник документов «Пограничные войска в годы Великой Отечественной войны. 1941—1945». Объемистая и строго продуманная, насыщенная фактами, книга эта неотразимым языком документов поведала о высоком героизме советских пограничников от первого до последнего дня Великой Отечественной. Ее страницы воссоздали всю грандиозность коллективного подвига воинов в зеленых фуражках. Конечно, особо впечатляют документы, относящиеся к начальному периоду войны, к июньским боям на западной границе, когда наши погранзащиты первыми приняли на себя подлый вероломный удар в десятки раз превосходящих сил гитлеровской армии. Генеральный штаб вермахта отвел на взятие и уничтожение советских застав полчаса, — истекая кровью, они держались сутками. Ни одна из них не отошла без приказа. Ни один пограничник не был убит выстрелом в спину — каждый принял смерть лицом к лицу. Уцелевшие выходили из окружения, продолжали сражаться. И сразу хочется поставить в этот ряд иной — по времени и месту — факт: охрану здания военно-инженерного училища в Карлхорсте, в восточной части Берлина, где подписывался акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии, несли пограничники-фронтовики. Вот так: пережив трагические июньские дни и ночи сорок первого, прошагав весь страдальный путь войны с запада на восток и с востока

Сегодня соревнование охватывает все без исключения участки социалистического строительства; дух состязания, творчества пронизывает деятельность всех членов общества — рабочих, крестьян, служащих, специалистов народного хозяйства и культуры, организаторов народного труда. В ходе соревнования распространяются не только передовые технологические процессы и приемы работы, но прежде всего лучшие образцы хозяйствования, организации труда, ценный опыт руководства и управления. Соревнование в таком виде принимает поистине массовый характер и становится могучим рычагом прогресса.

Б. БОЧКОВ.

на запад, пограничники пришли в мае сорок пятого в Берлин!

Верность воинскому долгу, воплощавшаяся в мужестве, стойкости, готовности к самопожертвованию, была свойственна и тем пограничникам, которые не участвовали в боях на фронте. Они всю войну охраняли государственные рубежи на востоке и юге, и у них был свой фронт, незримый, пограничный, ежесекундно могущий проявить себя самым доподлинным боем с диверсантами, шпионами, бандитами (это прежде всего относится к советско-японской и советско-турецкой границе, вспомните: правительства Японии и Турции лишь выжидали благоприятного момента, чтобы ударить нам в спину). Какие бы задачи ни выполнялись погранвойсками в Великой Отечественной войне — боевые действия в составе Вооруженных Сил, охрана тыла Действующей армии, выход на западную границу и борьба с националистическими бандами, охрана южной и восточной границы, участие в разгроме империалистической Японии, — они всегда выполнялись с честью. История сохранила нетленными примеры массового героизма пограничников в эти годы, когда на полях сражений решалась судьба нашей Родины.

Знакомясь с документами, хронологические рамки которых — начало и конец Отечественной войны, читатели невольно думали и о ее предыстории, о годах, предшествовавших этой поистине Большой войне, потрясшей весь земной шар. Хотелось

узнать (опять же при помощи документа, отражающего правду событий), с чем вступили в июнь сорок первого войны-чекисты, как они готовились к решающим испытаниям, как жили и служили на границе, как набирались ратного опыта в «малых войнах» в Монголии и Финляндии, ставших как бы преддверием той самой — Большой — войны.

И вот такая книга передо мной — «Пограничные войска СССР. 1939 — июнь 1941». Выпущенная тем же издательством «Наука», она подготовлена к печати Институтом истории СССР Академии наук, Главным и Политическим управлениями погранвойск Советского Союза. Составители и редакционная коллегия во главе с генерал-полковником П. И. Заряновым проделали огромную работу по отбору, систематизации, археографической обработке документов и материалов, используемых в сборнике.

Всего в книге 807 документов. Подавляющее большинство их публикуется впервые.

Совокупность самых разнообразных документов сборника — от официальной ноты правительства до личных, дневниковых записей пограничника — создает широкую и целостную картину того, чем жили войны границы в 1939—1941 годах. А их жизнь, и это хорошо просматривается в рецензируемом сборнике, была составной частью жизни всей страны.

С большим интересом читаются материалы о мерах Коммунистической партии и Советского правительства, направленных на укрепление государственной границы. Увеличена была общая численность погранвойск, сформированы новые пограничные округа и отряды, строились оборонительные укрепления, войска перевооружались, оснащаясь современным оружием, улучшалась их боевая и политическая подготовка.

А теперь, соблюдая схему построения сборника, остановимся на документах, связанных с северным и северо-западным, западным, южным, восточным и дальневосточными участками границы.

Зимой 1939/40 года советским пограничникам довелось участвовать в боях с белофиннами. Это было серьезной проверкой боевых и морально-политических качеств воинов-чекистов, и они эту проверку выдержали блестяще. Нелишне напомнить, что война была спровоцирована реакционными кругами тогдашней Финляндии, враждебно относившимися к Советскому государству с его традиционно мирной, добрососедской

политикой. Науськиваемые заграничными державами, они подняли оголтелую антисоветскую кампанию, усилили военные приготовления в приграничных районах и в конце концов развязали войну. Началось это с провокаций финских пограничных частей. Например, 28 ноября в районе Карельского перешейка белофинны обстреляли наш пограничный наряд и попытались захватить его. Наряд отбил нападение. В тот же день в Видлицком районе было произведено два орудийных выстрела по советской территории. Чуть раньше, 26 ноября, наши части около села Майнила также были обстреляны финской артиллерией. Семью орудийными выстрелами были убиты четыре и ранены девять советских воинов. Эти и другие провокации привели к тому, что после неудачных дипломатических попыток образумить зарвавшихся белофиннов Красная Армия 30 ноября вынужденно приступила к боевым операциям.

Как и всегда в час испытаний, патристические чувства сильнее накала охватили бойцов и командиров. Накануне боевых операций на границе прошли собрания и митинги; пограничники полностью одобряли политику Советского правительства, клялись выполнить воинский долг. Перед боями и в ходе их невиданно возрос приток в партию и комсомол. Командование погранотрядов было буквально засыпано рапортами с просьбой направить на фронт. Вот один из таких документов, трогających искренностью, непосредственностью, глубиной чувства, — докладная записка командира отделения П. О. Лукина от 2 декабря 1939 года своему командиру:

«Прошу Вашего ходатайства перед командованием отряда о том, чтобы меня направили на границу. Я не в силах и не могу больше бороться с собой. Т. командир взвода, в 1938 г., когда на о. Хасан открылся бой, я не мог тогда работать больше на производстве. Меня тянуло туда, где шел бой, и на поданное мое заявление о том, чтобы меня приняли в РККА, очень был рад, что мою просьбу удовлетворили и что теперь буду иметь возможность, если враг перейдет границу, первым пойти в бой. За этот год я много готовился по тактике и к будущим боям. Вот из моего отделения бойцов всех взяли, которых я учил, а я остался здесь. Если бы вы знали, как я переносил такую нанесенную мне обиду. Я в жизни никогда так не переживал, как 1-го числа. Я думаю, что вы и командование

отряда учтете все это и пойдете мне на встречу, снимете с меня ту тяжесть переживаний, которую я сейчас несу. Вы смело можете заверить командование, что я с честью выполню их приказание, не пожалю ни одной своей капли крови, и если потребуется отдать жизнь за победу, я ее отдам. Лукин».

Характерно, что не только отдельные пограничники, но и целые подразделения обращались к командованию, прося направить их на фронт, на самые опасные его участки.

Пограничные отряды ликвидировали финские кордоны, обеспечивали продвижение полевых войск через линию государственной границы. Выполнив эту задачу, пограничные войска Ленинградского, Карельского и Мурманского округов охраняли границу и тылы действующей Красной Армии, вели борьбу с диверсионно-разведывательными группами и подразделениями противника. Всюду пограничники проявляли бесстрашие, стойкость, готовность прийти на выручку товарищу. Даже раненые продолжали сражаться. Приведу выдержку из документа о действиях 5-го погранполка, находившегося в марте 1940 года в окружении, — свидетельство батальонного комиссара товарища Черкалина: «Много было обмороженных и раненых, не могущих ходить. Мы их не забывали. Лично я и другие члены партии ползали к ним беседовать еще чаще, чем в другие землянки, рассказывали об обстановке, о новостях и т. д. Двух человек — отделенного командира Анучина, красноармейца Бочаева — вражеская пуля ранила в рот, выбила все зубы. Кушать они не могли. Мы им специально выделяли норму сахара, масла, разминали сухари и кормили. Оба они выжили и во время наступления противника вползали в окоп и вели огонь по противнику. Остальные раненые во время наступления противника выходили кто с чем мог — с гранатами, с винтовками — и вели огонь. Одна часть раненых была у пулеметов, другая набивала диски и ленты патронами и доставляла их пулеметчикам».

А вот выдержка из наградного листа на красноармейца 41-го отдельного пограничного батальона: «Красноармеец 2-й роты 1-го взвода Литовка Петр Алексеевич, 1908 г. рождения, беспартийный, во время боев с белофиннами показал себя как преданный патриот нашей Родины. Особый героизм проявил т. Литовка П. А. 25 фев-

раля 1940 г., будучи в разведке, где был с ручным пулеметом, огнем ручного пулемета обеспечивал продвижение разведки к окопам противника. В это время у него отказал пулемет. Т. Литовка зарядил гранату и пополз вперед. Во время продвижения вперед нашел ручной пулемет ручного пулеметчика, убитого в бою 4 февраля 1940 г., взял этот пулемет и открыл огонь по противнику, ведущему ураганный огонь по нашей разведке. Этим самым дал возможность нашей разведке отходить».

Из боя вынес оба пулемета, в то же время прикрывая огнем ручного пулемета отход разведки, вышел из боя последним. Но из числа разведки с сопки Скалистой не возвратились три человека, уклонившиеся правей от действий разведки. Т. Литовка первым заявил, что он пойдет на выручку товарищей. Задачу выполнил, но получил два тяжелых ранения и был направлен в госпиталь».

Да, это героизм, но на фронте он был нормой поведения. Тяжелая, кровопролитная война с белофиннами продлилась до 12 марта 1940 года. И все эти три с половиной месяца пограничники образцово выполняли любое задание командования. Многие из них были награждены орденами и медалями, а тринадцать человек удостоены звания Героя Советского Союза.

Из своего военного поражения правящие круги Финляндии не извлекли уроков. Наоборот, они стали готовиться к новым авантюрам. Их вдохновляли пример и покровительство гитлеровских агрессоров. В конце 1940 года генеральные штабы Финляндии и Германии приступили к согласованию оперативных планов вторжения в Советский Союз. Не прекращались и провокации финской военщины у государственной границы,

После принятия Эстонии, Латвии и Литвы в состав Советского Союза черта нашей государственной границы пролегла по Балтийскому морю, а на литовском участке мы впрямую стали граничить с Германией. Непосредственная граница с ней у нас была с сентября 1939 года также в Белоруссии и на Украине, когда рухнула панская Польша и Красная Армия пришла на помощь западнобелорусским и западноукраинским братьям. Здесь, на западных рубежах, и развернулись впоследствии наиболее драматические события 22 июня 1941 года.

Поставив свою подпись под советско-германским пактом о ненападении, гитлеровцы на практике вели дело к войне. На

первых порах они ограничивались мелкими пограничными инцидентами. Но чем дальше, тем больше нагнали, а их подрывная работа приобретала планомерный и массовый характер, занимая заметное место в подготовке войны против СССР. В сборнике представлены многочисленные документы о том, как гитлеровцы разрушали пограничные знаки, атаковали наши пограничные наряды, обстреливали советскую территорию, пограничников и мирных граждан, подбивали польских жителей на нелегальные переходы границы, устраивали в приграничных селах антисоветские митинги и демонстрации. По вине германских властей в 1940 году произошло 235 различных конфликтов и инцидентов.

Во все возрастающем объеме гитлеровская агентура забрасывалась на советскую территорию. Наши пограничники вступили в напряженное единоборство с немецкими разведчиками. С октября 1939 года по декабрь 1940 года на западной границе было обезврежено более пяти тысяч фашистских агентов. Война приближалась, и возрастала активность немецкой разведки, и соответственно возрастало число задержанных или уничтоженных лазутчиков (в первом квартале 1941 года их было больше в 15—20 раз по сравнению с первым кварталом 1940 года и во втором квартале 1941 года в 25—30 раз больше, чем во втором квартале 1940 года). В большинстве своем это были профессиональные разведчики, и потеря их проходила для абвера отнюдь не безболезненно.

С апреля 1941 года через границу начали засылаться значительные группы войсковых разведчиков, возглавляемые опытнейшими офицерами абвера. По характеру заданий диверсионно-шпионские группы были отлично экипированы и вооружены, каждая из них имела инструкцию о том, что надо делать при возникновении войны. Нередко они передевались в форму бойцов и командиров Красной Армии. Борясь с германскими шпионами и диверсантами, с террористическими бандами ОУН (организация украинских националистов), пограничники показывали мужество, стойкость, воинское мастерство.

Крепко помогали пограничникам местные жители. Вот отдельные примеры из доклада начальника пограничных войск Белоруссии генерал-лейтенанта Богданова об охране государственной границы в 1940 году:

«21 августа 1940 года на участке 10-й за-

ставы Августовского пограничного отряда в 4 км от линии границы пионервожатый местного пионерского дома Спирович К. К., заметив в лесу неизвестного, с помощью пионеров Севастьянова, Сидоренко и Никифорова задержал его. Неизвестный оказался нарушителем границы из Германии.

26 сентября 1940 г. на участке 16-й заставы Чижевского пограничного отряда в районе д. Вулька-Замкова был обнаружен след через границу в тыл. Пограничники, преследуя нарушителя по следу, в 5 км от границы встретили рабочих стройучастка № 2 Садового и Вергия, которые, заметив нарушителя границы, вели за ними наблюдение и оказали помощь в задержании...

7 октября 1940 г. в 12.40 на участке 4-й заставы Ендреваского пограничного отряда 15-летний школьник Кондратюк Андрей в 200 м от границы, в лесу, в районе с. Понубовас заметил троих неизвестных, которые спросили у него дорогу. Заподозрив в неизвестных нарушителей границы, Кондратюк предложил услуги вывести их на дорогу, а вместо этого подвел к заставе и передал пограничникам.

28 ноября 1940 г. в 8.15 на участке 18-й заставы Ломжинского пограничного отряда был обнаружен след нарушителя, перешедшего из Германии в СССР. В 9.20 нарушитель был замечен гражданином д. Грусели Лядиком Иосифом в своем огороде, [он] пригласил его к себе, спрятал в сарае, о чем поставил в известность начальника заставы через председателя сельского комитета. До прибытия начальника заставы вел наблюдение за нарушителем».

Граница охранялась бдительнейше. Но там, за границей, за Бугом и Саном, готовились к прыжку гитлеровские армии вторжения. Война надвигалась на нашу страну, и пограничники видели это воочию. День и ночь в приграничье подтягивались пехота, артиллерия, танки вермахта. События принимали грозный оборот. В апреле, мае, июне с границы шли в Центр донесения — одно тревожнее другого. И вот — документ, как бы подводящий черту, за которой уже вставала война, — докладная записка заместителя наркома внутренних дел генерал-лейтенанта Масленникова, датированная: «Не ранее 21 июня 1941 г.»:

«21 июня с. г. на участке пограничного отряда (УССР) задержан перешедший через границу на территорию Союза ССР ефрейтор 222-го саперного полка германской армии Лисков Альфред Гельманович.

На допросе в пограничном отряде Лисков показал, что 21 июня с. г. на занятиях командир взвода лейтенант Шульц объяснял солдатам, что в ночь с 21 на 22 июня после артиллерийской подготовки будет форсироваться р. Буг на плотках, в лодках и понтонах...»

Что произошло на рассвете 22 июня, мы слышном хорошо знаем.

Давайте теперь мысленно перенесемся на юг, к границам нашей Родины с Турцией, Ираном и Афганистаном. В предвоенные годы здесь наиболее тревожно было на турецком участке. Империалистические государства издавна уделяли внимание Турции, рассматривая ее как потенциального партнера в открытой борьбе с Советским Союзом. Образовавшиеся в то время два противостоящих блока стремились привязать Турцию к своей колеснице. Турецкие правители, набивая себе цену, сначала флиртовали с англо-французами, затем переметнулись к итало-германцам. В предисловии к рецензируемому сборнику справедливо говорится: «Меняя союзников, турецкое правительство не изменяло своего антисоветского курса...» И как следствие этого курса — постоянное обострение положения на турецко-советской границе. Нарушения границы, обстрел наших пограничных нарядов и местных жителей, разведывательные полеты самолетов — обычный перечень пограничных провокаций. А с началом второй мировой войны, особенно в 1940 году, Турция стала перебрасывать к границе полевые части и артиллерию. Не назовешь спокойной и обстановку на границе с Ираном и Афганистаном, где в 1939—1940 годах заметно оживились бандитские формирования, шайки басмачей и контрабандистов.

Как несли свою службу на юге советские пограничники? А вот так, к примеру:

«10 октября 1939 г. в 10.00 член бригады содействия сторож военлагерей Чули (12 км северо-западнее заставы «Фирюза») Саратовский по телефону сообщил начальнику заставы «Фирюза» лейтенанту Скупченко, что он в 7.00 10 октября 1939 г., будучи на охоте в районе родника Яглы-су (5 км северо-западнее Чули), видел, как восемь человек неизвестных вооруженных прошли мимо родника и стали подниматься на северные склоны горы Душак.

Лейтенант Скупченко, получив донесение, немедленно организовал группу из четырех бойцов и двух членов бригады содействия, доложил обстановку в штаб

войск округа и по приказанию штаба войск сам лично с указанной группой выступил к месту обнаружения банды с целью организации преследования...

В Чули лейтенант Скупченко уточнил обстановку и в 13.00 10 октября 1939 г. с группой пограничников и бригады содействия у родника Яглы-су обнаружил следы банды и, пустив розыскную собаку, пошел в преследование по сильно пересеченной, каменистой местности. Благодаря настойчивости в преследовании и быстрому движению по горам группа Скупченко к 17.00 настигла банду, которая, пользуясь превосходством своего положения по рельефу, заняв удобную позицию, вступила с группой Скупченко в бой. Бой продолжался более часа, в результате решительных действий группы лейтенанта Скупченко пять бандитов были убиты, один захвачен живым. В этой операции пал смертью храбрых лейтенант Скупченко...» (Из описания наиболее характерных положительных действий пограничных нарядов на участке Туркменского округа за 1939 год.)

А что происходило в эти годы на советско-маньчжурской и советско-японской границах? Документы сборника пестрят фактами непрерывных конфликтов и боевых столкновений, спровоцированных японской военщиной. Конечная цель ее сводилась к отторжению Приморья, Забайкалья и Сибири — вплоть до Урала. Ничего себе аппетиты были у самураев! Столь же ненасытные, как и у гитлеровцев, бредивших о захвате европейских областей СССР — и тоже, само собой, до Уральского хребта.

Провокации, провокации, провокации. Обратите внимание на цифры, приводимые в докладе командования пограничных войск Хабаровского округа об охране государственной границы в 1940 году:

«Провокационные действия противника выразились в следующем:

Обстрелы территории и людей через границу	— 19 случаев
Угроза оружием через границу	— 4 случая
Нарушение границы военными служащими	— 1 случай
Обстрел наших пограничных нарядов	— 15 случаев
Выход на середину р. Амур с провокационными целями	— 5 »
Нарушение правил плавания плавсредствами Маньчжурии	— 8 »

Нарушение границы самолетами	—30 случаев
Нарушение границы военными судами	—3 случая
Нарушение границы коммерческими судами	—8 случаев
<hr/> Всего	<hr/> —93 случая».

Красноречивая арифметика пограничных будней. А вот эти факты — тоже пограничные будни. 5 и 12 марта 1939 года на участке Гродековского погранотряда (застава «Грушевая») японо-маньчжурские власти развязали вооруженные конфликты с участием двух батальонов японской пехоты. 31 марта на участке Уссурийского погранотряда (застава «Ильинка») до батальона японцев неоднократно атаковало пограничников. 27 и 28 мая японо-маньчжуры с двух бронекатеров высадили большой десант на советские острова на Амуре и Уссури и учинили расправу над двумя пограничниками, находившимися в наряде. Прибывший на подмогу резерв наших пограничников уничтожил бронекатер и около 90 японцев, остальные бежали с островов. Так бесславно для захватчиков заканчивались и другие провокации.

Но битому неймется. Под покровом разглагольствований о своих особых территориальных и экономических интересах в этих районах, о некоем праве на советские дальневосточные земли (не правда ли, знакомо, мы и ныне слышим подобные откровения, хотя они исходят из другого источника) Япония прощупывала наши границы. Наконец она отважилась на военную авантюру против СССР и Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол.

Начавшись с пограничных столкновений, события вскоре приобрели характер широких боевых операций пехоты, танков, тяжелой артиллерии, самолетов. Части Красной Армии совместно с монгольскими войсками за три с лишним месяца боев (с 11 мая 1939 года) наголову разгромили отборную 6-ю японскую армию, изгнав агрессора с территории дружественной нам Монголии.

В боях на Халхин-Голе участвовал сводный пограничный батальон, которым командовал майор А. Е. Булыга, начальник штаба Кяхтинского погранотряда. Батальон был сформирован из пограничников Кяхтинского, Мангутского и Даурского отрядов Читинского пограничного округа. Это были бойцы и командиры, отлично

проявившие себя на границе. В боях на Халхин-Голе они подтвердили свое доброе имя. В сводке о политико-моральном состоянии отдельного батальона пограничных войск говорится:

«В боях с японскими захватчиками личный состав батальона проявил исключительные образцы мужества, храбрости и героизма и доказал свою преданность нашей Родине, партии и Советскому правительству.

Не щадя своей жизни, бойцы и командиры стремительно бросались на врага, как правило, обращали его в бегство и своим примером увлекали за собой действующие вместе с ними подразделения РККА.

В результате отважных действий в боях бойцы и командиры пограничного батальона пользовались среди частей всех родов войск РККА, с которыми им пришлось действовать, заслуженной любовью и уважением».

В другом документе (№ 693) указывается, что пограничники-забайкальцы заслужили благодарность командарма товарища Штерна, комкора товарища Жукова и премьер-министра МНР маршала Чойбалсана. Многие бойцы и командиры батальона были удостоены правительственных наград.

Любопытная деталь. Несмотря на фронтовые успехи и награды, пограничники трезво, самокритично относились к своим действиям. В сборнике приводится факт, когда приехавшего на передовые позиции представителя политотдела округа они попросили обратить внимание на пробелы в боевой подготовке бойцов и командиров, выявившиеся в первоначальный период боев: недостаточное умение владеть саперной лопаткой, штыком и гранатой, слабая маскировка, просчеты в тактических навыках. Просьба эта была учтена и промахи в боевой подготовке личного состава границы исправлены.

На Халхин-Голе самураев поучили уму-разуму. Они надолго оставили мысль перекраивать границы СССР и МНР силой оружия. Но суть политики японской верхушки осталась неизменной: антисоветизм, разработка и подготовка планов захвата наших земель. Изменилась лишь тактика. Она стала осторожной, выжидательной. А выжидали японцы одного — когда Гитлер нападет на Советский Союз и «северный сосед зашатается».

После начала второй мировой войны командующий Квантунской армией, дислоци-

рованной в Маньчжурии, заявлял в воззвании к местному населению: «Осенью этого года проводятся большие маневры карательной экспедиции. Этот случай позволяет нам обратиться к населению с очень важным заявлением по поводу международной обстановки: в связи с объявлением большой европейской войны все западные страны находятся на грани новых и даже и Мы... со спокойствием на сердце продолжаем создавать великую Азию желтой расы» (документ № 694).

Вкусив горяченького на Халхин-Голе, японцы не предпринимали больше крупных вооруженных выступлений. Но всевозможные провокации продолжались и даже с течением времени учащались. Это касается и сухопутной границы и морской, преимущественно у Камчатки и Курил. В 1940 году усилилась шпионско-диверсионная деятельность японской разведки и белоэмигрантских организаций; в приграничной полосе полным ходом шло строительство аэродромов, подъездных путей, казарм и прочих военных объектов; к линии границы стягивались полевые войска (например, к концу 1940 года численность японских частей на участке Приморского пограничного округа составляла около 200 тысяч человек, а были подготовлены условия для размещения 450 тысяч); продолжалось выселение коренных жителей, их заменяли японскими резервистами; среди приграничного населения велась разнузданная антисоветская пропаганда. Все это делалось в соответствии с новым планом военных действий против нашей страны, разработанным японским генштабом в 1940 году.

Мужественно противостояли японо-маньчжурским провокаторам и белобандитам пограничники Дальнего Востока и Забайкалья. Документы четвертого раздела выразительно рассказывают об этом. Только один пример:

«Красноармейцы-комсомольцы Жидков и Калашницын, установив высадку с одного из японских катеров десанта в составе 30—40 человек, несмотря на численное превосходство противника, смело завязали с ними бой, заставили развернуться и не допустили продвижение вперед. В этом бою товарищ Жидков получил три ранения, но, несмотря на это, не прекращал ведение

огня по противнику. Четвертая пуля сразила героя-пограничника.

Т. Жидков посмертно награжден орденом Ленина, т. Калашницын награжден орденом Красного Знамени.

Красноармеец-комсомолец Курбань во время боя показал себя как преданный сын Родины. Будучи тяжело ранен, т. Курбань не прекращал ведения огня до тех пор, пока не был вынесен с поля боя санитарями» (документ № 689).

В этом же документе приводится телеграмма родителей погибшего пограничника М. М. Жидкова в Бикинский погранотряд: «Вместе с вами скорбим о тяжелой для нас утрате сына — патриота нашей великой Родины. Мы горды тем, что наш сын пал смертью храбрых в защите священных границ». Нельзя не поклониться людям, так понимавшим свой гражданский долг...

Канун Великой Отечественной войны! Теперь документально известно, каким он был на наших государственных рубежах. Знакомишься с материалами сборника и понимаешь: люди, проявившие завидные боевые и морально-политические качества в предгрозовые, предвоенные годы, и Большую войну должны были встретить достойно. И они встретили ее достойно.

Рецензию хочется закончить следующим соображением. Пограничные войска — часть Вооруженных Сил. Но если история Советской Армии разрабатывается с достаточной полнотой и ежегодно выпускается значительное количество коллективных трудов ученых, монографий, мемуаров, сборников документов, посвященных ей, то изучение и осмысление славного пути советских пограничников явно отстает от уровня сегодняшней военной науки. Следовательно, необходимы новые публикации документов, начатые сборниками, о которых шла речь в этой рецензии. Идти следует и «в глубь истории» (тут насыщенные крупными событиями на границе целое двадцатилетие — 1918—1938 годы), и в послевоенное время (не менее значительное в истории погранвойск, чем все остальные периоды).

У издательства «Наука», у составителей и редакционной коллегии двух упомянутых сборников уже накоплен положительный опыт работы. Повторяю: ее, эту работу, можно и нужно продолжить.

О. СМЕРНОВ.

КОРОТКО О КНИГАХ

★

Р. КОВНАТОР. Ольга Ульянова. М. Политиздат. 1971. 136 стр.

Она скончалась в пору своей двадцатой весны. Казалось бы, что можно сказать о ней, кроме теплых слов и сожаления о раннем уходе?

Однако ее короткая судьба значительна. По свидетельству Дмитрия Ильича Ульянова, «это был самый близкий, лучший товарищ Володи в годы детства и юношества. Она была моложе брата, но не отставала от него по развитию».

Документальная повесть Р. Ковнатор издана в серии «Семья Ульяновых», выпуск которой только что завершил Политиздат. Из семи книжек серии наибольшую трудность представляло, пожалуй, написание этой повести: материалы о жизни О. И. Ульяновой скудны и разрозненны. Автор впервые и очень скрупулезно собрал их воедино и на этой основе построил интересное повествование о первом товарище Владимира Ильича.

С юности готовила себя Ольга Ильинична к тому, чтобы принести «существенную пользу» народу, мечтала о служении и подвиге во имя его счастья. Думая о своем жизненном призвании, она писала: «В душу человека вложено стремление к истине и к идеалу. Из этого я заключаю, что человек должен всегда верить в людей, в возможность лучшего на земле, несмотря на личные разочарования, потому что так уж он создан. А если не верить в людей, не любить их, тогда для чего же жить». Материалы повести убедительно подтверждают слова, сказанные об Ольге ее старшей сестрой Анной Ильиничной: «Из нее вышла бы несомненно выдающаяся и преданная революционерка».

В заключение автор рассказывает о глубокой скорби Владимира Ильича по поводу смерти любимой сестры, посещении им после переезда в Петербург в 1893 году ее могилы на Волковском кладбище. К этому можно добавить, что и четверть века спустя, в апреле 1917 года, он в первые же часы после возвращения в революционную Россию посетил дорогие сердцу могилы — матери и сестры.

Дм. Шелестов.

А. ПЛАТОНОВ. Размышления читателя. Статьи. М. «Советский писатель». 1970. 231 стр.

В последнее десятилетие были опубликованы и переизданы многие произведения Андрея Платонова — рассказы, повести, сценарии. И вот издательство «Советский писатель», выпустив новую книгу «Размышления читателя», знакомит нас еще с Платоновым-критиком. Теперь лучшие платоновские статьи собраны воедино, и мы имеем возможность проследить развитие критической мысли писателя «в комплексе», читая новую книгу, если употребить выражение ее автора, «бережно и медленно».

Вчитываясь в статьи писателя, начинаешь постигать, что метод анализа, названный им размышлениями, если и уступает общепринятому исследовательскому в многогранности, в широте, то, бесспорно, выигрывает в глубине и, самое существенное, в одушевленности письма. Именно эта одушевленность платоновского анализа, касается ли она любимых им книг или произведений, к которым критик относится с определенным неприятием, и дает, думается, право говорить о «дневниковой» форме статей писателя, об их внутренней «исповедальности».

Андрей Платонов — прежде всего художник, отсюда и своеобразие его критических статей, о котором подробно и, на наш взгляд, весьма аргументированно говорит Л. Шубин в своем предисловии: точное определение самого предмета анализа, с одной стороны, и самооценка, проверка собственных художественных принципов — с другой. Вероятно, второе и служит опорой «исповедальной» манере статей Платонова, их своеобразной философской, публицистической устремленности.

Статьи Андрея Платонова — статьи о своих современниках. А если писатель обращается к творчеству художников прошлого, то и здесь главный акцент ставится на том, сколь важны их произведения для нынешнего времени, насколько они способствуют формированию нравственно-эстетического идеала советского человека. В этом писатель бывает иногда излишне категоричен, может быть, чересчур прямолинеен, но нигде его оценки не несут в себе «приговорного» оттенка и тем более вульгарного практицизма. Анализ, произведенный в платоновских статьях, от-

мечен тонким художественным вкусом, пониманием специфики творчества и большим эстетическим и человеческим тактом — идет ли речь о классиках (Пушкине, Лермонтове, Короленко, Горьком) или о наших современниках (Анне Ахматовой, А. Грине, К. Паустовском и других).

Большой такт проявляет Платонов и при анализе произведений Э. Хемингуэя, Р. Олдингтона, К. Чапека и других западных прозаиков, хотя и критикует их, бывает, за пессимизм, за расплывчатость идеала, или, говоря словами самого Платонова, за отсутствие «стремления к открытию нового центра внутри человека». Вера писателя в торжество социалистической нравственности заставляет и нас, людей 70-х годов, воспринимать его статьи взволнованно и напряженно как сегодняшние, раздумывать над ними, спорить с автором и после все-таки согласиться с ним в главном: подлинная литература — только тогда, «...когда героев можно почувствовать сердцем и достичь прикосновением руки».

Н. Кузин.

Свердловск.

★

РУССКИЙ ВОДЕВИЛЬ. Составитель Н. Шантаренков. М. «Искусство». 1970. 424 стр.

На протяжении всей своей истории русский водевиль знал бурные взлеты и падения, периоды шумного господства и забвения. В каких только грехах не обвинялся водевиль в прошлом! О нем писали как о чужеродном явлении в русском театре, пустом, развлекательном зрелище. А он продолжал жить, вызывая неизменные симпатии зрителей.

Плеяда блестящих мастеров русской сцены связала себя с водевилем. Это — Щепкин, Мартынов, Самойлов, Асенкова, Дюр, Живокини, Гусева. Целые поколения молодых актеров начинали театральную жизнь с водевильных ролей. Не будет преувеличением сказать, что водевиль всегда являлся школой актерского мастерства. К. С. Станиславский говорил актерам, что водевильный жанр отличает «жизненное правдоподобие, искренность чувств, подчас сатира и злободневность, изящество и поэтичность, музыкальность и ритмичность. Давайте во всем перечисленном упражняться: вырабатывать, искать и воспитывать в себе эти качества».

Дожил водевиль и до наших дней. К водевилю сегодня обращаются профессиональные и народные театры, коллективы художественной самодеятельности. Поэтому так важно издание сборника «Русский водевиль», составленного Н. Шантаренковым. (По сравнению с предыдущим изданием книги русских водевилей нынешнее издание вышло почти утроенным тиражом. Однако и на этот раз книга мгновенно разошлась.) В новое издание вошли лучшие произведения А. И. Писарева, Д. Т. Ленского, Ф. А. Кони, П. А. Каратыгина, Н. А. Некрасова, П. И. Григорьева, П. С. Федорова, В. А. Соллогуба. Все они достаточно широко

известны любителям театра, и почти каждый из представленных здесь образцов водевильной драматургии имеет свою большую сценическую историю. И тем не менее, несмотря на значительный объемный размер сборника, он включает в себя лишь небольшую часть из числа известных водевильных произведений. Так, например, в нем не оказалось «Льва Гурыча Синичкина» Д. Т. Ленского — этой жемчужины русского водевиля и наиболее репертуарной пьесы в нашем театре.

В сборнике помещена статья режиссера-педагога Е. К. Лепковской, в которой даются рекомендации, как работать над созданием водевильного спектакля, а также статья составителя Н. Шантаренкова, в которой рассказывается об истории водевиля. К сожалению, рассказ этот слишком краток. Ничего не говорится о наиболее значительных постановках водевиля на советской сцене, а также о теоретических работах по изучению специфики водевильного жанра, появившихся в наше время.

Издание данного собрания водевилей не снимает вопроса о новых публикациях русского классического водевиля. Хочется надеяться, что интервал между нынешним сборником и следующим не будет столь длительным.

Дм. Брудный,

кандидат искусствоведения.

★

ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ. Библиографический указатель. Составители И. М. Левидова и Б. М. Парчевская. М. «Книга». 1970. 144 стр.

Давно уже ощущалась необходимость в хорошем и полном библиографическом указателе по творчеству Э. Хемингуэя. Поэтому понятно нетерпение, с каким встречен солидный указатель, включивший систематизированную библиографию по Хемингуэю на русском и английском языках.

Библиография предослана прекрасная статья одного из составителей, И. Левидовой, «Эрнест Хемингуэй» и довольно подробная летопись его жизни и творчества. Автор статьи, в частности, корректирует установившийся перевод известного места о тех, кто «спасает мир» в «Смерти после полудня». В двухтомнике Хемингуэя читаем: «Пусть те, кто хочет, спасают мир,—если они видят его ясно и как единое целое. Тогда в любой части его, если она отражена правдиво, будет отражен весь мир. Самое важное — работать и научиться этому». В этом переводе непонятны вторая и третья фразы. Они вытекают из текста, но сразу же становятся на свои места, если первую фразу читать в переводе Левидовой: «Пусть те, кто хочет, спасают мир,—для тебя важно видеть его ясно и как единое целое».

Библиография произведений Хемингуэя и литературы о нем состоит из четырех разделов: издания произведений Хемингуэя на английском языке, литература о жизни и творчестве писателя на иностранных

языках, переводы произведений Хемингуэя на русский язык, литература о его жизни и творчестве на русском языке. Библиография включает материалы на иностранных языках по первое полугодие 1968 года и на русском языке по июль 1969 года.

При составлении первого и второго разделов библиографии, посвященных материалам на иностранных языках, составители ограничились отражением первых книжных изданий произведений Хемингуэя и при их отсутствии — первыми публикациями в периодике. Иностранная же литература о жизни и творчестве представлена полным списком монографий, а также наиболее важными статьями и заметками из периодики. Не раздувая чрезмерно объема книги, составители дали, таким образом, наиболее важные сведения о публикациях в иностранной печати, тем более что более подробные сведения в случае необходимости можно получить из фундаментального указателя Ханнеман.

Другое дело — материалы на русском языке. До сих пор они не были собраны в исчерпывающую библиографию, и составители, естественно, стремились представить их с возможно большей полнотой. Поэтому особенно жаль, что немало материалов все-таки оказалось не учтено.

Так, упущены первые публикации Хемингуэя на русском языке: рассказ «Боксер» («Читатель и писатель», 1928, № 15), а также «На Биг Ривер» («Боец-охотник», 1935, № 5), «Крылья над Африкой» («За рубежом», 15 марта 1936 года), «Жара и холод»: послесловие из литературного сценария «Испанская земля» («Комсомольская правда», 16 ноября 1938 года), «Пятая колонна» (отрывок; «Литературная газета», 26 ноября 1938 года), «Американский боец» (в кн. «Испания в сердце». М. «Искусство». 1966), ряд выступлений и заявлений писателя, опубликованных в советской печати.

Но особенно много материалов выпало из раздела «Литература о жизни и творчестве Э. Хемингуэя на русском языке». Здесь пропущено около ста названий, причем не только небольшие заметки, но и довольно солидные статьи общего характера. Опущено много хроникальных заметок, масса материалов об экранизации произведений Хемингуэя, ряд рецензий на книги о нем и его творчестве.

Мне кажется, следовало бы отразить и некоторые общие библиографии и библиографические обзоры с упоминаниями произведений Хемингуэя и литературы о нем на русском языке. В этой области есть работы В. Либмана, Н. Мацуева, М. Моршнера, Л. Жаннезой, А. Горбунова и самой И. Левицкой.

Книга снабжена вспомогательными указателями: английских заглавий произведений Хемингуэя и заглавий русских переводов их, именными указателями на иностранном и русском языках и тематическим указателем к литературе о жизни и творчестве Хемингуэя, которые оказывают ценную помощь в работе с библиографией.

К сожалению, есть в издании и досадная

небрежность. Даже при беглой проверке обнаруживаются ошибки и неточности. Есть путаница и в датах. Так, к № 797 указан год 1949, а надо 1959, к № 793 указан 1938 гсд, а напечатан он после 1940 года. Иногда пропущены выходные данные или дана неточная и неполная справка о них: к № 811 указана «Литературная газета», 1965 год, без указания числа и месяца, а нужно — «Л. г., 1964, 29 декабря», к № 1060 указан 1961 год, а помещен он под титрами 1963 года и т. д.

Все это, конечно, снижает ценность большого и кропотливого труда составителей. И все-таки эта библиография окажет большую помощь всем исследователям творчества Хемингуэя.

А. Мякин.

Новосибирск.

★

М. ГИН. От факта к образу и сюжету. М. «Советский писатель». 1971. 304 стр.

Почитатель поэзии Некрасова рискует пройти мимо этой книги. Ведь требуется открыть обложку, чтобы прочесть расшифровку на титуле: «О поэзии Н. А. Некрасова». Но прочитав, заинтересуется ею. И не ошибется. Хотя название книги гораздо шире ее содержания. «От факта к образу и сюжету» — такая глобальная постановка проблемы дает автору, а вслед за ним и читателю возможность, не ограничиваясь трактовкой отдельных произведений, проникнуть в таинства мастерства великого русского поэта, просматривающиеся сквозь призму психологии художественного творчества. Такой подход к литературному наследию Н. А. Некрасова не только правомочен, но и необходим. М. Гин задался целью, используя источниковедческие данные, воссоздать живую картину творческого процесса. При этом он избрал тот единственно верный метод, который убеждает в недосужести источниковедения. Вот как определяет он само понятие «источник»: «Источником в широком смысле слова является все, что питает творчество писателя, все, что находится в поле его зрения, — действительность, настоящая и прошлая, его собственная духовная жизнь, мысли, чувства, переживания, идеалы, мечты и надежды. В конечном счете источником всякого творчества является жизнь. Однако характер восприятия ее определяется не только объектом наблюдения, но и воспринимающим ее субъектом, зависит от его мировоззрения и характера, специфических особенностей его мировосприятия и настроений, владеющих им в настоящий момент, от замысла произведения, целей и задач, которые автор в нем преследует». Принимая это определение за камертон всей книги, исследователь далее на обширном материале поэзии Некрасова показывает, как же конкретно происходит опосредствование источника в художественном творчестве. И от странички к страничке мы все более убеждаемся в том, что «натуралистическая апологетика факта как такового, подчинение

факту для Некрасова не характерны», так как «фактичность стихотворения не гарантировала его типичности». М. Гин справедливо выделяет в поэзии Некрасова два способа типизации: «...в первом — типизируется редкое, идеальное, во втором — широко распространенное, массовое...»

Надо сказать, что к дифференциации, к разложению на составляющие исследователь питает особую склонность. Он как бы мыслит силлогизмами. И это отнюдь не поставивши ему в упрек. Трудно не согласиться, к примеру, с тем, что Некрасов проводил «четкую грань между мировоззрением темного и забитого крестьянина и взглядами человека с развитым сознанием, между отношением к крепостничеству крепостного раба и крепостного человека». Так поверять алгеброй гармонию, право же, не грешно. Ведь если для Пушкина, как утверждал Г. В. Плеханов, понятия народа и толпы были синонимичны, то Некрасов уже строго отличал одно от другого. В этом, безусловно, главное звено из цепи отличий эпохи, проповедником (или, по-тургеневски, «глашатаем») которой был Некрасов, от эпохи пушкинской.

Другое звено, которое также не оставляет без внимания автор монографии, — полифонизм. Вслед за С. А. Андреевским и Б. М. Эйхенбаумом М. Гин продолжает разговор о «театральности» некрасовской музыки, о высоком мастерстве поэтического перевоплощения. Анализируя стихотворение «В полном разгаре страда деревенская...», исследователь приходит к выводу, что «страда преподносится в ее (жницы. — М. А.) восприятии. Автор как бы переселяется в ее душу, переживая вместе с нею все тяготы и невзгоды ее тяжелого труда». Таким образом, полифонизм, с которым чаще всего связывают имя Достоевского, был присущ всей эпохе, а стало быть, и Некрасову — одному из любимых и печальных ее сыновей.

Но подчас, говоря о творчестве, М. Гин забывает, что он сам — творец, и демонстрирует «победу» скрупулезности научных изысканий над творческим воображением. Так случается, когда он вступает в полемику с К. И. Чуковским по поводу образа автора-рассказчика из поэмы «Железная дорога». Чуковский писал: «...в «Железной дороге» Некрасов тоже является нам в качестве одного из героев поэмы. Рядом с другими ее персонажами мы видим и его самого... Изможденное, худое лицо, карие, очень большие глаза, ярославская крестьянская борода». М. Гин же приводит следующий контраргумент: «Но представление об индивидуальном облике рассказчика мы можем получить... только из других источников, лежащих за пределами поэмы, которая на этот счет ничего определенного не говорит». Тут, видимо, мы попросту имеем дело с фактом, когда ученому на мгновение изменяет остроумие, столь необходимое и в научном труде. К счастью, на мгновение, ведь буквально через страницу оно возвращается к нему, и он пишет, что адрес «Железной дороги» не

«следует ограничивать рамками того возраста, к которому принадлежит Ваня. Если такого рода подход применить к «Песне Еремушке», то придется констатировать, что она написана для грудных младенцев».

В конечном же счете можно с уверенностью сказать, что Некрасов признавал над собой законы, по которым судит его М. Гин.

М. Анцыферов.

★

А. ТАЛАНОВ. Братья Дуровы. М. «Искусство». 1971. 176 стр.

Первая глава книги А. Таланова названа «Волшебный и земной мир». Название это передает суть и всей его книги. В самом деле, кто из любителей цирка, а их, думаю, совсем немало, не восхищался красотой, яркостью этого зрелища, смелостью, ловкостью, чудодействием цирковых артистов — поистине мир сказки и волшебства. Но не все, наверное, знают, как труден путь на арену, сколько надо человеку приложить усилий, чтобы мановением бича заставить танцевать лошадь или с легкостью бабочки скользить по проволоке. Вот об этом трудном, отнюдь не волшебном, а земном пути к славе, успеху, о каждодневной упорной работе и ничем не истребимой жажде цирковой жизни Владимира и Анатолия Дуровых — родоначальников славной династии — рассказывает А. Таланов.

Книга «Братья Дуровы» вышла в серии «Жизнь в искусстве», выпуски которой пользуются заслуженной популярностью среди читателей. Как правило, книги эти интересны тем, что раскрывают становление одаренной личности, жизненный и творческий путь героев, и тем, что передают атмосферу эпохи, дух времени, в котором они жили. Мне особенно приятно, что книга А. Таланова, писателя, глубоко чтившего и знавшего искусство, не явилась исключением из этого правила. Правомерен и выбор ее героев. Мы знаем уже немало книг этой серии о художниках, певцах, о знаменитых драматических актерах, о людях, чья жизнь неотделима от искусства, о тех, кто целиком посвятил себя служению любимому делу. Теперь в этот ряд встала книга об артистах, принесших мировую славу не только своей фамилии, но и всему русскому цирку.

В книге А. Таланова много любопытного рассказано из истории цирка — от ярмарочных балаганов середины XIX века, где нищие, голодные циркачи забавляли публику, до прославленного советского цирка, триумфальные выступления которого покоряют зрителей всего мира. Этим же путем шли и братья Дуровы. Мальчишками они убежали из сытого дома опекуна (они рано осиротели), чтобы выступать с замороженными номерами в трактирах, балаганах, перед случайными прохожими. Видно, тяга к цирку была в их крови. Ни унижения, ни голод, ни побои — ничто не могло ее преодолеть.

Мало сказать, что А. Таланов рисует своих героев с любовью, он старается дать объективную картину взаимоотношений двух братьев, понять и раскрыть их характеры, не утаивая при этом и какие-то неприятные черты, разобраться в причине их творческих расхождений, приведших к разрыву. Для Анатолия слава оказалась слишком тяжелым бременем. Успех к концу жизни сменился неудачами. «Почему же он, прославленный Анатолий Дуров, который не только развлекал людей, но и стремился сделать их лучше, король шутов, но не шут королей,— оказывается ненужным народу?» — спрашивает автор. Ответ мы находим в размышлениях самого Анатолия Дурова: «Опасно не постареть, а устареть». Артисту, как и любому художнику, опасно устареть в содержании и в форме своего искусства, сделаться архаичным, не отвечающим духу и требованиям своего времени.

Владимир Дуров, начинавший свою карьеру, как и его брат, в амплу клоуна-сатирика, позже посвятил себя целиком дрессировке зверей. При Советской власти ему удалось осуществить свою мечту о содружестве увлекавшей его науки с любимым искусством. Научные работы Владимира Дурова находили всемерную поддержку молодого Советского государства. Уголок Дурова на Божедомке стал своеобразным научно-исследовательским центром.

В конце книги автор рассказывает о детях и внуках знаменитых братьев, судьбы которых также прочно оказались связанными с цирковым искусством.

Чтение книги А. Таланова доставило мне радость, думаю, что не меньшую радость и пользу она принесет и другим читателям. Горько созавать, что вышла книга уже после смерти ее автора.

Р. Плятт,
народный артист СССР.



ГРИГОРИЙ ГОРИН. Хочу харчо! Рассказы, монологи, сценки, пьесы. М. «Искусство». 1970. 127 стр.

Одни юмористы вызывают улыбку, другие — усмешку, третьи — негодование (те, что зевоту,— не в счет). Г. Горин принадлежит к юмористам, вызывающим смех. Хотя в истоке его рассказа, как правило, обыденный эпизод, не сулящий даже захудалого анекдота. Но обыденность вдруг обнаруживает таинский в ней комизм. Надо взглянуть со стороны, принять точку зрения, которую невозмутимо и ненавязчиво предлагает автор: я, дескать, не смешу, я только передаю обыкновенный случай в его вероятном развитии. Вот, скажем, человек хотел предупредить встречного: брюки у вас расстегнуты. А тот скрылся в кабинете, секретарша к нему не пускает, приходится писать записку. Товарищ Синицын ставит резолюцию, поручив разобраться заму. Зам начертал «согласен» и направил бумагу дальше. Непутевый

доброхот, обегав инстанции, ворвался в кабинет, но брюки у товарища Синицына были уже в порядке.

Самый разоблаченный эпизод, сохраняя свою изначально-бытовую природу, способен разрастись чуть не в фантазмагорию, будучи подключенным к цепи себе подобных. Г. Горин не столько гиперболизует, сколько варьирует случаи, отдавая предпочтение примелькавшимся, заурядным в надежде, что они, сомкнувшись, будут «говорить за себя». Попытка осуществить пустяковое намерение — предупредить товарища Синицына или достать открывалку для пива — выявляет бессмысленность канцелярской машинерии, никчемность тягучей интеллектуальной болтовни. Впрочем, бессмысленность обыденного или обыденная бессмысленность необязательно претендует на интеллектуальные высоты, укрывается не только в бурной кабинетной деятельности. Она способна вылиться в скромный подвиг энтузиастов, жаждущих опохмелиться. Достаточно было пустить слух: вместо новой столовой строится «кафе-опохмелочная», как ни свет ни заря сбежались страждущие, мгновенно возвели стены, раздобыли дефицитную жуть, настелили паркет, привезли мебель, набрали персонал. В семь утра «опохмелочная» открылась.

Тема Г. Горина — бессмысленность, не бьющая в глаза, не вызывающая к обличению. Напротив, она склонна выдать себя за нечто само собой разумеющееся, за норму. Но коль такова норма, неумолимо смешаются понятия, и смех, который вызывает автор, уже не безобиден, он становится сатирически разящим. Недостаточно позабавить комической историей о брюках товарища Синицына или сверхскоростном возведении опохмелочной. Желательно понять, почему все-таки возможна нелепость; кто-то же ее оберегает, холит, покрывает. Г. Горин чувствует весь комизм борьбы с нелепостью и алогизмом, когда она ведется отнюдь не разумными и логическими действиями, когда противоборствующие начала пользуются — что поделаешь — сходным оружием. Против демагогии — демагогия, против заурядного хамства — примитивный шантаж. Сатирическая сфера Г. Горина — мир смешенных понятий. Здесь его герои чувствуют себя как рыба в воде: ставят спяну спортивные рекорды, радея о высоких интересах, строчат письма в министерства, ведут телевизионные репортажи, нещадно все перевирая и выдавая наглаватую бойкость за доверительную импровизацию. Мир этот жаждет укорениться, обзавестись своими обрядами. Нельзя ли, например, внедрить новые поминки? «Ты, Коля, сейчас ступай за дверь, а мы тебя здесь будем хорошими словами поминать... Дорогие товарищи! Вот от нас ушел хороший человек. Коля Гвоздев. Много лет он честно работал...»

В борьбе с миром обыденных нелепостей Г. Горин следует сатирической традиции. Правда, сатира сама по себе еще не способна уничтожить подобный мир. Но она

способна нанести по нему увесистые удары — удары смехом...

Всякий, вероятно, молодой писатель рабует, оглядываясь на образцы. Однако оглядываясь, недолго впасть в подражательство. С Гориным такое случается нечасто. Но все же случается. Тогда звучат нарочито фельетонные реплики, идет в ход извечно-комедийная коллизия с перепутанными младенцами. Но и в менее удачных рассказах и пьесах Г. Горину обычно не изменяет сатирическая наблюдательность, умение извлекать смешное.

В. Кардин.

★

МАРК ЭТКИНД. Мир как большая симфония. Книга о художнике Чюрлёнисе. Л. «Искусство». 1970. 159 стр.

Каждое полотно Чюрлёниса, каждый его сонатный цикл словно нежная, прихотливо развивающаяся прекрасная мелодия, живописная симфония. Как в «Весенней сонате», где в драматический узел сведены силы Зла и Добра — цепко держащей власть Зимы и робко, но настойчиво заявляющей о себе Весны. Еще дуют холодные ветры и природа никак не может поверить в пробуждение, и причудливый, тающий облик дракона царствует в мире. Но в непокое, в ветреной тревоге чувствуется приближение перемен. На смену «Аллегро» приходит вторая часть, второе полотно — «Анданте» — с могучим ритмом неотвратимо побеждающей природы, осязаемым в дружном взмахе ветряных мельниц, словно спроецированных на небеса. От взмаха их огромных крыльев происходит в природе великая смесь и балагурство. А потом уже Весна в каждом уголке планеты устроит веселый ералаш, смешав деревья, сказочными цветами расцветшие подсвечники с быстрым течением реки и весело несущимися в разные стороны ласточками («Скерио»), с тем чтобы торжественными ритмами возвышающихся над планетой башен, устремленной в бесконечность гирляндой разноцветных флагов утвердить в финале полновластное свое господство.

Книга «Мир как большая симфония» по праву может быть названа своего рода путеводителем в искусстве Чюрлёниса, обстоятельно и аргументированно объясняющим и трактующим законы этого искусства. Убеден, что внимательный и благосклонный читатель, обратившись к работе ленинградского искусствоведа М. Эткинда, просмотрев обильно приведенные и отлично выполненные репродукции с полотен литовского художника, станет поклонником этого удивительного и необычного искусства. Если же учесть, что на полях книги приведены обильные выдержки из записей в альбоме, писем, статей Чюрлёниса, в большинстве своем мало знакомому русскому читателю, то уверен, что он также прикоснется и к богатству и тонкому душевно-

му миру художника, познакомится с его жизнью, полностью отданной искусству.

Марк Эткинд стремится в работе своей очистить живопись Чюрлёниса от всякого рода идеалистических построений, воздвигнутых критикой начала нашего века, аргументированно связывает ее с народным литовским творчеством, дайнами, сказаниями, преданиями страны, с природой Литвы.

М. Эткинд избежал соблазна модернизации искусства Чюрлёниса, попыток представить его предтечей всякого рода космических гипотез и свершений, столь удивившихся в наши дни. Есть в искусстве Чюрлёниса трогательная, почти детская наивность в воззрениях на мир, сказавшаяся и в постоянном, настойчивом стремлении к высоте (почитайте хотя бы, с каким восторгом пишет художник о горах Кавказа), и в мечте об Африке как средоточии всего наиболее яркого, пышного, экзотического, и в восприятии мира, бытия как столкновения резко контрастных сил — Добра и Зла, Солнца и Тьмы. Вот почему в ход рассуждений М. Эткинда так органично вошли слова Александра Блока: «Художник — это тот, для кого мир прозрачен, кто обладает взглядом ребенка, но во взгляде этом светится сознание зрелого человека...» У Чюрлёниса все это было — и детски-светлое восприятие действительности, и глубокие мысли о мире и жизни. Он умел видеть звезды и ощущать себя частицей мироздания. Это большое счастье — постоянно чувствовать дыхание вселенной, но и громадная тяжесть. Но был гнет и пострашнее — гнет времени. И не только победой Весны завершалось противоборство враждующих сил. Но и поднимались ввысь траурные флаги какого-то бесконечного шествия по берегу моря («Печаль»), и раздавались удары похоронных колоколов («Похоронные»), и зловещие огни-глаза прорезали умиротворенный вечерний пейзаж («Покой»), и громадная птица простирала совиные свои крылья над беззащитным ребенком («Сказка. Путешествие королевны»). В живописи Чюрлёниса звучат те же тревоги, которые мы слышим в поэзии Блока, в музыке Скрябина, о которых в полный голос говорила с театральных подмостков Комиссаржевская. Чюрлёнис был сыном своей эпохи. Это сказалось во всем: и в предчувствии грядущих перемен, и в свете надежды, и в отчаянии. И были у него не только светлые вещи, были и провалы, и пессимистические полотна беклинского толка. Не могу сказать, что обо всем этом не говорится в книге. Говорится, неоднократно упоминается, но не становится предметом более обстоятельного анализа, глубоких раздумий, жестких и точных оценок. Это — существенный недостаток хорошей книги.

В. Лавров.

Ленинград.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ПОЛИТИЗДАТ

М. Грамов. Экономическая реформа и трудовой коллектив. 72 стр. Цена 8 к.

Исторический опыт братского сотрудничества КПСС и МНРП в борьбе за социализм. 320 стр. Цена 1 р. 70 к.

А. Коллонтай. Воспоминания об Ильиче. 16 стр. Цена 4 к.

По ступеням войны и обмана. О чем свидетельствуют секретные документы Пентагона. Сборник статей. 128 стр. Цена 21 к.

Хрестоматия по курсу научного коммунизма. Для школ основ марксизма-ленинизма. 360 стр. Цена 54 к.

К. Цеткин. Воспоминания о Ленине. 62 стр. Цена 8 к.

О. Черный. Немецкая трагедия. Повесть о Карле Либкнехте. 478 стр. Цена 84 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Г. Боровин. Один год неспокойного солнца. Американская хроника. 456 стр. Цена 81 к.

В ногу с тревожным веном. Воспоминания об И. Уткине. 279 стр. Цена 53 к.

Т. Галушко. Равноденствие. Первая книга стихов. 79 стр. Цена 24 к.

В. Дементьев. Леонид Мартынов. Поэт и время. 310 стр. Цена 73 к.

П. Заднипру. Весь огонь лета. Стихи. Перевод с молдавского. 160 стр. Цена 35 к.

М. Ибрагимов. Заметки о литературе. Классики и современники. 456 стр. Цена 1 р. 15 к.

В. Каренц. Тропа под снегом. Стихи и поэма. Перевод с армянского П. Вегина. 79 стр. Цена 24 к.

Р. Ким. Школа призраков. Приключенческая повесть. — Кто украл Пуннакана. Повесть-памфлет. — Кобра под подушкой. Приключенческая повесть. — Тетрадь, найденная в Сунчоне. Повесть. 447 стр. Цена 79 к.

Ф. Кулешов. Иван Мележ. Очерк творчества. 192 стр. Цена 35 к.

Ф. Наседнин. Русская нива. Повести. 640 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Некрасов. В жизни и в письмах. Рассказы с постскриптумами. — Маленькие портреты — Чертова семерка. 255 стр. Цена 44 к.

Н. Почивалин. Темные августовские ночи. Рассказы. 343 стр. Цена 73 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Калчев. Софийские рассказы. Перевод с болгарского. 151 стр. Цена 86 к.

Б. Муртазов. Горы — это люди. Стихи. Авторизованный перевод с осетинского. 224 стр. Цена 61 к.

Н. Некрасов. Собрание сочинений. В 3-х томах. Т. 3. Поэмы 1863—1877. 431 стр. Цена 90 к.

Р. Рождественский. Радар сердца. Избранные стихи. 215 стр. Цена 99 к.

В. Сосюра. Стихи. Перевод с украинского. 280 стр. Цена 89 к.

Фаблио. Старофранцузские новеллы. Перевод со старофранцузского. 343 стр. Цена 2 р. 50 к.

С. Фицджеральд. Ночь нежна. Роман. Перевод с английского. 384 стр. Цена 1 р. 3 к.

Д. Фурманов. Сочинения. В 2-х томах. Т. 1. Чапаев. — Красный десант. — Морские берега. — Шакир. 375 стр. Цена 83 к. Т. 2. Дневники. — Статьи. — Письма. 350 стр. Цена 78 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Витнович и Г. Ягдфельд. Волшебная лампа Аладина. Книга-фильм. 191 стр. Цена 1 р. 20 к.

О. Гончар. Днепропетровский ветер. Рассказы. Перевод с украинского. 287 стр. Цена 55 к.

Д. Ковалев. Зябь. Новые стихи. 191 стр. Цена 67 к.

А. Коптяева. На Урале-реке. Роман. Книга I. 511 стр. Цена 1 р. 10 к.

М. Котов и В. Лясковский. Гайдар на войне. Повесть. 271 стр. Цена 82 к.

А. Мороз. Трагедия художника. Повесть. 255 стр. Цена 63 к.

В. Шульпина. Слабая женщина. Роман. 240 стр. Цена 36 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

К. Бадигин. Повести. 511 стр. Цена 1 р. 12 к.

Т. Белозеров. Лесной скрипач. Стихи и рассказы. 47 стр. Цена 12 к.

Вань Линь. Дальние края. Повесть. Перевод с вьетнамского. 111 стр. Цена 31 к.

А. Дорохов. Годы, которых не забыть. Воспоминания. 112 стр. Цена 33 к.

З. Журавлева. Путька. Повесть. 127 стр. Цена 33 к.

Р. Михайлов. Позывные услышаны. Повесть о людях, которые мечтали встретиться. 304 стр. Цена 77 к.

И. Мотяшов. Зоя Воскресенская. Очерк творчества. 158 стр. Цена 49 к.

Н. Плавильщиков. Гомункулус. Очерки из истории биологии. 432 стр. Цена 1 р. 25 к.

Л. Фоменко. Мария Прилежаева. Очерк творчества. 111 стр. Цена 38 к.

Е. Чарушин. Рассказы. 271 стр. Цена 1 р. 45 к.

«МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

О. Куденно. Орбита жизни. Повесть-хроника. 399 стр. Цена 1 р. 42 к.

Школа основ марксизма-ленинизма. Сборник статей. 95 стр. Цена 17 к.

ВОЕНИЗДАТ

И. Артемьев. В эфире — партизаны. («Военные мемуары») 136 стр. Цена 44 к.

И. Кожедуб. Верность Отчизне. Рассказы летчика-истребителя. 519 стр. Цена 92 к.

Я. Михайлин. Соколиная семья. («Военные мемуары») 256 стр. Цена 61 к.

В. Орлов. Золотой берег. Рассказы. 127 стр. Цена 14 к.

Рунопожатия границ. Сборник рассказов. Переводы. Составитель Е. Цыбульский. 359 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ИСКУССТВО»

Болгарский юмор. Составитель и переводчик А. Хватов. 143 стр. Цена 24 к.

Н. Киященко. Вопросы формирования системы эстетического воспитания в СССР. 160 стр. Цена 90 к.

М. Инебель. О том, что мне кажется особенно важным. Статьи, очерки и портреты. 487 стр. Цена 2 р. 36 к.

А. Курляндский и А. Хайт. Шестое чувство. Рассказы, сценки, пародии и миниатюры. 104 стр. Цена 29 к.

С. Мнацанян. Звартноц. Памятники армянского зодчества. V—VII вв. 159 стр. Цена 2 р. 50 к.

Передвижники. Альбом. 140 стр. Цена 6 р. 30 к.

Ч. Сальвини. Томмазо Сальвини. Монография. Перевод с итальянского. 320 стр. Цена 1 р. 87 к.

«ПРОГРЕСС»

Затерянная улица. Современная канадская новелла. Перевод с английского и французского. 287 стр. Цена 87 к.

Я. Кавабата. Тысячекрылый журавль. Повесть.— Снежная страна. Повесть.— Новеллы, рассказы, эссе. Перевод с японского. 400 стр. Цена 1 р. 44 к.

Ф. Мориак. Тереза Гескейру. Роман.— Фарисейка. Роман.— Мартышка. Повесть.— Подросток былых времен. Роман. Переводы с французского. 507 стр. Цена 1 р. 70 к.

Э. Нанадзоно. Сеятели ночи. Роман. Перевод с японского. 160 стр. Цена 45 к.

Э. Хемингуэй. Острова в океане. Роман. Перевод с английского. 445 стр. Цена 1 р. 48 к.

Т. Элиот. Бесплодная земля. Стихи. Перевод с английского. 188 стр. Цена 90 к.

«НАУКА»

Достоевский и его время. Сборник статей и материалов. 368 стр. Цена 1 р. 88 к.

В. Каирян. Преемственность в развитии культуры в условиях социализма. Философские проблемы культуры в трудах В. И. Ленина. 212 стр. Цена 80 к.

В. Корнев. Литература Таиланда. Краткий очерк. 238 стр. Цена 56 к.

А. Митрофанова. Рабочий класс СССР в годы Великой Отечественной войны. 575 стр. Цена 2 р. 61 к.

Ю. Ожегов. Проблема предвидения в современной буржуазной идеологии. Критический очерк. 183 стр. Цена 67 к.

Проблемы аграрной истории советского общества. Материалы научной конференции 9—12 июля 1969 г. 367 стр. Цена 2 р. 50 к.

Русские народные песни Карельского Поморья. Сборник. 452 стр. Цена 2 р. 52 к.

А. Фет. Вечерние огни. Стихи. 798 стр. Цена 1 р. 90 к.

Хурлунга и Хемра. Саят и Хемра. Туркменский романтический эпос. 415 стр. Цена 2 р. 21 к.

Б. Шоу. Письма. 398 стр. Цена 2 р. 9 к.



Главный редактор **В. А. Косолапов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Д. Г. Большой (первый зам. главного редактора),
Ф. К. Видрашку (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77.

Почтовый адрес: Москва, К-6, пл. Пушкина, д. 5.

Сдано в набор 3/IX 1971 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 11/XI 1971 г.
 Формат бумаги 70×108/16. 28,77 уч.-изд. л. 9 бум. л. (25,2 усл. п. л.)

А 06210.

Зак. 2951.

Тираж 165.000 экз

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.

70636